

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

ГОДЫ ВОЙНЫ



БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА
НАМЯ

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

ГОДЫ ВОЙНЫ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1989

84 P 7

Г 88

Составитель
Е. В. Короткова-Гроссман

Послесловие А. Бочарова

На обложке рисунок
Ю. П. Реброва

Г $\frac{4702010200-1949}{080(02)-89}$ 1949—89

ВОЛГА — СТАЛИНГРАД

Долог путь от Москвы до Сталинграда. Наша машина шла фронтовыми дорогами, мимо прелестных рек и зеленых городов. Мы ехали пыльными проселками, укатанными грейдерами; ехали яркими синими полднями, в горячей пыли, и на рассвете, когда первые лучи солнца освещают пышно налившуюся краской рябину, ехали ночью, и луна и звезды блестели в тихих водах Красивой Мечи, золотой рябью плыли по молодому быстрому Дону.

Мы проехали через Ясную Поляну. Вокруг яснополянского дома пышно разрослись цветы, через открытые окна в комнаты входило солнце, и свежебеленые стены сияли. Лишь плешины на земле возле могилы, где немцы закопали восемьдесят убитых, да черные следы пожара на дощатом полу дома напоминали о немецком вторжении в Ясную Поляну. Дом отстроен, снова цветут цветы, снова торжественна своей великой простотой могила; тела вражеских солдат отвезены от нее и похоронены в огромных воронках от тяжелых немецких фугасок, упавших на яснополянскую землю. И места эти поросли сырой болотной травой.

А мы едем все дальше по прекрасной земле, охваченной тревогой войны. Всюду: на полях, во время пахоты и молотбы, за лошадьми, впряженными в плуги, на тракторах и комбайнах, за рулем грузовиков, на опасной, тяжелой страде прифронтовых разъездов трудится русская женщина. Это она первой вбежала в подоженный немцами яснополянский дом, это она ровняет лопатой не имеющую конца-края дорогу, по которой идут танки, боеприпасы, скрипят колесные обозы. Русская женщина приняла на свои плечи тяжесть огромного урожая — сняла его, связала в снопы, обмолотила зерно, свезла на ссыпной пункт. Ее загорелые руки не знают

покою от зари до зари. Она правит прифронтовой землей. Подростки и старики помощники ей. Нелегко дается женщине работа. Вот, утерши пот, помогает она лошадям тащить вязнущую в песке груженную тяжелой медью зерна подводу. Стучит топором на лесозаготовках, валит толстые стволы сосен, водит паровозы, дежурит на речных переправах, носит письма, до зари работает в конторах колхозов, совхозов, МТС. Это она по ночам не спит, ходит вокруг амбаров, стережет свезенное зерно. Она не боится великой тяжести труда, она не боится ночной прифронтовой жути, глядит на дальний свет ракет, покрикивает, стучит в колотушку. Шестидесятилетняя старуха Бирюкова ночью пошла караулить амбары, вооружившись окованным железом сковородником, а утром, смеясь, рассказала мне: «Темно, луны еще нет, один прожектор ходит по небу. Только я слышу — подбираются какие-то к амбару, замок пробуют. Сперва испужалась, думаю: что я, старуха, им, окаянным, причинить могу? А потом, как вспомнила, каким потом кровавым мои дочки этот урожай для моих сынов собрали, подошла тихо, наставила свой сковородник, да как зареву почище городского: «Стой, ни с места, стрелять буду!» Ну, они так и ахнули в бурьян, зашумели. Отбила я их сковородником от амбара».

Нелегко трудится русская женщина, принявшая в свои руки громаду труда в поле и на заводе. Но тяжелой трудовой ноши та тяжесть, которую несет ее сердце. Она не спит ночи, оплакивая убитого мужа, сына, брата. Она терпеливо ждет письма от пропавших без вести. Своим прекрасным, добрым сердцем, своим ясным разумом переживает она все тяжелые неудачи войны. Сколько скорби, сколько широкого и ясного ума в ее мыслях, в ее словах, как глубоко и мудро поняла она грозу, грохочущую над страной, как добра, человеколюбива и терпелива она!

Нашей армии есть, что защищать, ей есть, чем гордиться — и славным прошлым, и великой революцией, и обширной, богатой землей. Но пусть гордится наша армия русской женщиной — прекраснейшей женщиной земли. Пусть помнит армия о жене, матери, сестре, пусть боится пуще смерти потерять уважение и любовь русской женщины, ибо нет на свете ничего выше и почетней этой любви.

О многом думалось по дороге к Сталинграду. Ведь длинна эта дорога. Вот уже другое время: часы здесь

на час вперед. Вот и другие птицы — большеголовые коршуны на толстых мохнатых лапах неподвижно укрепились на телеграфных столбах, по вечерам серые совы тяжело, неловко летают над дорогой. Злей стало дневное солнце. Ужи переползают дорогу. И степь уже другая — пыльное многотравие ее исчезло. Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жалким ковылем, лынущим к потрескавшейся земле. Волы тащат телеги. Вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Все ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Это война на юге, война на Нижней Волге, это ощущение вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни, — вызывает чувство тревоги.

Отступать дальше нельзя. Каждый шаг назад — большая и, может быть, непоправимая беда. Этим чувством проникнуто население приволжских деревень, это чувство живет в армиях, защищающих Волгу и Сталинград...

Ранним утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально в этот холодный и ветреный час. Низко неслись темные облака, но воздух был ясен, и на много верст был виден белый обрывистый правый берег и песчаные степи Заволжья. Светлая волжская вода широко и свободно шла меж огромных земель, точно могучий металл, прочно соединивший правобережье и Заволжье. У высокого берега вода бурлила, вертела арбузные корки, точила осыпающийся песчаник, волна вздыхала, колебля бакан. К полудню ветер разогнал облака, сразу стало жарко, и Волга засияла под высоко и круто поднявшимся солнцем, поголубела, воздух над ней подернулся легким синеватым туманом, мягко и спокойно лежал у воды песчаный луговой берег. Одновременно радостно и горько было глядеть на прекраснейшую из рек. Пароходы, выкрашенные в зелено-серую краску, закрытые увядшими ветвями, стояли у причалов, легкий дымок едва поднимался над трубами, — они сдерживали свое шумное, живое дыхание, боясь быть замеченными врагом. Всюду к самому берегу тянутся окопы, блиндажи, противотанковые рвы. У некогда шумных переправ, где беспечно толпились люди, скрипели подводы, груженные арбузами и дынями, где шныряли мальчишки с удочками, теперь стоят зенитные

пушки, сдвоенные и счетверенные пулеметы, вырыты укрытия, замаскированные грузовики, рассредоточившись, ожидают очереди. Война подошла к Волге. Нигде так не звучала артиллерийская канонада, как здесь, над волжским простором. Звук артиллерийской стрельбы, не стесненный преградами, усиленный эхом, звучит здесь во всю полноту, могуче перекачиваясь, поднимается от земли к небу и вновь опускается от неба к земле. Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга — это главный рубеж нашей обороны. И по ночам старухи в волжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмем Сталинград — дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинграда — придется нам обратно за свою границу идти, не удержаться нам тогда в России». Это, конечно, сказка, но в этой сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были. И мысль о Волге и Сталинграде, о главной и решающей битве владет всеми: стариками, женщинами, бойцами рабочих батальонов, танкистами, летчиками, артиллеристами.

В конце августа немцы напали на Сталинград с воздуха. Такой силы воздушного удара немцы не концентрировали ни разу за всю войну: противник произвел свыше тысячи самолетовылетов. Он обрушил свои удары на жилые кварталы, на прекрасные здания центральной части города, он бил по библиотекам, по детской больнице, по госпиталям, по школам и другим учебным заведениям. Огромное зарево и клубы дыма поднялись над Сталинградом, протянувшимся свыше чем на шестьдесят километров вдоль берега Волги. Долгие часы один из прекраснейших городов Советского Союза подвергался чудовищной бомбежке. Немцы, конечно, знали, что все заводы находятся на окраине города. Но били они главным образом по центру. Мы не собираемся укорять их за это. Поднявшим меч внятен лишь язык меча.

Одновременно с воздушным налетом противник рвался к Волге северней города. Колонна танков и следующие за танками грузовики с мотопехотой некоторое время непосредственно угрожали северной окраине Сталинграда в районе тракторного завода. Удар врага отразила противотанковая часть подполковника Горелика и зенит-

чки подполковника Германа. Вместе с ними сражались рабочие батальоны тракторного завода и «Баррикад», нашлись среди рабочих прекрасные артиллеристы, танкисты, минометчики. Прямо из заводских ворот выезжали танки, выкатывались орудия, вывозились минометы на поле боя. В эту огненную ночь заводы продолжали работать среди рева разрывов, в бушевавшем вокруг пламени. Много десятков тяжелых пушек и танков получила армия за два дня боев северо-западной Сталинграда. Прекрасно спокойное мужество рабочих, инженеров, начальников заводских цехов. Навсегда войдет в историю этой войны имя веселого и пламенного капитана Саркисьяна, первым встретившего тяжелыми минометами немецкие танки. Навсегда запомнится зенитная батарея лейтенанта Скакуна. Потеряв связь с командованием зенитного полка, она больше суток самостоятельно дралась с воздушным и наземным врагом. Ее атаковали с воздуха пикировщики, с земли — тяжелые танки противника. Земля и воздух, пламя и дым, чугунный грохот бомбовых разрывов, вой снарядов и пулеметных очередей смешались в единый хаос. На батарее были девушки-зенитчицы: прибористки, дальномерщицы-стереоскопистки, разведчицы. Сутки дрались они рядом с товарищами — артиллеристами. «Подавлены, накрыли», — каждый раз думал командир полка, когда замолкали зенитки. И каждый раз снова слышалась четкая, размеренная пальба зенитных пушек. Сутки длился этот страшный бой. Лишь на следующий день вечером пришли с батареи уцелевшие четыре бойца и раненый командир. Они рассказали, что за время боя девушки ни разу не ушли в укрытия, а бывали минуты, когда нельзя было не уйти. И внезапный прорыв врага к городу был отбит. Положение упрочилось.

Так открылась первая страница эпопеи обороны Сталинграда, — страница, написанная огнем и кровью, мужеством рабочих и любовью. Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых окопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына, рабочих, партийных работников, рыбаков, крестьян добровольцами идут оборонять красный Сталинград.

Мы приехали в Сталинград вскоре после налета. Еще кое-где дымились пожарища. Приехавший с нами товарищ сталинградец показывает нам свой сгоревший дом. «Вот здесь была детская,— говорит он,— а здесь стояла моя библиотека, а вон в том углу, где исковерканные трубы, я работал — тут стоял мой письменный стол». Из-под нагромождения кирпича видны изогнутые остовы детских кроватей. Стены дома горячи, как тело покойника, не успевшее остыть. Ясное беспечное небо смотрит сквозь прогоревшую крышу. Над зданием детской больницы имени Ленина видно скульптурное изображение орла; одно крыло орла отбито осколком бомбы, другое простерто для полета. Стены и колоннада погибшего Дворца физкультуры покрыты копотью пожара, и на черно-бархатном фоне ослепительно выделяются две белые скульптуры нагих юношей. На окнах пустых домов дремлют холеные сибирские кошки, зеленые вазоны дышат свежим воздухом сквозь выбитые стекла. Мальчики собирают возле памятника Хользунова осколки бомб и зенитных снарядов. В тихий вечерний час печальна розовая красота заката, глядящего через сотни пустых оконных глазниц. Над многими зданиями прибиты мраморные мемориальные доски: «Здесь выступал в 1919 году Сталин», «Здесь помещался штаб обороны Царицына». В центральном сквере стоит каменная колонна с надписью: «Пролетариат красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».

Сталинград живет и будет жить. Нельзя сломить воли народа к свободе. Рабочие отряды расчищают улицы, дымят заводские трубы, а небо покрыто круглыми облачками зенитных разрывов. Люди сразу привыкли к войне. На паром, переправляющий к городу войска, то и дело налетают неприятельские истребители и бомбардировщики. Рокочут пулеметные очереди, бьют зенитки, а матросы, поглядывая на небо, едят сочные ломти арбуза, мальчишки, свесив с парома ноги, внимательно следят за поплавком своей удочки, пожилая женщина, сидя на скамеечке, вяжет чулок. Каждый день на фронт уходят новые рабочие отряды. Сталинград стал в строй пролетарских крепостей страны: Тулы, Ленинграда, Москвы. Эти крепости неприступны. Мы входим в подворотню разрушенного дома. Население дома обедает на столах, устроенных из досок и ящиков, дети дуют в миски с горячими щами. Один из военных товарищей подни-

мает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и оскорбленные»,— читает он вслух, оглядывает сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подошедшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится,— мы оскорбленные, но не униженные. Униженными мы никогда не будем».

Ночью мы ходим по улицам. В небе гудение моторов, бесшумно сталкивается свет наших и немецких прожекторов. Торжественно выглядят прямые улицы, пустынные широкие площади. Позвякивают винтовки патрулей. Рокоча, движутся танки, танкисты внимательно оглядывают улицы. Идет пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту. Лица бойцов сосредоточены и задумчивы. Наутро бой. Бой за Волгу, за Сталинград. Вспоминается весь далекий путь: вновь ожившая, торжественная и тихая Ясная Поляна; пчелы на могиле Толстого; благородный и верный труд крестьянок на широких полях прифронтной полосы; Красивая Меча при свете луны; старушечьи сказки о пленном немце, сказавшем: «Не возьмем Сталинграда — не удержаться нам тогда в России»; грохот артиллерийской канонады над Волгой; бронзовый летчик Хользунов, глядящий в небо; матросы на волжской переправе... Горько воевать на Волге. Но нет, не только об обороне нужно нам думать. Здесь, на Волге, должна решиться судьба великой войны за свободу. Пусть здесь опустится на врага выкованный в тяжких испытаниях меч победы.

А войска все идут, идут по темным улицам. Лица людей задумчивы. Эти люди будут достойны великого прошлого, революции,— тех, кто пал, обороняя красный Царицын от белогвардейцев. Эти люди достойны любви трудовой русской женщины, они не могут потерять ее уважения.

*Сталинград
5 сентября 1942 года*

ДУША КРАСНОАРМЕЙЦА

Противотанковое ружье напоминает старинную пичаль. Оно так же велико, тяжеловесно, управляются с ним два бойца — первый и второй номер. В походе первый номер несет ружье, второй номер — увесистые бронебойные патроны, похожие на снаряды малокалиберной пушки, счетом тридцать штук, пятизарядную винтовку, к ней сто патронов, две противотанковые гранаты, ну и, само собой, — шинель и вещевой мешок. Все это вместе по весу приблизительно соответствует ружью. От ружья в походе сильно ноет плечо и затекает рука. Прыгать с ним неудобно, трудно ходить по скользкому, тяжесть ружья мешает движению, не дает сохранять равновесие. Бронебойщик шагает тяжелой широкой походкой, немного припадая на одну ногу, куда падает тяжесть ружья. Его походку можно отличить от легкого хода командира, от мерного, ровного марша стрелка, от шаркающей «флотской» поступи автоматчиков, от стремительного хода привыкшего к вечному движению связиста. Да и по внешности легко отличить бронебойщика. Этот народ большей частью коренастый, плечистый. По духу, характеру такой человек должен походить на тех русских охотников, которые ходили с рогатиной поднимать в чаще матерого медведя. И надо прямо сказать, что клыкастый угрюмый бирюк — безобиднейшая тварь по сравнению с тяжелым немецким танком, вооруженным скорострельными пушками и пулеметами.

Человек, опытный в металлургическом производстве, либо знающий работу шахты, прийдя в заводской цех или в надшахтное здание, почти всегда без ошибки укажет вам сталевара, горнового, чугушника, каталя либо забойщика, крепильщика, машиниста врубовой машины. Каждого из них заметно отличает и походка,

и одежда, и взмах руки при ходьбе, и речь. Всякий ищет себе профессию по характеру, а тяжкая и благородная профессия допечатывает характер рабочего, по подобию своему образует человека. Так и военное дело отбирает и соединяет людей по возрасту, силе, уму, по характеру, по страсти. И первая задача умелого командира и дельного комиссара — помогать этому естественному отбору, подсказывать людям их профессию в суровой и тяжелой работе войны, помогать определяться пулеметчикам, разведчикам, связистам.

Вот для меня боец Громов сделался образцом характера бронбойщика, хотя среди людей в роте многие были шире его в плечах, решительнее в движениях, как, скажем, темнолицый Евтихов, причинивший немало беды немцам, или старший сержант Игнатъев, человек с большими руками, большим тяжелым подбородком и резкими, быстрыми поворотами толстой, красной от загара, шеи.

Громову тридцать семь лет, до войны занимался он в Нарофоминском районе Московской области сельскими, колхозными делами — проще говоря, был пахарем. Вряд ли выходя июньским рассветом в прошлом году на колхозную конюшню и запрягая смирную лошадку в неповоротливую скрипучую подводу, думал он о том, что примерно через год придется ему заняться истреблением один на один тяжелых немецких танков.

Глядя на его бледносерое, не поддающееся загару лицо, тронутое морщинами от долгой нелегкой работы, невольно спрашиваешь себя: случайно ли стал этот человек бронбойщиком, первым номером расчета противотанкового ружья? Может быть, тот же случай мог определить его ездовым в полковой обоз, или посыльным при штабе, либо мог состоять он часовым при армейском интендантстве, проверять разовые и постоянные пропуска?

Но нет, не так. В его короткой раздраженной речи, в его светлых желто-зеленых и совсем не добрых глазах, в его движениях и повадках, в его неохотном рассказе, в его уверенно-снихождительном отношении к миру — во всем проявляется характер этого человека. Внутренний закон, а не случай определил его в стрелки противотанковой роты. В глазах его, дерзких, глядящих прямо и придиричиво, в его недобром, чуждом всепрощению отношении к слабостям человеческим, в его резких и насмешливых суждениях о несовершенстве жизни ска-

звался характер недюжинный, прямой, сильный и упрямый.

Еще в походе Громов болел, «мучился животом», но не захотел ложиться в госпиталь. Он медленно шел под не ведающим жалости степным солнцем, неся на плече ружье. Командир отделения Чигарев два раза сказал ему:

— Сходи в санчасть. Ты с лица сбледнел как-то.

— А что мне санчасть? — сердито отвечал Громов. — На печь, что ли, меня положат? Одно лечение — вперед идти.

— Ну, дай ружье понесу, — говорил второй номер Валькин, — натерло, небось, холку.

— Ладно, ты за мою холку не беспокойся, — раздраженно ответил ему Громов, — шагай за мной, твое дело маленькое.

И он шел, все шел в горячей белой пыли, время от времени облизывая шершавые, сухие губы, вздыхал и тяжело, шумно втягивал в себя воздух. Ему было очень трудно. Ночью, несмотря на усталость, он спал плохо, беспокойно и тяжело, его лихорадило. «Вот, война, — думал он, — днем жара мучит, ночью холод, озноб бьет».

Впервые в жизни пришлось ему побывать на Волге. Острым, все замечающим глазом осматривал он просторные степные земли, оглядывал больших мохнатых коршунов, цепкими когтистыми пальцами держащихся за белые скользкие изоляторы на телеграфных столбах, прищурившись, смотрел он на реку, всю в белых барашках, поднятых сильным низовым ветром. Он разговаривал в деревнях с рослыми волжскими старухами, с бородатыми седыми рыбаками и вздыхал, слушая рассказы о богатствах огромной реки, о больших урожаях пшеницы, бахчах, виноградниках.

«Эх, дошел, жулик, до коренной волжской земли», — думал он, прислушиваясь по ночам к орудийным раскатам, гулко перекатывающимся над речным простором. Он мучился от невеселых, тяжелых мыслей, — они не оставляли его ни днем в степи, ни на ночных привалах, он наполнялся тяжелой, медленной злобой и безжалостно осуждал в своем сердце все ошибки, все проявления нестойкости.

И весь он был охвачен тяжелой злобой человека, которого война оторвала от родного поля, от избы, от жены, родившей ему детей, — злобой недоверчивого Фомы,

своими глазами увидевшего огромную народную беду, вызванную нашествием немцев. Он видел сожженные деревни, навстречу ему по пыльным дорогам тащились телеги беженцев, он видел старух и стариков, баб с грудными ребятами на руках, ночевавших под открытым небом в степных балках, он видел невинную кровь, он слышал страшные простые рассказы, которые были правдой от первого до последнего слова.

И ни болезнь, ни тяжесть похода по знойным и пыльным дорогам не могли сломить его воли, его желания — уничтожать немецкие танки... Это желание, упорное и медленное, созрело и выросло в сердце Громова, человека, никогда не забывающего обид. Его тяжелое сердце медленно раскалялось в огне войны, оно, точно каменный уголь, разогретый в горне, рдело темнокрасным огнем. И уже нельзя было потушить этот огонь. Он презрительно поглядывал на стрелков, на расчеты легких пулеметов. Он верил в силу своего огромного ружья-пушки, он прощал ружью его вес и вечером, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Он терпеливо и внимательно очищал тряпочкой побелевший от пыли ствол, медленно и любовно смазывал замок, пробовал пальцами могучую пружину спускового механизма, разглядывал темносинюю сталь, блестящую под слоем масла. Прежде чем лечь, он, кряхтя, укладывал спать свое ружье — так, чтобы не было ему сыро, чтобы не ложилась на него дорожная пыль, чтобы не попала в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец. Он его уважал — большое ружье, он верил в него так, как в мирные времена верил в стальные лемеха тяжелого плуга. Он был умелым пахарем в мирные времена, а в час войны Громов взял в руки ружье, пробивающее броню германского танка. Это ружье было под стать его натуре, его нелегкой душе, его недобрым зеленым глазам, — всему духу человека, не прощающего обиду и помнящего добро и зло до последнего вздоха. Он не так уж сладко жил до войны. Он изведal и тяжкий долгий труд, и нужду. Но такой обиды он не мог помыслить. И он шел на врага, припадая на ту ногу, куда ложилась тяжесть ружья, облизывая пересохшие губы, дыша знойным, белым от пыли воздухом, необщительный, неудобный для людей, шедших рядом и уступающих ему дорогу. Так в древние времена шли войны с неуклюжими мушкетами, и все кругом по-

глядывали на них с почтением, надеждой и даже со страхом. И в словах его, в насмешливой и гордой независимости проявлялась душа человека, который пошел на войну, ничего уже не жалея: мог он, усмехнувшись, отдать последнюю папиросу, небрежно кинуть попросившему прикурить бойцу единственный свой коробок спичек, не жалел он своего заболевшего в походе тела, не считал быстрых ударов натруженного сердца, не думал о смерти, навстречу которой шагал...

— Громов, верно, сходил бы в санчасть,— говорил ему старший сержант Игнатьев.

— Нет,— отвечал Громов.

Ему было очень трудно: жестокая война всей тяжестью легла на его плечи, его знобило ночью, а днем в степи иногда белый туман застилал ему глаза, и он не знал — пыль ли это встала в воздухе, или меркнет от хвори его зрение.

И он шагал все вперед,— больной солдат, упрямый и злой, не ждущий никаких похвал за великий подвиг — терпение.

Ночью они заняли боевой рубеж. Пробираясь пришлось ползком, то и дело останавливаясь, припадая к земле. Над передним краем летала фашистская «керосинка»,— потрескивающий шумливый самолет. «Керосинка» ставила фонари — ракеты — и летала между ними, высматривала в белом сиянии, куда бы уронить малокалиберную бомбу. Вреда от этой «керосинки» было немного, но шуму и беспокойства она причиняла порядочно — мешала спать, словно блоха.

Почти до рассвета не спал Громов, лежа на дне «пистолетной» щели, устроенной таким образом, что в нее можно было упрятаться и расчету и противотанковому ружью на тот случай, если германским танкистам удалось бы утюжить гусеницами наш передний край. Валькин дремал, прислонившись к стене ямы. Ему было холодно, и он то и дело натягивал на ляжки полы шинели. Громов сидел рядом с ним и постукивал зубами. «Керосинка» повесила ракету прямо над их головами, и в щели стало так неприятно светло, что Валькин проснулся. Он посмотрел на Громова и тихо, позевывая, сказал:

— Слышь, возьми мою шинель, ей-богу, а я так посижу, выспался я вроде.

— Ладно, спи,— ответил Громов.

Он никогда не был любезен со вторым номером, но

сердцем помнил ворчливую и нежную заботу товарища. И Валькин, глядя иногда на угрюмого Громова, думал: «Этот уж вытащит меня, хоть без обеих ног останусь, не бросит, зубами утащит от немца».

— Волга где? — спросил Громов.

— Вроде на левой руке, — сказал Валькин.

— А справа холмики — это немец, — сказал Громов и спросил: — Ты пряжку в сумке отстегнул? Патроны сподручней доставать будет.

— Весь магазин разложил, — ответил Валькин. — Тут и патроны, и гранаты, и сухари, и селедка, — чего хочешь.

Он рассмеялся, но Громов даже не улыбнулся.

С восходом солнца начался бой. Сразу определилось, что главными запевалями были наши артиллеристы и немецкие минометчики. Они забивали все голоса боя — и пулеметные очереди, и треск автоматов, и короткое рывканье ручных гранат. Бронбойщики сидели впереди нашей пехоты, на «ничьей» земле; над их головами угрюмо завывали советские снаряды, за их спиной рвались германские мины, с змеиным шипом резавшие воздух, сухо барабанили сотни осколков и комьев земли. Перед глазами и за спиной бронбойщиков поднялись стены белого и черного дыма, серо-желтой пыли. Это принято называть «адам». И Громов среди этого ада прилег на дно щели, вытянул ноги и дремал. Странное чувство внутреннего покоя пришло к нему в эти минуты. Он дошел, не сдал. Он дошел и донес свое ружье, он шел так иступленно, как идут в дом мира и любви, как идут больные путники домой, боясь остановок, охваченные одним лишь желанием увидеть близких. Ведь несколько раз в пути казалось — он упадет. И вот он дошел. Он лежал на дне щели, ад выл тысячами голосов, а Громов дремал, вытягивая натруженные ноги: бедный и суровый отдых солдата.

Валькин сидел на корточках возле него и, шепотом матерясь, глядел, как бушевала битва. Иногда мины шипели так близко, что Валькин прятал голову и быстро оглядывался на Громова, — не видит ли первый номер его робости. Но Громов полуоткрытыми глазами смотрел в небо, лицо его было задумчиво и спокойно. Несколько раз шли немцы в атаку и отходили обратно: не могли прорваться сквозь огонь советской пехоты. И у Валькина нарастала тревога: он внутренне чувствовал, что с минуты на минуту должны появиться танки. Он погля-

дывал на Громова и беспокоился — сможет ли больной первый номер выдержать бой с немецкими машинами.

— Ты бы поел чего, а? — спросил он и добавил, желая вызвать Громова на разговор: — Говорил я старшине, чтоб сто граммов тебе дали, для лекарства прямо, от живота, — не дал, черт. А сам, небось, сколько хочешь потребляешь.

Но и этот интересный разговор не поддержал Громов. Он лежал на спине и молчал.

Валькин внезапно припал к краю щели.

— Громов, идут! — закричал он пронзительно. — Идут, Громов, вставай!

И Громов встал.

В дыму и пыли, поднятой рвущимися снарядами, двигались огромные, быстрые и осторожные, одновременно тяжелые и поворотливые танки. Немцы решили прорубить путь пехоте.

Громов дышал шумно и быстро, жадным, острым взором разглядывал танки, шедшие развернутым строем из-за невысокого холма.

Я спрашивал его потом, что испытал он в первый миг своей встречи с танками, не было ли ему страшно.

— Нет, какой там, не испугался, даже, наоборот, боялся, чтоб не свернули в сторону, — а так страху никакого... Пошли в мою сторону четыре танки. Я их близко подпустил — стал одну на прицел брать. А она идет осторожно, словно нюхает. Ну, ничего, думаю, нюхай. Совсем близко, видать ее совершенно. Ну, дал я по ней. Выстрел из ружья невозможный, громкий, и отдачи никакой, только легонько совсем толкнуло, меньше чем от винтовки. А звук прямо особенный, рот раскрываешь и все равно глохнешь. И земля даже вздрагивает. Сила! — И он погладил гладкий ствол своего ружья. — Ну, промахнулся я, словом. Идут вперед. Тут я второй раз прицелился. И так мне это весело, и зло берет, и интересно, ну прямо в жизни так не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил, а в сердце словно смеется кто-то: «А вдруг не осилишь, а?» Ну, ладно. Дал по ней второй раз. И сразу вижу — попал, прямо дух занялся: огонь синий по броне прошел, как искра, быстрый. И я сразу понял, что бронебойный снарядик мой внутрь вошел и синее пламя это дал. И дымок поднялся. Закричали внутри немцы, так закричали, я в жизни такого крику не слышал, а потом сразу треск пошел внутри, трещит, трещит. Это патроны рваться стали.

А потом пламя вырвалось, прямо в небо ударило. Готов! Я по второй танке дал. И тут уж сразу, с первого выстрела. Пламя синее на броне. Дымок пошел. Потом крик. И огонь с дымом снова. Дух у меня возрадовался, и хвори никакой, сразу выздоровел. И гордо как-то себя чувствую. И так дух радуется, прямо не было со мной такого. Всему свету в глаза смотреть могу. Осилит я. А то ведь день и ночь меня мучило: неужели она меня сильнее...

Разговаривали мы с Громовым в степной балке. Солнце уже село. Сумрак наполнил балку, неясно чернели длинные противотанковые ружья, прислоненные к стенке овражка, прорытого весенней водой, мерно посапывали, завернувшись в шинели, бронебойщики. Молча сидел подле Валькин, натягивал на мерзнущие ноги полы шинели. Лицо его было темным от загара и сумерек, казалось мрачным.

— Ты бы закрылся шинелью, больной ведь человек,— сказал он.

— Э, чего там! — Громов махнул рукой.

Его взволновал рассказ о первой встрече с танками. Глаза его светились в полутьме, они были совсем светлыми, большими, зелеными, недобрыми.

И я сидел рядом и смотрел молча на него: на больного солдата, осилившего немцев, на человека, которому было совсем не легко воевать, на труженика земли, ставшего бронебойщиком не по случаю, не по велению начальства, а просто по доброй воле, от всей души.

*20 сентября 1942 года
Донской фронт,
северо-западнее Сталинграда*



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Месяц тому назад одна наша гвардейская дивизия своими тремя стрелковыми полками, с артиллерией, обозами, санитарной частью и тылами подошла к рыбачьей слободе на восточном берегу Волги, напротив Сталинграда. Марш был совершен необычайно стремительно — на автомашинах. День и ночь пылили грузовики по плоской заволжской степи. Коршуны, садившиеся на телеграфные столбы, становились серыми от пыли, поднятой движением сотен и тысяч колес и гусениц, верблюды тревожно озирались, — им казалось, что степь горит; могучее пространство все клубилось, двигалось, гудело, воздух стал мутным и тяжелым, небо заволокло красной ржавой пеленой, и солнце, словно темная секира, повисло над тонущей во мгле землей. Дивизия почти не делала остановок в пути, вода вскипала в радиаторах, моторы грелись, люди на коротких остановках едва успевали глотнуть воды и отряхнуть с гимнастерок тяжелую, мягким пластом ложившуюся пыль, как раздавалась команда: «По машинам!» — и снова моторизованные батальоны и полки, гудя, двигались на юг. Стальные каски, лица, одежда, стволы орудий, закрытые чехлами пулеметы, мощные полковые минометы, машины, противотанковые ружья, ящики с боеприпасами — все сделалось рыжеватосерым, все покрылось мягкой теплой пылью. В головах людей стоял шум от гула моторов, от хриплого воя гудков и сирен, — водители боялись столкновений в пыльной мгле дороги, все время жали на клаксоны. Стремительность движения захватила всех — и бойцов, и водителей, и артиллеристов. Только генералу Родимцеву казалось, что его дивизия движется слишком медленно; он знал, что в эти дни немцы, прорвав нашу сталинградскую оборону, вырвались к Волге, заняли господствующий над городом и Волгой курган и продвигались по

центральным улицам города. И генерал все торопил движение, все повышал и без того бешеный темп его, все сокращал и без того короткие остановки. И напряжение его воли передавалось тысячам людей,— им всем казалось, что вся их жизнь состоит в стремительном, день и ночь длящемся походе.

Дорога повернула на юго-запад, и вскоре стали попадаться клены и вербы с красными стройными ветвями, с узкими серебристо-серыми листьями, вокруг раскинулись большие сады, засаженные приземистыми яблонями. И одновременно с приближением к Волге дивизия увидела темное высокое облако — его нельзя было спутать с пылью, оно было зловещим, быстрым, легким и черным, как смерть: то поднимался над северной частью города дым горящих нефтехранилищ. Большие стрелы, прибитые к стволам деревьев, указывали в сторону Волги, на них было написано: «Переправа», и надпись будила в солдатской душе тревогу; казалось, что черный ободок вокруг надписи из того смертного дыма, что стоит под горящим городом. Дивизия подошла к Волге в грозные для Сталинграда часы: нельзя было дожидаться ночной переправы. Люди торопливо сгружали с машин ящики с оружием и патронами, ломали крышки, вместе с хлебом получали гранаты, бутылки с горючей жидкостью, сахар, колбасу...

Нелегкая вещь быстро переправить через Волгу полнокровную дивизию даже во время маневров. Но переправить дивизию, когда над Волгой светит ясное солнышко, когда воздух прозрачен, когда в небе носятся желтые осы — «мессеры», когда немецкие пикировщики бомбят берег, а минометы и автоматчики обстреливают с высот расстилающуюся перед ними в своей ясной шири реку,— это не то, что не легко, это больше, чем трудно.

Но дух стремительного движения, принятый дивизией на марше, воля к сближению с противником помогли справиться с этой задачей. Переправа прошла с малыми потерями,— настолько стремительно и смело была она проведена. Люди грузились на баржи, паромы, лодки. «Готово?» — спрашивали гребцы. «Вперед, полный!» — кричали капитаны катеров, и серенькая подвижная полоска зыбкой воды между бортом и берегом вдруг начинала расти, шириться, волна тихо поплескивала у носа суденышка, и сотни глаз напряженно, внимательно глядели то на воду, то на поросший, начавший желтеть листвой низовой берег, то туда, где в беловатой

дымке высился сожженный город, принявший жестокую и прекрасную судьбу. Баржи колыхались на волне, и людям стрелковой дивизии становилось страшно оттого, что враг всюду, в небе и на берегу, а они встречаются с ним, не чувствуя успокаивающей прочности земли под ногами. Невыносимо прозрачен и чист был воздух, невыносимо ясно синее небо, безжалостно ярким казалось солнце, обманчиво неверной текучая мутная вода. И никого не радовало, что воздух чист, что ноздри ощущают речную прохладу, что воспаленных от пыли глаз касается нежная влажность дыхания Волги. На баржах, паромах, катерах и лодках молчали. О, почему не стоит над рекой душная и густая земная пыль! Почему так прозрачен и тонок голубоватый дымок горящих шашек! Головы тревожно поворачивались, все глядели на небо.

— Пикирует, паразит! — крикнул кто-то.

Метрах в пятидесяти от баржи вдруг выгнало из воды высокий и тонкий голубовато-белый столб с рассыпчатой вершиной. Столб обвалился, обдав людей обильными брызгами, наплескав водой на дощатую палубу. И тотчас еще ближе вырос и обрушился второй столб, за ним — третий. А в это время немецкие минометчики открыли беглый огонь по начавшей переправу дивизии. Мины рвались на поверхности воды, и Волга покрывалась рваными пенными ранами, осколки застучали по бортам баржи; тихо вскрикивали раненые, так тихо, словно старались скрыть ранение от друзей, врагов, самих себя. А тут уж засвистели над водой винтовочные пули.

Был страшный миг, когда тяжелая мина ударила в борт небольшого парома, блеснуло пламя, темным дымом закрыло паром, послышался звук взрыва и протяжный, точно родившийся из этого грохота, людской вскрик. И тотчас тысячи людей увидели, как среди покачивающихся на воде древесных обломков зеленеют тяжелые стальные каски пловущих. Двадцать гвардейцев из сорока на пароме погибли.

И правда, страшен был этот миг, когда гвардейская дивизия, сильная, как Илья Муромец, не смогла помочь двадцати раненым, ушедшим под воду.

Ночью переправа продолжалась; и никогда, пожалуй, сколько существуют свет и тьма, люди так не радовались мраку сентябрьской ночи.

Генерал Родимцев провел эту ночь в напряженной деятельности. За время войны Родимцеву пришлось

пройти через много испытаний. Его дивизия дралась под Киевом, она выбивала из Сталинки прорвавшиеся эсэсовские полки, она не раз разбивала кольцо окружения, переходя от обороны к бешеным атакам. Темперамент, сильная воля, спокойствие, быстрота реакции, умение наступать, когда всякому другому кажется, что о наступлении мечтать нельзя, тактическая опытность и осторожность, сочетающиеся с тактическим и личным бесстрашием,— черты военного характера молодого генерала. И характер генерала стал характером его дивизии.

Мне часто приходилось встречать в армии больших патриотов своего полка, батареи, танковой бригады. Но нигде, пожалуй, не видел я такой привязанности, такого патриотизма, как здесь. Он носит трогательный и подчас несколько смешной характер. В дивизии гордятся, конечно, в первую очередь своими боевыми делами, гордятся своим генералом, своей техникой. Но если послушать командиров, то нигде нет такого повара, умеющего мастерски печь пирожки, такого парикмахера, как Рубинчик, который не только замечательно бреет, но и артистически играет на скрипке. «О, наша дивизия!» — только и слышишь во время разговоров. Когда кого-нибудь хотят пристыдить, говорят: «Что ты, ей-богу, делаешь, ведь в нашей-то дивизии...» Часто также слышишь: «Вот скажу генералу... генерал будет доволен, генерал будет огорчен». Ветераны, «фундаторы», как они себя называют, рассказывая о больших военных делах, обязательно вставят в разговор: «Да уж так повелось, наша дивизия всегда дерется на самых ответственных участках». Раненые в госпиталях беспокоятся, как бы их не отправили в другую часть, пишут письма товарищам, а по выздоровлении часто проделывают долгий и трудный путь, лишь бы разыскать свою дивизию.

Может быть, в эту ночь, когда последние подразделения переправились в Сталинград, генерал подумал, что дружба, связывающая людей, поможет ему воевать в этой исключительно своеобразной и тяжелой обстановке.

Действительно, трудно было бы придумать более сложную и неблагоприятную обстановку начала боя. Дивизия, вступая в Сталинград, разделялась на три части: во-первых, тылы ее и тяжелая артиллерия оставались на восточном берегу, отделенные от полков Волгой; во-вторых, полки, переправившиеся в город, тоже не могли

держат сплошной линии фронта, так как немцы уже стояли между двумя полками, переправившимися в заводском районе, и полком, переправившимся ниже по течению, в центральной части города.

Я убежден, что именно это чувство своего «дивизионного» патриотизма, любовь, привычка, связывающая командиров, некое единство военного стиля, единство характера дивизии и ее командира в большой степени помогли разъединенным подразделениям, отделенным от тылов Волгой, действовать не вразброд, а как стройное целое,— установить связь, взаимодействие и в конце концов, блестяще решив общую боевую задачу, создать непрерывную линию фронта всех трех полков и образцово наладить снабжение боеприпасами и продовольствием. Этот дух общности был как бы подосновой боевого умения, мужества и упорства командиров и бойцов дивизии.

В самом городе, положение было тяжелым: немцы считали, что занятие Сталинграда вопрос дня, может быть,— часов. Главной силой обороны являлась, как часто это бывает в тяжелые времена, наша артиллерия. Но немцы энергично и довольно успешно боролись с ней силами автоматчиков,— условия города позволяли незаметно подкрадываться к пушкам и внезапными очередями выбивать расчеты. Немцы вот-вот собирались вырваться к берегу и опрокинуть нас в Волгу. Но недаром день и ночь шли в клубах пыли машины, недаром степь словно заволочло густым желтым дымом.

Наутро генерал Родимцев переправился в Сталинград на моторной лодке.

Дивизия сосредоточилась и была готова к бою.

Что должна была предпринять дивизия, вступившая в строй обороняющих Сталинград войск? Дивизия, тыл которой находился за Волгой, командный пункт в пяти метрах от воды, а один полк был «отжат» немцами от остальных полков. Занять оборону, начать срочно окапываться, укрепляться в домах? Нет, не это. Положение было настолько тяжелым, что Родимцев прибег к иному, грозному, уже испытанному им под Киевом средству,— он начал наступать! Наступать всеми полками, всеми средствами своего могучего огня, всей силой своего умения, всей стремительностью. Он начал наступать всей силой горького гнева, охватившего тысячи людей, увидевших в красном свете восходящего солнца тяжело израненный немцами город с его белыми домами, чудесными заводами, широкими улицами и площадями.

Солнце восхода, словно огромный, налившийся кровью скорби и гнева глаз, смотрело на бронзового Хользунова, на орла с одним простертым крылом над обвалившимся зданием детской больницы, на белые фигуры нагих юношей, выделяющихся на бархатно-черном фоне покрывшегося копотью пожара Дворца физкультуры, на сотни молчавших, ослепленных домов. И такими же, налитыми кровью гнева и скорби, глазами смотрели на изуродованный немцами город тысячи людей, переправившиеся через Волгу. Немцы не ожидали наступления, немцы настолько были уверены в том, что, методически отжимая наши войска к берегу, сбросят их в Волгу, что прочно не закрепляли занятого пространства. Гвардейский полк Блина и два других штурмовали занятые немцами районы города. Они не ставили себе первой целью соединиться, первой их целью было бить противника, отнять у него то, что создавало выгодные условия немецких позиций — возможность просматривать берег и Волгу, контролировать центральную переправу. Полк Елина пошел на штурм, не видя двух своих товарищей-полков. Но полк чувствовал и верил, что он не один принял тяжкий жребий. Он чуял дыхание двух гвардейских полков, близко, рядом, возле себя. Он слышал их тяжкую поступь, грохот их артиллерии звучал, как братские голоса, дым и пыль сражения, взметнувшиеся высоко в воздух, говорили о движении гвардии вперед, пикировщики, словно потревоженные галки, вились с утра до вечера над дерущимися батальонами гвардейцев.

Полк Елина штурмом взял огромные здания — опорные пункты немцев.

Никогда еще полку не приходилось вести таких боев. Здесь все общепринятые понятия сдвинулись, сместились, словно в город над Волгой шагнули леса, степные овраги, горные кручи и ущелья, равнинные холмы. Здесь как бы воедино собрались особенности всех театров войны от Белого моря до Кавказских гор. Одно отделение в течение дня переходило из-за кустарников и деревьев, напоминающих рощи Белоруссии, в горную расщелину, где в полумраке нависающих над узким переулком стен приходилось пробираться по каменным глыбам обвалившегося брандмауэра; еще через час оно выходило на залитую асфальтом огромную площадь, во сто крат более ровную, чем донская степь, а к вечеру ему приходилось ползти по огородам, среди вскопанной земли и полуобгоревших поваленных заборов, совсем

как в дальней курской деревеньке. И эта резкая смена требовала постоянного напряжения командирской мысли, быстрой перестройки всех приемов боя. А иногда часами длились упорные штурмы домов, бои происходили на подступах, у стен дома, в заваленных кирпичом полуразрушенных комнатах и коридорах, где сражающиеся путались ногами в сорванных проводах, среди измятых остовов железных кроватей, кухонной и домашней утвари. И эти бои не были похожи ни на один театр от Белого моря до Кавказа.

В одном здании немцы засели так прочно, что их пришлось поднять на воздух вместе с тяжелыми стенами. Шесть человек саперов под лютым огнем чующих смерть немцев поднесли на руках десять пудов взрывчатки и произвели взрыв. И когда на миг представишь себе эту картину: лейтенанта сапера Чермакова, двух сержантов — Дубового и Бугаева, саперов Клименко, Шухова, Мессерашвили, ползущих под огнем вдоль разрушенных стен, каждого с полторапудовым запасом смерти, когда представишь на миг их потные, грязные лица, их потрепанные гимнастерки, представишь, как сержант Дубовой крикнул: «Не дрейфь, саперы!», и Шухов, кривя рот, отплевывая пыль, отвечал: «Где уж тут! Дрейфить раньше надо было!» — то, право же, чувство великой гордости охватывает тебя. Ведь какие молодцы!

А пока Елин победоносно занимал здание за зданием, другие два полка штурмовали курган, с которым многое связано в истории Сталинграда, курган, известный со времен гражданской войны, курган, на котором играли дети, гуляли влюбленные, где катались зимой на саниах и на лыжах. Место, которое на русских и немецких картах обведено жирным кружком, место, о занятии которого немецкий генерал Тодт, вероятно, сообщил радостной радиограммой германской ставке. Там оно значится как «господствующая высота, с которой просматривается Волга, оба ее берега и весь город». А на войне то, что просматривается, то и простреливается. Страшные это слова — «господствующая высота». Ее штурмовали гвардейские полки.

Много хороших людей погибло в этих боях. Многих не увидят матери и отцы, невесты и жены. О многих будут вспоминать товарищи и родные, вздыхать знакомые. Много тяжелых слез прольют по всей России о погибших в боях за курган. Не дешево далась гвардейцам эта битва. Красным курганом назовут его. Железным

курганом назовут его — весь покрылся он колючей чешуей минных и снарядных осколков, хвостами-стабилизаторами германских авиационных бомб, темными от пороховой копоти гильзами, рубчатыми рваными кусками гранат, тяжелыми стальными тушами развороченных германских танков. Но пришел славный миг, когда боец Кентя сорвал немецкий флаг, бросил его на землю и наступил на него сапогом.

Полки дивизии соединились. Невиданно тяжелое наступление, начатое с берега Волги, чуть ли не от самой воды, завершилось успехом. Этим как бы закончился первый период боевой работы дивизии в Сталинграде. Этот период принес дивизии большой успех. Фронт, занятый ее полками, сплошной линией прошел по выгодным и устойчивым рубежам. Люди обогатились в этих боях огромным, бесценным опытом, который нельзя было почерпнуть ни в одной академии мира, ибо мир, сколько он стоит, не знал таких боев, как эти: войска с танками, артиллерией, минометными полками, поддерживаемые мощными воздушными армиями, сражались на улицах и площадях огромного города. В этих боях сотни и тысячи людей, бойцов и командиров, узнали, что такое борьба за многоэтажный дом, связисты научились тянуть провода не шлейфом, а отдельными линиями вдоль стен домов, в этих боях по-настоящему поняли значение радиосвязи, саперы узнали, как нужно минировать и разминировать улицы и переулки. Вероятно, боец Хачатуров, сумевший под огнем обезвредить сто сорок две германских мины, мог бы читать лекции по этому вопросу. Бойцы и командиры полной мерой измерили ценность в уличных боях минометов, противотанковых пушек, ручных гранат, противотанковых ружей. Они научились маскировать в домах, подвалах могучую технику дивизии. По выражению командира полка майора Долгова, «гвардеец полюбил бутылку с горючей жидкостью».

Начался второй период тяжелой битвы — оборонительная война, с десятками внезапностей, мощными атаками немецких танков, жестокими налетами пикировщиков, контратаками наших подразделений, снайперская война, в которой участвуют все виды огня — от винтовки до тяжелой пушки и пикирующего бомбардировщика; новый период со своим изумительным, странным, ни на что не похожим бытом. Ведь шли не только часы, шли дни и недели жизни в этом дымном аду, где ни на ми-

нуту не смолкали пушки и минометы, где гул танковых и самолетных моторов, цветные ракеты, разрывы мин стали так привычны для города, как некогда были привычны дребезжанье трамвая, автомобильные гудки, уличные фонари, многоголосый гул тракторного завода, деловитые голоса волжских пароходов. И здесь ведущие битву создали свой быт — здесь пьют чай, готовят в котлах обеды, играют на гитаре, шумят, следят за жизнью соседей, беседуют. Здесь живут люди, чей характер, привычки, склад души и мысли — плоть от плоти народа, пославшего на трудный подвиг своих сыновей.

Мы пошли на командный пункт дивизии в девять часов вечера. Темные воды Волги освещало разноцветными ракетами, они на невидимых стеблях склонялись над истерзанной набережной, и вода казалась то шелковисто-зеленой, то фиолетово-синей, то вдруг становилась розовой, словно вся кровь великой войны впадала в Волгу. Со стороны заводов слышалась стрельба автоматов, орудийные залпы освещали белыми зарницами темные трубы, и на миг казалось, что завод работает по-обычному, что это печатают ночные бригады клепальщиков, что голубоватые вспышки автогена освещают заводские корпуса и трубы. Пронзительно тонко свистел ночной воздух, разрезаемый пулями, отвратительно злорадно шипели германские мины, наполняя волжский простор треском разрывов. В свете ракет видны разрушенные постройки, изрытая окопами земля, лепящиеся вдоль обрыва и оврагов блиндажи, глубокие ямы, прикрытые от непогоды кусками жести и досками.

— Слышь, обед приносили? — спрашивает боец, сидящий у входа в блиндаж.

Из темноты отвечает голос:

— Давно пошли, а вот нет их обратно. Либо залегли где, либо не дойдут уже вовсе. Сильно очень бьет около кухни.

— Вот паразит! Обедать охота, — недовольно говорит сидящий и зевает.

Командный пункт дивизии размещен в глубоком подвале, напоминающем горизонтальную штольню каменноугольной шахты; штольня выложена камнем, креплена бревнами, и, как в заправской шахте, по дну ее журчит вода. Здесь, где все понятия сместились, где продвижение на метры равносильно многокилометровым боевым движениям в полевых условиях, где иногда расстояние до засевавшего в соседнем доме противника измеряется

двумя десятками шагов, естественно, сместилось и взаиморасположение командных пунктов дивизии. Штаб дивизии находится в двухстах пятидесяти метрах от противника, соответственно расположены командные пункты полков и батальонов. «Связь с полками в случае прорыва,— шутя говорит работник штаба,— легко поддерживать голосом, крикнешь — услышат. А оттуда голосом в батальон передадут». Но обстановка командного пункта такая же, как обычно,— она не меняется, где бы ни стоял штаб: в лесу, во дворце, в избе. И здесь, в подземельи, где все ходит ходуном от взрывов мин и снарядов, сидят, склонившись над картой, штабные командиры, и здесь, ставший традиционным во всех очерках с фронтов войны, связист кричит: «Луна, луна!», и здесь, скромно держа в руке махорочную папиросу и стараясь не дышать в сторону начальства, сидят в углу связные. И сразу же здесь, в штольне, освещенной бензиновыми лампочками, чувствуется, что к одному человеку тянутся все нити проводов из разрушенных домов, заводов, мельниц, занятых гвардейской дивизией, что к одному человеку обращены вопросы командиров, что один человек немного насмешливой, спокойной и внимательной речью определяет строй жизни гвардейцев. Голоса людей спокойны, подчас медлительны, движения неторопливы, часто видишь улыбающиеся лица, часто слышится смех. Люди с тренированной в боях волей ведут себя так, словно им легко, будто они шутя, без усилий творят самое трудное, самое тяжелое дело на земле. А ведь в штольне душно: когда входит сюда свежий человек, крупные капли пота сразу же выступают у него на висках, на лбу, он дышит часто и прерывисто. В штольне, словно у основания плотины, сдерживающей страшный напор рвущихся к Волге вражеских сил, пол, стены, потолок — все дрожит от напряжения, от тяжести взрывов бомб и ударов снарядов дребезжат телефоны, пляшет пламя в лампах, и огромные неясные тени судорожно движутся на мокрых каменных стенах. А люди спокойны — они здесь, в этом горниле, были вчера, были месяц назад, будут завтра. Сюда несколько ночей тому назад прорвались немцы и бросали под откос ручные гранаты — пыль, дым, осколки летели в штольню, из тьмы доносились выкрики команды на чуждом, дико звучащем здесь, на волжском берегу, языке. И командир дивизии Родимцев оставался в этот роковой час таким же, как всегда: спокойным, с немного насмешливой

речью, каждым размеренным своим словом закладывающий увесистый камень в пробитую вражеской силой плетину. И вражеская сила отхлынула.

Дивизия вошла в ритм битвы. Дыхание людей, бие-ния сердец, короткий сон, приказы начальников, стрельба орудий, пулеметов, противотанковых ружей — все находится в ритме битвы. Это, наверное, самое трудное, думается мне, в этих внезапных налетах пикирующих бомбардировщиков, в ночных и дневных штурмах фашистской пехоты, в стремительных наскоках десятков танков, вдруг появляющихся то на рассвете, то в три часа дня, в убаюкивающем ложном спокойствии вечерних сумерек — обрести чувство ритма. Ритм бури! Ритм сталинградской битвы!

Родимцев рассказывает мне о том, что в недавнем ночном штурме участвовали немецкие саперы.

Он говорит негромко и задумчиво, а ложечка на са-модельном столе пляшет, подпрыгивает, точно ее охва-тил страх и она хочет убраться из этой гудящей штоль-ни с мечущимися по стенам мутными тенями. Стрекот-нул автомат, звук его хорошо слышен здесь.

— Вот это немец, — говорит Родимцев.

Он рассказывает обстоятельно, не торопясь.

— Война здесь подвижная, гибкая, — говорит он. — Она то ночная, то дневная, то танковая, а бывает, что и танки, и авиация, и огневые налеты артиллерии и ми-нометов концентрируются в одной точке. Немец нарочно меняет тактику. Но мы за месяц отлично научились воевать в этих условиях. Действуем большей частью мелкими группами. Во взятии дома у нас участвуют две группы: штурмовая и укрепления. Штурмуют люди, во-оруженные гранатами, бутылками с горючей жидкостью, ручными пулеметами. А группа укрепления, пока еще штурмовая, добывает противника, подтягивает боеприпа-сы, продовольствие, запасаец не меньше, чем на шесть дней, ведь часты случаи окружения. Вот сегодня пришли два бойца, — оказывается, четырнадцать дней воевали в доме, окруженном «немецкими» домами. Эти двое спо-койно эдак потребовали сухарей, боеприпасов, сахару, табаку, нагрузились и пошли, говорят: у нас там двое остались, дом стерегут, курить хотят. Вообще война в домах — своеобразнейшее дело. Особенность этой вой-ны в Сталинграде — гибкость, резкие, почти мгновенные изменения тактики да и всего характера боев. То борьба за один дом, то вот, как недавно, — два полка немецкой

пехоты и семьдесят танков внезапно обрушиваются на полк Панихина, и эдак десять — двенадцать атак на день.

Я спросил его, не утомлен ли он этим круглосуточным напряжением боев, этим круглосуточным грохотом, этими сотнями немецких атак, которые были ночью, вчера днем, будут завтра.

— Я спокоен, — сказал он, — так нужно. Я уж, пожалуй, все видел. Как-то мой командный пункт утюжил немецкий танк, а после автоматчик для верности бросил гранату, я эту гранату выкинул. И вот вышел, воюю и буду воевать до последнего часа войны.

Он сказал это спокойно, негромким голосом. Потом он стал расспрашивать о Москве. Поговорили как полагается о театрах.

— У нас тут тоже были два концерта — играл на скрипке парикмахер Рубинчик.

И все вокруг заулыбались, вспомнив о концерте. А телефоны за время этого разговора звонили раз десять, и генерал, чуть-чуть поворачивая голову, говорил два-три слова дежурному по штабу. И в этих коротких словах, произносимых легко, буднично, словах боевых приказов, была торжественная сила человека, овладевшего ритмом боевой бури, человека, диктовавшего этот страшный четкий ритм войны, ставший ритмом, стилем гвардейской дивизии, стилем всех наших сталинградских дивизий, всех советских людей, воюющих в Сталинграде.

Заместитель генерала, полковник Борисов, отдавал последние распоряжения перед штурмом одного из домов, занятого немцами. Этот пятиэтажный дом имел большое значение; из его окон немцы просматривали Волгу и часть берега.

План штурма меня поразил множеством деталей, сложностью разработки. На аккуратно сделанном чертеже был нанесен дом и все соседние постройки. Условные значки показывали, что на втором этаже в третьем окне находится ручной пулемет, на третьем этаже в двух окнах сидят снайперы, а в одном расположен станковый пулемет, — словом, весь дом был разведан по этажам, по окнам, по черным и парадным подъездам. В штурме этого дома участвовали минометчики, гранатометчики, снайперы, автоматчики, в этом штурме участвовала полковая артиллерия и мощные пушки, находившиеся на том берегу, в Заволжьи. У каждого рода оружия была своя задача, строго сопряженная с общей целью; взаим-

ная связь, управление осуществлялось системой световых сигналов, по радио, телефонами. Ведущая мысль этого наступления была одновременно простой и сложной: цель была бы ясна ребенку, а пути к этой цели казались настолько сложными, что только большой военной грамотностью можно было их преодолеть.

И в этом снова ощутилось своеобразие сталинградской битвы. Здесь сочеталось огромное стихийное столкновение двух государств, двух борющихся на жизнь и смерть миров с математической, педантически точной борьбой за этаж дома, за перекресток двух улиц; здесь скрестились характеры народов и воинская умелость, мысль, воля; здесь происходила борьба, решающая судьбы мира, борьба, в которой проявлялись все силы и слабости народов: одного — поднявшегося на бой во имя мирового могущества, другого — вставшего за мировую свободу, против рабства, лжи и угнетения.

Глубокой ночью мы ехали вдоль Сталинграда на моторной лодке. Шесть километров дороги, несколько десятков минут по широкой волжской воде.

Волга кипела, синий пламень разрывов германских мин вспыхивал на волнах, выли несущие смерть осколки, угрюмо гудели в темном небе наши тяжелые бомбардировщики; сотни светящихся трасс, окрашенных в синий, красный, белый цвета, тянулись к ним от германских зенитных батарей, бомбардировщики изрыгали по немецким прожекторам белые трассы пулеметных очередей. Заволжье, казалось, потрясало всю вселенную могучим рокотаньем тяжелых пушек, всей силой великой нашей артиллерии, на правом берегу земля дрожала от взрывов, широкие зарницы бомбовых ударов вспыхивали над заводами: земля, небо, Волга — все было охвачено пламенем. И сердце чуяло — здесь идет битва за судьбы мира, здесь решается вопрос всех вопросов, здесь спокойно торжественно среди пламени сражается наш народ.

*20 сентября 1942 года
Сталинград*



ВЛАСОВ

Днем Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбацкого серого паруса не увидишь и не услышишь на Волге. Темная вода бежит под облачным небом, холодом веет от нее. Низкий берег, поросший лесом, так же пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося быка немец уродует тысячами тяжелых снарядов и мин пустынную полосу берега, почему с утра до заката солнца выются над этой бедной полоской земли десятки немецких пикировщиков, с угрюмым бешенством бомбят кажущуюся пустой землю?

Здесь переправа. И, едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Это по ним немцы в последние недели выпустили восемь тысяч мин и пять тысяч снарядов, это на них обрушилось за полторы недели пятьсот пятьдесят авиационных бомб. Земля на переправе вспахана злым железом, словно безумные кони, ведомые обезумевшим пахарем, дни и ночи коверкали, рвали, корежили огромными лемехами плуга бедный клочок прибрежной земли.

В сумерках появляется темный высокий силуэт нагруженной баржи. Хозяйским хриплым баском покрикивает буксирный пароходик. Точно по чьему-то слову чудесно оживает все вокруг, жужжат буксующие в песке грузовики, красноармейцы, побряхтывая, несут плоские ящики со снарядами, бутылками с горючей жидкостью, патроны, гранаты, хлеб, сухари, колбасу, пакеты пищевых концентратов. Баржа оседает все ниже и ниже. А немецкий огонь не прекращается ни на минуту. Но теперь он не прицельный, наблюдатели противника не видят, что происходит на берегу, не видят темной шири реки. Ми-

ны со свистом перелетают через Волгу, рвутся, освещая на миг красными вспышками деревья, холодный белый песок. Осколки, пронзительно голоса, разлетаются вокруг, шуршат меж прибрежной лозы. Но никто не обращает на них внимания. Погрузка идет стремительно, слаженная, великолепная своей будничностью. Под огнем немецких минометов и артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно. Их работа освещена пламенем горящего Сталинграда. Ракеты поднимаются над городом, и в их стеклянно-чистом свете меркнет мутное дымное пламя пожаров. Тысяча триста метров волжской воды отделяют причалы лугового берега от Сталинграда. Не раз слышали бойцы понтонного батальона, как в короткой тишине над Волгой проносился приглушенный, кажущийся издали печальным звук человеческих голосов: «а-а-а...» — то поднималась в контратаку наша пехота. Это протяжное «ура» пехоты, дерущейся в пылающем Сталинграде, этот вечный огонь, дымное дыхание которого доходило через широкую воду, придавали бойцам переправы силу творить свой суровый подвиг, в котором воедино слились тяжелая будничная работа русского рабочего с доблестью солдата. Все они понимали значение своей работы. Переправа питает сталинградские дивизии хлебом и снаряжением. Танки, полки пополнений, все идет через переправу. И переправа работает: идут к Сталинграду баржи, лодки, тральщики, моторные катеры. Работал до последнего времени штурмовой мостик, наведенный с острова на правый берег Волги. Его строили у берега; стук сотен топоров и визг пил, режущих сосновые и еловые бревна, заглушал в людских сердцах тревогу, трудовой гул покрывал шум германских воздушных моторов, раскаты артиллерийской стрельбы. Люди за трое суток построили мост через Волгу — шестьдесят пять станов плотов с двумястами балками-поперечинами были скреплены цинковым тросом, прочными планками, покрыты тесом. Мост завели верхним концом по течению, и вода стала заносить его на правый берег. Шесть человек внесли на мост пятнадцатипудовый якорь. И когда мост стал подходить к правому берегу, якорь спустили в воду. Штурмовой мостик лег через Волгу. Вероятно, из того количества металла, которое потратили немецкие летчики, артиллеристы и минометчики на разрушение этого штурмового мостика, сделанного из сосны и ели, можно было бы создать конструкцию огромного железного мо-

ста. Тем мужеством, тем самопожертвованием, тяжелым трудом, которые проявили бойцы понтонного батальона при восстановлении разрушаемых немцами пролетов штурмового мостика, держится связь страны с борющимся Сталинградом. Эта связь прочна и нерушима, ей порукой солдатская кровь и большие трудовые руки.

Бойцы понтонного батальона все почти ярославцы. Живут ярославцы на редкость дружно, большим братским землячеством.

Заместитель командира батальона по политической части Перминов, сам волгарь, человек с темнокрасным от солнца и речного ветра лицом, находится на переправе с первого дня. Голос у него громкий, привыкший к команде, привыкший перекрикивать грохот рвущихся снарядов, он даже во время бесед говорит, словно команду отдает.

— Эх, не люди у нас в батальоне,— говорит Перминов,— я даже не знаю, золото-люди! Гордятся: мы — ярославцы. Недавно в газете статья была большая о Ярославле, так эту газету вконец зачитали, собрание устроили — обсуждали. Как петухи, гордятся: «Про наш Ярославль как пишут!» И вот удивительная вещь: ведь работа на переправе — горькое дело, последние дни авиация тучей над нами висит, — поверите ли, за один день насчитали мы тысячу восемьсот заходов, — глоснешь от этого воя и рева, а люди так любят свой батальон, так своей работой гордятся, что, заикнитесь только об откомандировании человека, — трагедия будет. Эвакуировали мы на днях в тыл двух раненых красноармейцев — Волкова и Лукьянова, особенно досталось Волкову: в шею ему осколок попал и лопатку рассекло. Проходит несколько дней. Зовут меня красноармейцы: Волков и Лукьянов явились! Я глазам своим не поверил: ведь тридцать километров то попутными машинами, то ползком добирались. И как-то трогательно до слез, и зло берет: ведь удрали, черти, из госпиталя. Что с ними тут делать, — их ведь лечить надо, а под огнем, в земле сидя, какое лечение? Дождались ночи, посадили их на машину и обратно отправили в госпиталь. И они от обиды плакали, и у нас всех такое чувство было, словно мы нехорошее дело сделали. Да, народ привык к вечному огню, сам удивляешься.

Днем переправа не работает. Днем безлюден берег, пустынна Волга, темная вода бежит под облачным осенним небом, — холодом веет от нее. Лишь изредка про-

мчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи земли, дыма, желтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжелых немецких минометов.

С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рев немецкой авиации, с тупым бешенством корежущей землю.

— Как можно спать при такой бомбежке? — спрашиваю я бойцов.

— Да вот спим, — говорят понтонеры, — день не спишь, второй не спишь, а потом ляжешь. Да поустанешь как следует и все равно заснешь.

Люди на этом раскаленном берегу, зарывшись в землю, не изменяют чудесному строю своей простой души. Когда читаешь воспоминанья о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется, что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится ненужным, смешным.

А русский человек, воюющий в пламени горящего, сотрясаемого взрывами Сталинграда, — такой же неизменный, ясный, простой, бесконечно скромный, каким знаем мы его и в великом мирном труде. Так же бережно хранит он письма, пришедшие из дальних деревень, так же любовно говорит о ребятишках своих и стариках, покурит, вздохнет, задумается, когда ему не в меру тяжело, кипятит чайк среди развалин дома, окруженного немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро, что нет ничего сильнее в жизни, чем правда.

И здесь, на переправе, идет во время дневного отдыха обычная, прекрасная своей святой будничностью жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед, русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, легкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня, и отчаянно парятся в ней, лупцуют себя венниками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж, пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб, не дай

бог, не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабушку Марию Семеновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».

И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.

Немцы все неистовствуют над полосой волжского берега. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пекся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба, и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал повар и одновременно веселым и злым голосом крикнул:

— Разрешите доложить, кухня во второй роте взлетела, вся чисто, вместе со щами, двухсоткой, прямым попаданием!

— Не медля варить второй обед в котле,— сказал Перминов.

Жизнь упряма, крепок наш человек,— его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему, пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть идет рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба кладбище. Среди желтых опавших листьев стоят строгие холмики—могилы, простые дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти. Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и темный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нем имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя его преемника—чеченца капитана Езаева, прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как в темные ночи, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнем, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.

Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы, что события его жизни, его черты характера выражают собой характер целой эпопеи. И, конечно, именно сержант Власов, великий труженик мирных времен, шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованных ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной каз-

ны,— и есть выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.

В этом высоком человеке, с темнокоричневым узким горбоносом лицом, с тонкими губами и большими, тяжелыми кистями рук, воплотились многие черты народного характера. Власов — человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда — очень уж суров был этот никогда не улыбающийся темнолицый человек с карими, тяжело и яростно глядящими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашка, гляди у меня, я не баловал в жизни, не вильнул ни разу, и ты не балуй!»

Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз сплавлял лес по Волге, Власова избрали главным бригадиром на плотках,— уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из военкомата, Власов пошел в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал, уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убьют на войне, за мной долгов не останется, во всем отчитался». Дома он простился с семьей просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготавливать, велел детям слушаться мать, писать, как справляются с работой. Провожали его родные без водки, без песен,— Власов не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стиранных портянок, хлеба, десяток луковиц, соли и пошел в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошел, не оглянувшись на родную деревню,— человек могучей аввакумовской души, ни разу не слукавивший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе. Такие суровые души выковываются тяжким молотом векового труда, и можно было бы их назвать жесткими, не будь они столь бескорыстно преданы правде, труду и долгу. Таких людей, как Власов, немало в нашем народе, и вряд ли думали немцы о них, начиная поход против России,— эту железную аввакумовскую породу невозможно ни согнуть, ни сломать. Они, Власовы,— выразители не доброты и мягкости народного характера, они — носители суровости, непримиримости, неистребимой, неистовой силы русской народной души.

И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят

пять часов, не спал он, не ел щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запивал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой исступленной, жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже,— Мальков, Лукьянов, Новожилов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую, железную силу его. Не только любить, но и бояться ее.

Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжелые танки и пушки, поблескивающие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рыжих от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелей, прислушиваясь к мрачному вою германских мин и к далекому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся в контратаки, думал Власов одну тяжелую, большую думу.

Вся сила его духа обратилась к одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.

Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстром моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый, и немец, едва увидев катер, открыл огонь,— вода вскипала от частых разрывов.

Шофер-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:

— Вылезайте, на тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.

Как только не просил, не уговаривал его Власов!

— Вылазь к чертям собачьим! — кричал Ковальчук.— Я на переправе работать не буду, лучше в плен попасть, чем здесь работать.

Власов рассказал мне об этом случае тяжелыми, медленными словами. Вот дословно его рассказ:

— Знал бы я мотор, я бы его живо спешил... Весь день мы по острову, как зайцы, бегали. А обратно нас лодки с острова тоже не везут,— дезертиры вы, говорят.

Пришлось хитрость делать — перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подвязал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не работала. Вот оно что... Через несколько дней выстроили батальон, вывели этого. Прочел Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот проситься, плакал. Да какая тут жалость! Будь моя воля — я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал...

Темное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, впалые щеки и упрямый рот придают всему облику его выражение скорбное и суровое. В нем, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжелого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего народа...

— Потом Перминов сказал: «Кто хочет привести приговор в исполнение?» Я вышел из строя, взял у товарища винтовку и пристрелил того. Какая тут жалость!

И вот сержант Власов стоит на носу тяжелой баржи, медленно плывущей через Волгу. На барже четыре тысячи тонн снарядов, гранат, ящиков с горючей жидкостью, на барже четыреста красноармейцев. Эта баржа идет днем, положение таково, что некогда дожидаться ночи. Власов стоит, прямой, угрюмый, и смотрит на разрывы мин, пенящие воду.

Он оглядывает молодых бойцов, стоящих на барже. Он видит: людям страшно. И сержант Власов, человек с черными, начавшими серебриться, волосами, говорит молодому бойцу:

— Ничего, сынок. Хоть бойсь, не бойсь,— нужно!

Тяжелая мина прошипела над головой и взорвалась в десяти метрах от баржи, несколько осколков ударились о борт, и тотчас вторая мина разорвалась, не долетев.

— Сейчас угодит, подлец, по нас,— сказал Власов и посмотрел на бойцов, легших вдоль борта.

Мина пробила палубу недалеко от выезда, проникла в трюм и там взорвалась, расщепила борт на метр ниже воды. Наступил страшный миг. Люди заметались по палубе. И страшней вопля раненых, страшней тяжелого топота сапог, страшней, чем разнесшийся над водой крик: «Тонем!», был глухой и мягкий шум воды, ворвавшейся в развороченный борт баржи. Катастрофа про-

изошла посредине Волги. И в эти страшные минуты, когда в полуметровую дыру хлестала вода, когда страх смерти охватил людей, сержант Власов сорвал с себя шинель и страшным усилием, преодолевая напор воды,— плотной, словно стремительный свинец, сильной, словно вся Волга напряжилась своим огромным, тяжким телом, чтобы прорваться в пробоину,— втиснул свернутую кляпом шинель в эту пробоину, навалился на нее грудью. Несколько мгновений, пока подоспела помощь, длилось это единоборство человека с рекой. Пробоину забили. Власов уже был наверху, он перевалился всем телом за борт, сержант Дмитрий Смирнов держал его за ноги, а Власов, с лицом, налившимся темной кровью, шпаклевал мелкие пробоины паклей.

Обстрел продолжался. И едва баржа была спасена от потопления, как раздался крик: «Горит, пламя пошло!» — это загорелись бутылки с горючей жидкостью.

Власов, покоровший своей железной душой всех, кто был на барже, закричал:

— Скидай шинели, плащ-палатки сюда давай!

И пламя, сжигающее стальные танки, было потушено здесь, на барже, везущей четыре тысячи тонн боеприпасов.

Власов прошел на нос и снова стал на посту. Боеприпасы, четыреста бойцов достигли сталинградского берега.

Мне кажется, что этого человека можно назвать великим человеком.

*1 ноября 1942 года
Сталинградский фронт*

ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые, мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые круглые, чуть желтые, чуть зеленоватые, глаза,— не поймешь, светлые они или темные — видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «не слышу».

Анатолию Чехову идет двадцатый год. Он прожил невеселую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих-стариков своей готовностью помочь обиженному, с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его бил, жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми. Года за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями, стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов.

— Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому,— говорит он.— Ну, я, хотя в школе снайперов шел по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет».

Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги, он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через девять линз оптического прицела, он понял внутренний теоретический принцип всех приспособлений: и поворота дистанционного маховичка, и связи пенька, приподымающегося при прицеливании, с горизонтальными нитями... И объемное, широкое, четырехкратно приближенное изображение Чехов воспринимал не только глазами стрелка, но и физика.

Лейтенант ошибся — при стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» все три данных ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором — учить курсантов снайперской и обычной стрельбе, пользованию автоматом и различными гранатами. Так уж повелось, что в школе, и на производстве, и в военном деле он легко и в совершенстве овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел бить по живому», захотелось пойти на передовую.

— Я хотел лишь стать таким человеком, который сам уничтожает врага,— сказал мне Чехов.

На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» — и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на глаз с точностью до двух-трех метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и за-

конов движения луча через комбинацию девяти двояковыпуклых и вогнутых линз. Самый идиллический пейзаж научился он воспринимать как совокупность ориентиров: березки, кусты шиповника, ветряные мельницы стали для него местами, откуда мог появиться противник, и помогали быстро и точно повернуть дистанционный маховичок.

Первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем минометным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и тонко решал их, и в этих решениях ему приходилось напрягать не только свои сильные молодые руки и ноги, ясные совершенные глаза, но и думать — думать напряженно, быстро, трудно, как, пожалуй, не случилось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, которые любил для устрашения школяров закатывать педагог.

С первых же дней боев он перестал воспринимать сражение как хаос огня и грохота, а научился угадывать, чего хочет противник.

— Было ли страшно в первые дни? Нет. У меня такое чувство было, что я учу бойцов маскироваться, стрелять, наступать, словно это и не война.

На фронте часто заводят разговор о храбрости. Обычно разговор этот превращается в горячий спор. Одни говорят, что храбрость — это забвение, приходящее в бою. Другие чистосердечно рассказывают, что, совершая мужественные поступки, они испытывают немалый страх и крепко берут себя в руки, заставляя усилием воли, подняв голову, выполнять долг, идти навстречу смерти. Третьи говорят: «Я храбр, ибо уверил себя в том, что меня никогда не убьют».

Капитан Козлов, человек очень храбрый, много раз водивший свой мотострелковый батальон в тяжелые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбр оттого, что убежден в своей смерти и ему все равно, придет к нему смерть сегодня или завтра. Многие считают, что источник храбрости — это привычка к опасности, равнодушие к смерти, приходящее под постоянным огнем. У большинства в подоснове мужества и презрения к смерти лежит чувство долга, ненависть к противнику, желание мстить за страшные бедствия, принесенные оккупантами нашей стране. Молодые люди говорят, что они совершают подвиги из желания славы, некоторым кажется, что на них в бою смотрят их друзья, родные, невесты.

Один пожилой командир дивизии, человек большого мужества, на просьбу адъютанта уйти из-под огня, смеясь, сказал:

— Я так сильно люблю своих двух детей, что меня никогда не могут убить.

Я думаю, что спорить фронтовому народу о природе храбрости нечего. Каждый храбрец храбр по-своему. Велико и ветвисто могучее дерево мужества, тысячи ветвей его, переплетаясь, высоко поднимают к небу славу нашей армии, нашего великого народа.

Но если каждый отважный отважен по-своему, то себялюбивая трусость всегда в одном: в рабском подчинении инстинкту сохранения своего живота. Человек, сегодня бежавший с поля боя, завтра выбежит из горящего дома, оставив огню свою старуху-мать, жену, малых ребят.

У Чехова увидел я еще одну разновидность мужества, самую простую, пожалуй, самую «круглую», прочную: ему органически, от природы было чуждо чувство страха смерти — так же, как орлу чужд страх перед высотой.

Он получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему — в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в гряде кирпича, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны — окна с обгоревшими лоскутками занавесок, свисавшую железными спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы двуспальных супружеских кроватей. Его пытливый и совершенный глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей, он видел поблескивавшие осколки зеленых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покоробившиеся куски жести, развеянные дыханием пожара, словно легкие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли черные кабели, толстые водопроводные трубы — мышцы и кости города. Чехов сделал выбор — он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены, на площадках лестниц, в прямоугольники сгоревших дверей видны были пустые ко-

робки; этажи различались лишь по разной окраске стен: квартира второго этажа была розовой, третьего — темносиней, четвертого — фишашковой с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий вид: прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше, метрах в семистах, начиналась площадь. Все это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке у остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него, — он становился совершенно невидим в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунные узорчатые перила. Он поглядел вниз. Привычно определил ориентиры, их было немало. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в ста метрах от того места, где сидел Чехов. Четыре минуты юноша смотрел на немцев. Он медлил. Это странное чувство нерешительности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нем рассказывал Чехову знаменитый Пчелинцев, приехавший в школу снайперов и вспоминая о своем первом снайперском, охотничьем выстреле по фашистскому солдату.

Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темно-синим. словно серые тихие покойники, стояли высокие обгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, — толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медово-желтой, спелой, а свет ее, словно отделившийся от меда сухой белый воск, казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой белый свет тонкой пленки лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающий, как лед, асфальт улиц и площадей. Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, веселым, вернуть из холодной степи эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на грейдере попутных машин; этих мальчишек и девчонок, со старческой серьезностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска; этих стариков, кутающихся в бабьи платки; городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновьи пальто и шинельки.

Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка, распушив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем. Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья, послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам. Чехов приподнялся, посмотрел: в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры — немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было — вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят?» — подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо, с железной злобой заработал советский пулемет. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз. В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шелковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку, чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшенной каши; сидел на кирпичиках, рассматривал пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» и слушал, как в темном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцевальных площадках, о славных девчатах. И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой картину мертвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяжесть жизни. «Отец часто шумел, — мне и читать, и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», — печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесенного немцами нашей стране, он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его.

Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил:

— Ну что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?

Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бой-

цам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:

— Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.

Утром он встал до рассвета, не попил, не поел, а лишь налил в баклажку воды и положил в карман несколько сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, кругом все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами, носят офицерам мыться. Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, он отнес прицел от носа солдата на четыре сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то темное, голова мотнулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал на бок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец; в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пройти к лежавшему с ведром, но он не прошел. «Три», — сказал Чехов и стал спокоен. В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок, — туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу — донесение. Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку — Чехов знал их меню, утреннее и дневное: хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его примерно тридцать — сорок минут и после кричали хором: «Рус, обедать!» Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство. Ему, веселому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорбило чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тужурки, фуражки, они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, пилотке. Ему хотелось, чтобы немцы не ходили

по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки — «жалел бить по живому», стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?

К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шел уверенно, изо всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним навытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.

Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, чем в стоящего: попадание получалось точно в голову. Он сделал одно открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дуло винтовки до края стены сантиметров на четырнадцать — двадцать. На белом фоне выстрел не был виден.

Он желал теперь лишь одного: чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост, он желал пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. И он добился своего: к концу первого дня немцы не ходили, а бегали, к концу второго дня они стали ползать. Утренний солдат не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной, они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина. Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь — били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «тыркали и гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали: «Рус, ужинать!»

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты — немцы копали в мерзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений: немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы — они отка-

зались от воды, но хотели по этим траншейкам подта-
скивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле»,—
подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив
маленькую амбразуру. Вчера ее не было. Чехов понял:
«Немецкий снайпер». «Гляди»,— шепнул он сержанту,
пришедшему смотреть его работу, и нажал на спусковой
крючок. Послышался крик, топот сапог — автоматчики
унесли снайпера, не успевшего сделать ни одного выст-
рела по Чехову. Чехов занялся траншеей. Немцы полз-
ком пробирались до асфальта, перебежали асфальт и сно-
ва прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить в тот
момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец
пополз обратно в траншею.

— Вот я вогнал тебя в землю,— сказал Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все
дороги к немецким домам. Надо было менять позицию,
немцы перестали ходить и стрелять. Он лежал на пло-
щадке и смотрел своими молодыми глазами на умерщ-
вленный немцами Сталинград,— юноша, жалеющий бить
«по живому» из рогатки, ставший железной и святой
логикой Отечественной войны страшным человеком,
мстителем.

16 ноября 1942 года
Сталинградский фронт

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

Ночью сибирские полки дивизии полковника Гуртьева заняли оборону. Всегда суров и строг вид завода, но можно ли найти в мире картину суровее той, что увидели люди дивизии в октябрьское утро 1942 года? Темные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами окиси, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. На асфальтированной площадке темнели ямы, вырытые авиационными бомбами, всюду валялись стальные осколки, изорванные силой взрыва, словно тонкие лоскуты ситца. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и стоять насмерть. За спиной была холодная темная Волга. Ночью саперы взламывали асфальт и в каменистой почве выдалбливали кирками окопы, в мощных стенах цехов прорубали боевые амбразуры, в подвалах разрушенных зданий устраивали убежища. Полки Маркелова и Михалева обороняли завод. Один из командных пунктов был устроен в бетонированном канале, проходившем под зданиями главных цехов. Полк Сергеенко оборонял район глубокой балки, шедшей через заводские поселки к Волге. «Логом смерти» называли ее бойцы и командиры полка. Да, за спиной была ледяная темная Волга, за спиной была судьба России. Дивизии предстояло стоять насмерть. Прошлая мировая война стоила России больших жертв и большой крови, но в первой мировой войне черная сила противника делилась между западным фронтом и восточным. В нынешней войне Россия приняла всю тяжесть удара германского нашествия. В 1941 году германские полки двигались от моря до моря. В ны-

нешнем, 1942, году немцы всю силу своего удара сконцентрировали в юго-восточном направлении. То, что в первую войну распределялось на два фронта великих держав, что в прошлом году давило на Россию,— на одну лишь Россию фронтом в три тысячи километров, нынешним летом и нынешней осенью тяжким молотом обрушилось на Сталинград и Кавказ. Но, мало того, здесь, в Сталинграде, немцы вновь заострили свое наступательное давление. Они стабилизировали свои усилия в южных и центральных частях города. Всю огневую тяжесть бесчисленных минометных батарей, тысячи орудий и воздушных корпусов обрушили немцы на северную часть города, на стоящий в центре промышленного района завод «Баррикады». Немцы полагали, что человеческая порода не в состоянии выдержать такого напряжения, что нет на земле таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха. Здесь был собран весь дьявольский арсенал германского милитаризма — тяжелые и огнеметные танки, шестиствольные минометы, армады пикирующих бомбардировщиков с воющими сиренами, осколочными, фугасными бомбами. Здесь автоматчиков снабдили разрывными пулями, артиллеристов и минометчиков — термитными снарядами. Здесь была собрана германская артиллерия от малых калибров противотанковых полуавтоматов до тяжелых дальнобойных пушек. Здесь бросали мины, похожие на безобидные зеленые и красные мячики, и воздушные торпеды, вырывающие ямы объемом в двухэтажный дом. Здесь ночью было светло от пожаров и ракет, здесь днем было темно от дыма горящих зданий и дымовых шашек германских маскировщиков. Здесь грохот был плотен, как земля, а короткие минуты тишины казались страшней и зловещее грохота битвы. И если мир склоняет головы перед героизмом русских армий, если русские армии с восхищением говорят о защитниках Сталинграда, то уже здесь, в самом Сталинграде, бойцы Шумилова с почтительным уважением прозносят:

— Ну, так что мы? Вот люди: держат заводы. Страшно и удивительно смотреть: день и ночь висит над ними туча огня, дыма, немецких пикировщиков, а Чуйков стоит.

Грозные эти слова для военного человека: направление главного удара, жестокие, страшные слова. Нет

слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия полковника Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину, резкий на слова. Сибиряки — народ надежный, кряжистый. Они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.

Полковник Гуртьев, сухощавый пятидесятилетний человек, в 1914 году ушел со второго курса Петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллеристом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чарторыйском.

Двадцать восемь лет своей жизни посвятил полковник военному делу, воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далеком Омске остались жена и дочь-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник вспомнил и сыновей-лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков воспитанных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спартански скромную жизнь. Да, пришел час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он с суровым постоянством преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку, и с волнением поглядывал полковник на лица солдат-сибиряков: омичей, новосибирцев, красноярцев, барнаульцев, — тех, с кем сулила ему судьба отражать удары врага. Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Дивизия прошла большую школу, прежде чем выступить на фронт. Тщательно и умно, беспощадно придирчиво учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что, сколь ни тяжела военная учеба, ночные учебные штурмы, утюжение танками сидящих в щелях бойцов, долгие марши, — все же во много крат тяжелее и суровее сама война. Он верил в стойкость, в силу сибирских полков. Он проверил ее в дороге, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезда винтовку, соскочил, поднял винтовку и три километра бежал до станции, чтобы догнать идущий к фронту эшелон. Он проверил стойкость полков в сталинградской степи, где необстрелянные люди спокойно отразили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он проверил выносливость си-

биряков во время последнего марша к Сталинграду, когда люди за двое суток покрыли расстояние в двести километров. И все же с волнением поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.

Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знающий устали, начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, планировать сложный бой. Его прямота и беспощадность суждений, его привычка смотреть жизни прямо в глаза и искать военную правду, как бы горька она ни была, зиждились на железной вере. В этом небольшом сухощавом молодом человеке с лицом, речью и руками крестьянина жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политической части Свириин обладал крепкой волей, острой мыслью, аскетической скромностью, он умел оставаться спокойным, веселым и улыбаться там, где забывал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командиры полков Маркелов, Михалев и Чамов были гордостью полковника, он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о несгибаемой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалева, любимца полка, по-отечески заботливого к подчиненным, мягкого и «симпатичнейшего человека», не знающего, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением,— и все же с волнением глядел на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж сталинградской обороны. «Выдержат ли, выстоят ли?» — думал полковник.

Едва дивизия успела закопаться в каменистую почву Сталинграда, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протянулась проволочная связь и застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занявшей в Заволжье огневые позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился рассветом, как немцы открыли огонь. Восемь часов подряд пикировали «Юнкерсы-87» на оборону дивизии, восемь часов, без единой минуты перерыва, шли волна за волной немецкие самолеты, восемь часов выли сирены, свистели бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий, восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки. Тот, кто слышал вопль воздуха, раскаленного

авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налета немецкой авиации, тот поймет, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбежки пикирующих бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием по немецким самолетам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами, когда эта горящая, окутанная черной пылью и дымом заводская земля упрямо трещала винтовочными залпами, рокотала пулеметными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мерной злой стрельбой зениток. Казалось, все живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись в землю, не согнулась, не сломалась, а вела огонь — упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие тяжелые полковые минометы и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов присоединились к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи. В печальном и строгом молчании хоронили красноармейцы своих погибших товарищей. Это был первый день — новоселье. Всю ночь не умолкали немецкие артиллерийские минометные батареи, и мало кто спал в эту ночь.

Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше двадцати лет. Люди, расставшиеся молодыми, неженатыми, встретились уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись, и все вокруг: начальники их штабов, и адъютанты, и майоры из оперативного отдела увидели слезы на глазах седых людей.

«Какая судьба, какая судьба!» — говорили они. И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности в грозный час, среди плавающих заводских корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжелого долга.

Всю ночь грохотала немецкая артиллерия, и, едва взошло солнце над вспаханной немецким железом землей, появилось сорок пикировщиков, и снова завывли сирены, и снова черное облако пыли и дыма поднялось над заводом, закрыло землю, цехи, разбитые вагоны, и даже высокие заводские трубы потонули в черном тумане. В это утро полк Маркелова вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и перешел в наступление. Батальоны шли вперед через

горы шлака, через развалины домов, мимо гранитного здания заводской конторы, через рельсовые пути, через садик городского предместья. Они шли мимо тысяч безобразных ям, вырытых бомбами, и над головами людей был весь ад немецкой воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, и они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?

Да, они были смертны. Полк Маркелова прошел километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знают, что такое километр. Это — тысяча метров, это сто тысяч сантиметров. Ночью немцы атаквали полк во много раз превосходящими силами. Шли батальоны немецкой пехоты, шли тяжелые танки, и пулеметы заливали позиции полка железом. Пьяные автоматчики лезли с упорством лунатиков. О том, как сражался полк Маркелова, расскажут мертвые тела бойцов, расскажут друзья, слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рокотали русские пулеметы, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожженные немецкие танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся повзводно, поротно, побатальонно...

Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но они сделали свое дело.

На третий день немецкие самолеты висели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца, и из высокой тьмы ночного неба возникали воюющие голоса сирен «Юнкерсов» и, как тяжелые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии немецкие пушки и минометы. Сто артиллерийских полков работали на немцев в районе Сталинграда. Иногда они устраивали огневые налеты, по ночам они вели изматывающий методический огонь. Вместе с ними работали минометные батареи. Это было направление главного удара.

По несколько раз в день вдруг замолкали немецкие пушки, минометы, вдруг исчезала давящая сила пикировщиков. Наступала необычайная тишина. Тогда наблюдатели кричали: «Внимание!», и боевое охранение бралось за бутылки горючей жидкости, бронебойщики раскрывали брезентовые сумки с патронами, автоматчики обтирали ладонью свои ППШ, гранатометчики бли-

же подвигали ящики гранат. Эта короткая, минутная тишина не означала отдыха. Она предшествовала атаке.

Вскоре лязг сотен гусениц, низкое гудение моторов оповещали о движении танков, и лейтенант кричал:

— Товарищи, внимание! Слева просачиваются автоматчики.

Иногда немцы подходили на расстояние тридцати — сорока метров, и сибиряки видели их грязные лица, порванные шинели, слышали картавые выкрики, угрозы, насмешки, а после того как немцы откатывались, на дивизию с новой яростью обрушивались пикировщики и огневые валы артиллерии и минометов. В отражении немецких атак великую заслугу имела наша артиллерия. Командир артиллерийского полка Фугенфиров, командиры дивизионов и батарей находились вместе с батальонами, ротами дивизии на передовой. Радио связывало их с огневыми позициями, и десятки мощных дальнобойных орудий на левом берегу жили одним дыханием, одной тревогой, одной бедой и одной радостью с пехотой. Артиллерия делала десятки замечательных вещей: она прикрывала стальным плащом пехотные позиции, она корежила, как картон, сверхтяжелые немецкие танки, с которыми не могли справиться бронебойщики, она, словно меч, отсекала автоматчиков, лепившихся к броне танков, она обрушивалась то на площадь, то на тайные места сосредоточения, она взрывала склады и поднимала на воздух немецкие минометные батареи. Нигде за время войны пехота так не чувствовала дружбу и великую помощь артиллерии, как в Сталинграде.

В течение месяца немцы произвели сто семнадцать атак на полки сибирской дивизии.

Был один страшный день, когда немецкие танки и пехота двадцать три раза ходили в атаку. И эти двадцать три атаки были отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трех, немецкая авиация висела над дивизией десять — двенадцать часов. Всего за месяц триста двадцать часов. Оперативное отделение подсчитало астрономическое количество бомб, сброшенных немцами на дивизию. Это — цифра с четырьмя нолями. Такой же цифрой определяется количество немецких самолетоналетов. Все это происходит на фронте длиной около полутора-двух километров. Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнем и металлом можно было сжечь и уничтожить государство. Немцы полагали, что сломают моральную силу сибирских полков. Они по-

лагали, что перекрыли предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильнее и спокойней. Молчаливый, кряжистый сибирский народ стал еще суровей, еще молчаливей, ввалились у красноармейцев щеки, мрачно смотрели глаза. Здесь, на направлении главного удара германских сил, не слышно было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармоник, ни веселого легкого слова. Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. Бывали периоды, когда они не спали по трое, четверо суток кряду, и командир дивизии, седой полковник Гуртьев, разговаривая с красноармейцами, с болью слышал слова бойца, тихо сказавшего:

— Есть у нас все, товарищ полковник, и хлеб — девятьсот граммов, и горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не кушается.

Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он — когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-настоящему тяжело ему. Но теперь Гуртьев был спокоен. Он понял: нет на свете силы, которая могла бы сдвинуть с места сибирские полки. Великим и жестоким опытом обогатились красноармейцы и командиры за время боев. Еще прочней и совершенней стала оборона. Перед заводскими цехами выросли целые переплетения саперных сооружений, — блиндажи, ходы сообщения, стрелковые ячейки; инженерная оборона была вынесена далеко вперед, перед цехами. Люди научились быстро и слаженно производить подземные маневры, сосредоточиваться, рассыпаться, переходить из цеха в окопы ходами сообщения и обратно в зависимости от того, куда обрушивала свои удары авиация противника, в зависимости от того, откуда появлялись танки и пехота атакующих немцев. Были сооружены подземные «усы», «щупальца», по которым истребители подбирались к тяжелым немецким танкам, останавливающимся в ста метрах от здания цехов. Саперы минировали все подходы к заводу. Мины приходилось подносить на руках, по две штуки, держа их под мышками, как хлеба. Этот путь от берега к заводу шел на протяжении шести — восьми километров и полностью простреливался немцами. Само минирование производилось в глубоком мраке, в предрассветные часы, часто на расстоянии тридцати метров от фашистских позиций. Так было заложено около двух тысяч мин под бревна разнесенных бомбежкой домиков, под кучки

камней, в ямки, вырытые снарядами и минами. Люди научились защищать большие дома, создавая плотный огонь от первого этажа до пятого, устраивали изумительно тонко замаскированные наблюдательные пункты перед самым носом у неприятеля, использовали в обороне ямы, вырытые тяжелыми бомбами, всю сложную систему подземных заводских газопроводов, маслопроводов, водопроводов. С каждым днем совершенствовалась связь между пехотой и артиллерией, и иногда казалось, что Волга уже не отделяет пушек от полков, что глазастые пушки, мгновенно реагирующие на каждое движение врага, находятся рядом со взводами, с командными пунктами.

Вместе с опытом росла внутренняя закалка людей. Дивизия превратилась в совершенный, на диво слаженный единый организм. Люди дивизии не чувствовали, сами не понимали, не могли ощутить тех психологических изменений, которые произошли в них за месяц пребывания в аду, на переднем крае обороны великого сталинградского рубежа. Им казалось, что они те же, какими были всегда: они в свободную тихую минуту мылись в подземных банях, им так же приносили горячую пищу в термосах, и заросшие бородами Макаревич и Карнаухов, похожие на мирных сельских почтарей, приносили под огнем на передовую в своих кожаных сумках газеты и письма из далеких омских, тюменских, тобольских, красноярских деревень. Они вспоминали о своих плотницких, кузнечных, крестьянских делах. Они насмешливо звали шестиствольный немецкий миномет «дурилой», а пикирующих бомбардировщиков с сиренами «скрипунями» и «музыкантами». На крики немецких автоматчиков, грозивших им из развалин соседних зданий и кричавших: «Эй, рус, буль-буль, сдавайся», — они усмехались и меж собой говорили: «Что это немец все гнилую воду пьет или не хочет волжской?» Им казалось, что они те же, и только вновь приезжавшие с лугового берега с почтительным изумлением смотрели на них, уже не ведавших страха людей, для которых не было больше слов «жизнь» и «смерть». Только глаза со стороны могли оценить всю железную силу сибиряков, их равнодушные к смерти, их спокойную волю до конца вынести тяжкий жребий людей, занявших смертную оборону.

Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и ее людей, героизм сделался будничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во всем. Героизм был в ра-

боте поваров, чистивших под сжигающим огнем термитных снарядов картошку. Великий героизм был в работе девушек-санитарок, тобольских школьниц — Тони Егоровой, Зои Калгановой, Веры Каляды, Нади Кастериной, Лели Новиковой и многих их подруг, перевязывавших и поивших водой раненых в разгаре боя. Да, если посмотреть глазами со стороны, то героизм был в каждом будничном движении людей дивизии: и в том, как командир взвода связи Хамицкий, мирно сидя на пригорке перед блиндажом, читал «беллетристику», в то время как десяток немецких пикировщиков с ревом бодали землю, и в том, как офицер связи Батраков, аккуратно протирая очки, вкладывал в полевую сумку донесения и отправлялся в двенадцатикилометровый путь по «логу смерти» с таким будничным спокойствием, словно речь шла о привычной воскресной прогулке, и в том, как автоматчик Колосов, засыпанный в блиндаже разрывом по самую шею землей и обломками досок, повернул к заместителю командира Свирину лицо и рассмеялся, и в том, как машинистка штаба, краснощекая толстуха, сибирячка Клава Копылова, начала печатать в блиндаже боевой приказ и была засыпана, откопана, перешла печатать во второй блиндаж, снова была засыпана, снова откопана и все же допечатала приказ в третьем блиндаже и принесла его командиру дивизии на подпись.

Вот такие люди стояли на направлении главного удара.

Об их нестигаемом упорстве больше всего знают сами немцы. Ночью в блиндаж к Свирину привели пленного. Руки и лицо его, поросшее седой щетиной, были совершенно черные от грязи, превратившийся в тряпку шерстяной шарф прикрывал шею. Это был немец из пробивных отборных частей немецкой армии, участник всех походов, член нацистской партии. После обычных вопросов пленному перевели вопрос Свирина: «Как расценивают немцы сопротивление в районе завода?» Пленный стоял, прислонившись плечом к каменной стене блиндажа. «О!» — сказал он и вдруг разрыдался.

Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их нервы и сердца выдержали.

К концу второй декады немцы предприняли решительный штурм завода. Такой подготовки к атаке не знал мир. Восемьдесят часов подряд работала авиация, тяжелые минометы и артиллерия. Три дня и три ночи превратились в хаос дыма, огня и грохота. Шипение

бомб, скрипящий рев мин из шестиствольных «дурил», гул тяжелых снарядов, протяжный визг сирен одни могли оглушить людей, но они лишь предшествовали грому разрывов. Рваное пламя взрывов полыхало в воздухе, вой истерзанного металла пронизывал пространство. Так было восемьдесят часов. Затем подготовка кончилась, и сразу же в пять утра в атаку перешли тяжелые и средние танки, пьяные орды автоматчиков, пехотные немецкие полки. Немцам удалось ворваться в завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные пункты дивизии и полков от переднего края обороны. Казалось, что лишённая управления дивизия потеряет способность к сопротивлению, что командные пункты, попавшие под непосредственный удар противника, обречены уничтожению, но произошла поразительная вещь: каждая траншея, каждый блиндаж, каждая стрелковая ячейка и укрепленные руины домов превратились в крепости со своими управлениями, со своей связью. Сержанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. И в этот горький и тяжелый час командиры, штабные работники превратили командные пункты в укрепления и сами, как рядовые, отражали атаки врага. Десять атак отбил Чамов. Огромный рыжий командир танка, оборонявший командный пункт Чамова, расстреляв все снаряды и патроны, соскочил на землю и стал камнями бить подошедших автоматчиков. Командир полка сам стрелял из миномета. Любимец дивизии, командир полка Михалев, погиб от прямого попадания бомбы в командный пункт. «Убило нашего отца», — говорили красноармейцы. Сменивший Михалева майор Кушнарев перенес свой командный пункт в бетонированную трубу, проходящую под заводскими цехами. Несколько часов вел бой у входа в эту трубу Кушнарев, его начальник штаба Дятленко и шесть человек командиров. У них имелось несколько ящиков гранат, и этими гранатами они отбили все атаки немецких автоматчиков.

Этот невиданный по ожесточенности бой длился, не переставая, несколько суток. Он шел уже не за отдельные дома и цехи, он шел за каждую отдельную ступеньку лестницы, за угол в тесном коридоре, за отдельный станок, за пролет между станками, за трубу газопровода. Ни один человек не отступил в этом бою. И если немцы занимали какое-либо пространство, то это значило, что там уже не было живых красноармей-

цев. Все дрались так, как рыжий великан-танкист, фамилии которого так и не узнал Чамов, как сапер Косиченко, выдергивавший чеку из гранаты зубами, так как у него была перебита левая рука. Погибшие словно передали силу оставшимся в живых, и бывали такие минуты, когда десять активных штыков успешно держали оборону, занимаемую батальоном. Много раз переходили заводские цехи от сибиряков к немцам, и снова сибиряки захватывали их. В этом бою немцам удалось занять ряд зданий и заводских цехов. В этом бою немцы достигли максимального напряжения атак. Это был самый высокий потенциал их удара на главном направлении. Словно подняв непомерную тяжесть, они надорвали какие-то внутренние пружины, приводившие в действие их пробивной таран.

Кривая немецкого напора начала падать. Три немецких дивизии, 94-я, 305-я, 389-я, дрались против сибиряков. Пяти тысяч немецких жизней стоило сто семнадцать пехотных атак. Сибиряки выдержали это сверхчеловеческое напряжение. Две тысячи тонн превращенного в лом танкового металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, мин, авиабомб упали на заводской двор, на цехи, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертного рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной ее была Волга, судьба страны.

Невольно думаешь о том, как выковывалось это великое упорство. Тут сказался и народный характер, и высокое сознание великой ответственности, и угрюмое, кряжистое сибирское упорство, и отличная военная и политическая подготовка, и суровая дисциплина. Но мне хочется сказать еще об одной черте, сыгравшей немалую роль в этой великой и трагической эпопее — об удивительной целомудренной морали, о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии. Дух спартанской скромности свойствен всему командному составу дивизии. Он сказывается и в бытовых мелочах, и в отказе от положенных законом ста граммов водки во все время сталинградских боев, и в разумной, нешумливой деловитости. Любовь, связывающую людей дивизии, я увидел в той скорби, с которой говорят о погибших товарищах. Я услышал ее в словах красноармейца из полка Михалева, ответившего на вопрос: «Как живется вам?» — «Эх, как живется, — остались мы без отца».

Я увидел ее в трогательной встрече седого полковника Гуртьева с вернувшейся после второго ранения ба-

тальянкой санитаркой Зоей Калгановой. «Здравствуйте, дорогая девочка моя», — тихо сказал Гуртьев и быстро с протянутыми руками пошел навстречу худой стриженной девушке. Так лишь отец может встречать свою родную дочь. Эта любовь и вера друг в друга помогали в страшном бою красноармейцам становиться на место командиров, помогали командирам и работникам штаба браться за пулемет, ручную гранату, бутылку с горючей жидкостью, чтобы отражать немецкие танки, вышедшие к командным пунктам.

Жены и дети никогда не забудут своих мужей и отцов, павших на великом волжском рубеже. Этих хороших, верных людей нельзя забыть. Наша Красная Армия может лишь одним достойным способом почтить святую память павших на направлении главного удара противника — освободительным, не знающим преград наступлением. Мы верим, что час этого наступления близок.

*20 ноября 1942 года
Сталинградский фронт*

СТАЛИНГРАДСКОЕ ВОЙСКО

Дорога в батальон идет по железнодорожным путям, заставленным товарными составами, среди молодого, выпавшего ночью снега. Мы идем по пустырю, изрытому бомбовыми и снарядными ямами. Впереди, на кургане, темнеют водонапорные баки, в которых засели немцы. Пустырь этот хорошо виден немецким снайперам и наблюдателям, но худенький, щуплый красноармеец в длинной шинели, шагающий рядом со мной, идет спокойно, неторопливо и утешительно объясняет: «Думаете, он нас не видит? Видит. Раньше мы тут ночью ползали, а теперь не то: бережет патроны и мины». Мой спутник неожиданно спрашивает, не играю ли я в шахматы, и тут же выясняется, что он шахматист первой категории, вот-вот должен был стать мастером. Никогда не приходилось мне беседовать об этой абстрактной и благородной игре, чувствуя, что на меня смотрят немцы, берегущие патроны. Отвечал я моему спутнику довольно рассеянно, отвлекаясь размышлениями, достаточно ли бережливы засевшие в железобетонных баках немцы. Но чем ближе мы подходим к этим бакам, тем хуже они становятся видны,—отступают за гребень кургана. Мы пошли тропинками по территории одного из цехов громадного сталинградского завода. Мимо груды рыжего железного лома, мимо колоссальных сталеразливочных ковшей, мимо стальных плит и разваленных стен. Красноармейцы настолько привыкли к разрушениям, произведенным здесь, что не замечают их вовсе. Наоборот, интерес вызывают случайно уцелевшее стекло в окне разрушенной заводской конторы, высокая не простреленная труба, чудом уцелевший деревянный домик.

— Смотри, пожалуйста, живет домик,— говорят проходящие и улыбаются.

И действительно, трогательно выглядят эти редкие уцелевшие свидетели мирной жизни в царстве разрушения и смерти. Командный пункт батальона помещается в подвале огромного четырехэтажного корпуса одного из промышленных комбинатов. Это крайний западный пункт на нашей сталинградской линии фронта. Он, словно мыс, вдается в занятые немцами дома и постройки. Противник рядом, но красноармейцы занимаются своими хозяйственными делами уверенно и неторопливо. Двое пилят дрова, третий рубит поленья топором. Проходят бойцы с термосами. Под наполовину обвалившимся выступом стены сидит боец и старательно слесарит, поправляет поврежденную часть миномета. Он раздумывает, прежде чем принять решение в отдельных деталях своей работы, затем снова принимается за инструмент и напевает,— совершенно мастеровой человек в обжитой своей мастерской!

А здание носит на себе следы страшной разрушительной работы немцев. Вокруг него чернеют огромные ямы, вырытые германскими «пятисотками». Бетонные стены и потолки пробиты прямыми попаданиями авиационных бомб. Железная арматура, изодранная силой взрывов, провисает и прогибается, как тонкая рыбачья сеть, порванная огромной белугой. Западная стена разрушена дальнобойной артиллерией. Северная полутораметровая стена обвалилась от удара из шестиствольного миномета. Огромная труба — мина с развернутой железными лепестками верхней частью валяется на каменном полу. Стены исклеваны ударами легких снарядов и мин. Но здесь же из металла и камня, искрошенного немецким огнем, руками красноармейцев вновь создавались стены с узкими длинными амбразурами. Эта разрушенная крепость не сдавалась. Она выстояла форпостом нашей обороны и сейчас своим огнем поддерживает наше наступление.

И сейчас, как и вчера, идет здесь жестокая, справедливая война. В некоторых пунктах прорытые батальоном траншеи находятся от противника в двадцати метрах. Часовой слышит, как по немецкой траншее ходят солдаты, слышит руготню, которая поднимается, когда немцы делят пищу, всю ночь слышит он, как отбивает чечетку немецкий караульный в своих худых ботинках. Здесь все пристреляно, каждый камень является ориентиром. Здесь много снайперов, и здесь, в этих глубоких узких траншеях, где люди нарыли себе землянки, поста-

вили печки с трубами из снарядных гильз, где по-хозяйски ругают товарища, отлынивающего от рубки дров, где, вкусно прихлебывая, едят деревянными ложками суп, принесенный в термосе по ходу сообщения, — здесь день и ночь царит напряжение смертной битвы.

Немцы понимают все значение этого участка в системе своей обороны. Здесь нельзя показаться на вершок над краем траншеи, чтобы не щелкнул выстрел немецкого снайпера. Здесь немцы не берегут патронов.

Но мерзлая каменная земля, в которую глубоко зарылись немцы, не может уберечь их. День и ночь стучат кирки и лопаты, наши красноармейцы шаг за шагом продвигаются вперед, грудью раздвигая землю, все ближе и ближе к господствующей высоте. И немцы чувствуют, что близок час, когда уж ни снайпер, ни пулеметчик не выручат. И их ужасает этот стук лопат, им хочется, чтобы он прекратился, хоть на время, хоть на минуту.

— Рус, покури! — кричат они.

Но русские не отвечают. Тогда стук кирок и лопат исчезает в грохоте взрывов: немцы хотят в разрывах гранат утопить страшную методическую работу русских. В ответ из наших траншей тоже летят «феньки» — гранаты. А едва рассеивается дым и стихает грохот, как немцы снова слышат могильный стук. Нет, эта земля не обережет их от смерти. Эта земля — их смерть. Все ближе — с каждым часом, с каждой минутой приближаются русские, преодолевая каменную твердость зимней земли...

Но вот мы снова на командном пункте батальона. Через разрушенную стену, на которой сохранилась дощечка: «Закрывайте двери, боритесь с мухами», мы проходим внутрь глубокого подвала. Здесь на столе стоит румяный медный самовар, красноармейцы и командиры отдыхают на пружинных матрацах, снесенных сюда из окрестных разрушенных домов.

Командир батальона — капитан Ильгачкин, высокий худой юноша с черными глазами, с темным высоким лбом. По национальности он чуваш. В его лице, в горящих глазах, во впалых щеках, в его речи чувствуется фанатизм, сталинградская одержимость. Он и сам говорит это.

— Я здесь с сентября. И теперь я ни о чем не думаю, только о кургане. Утром встану — и до ночи. А когда сплю, во сне его вижу. — Он возбужденно сту-

чит кулаком по столу и говорит: — Возьму курган, возьму! План разработали так, что ни одной ошибки в нем быть не может.

В октябре он и красноармеец Репа были одержимы другой идеей: сбивать «Ю-87» из противотанкового ружья! Ильгачкин произвел довольно сложные подсчеты с учетом начальной скорости пули и средней скорости самолета, составил таблицу поправок для стрельбы. Была построена фантастически остроумная и простая «зенитная» установка: в землю вбивался кол, устраивалась на нем втулка, на эту втулку надевалось колесо от телеги. Противотанковое ружье сошниками укреплялось на спицах колеса, а телом своим лежало между спицами. И сразу же худой и унылый Репа сбил три немецких пикировщика «Ю-87», волтузивших наш передний край.

Теперь за противотанковое ружье взялся знаменитый сталинградский снайпер Василий Зайцев. Он приспособливает к нему оптический прицел со снайперской винтовки, хочет разрушать немецкие пулеметные точки, всаживать пулю в самую бойницу. И я уверен, что он добьется своего. Сам Зайцев — молчаливый человек, о котором говорят в дивизии так: «Наш Зайцев культурный, скромный, уже двести двадцать пять немцев убил». Он пользуется большим уважением в городе. Воспитанных им молодых снайперов называют «зайчатами», и, когда он обращается к ним и спрашивает: «Правильно я говорю?» — все хором отвечают: «Правильно, Василий Иванович, правильно». И вот теперь Зайцев консультируется с техниками, чертит, думает, выписывает.

Здесь, в Сталинграде, как нигде, часто видишь людей, вкладывающих в войну не только всю кровь свою, все сердце, но и все силы ума, все напряжение мысли. Сколько мне пришлось их встречать здесь — и полковников, и сержантов, и рядовых красноармейцев, напряженно день и ночь думающих все об одном и том же, что-то высчитывающих, чертящих, словно люди эти, защищающие город, взяли на себя обязанность разрабатывать изобретения, вести исследования здесь, в подвалах города, в котором недавно занимались этим делом много блестящих профессорских и инженерских умов в просторных институтских и заводских лабораториях. Сталинградское войско воюет в городе и на заводах. И как некогда директора сталинградских заводов-гигантов

и секретари райкомов партии гордились тем, что у них, а не в другом городском районе, работает знаменитый стахановец или стахановка, так и теперь командиры дивизий гордятся своими знатными людьми. Батюк, посмеиваясь, перечисляет по пальцам:

— Лучший снайпер Зайцев — у меня, лучший минометчик Бездидько — у меня, лучший артиллерист в Сталинграде Шуклин — тоже у меня.

И как некогда каждый район города имел свои традиции, свой характер, свои особенности, так и теперь сталинградские дивизии, равные в славе и заслугах, отличаются одна от другой множеством особенностей и характерных черт. О традициях дивизий Родимцева и Гуртьева мы уже писали. В славной дивизии Батюка принят тон украинского доброго гостеприимства, добродушной, любовной насмешливости. Тут любят рассказывать, как Батюк стоял у блиндажа, когда немецкие мины со свистом одна за другой ложились в овраг возле начарта, пытавшегося выйти из своего подземелья, и шутя корректировал стрельбу:

— Правей два метра. Так, левой метр. Начарт, держись!

Тут любят посмеяться и над легендарным виртуозом стрельбы из тяжелого миномета Бездидько. И Бездидько, не знающий промаха, кладущий мины с точностью до сантиметров, смеется и сердится. И сам Бездидько, человек с певучим мягким тенорком, лукавой украинской улыбкой, имеющий на своем счету тысячу триста пять немцев, любовно посмеивается над худеньким командиром батареи Шуклиным, подбившим из одной пушки в течение дня четырнадцать танков:

— А вин оттого и бив одной пушкой, шо у него тильки одна пушка и була.

Здесь в батальоне любят посмеяться, рассказать друг о друге смешное. Рассказывают о внезапных ночных стычках с немцами, о том, как ловят падающие на дно окопа немецкие гранаты и бросают их обратно в немецкие траншеи; как «сыграл» вчера шестиствольный «дурило» и вlepил все шесть мин по немецким блиндажам; как огромный осколок от тонной бомбы, легко могущий убить наповал слона, пролетая, разрезал красноармейцу, словно бритва, шинель, ватник, гимнастерку, нижнюю рубашу и не повредил даже самого ничтожного клочка кожи, капли крови не выпустил. И, рассказывая все эти

истории, люди смеются, и самому все это кажется смешным, и ты сам смеешься.

В соседнем отсеке заводского подвала размещаются ротные минометы. Отсюда стреляют, отсюда смотрят на противника, здесь поют, едят, слушают патефон.

Тонкий луч солнца проникает через щит, закрывающий окно подвала. Луч медленно вполз по ножке кровати, ощупал сапог лежащего, поиграл на металлической пуговице шинели, выполз на стол и осторожно, точно боясь взрыва, коснулся ручной гранаты, лежащей возле самовара. Он полз все выше, и это значило, что солнце садилось, что наступал зимний вечер.

Обычно говорят — тихий вечер. Но этот вечер нельзя было назвать тихим. Раздалось протяжное курлыкание, потом послышались тяжелые частые взрывы, и все сидевшие в подвале сказали в один голос: «Шестиствольный сыграл». Потом послышались такие же тяжелые взрывы и затем протяжный далекий гул. А спустя несколько мгновений ухнул одиноко взрыв. «Наше дальнобойное с того берега», — сказали сидевшие. И хотя все время стреляли, хотя приход вечера в темном холодном подвале стал заметен лишь по тому, что солнечный луч полз снизу вверх и уже подходил к черному закопченному потолку, — все же это был настоящий тихий вечер.

Красноармейцы завели патефон.

— Какую ставишь? — спросил один.

Сразу несколько голосов ответили:

— Нашу поставь, ту самую.

Тут произошла странная вещь: пока боец искал пластинку, мне подумалось: «Хорошо бы услышать здесь, в черном разрушенном подвале, свою любимую «Ирландскую застольную». И вдруг торжественный печальный голос запел:

За окнами шумит метель...

Видно, песня очень нравилась красноармейцам. Все сидели молча. Раз десять повторяли они одно и то же место:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

Эти слова, эта наивная и гениальная бетховенская музыка звучали здесь непередаваемо сильно. Пожалуй, это было для меня одно из самых больших переживаний

войны, ибо на войне человек знает много горячих, радостных, горьких чувств, знает ненависть и тоску, знает горе и страх, любовь, жалость, месть. Но редко людей на войне посещает печаль. А в этих словах, в этой музыке скорбного сердца, в этой снисходительной, насмешливой просьбе:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью обождать...

была непередаваемая сила, благородная печаль.

И здесь, как никогда, я порадовался великой силе подлинного искусства, тому, что бетховенскую песню слушали торжественно, как церковную службу, солдаты, три месяца прошедшие лицом к лицу со смертью в этом разрушенном, изуродованном, не сдавшемся фашистам здании.

Под эту песню в полутьме подвала торжественно и выпукло вспоминались десятки людей сталинградской обороны, людей, выразивших все величие народной души. Вспомнился суровый, непреклонный, непримиримый сержант Власов, державший переправу, вспомнился сапер Брысин, красивый, смуглый, не ведающий страха в своем буслаевском удалстве, дравшийся один против двадцати в пустом двухэтажном доме. Вспомнился Подханов, не захотевший после ранения уходить на левый берег,— когда начинался бой, он выбирался из подземелья, где находилась санитарная рота, и, подползая к переднему краю, стрелял из винтовки. Вспомнилось, как сержант Выручкин откапывал под ураганным огнем на тракторном заводе засыпанный штаб дивизии. Он копал с такой стремительной яростью, что пена выступала у него на губах, и его силой оттащили,— боялись, что он упадет мертвым от нечеловеческого напряжения. Вспомнилось, как за несколько часов до этого тот же Выручкин бросился к горячей машине с боеприпасами и сбил с нее огонь. И вспомнилось, что Выручкина не смог поблагодарить генерал Жолудев, так как Выручкина убило немецкой миной. Может быть, в крови его от прадедов передавалась эта солдатская доблесть — забывая обо всем, кидаться на помощь попавшим в беду, может быть, от этого и дали их роду кличку Выручкиных. Вспомнился мне боец понтонного батальона Волков. Раненный в шею, с рассеченной лопаткой, он тридцать километров добирался то ползком, то на попутных машинах из госпиталя на переправу и плакал, ког-

да его увезли обратно в госпиталь. Вспомнились мне те, что сгорели в поселке тракторного завода, но не вышли из горящих зданий, вели огонь до последнего патрона. Вспомнились те, кто дрался за «Баррикады» и за Мамаев курган, те, кто отражали немецкие танки в Скульптурном саду, вспомнился мне батальон, погибший весь, от командира до левифлангового бойца, защищая Сталинградский вокзал. Вспомнилась мне широкая проторенная дорога, ведущая к рыбацкой слободке по берегу Волги, дорога славы и смерти; молчаливые колонны, шедшие по ней в жаркой пыли августа, в лунные сентябрьские ночи, в ненастье октября, в ноябрьском снегу. Они шли тяжелой поступью — бронебойщики, автоматчики, стрелки, пулеметчики, шли в торжественном суровом молчании, и лишь позвякивало их оружие да гудела земля под их тяжелым шагом.

И вдруг вспомнилось мне письмо, написанное детской рукой, письмо, лежавшее возле убитого в дзоте бойца. «Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте, тятя. Я без вас шипко скучаю. Приходишь домой, как на фатеру. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина».

И вспомнился мне этот убитый тятя,— может быть, он перечитывал письмо, чувствуя свою смерть, и смятый листочек так и остался лежать около его головы...

Как передать чувства, пришедшие в этот час в темном подвале не сдавшегося врагу завода, где сидел я, слушая торжественную и печальную песнь, и глядел на задумчивые, строгие лица людей в красноармейских шинелях?

*1 января 1943 года
Сталинград*

ЖИЗНЬ

Эту историю рассказал мне случайный спутник — капитан, больной малярией. Он стоял на дороге под холодным дождем, прикрываясь плащ-палаткой, и улыбался синим ртом, просил, поднимая руку. Наш Усуров остановил полупорку. Капитан полез в кузов, сел на мокрый грязный брезент, прикрывавший кучу хлама, который таскал с собой наш хозяйственный Усуров: трофейную итальянскую кровать, немецкий снарядный ящик, старые покрышки, груды скрежещущих двадцатилитровых бачков. Дорога была скверной, полупорка ползла с трудом, колеса то и дело буксовали, иногда машина шла боком, и все сидевшие в кузове хватались за борты. Раза два пришлось останавливаться — в радиаторе кипела вода. Усуров ходил вокруг полупорки, бил сапогом по покрышкам, садясь на корточки, смотрел на рессоры и говорил угрожающе шоферские слова, хорошо известные всем едущим по фронтовым дорогам: «Два раза дифером цепляли», «коренной лист готов», «подшипник на бандрате готов», «гук — скоро готов будет», «задний мост откатывать придется», «масла не хватит», «запорем мотор». Такие слова вселяют уныние в сердце... Пока мы ехали, больной капитан, постукивая от озноба зубами, рассказал эту историю. Потом он сказал: «Вот и санчасть, я доехал». Майор Бова ударил кулаком по крыше кабины, Усуров выглянул в окошко. Кривя рот, сказал: «Разве можно на таком спуске останавливать и так ведь второй месяц без тормозов едим». Капитан полез через борт, поблагодарил и, медленно скользя по грязи, побрел, подбирая полы плащ-палатки, к дальней хате.

Усуров вышел, поглядел и сказал, указывая пальцем: «Вот он где подъем, о котором я говорил, метров четырехста гора, машин двадцать уже засели, и трехосные не

осилили, и американские сидят,— как раз для нашей Колумбины...» Он шлепнул ладонью по мокрому борту старой полуторки и вдруг запел с веселым озорным отчаянием: «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой...», сел в кабину и запустил мотор.

Историю, рассказанную капитаном, я записал.

I

Вот уже две недели, как небольшой отряд красноармейцев с боем пробивался по разрушенным войной шахтным поселкам, шел донецкой степью. Дважды немцы окружали его и дважды рвал отряд кольцо окружения, двигался на восток. Но на этот раз прорваться было невозможно. Немцы окружили отряд плотным кольцом пехоты, артиллерии, минометных батарей.

Вопреки логике и разуму, казалось немецкому полковнику, они не хотели сдаваться. Ведь фронт отошел на сто километров, а жалкая горсть советской пехоты, засев в развалинах надшахтного здания, продолжала стрелять. Немцы били по ней день и ночь из пушек и минометов. Подойти близко не было возможности— у красноармейцев имелись пулеметы и противотанковые ружья. Запас боеприпасов у них, очевидно, был очень велик: они не жалели патронов.

Вся история приняла скандальный характер. Армейское начальство прислало раздраженную, насмешливую радиограмму,— не нуждается ли полковник в поддержке корпусной артиллерии и танков. Полковник, оскорбленный, огорченный, вызвал начальника штаба.

— Вы понимаете,— сказал он,— что славы нам не принесет разгром этого жалкого отряда, но каждый лишний час его существования— это позор мне, каждому из вас, всему полку.

С рассветом началась обработка развалин тяжелыми полковыми минами. Пудовые желтопузые мины послушно и точно шли на цель. Казалось, каждый метр земли вспахан, взрыт. Было истрачено полтора боекомплекта, но полковник приказал не прекращать огня. Мало того, он ввел в действие стопятимиллиметровые батареи. Дым и пыль высоко поднялись вверх, в грохоте обрушились высокие стены копра. «Продолжать огонь»,— сказал полковник. Камни летели во все стороны, железная арматура рвалась, как гнилые нитки. Бетон рассыпался. Полковник смотрел в бинокль на эту страшную работу.

— Не прекращать огня,— снова повторил он.

— На каждого русского мы, вероятно, выпустили пятьдесят тяжелых мин и тридцать снарядов,— проговорил начальник штаба.

— Не прекращать огня,— упрямо сказал полковник.

Солдаты хотели есть, устали, но им не пришлось ни завтракать, ни обедать.

Только в пять часов дня полковник дал сигнал общей атаки. Немцы рванулись к развалинам с четырех сторон. Все было приготовлено. Атакующие имели на вооружении автоматы, ручные пулеметы, мощные огнеметы, взрывчатку, ручные и противотанковые гранаты, ножи, лопаты. Они приближались к развалинам, гася в грозном крике, в грохоте и лязге страх перед людьми, засевшими в надшахтном здании. Атакующих встретило молчание. Ни одного выстрела. Ни одного шевеления. Первым ворвался разведывательный отряд. «Рус! — кричали солдаты.— Где ты, рус?» Камни и железо молчали. Естественно, первой пришла в голову мысль: русские перебиты все до одного. Офицеры приказали произвести тщательные поиски, вырыть тела, донести об их количестве.

Поиски длились долго, но трупов не было обнаружено. Во многих местах стояли лужи крови, валялись окровавленные бинты, изодранные, запачканные кровью рубахи.

Поиски обнаружили четыре ручных пулемета, исковерканных немецкими снарядами. Консервных банок, пакетов пшеничного и горохового концентрата, кусков сухарей найдено не было. В одной яме разведчик обнаружил наполовину съеденную кормовую свеклу. Солдаты исследовали эксплуатационный ствол шахты: отовсюду вели к стволу следы крови. К скобе, вбитой в деревянную обшивку, была привязана веревка. Очевидно, русские спустились по аварийным скобам в шахту и унесли с собой раненых. Трое немецких разведчиков, обвязавшись веревками, держа наготове ручные гранаты, стали спускаться по стволу. Пласт залегал мелко, глубина ствола была не больше семидесяти метров. Едва разведчики достигли шахтного двора, как начали отчаянно дергать веревку. Их вытащили без сознания, в крови, но огнестрельные раны на их телах подтвердили, что русские находятся в шахте. Ясно было, что долго им там не пробыть — найденная наполовину изглоданная свекла свидетельствовала: продовольствия у русских нет.

Полковник сообщил обо всех этих событиях командованию и получил снова от начальника штаба армии исключительно желчную и язвительную телеграмму: генерал поздравлял его с необычайно крупным успехом и выражал надежду, что в ближайшие дни окончательно удастся сломить сопротивление русских. Полковник пришел в отчаяние. Он понимал, что становится смешным.

После этого были приняты следующие меры.

Дважды спускали по стволу бумагу, писанную на русском языке, с предложением сдаться. Полковник обещал сдавшимся сохранить жизнь, раненым — помощь. Оба раза на бумаге была карандашная резолюция: «Нет». После этого пришли немецкие химики и забросали ствол дымовыми шашками. Но, очевидно, отсутствие диффузии воздуха помешало дыму распространиться по подземной выработке. Тогда потерявший равновесие полковник велел собрать женщин из шахтерского поселка и объявить им, что если сидящие в шахте красноармейцы не сдадутся, все женщины и дети будут расстреляны. Женщинам было предложено избрать трех делегатов; этих делегатов спустят в шахту, и они обязаны уговорить красноармейцев сдаться ради спасения женщин и детей. Если красноармейцы откажутся сдаваться, ствол шахты будет взорван.

В делегацию вошли: жена крепильщика Нюша Крамаренко, Варвара Зотова, работавшая до войны на углемойке, Марья Игнатьевна Моисеева — тридцатисемилетняя женщина, мать пятерых детей; старшей ее девочке исполнилось тринадцать лет. Женщины просили немцев разрешить спуститься с ними в шахту старику-зайчишке Козлову, — они боялись, что заблудятся без провожатого, так как после газопуска красноармейцы, вероятно, ушли в дальние выработки. Старик сам вызвался проводить их. Немцы приспособили над стволом ворот и блок, прикрепили к нему «букет» — деревянную бадью, используемую обычно на проходках, и закрепили трос, снятый с подорванной клетки.

Делегацию отвели к шахте. Толпа женщин и детей с плачем шла следом. Сами делегатки тоже плакали — они прощались с детьми, со своими родными, с поселком, с белым светом.

Бабы со всех сторон кричали:

— Нюшка, Варька, Игнатьевна! На вас вся надея! Уговорите их, голубчиков, сукиных сынов, постреляют

нас, проклятые, пропадем мы и дети наши пропадут,— подушат, как кутенят.

Делегатки плача кричали:

— Да нешто мы сами не знаем, у самих дети! Олечка, иди сюда, дай хоть посмотрю на тебя! Неужто через это душегубство пропадать всем. Да мы их, мужичков бешеных, за волосы силом повытаскиваем, глаза им, дуракам, повынимаем. Они должны сознавать, сколько невинных душ через них пропадет.

Старик Козлов шел впереди, припадая на левую ногу,— ее смяло в 1906 году, во время падения кровли при проходе западного бремсберга. Он шел, мерно размахивая зажженной шахтерской лампой, спешил уйти вперед от кричавших и плачущих баб,— они нарушали торжественное настроение, которое всегда приходило к нему при спуске в шахту. И сейчас, обманывая себя, он представлял, как клеть опустит его в шахту, как влажная сырость коснется лица его, как придет он в забой по тихой продольной, освещающей лампочкой темный ручеек, бегущий по уклону, и покрытые жирной пухлой угольной пылью балки крепления. Он снимет в забое шахтерки, сложит их, засечет куток и пойдет рубать мягкий коксующийся уголек. Через час зайдет к нему в забой кум, газовый десятник, и спросит: «Ну, что, рубаешь?» И он утрет пот, улыбнется и скажет: «А что ж с ним делать, рубаю, пока жив. Посидим, что ли, отдохнем». Они сядут у воздушника, поставят лампочки, вентиляционная струя будет мягко обдувать его черное, блестящее от пота тело, и они поговорят, не торопясь, о газовом угольке, о новой продольной, о кумполе, выпавшем на коренной штрек, посмеются над заведующим вентиляцией. Потом кум скажет: «Ну, Козел, с тобой тут всю упряжку просидишь»,— посветит лампочкой и пойдет. А он скажет: «Иди, иди, старый»,— а сам возьмет обушок и давай по струям рубать, в мягкой черной пыли. Шутка ли, сорок лет при таком деле! Но как ни торопился хромой старик, бабы не оставали от него. Плач и визг стояли в воздухе; вскоре весь народ подошел к скорбным развалинам надшахтного здания. Ни разу Козлов не был здесь с того дня, как бледный, с трясущимися руками пузатый инженер Татаринцов, когда-то, молоденьким штейгером, строивший этот копер, самолично подорвал толлом надшахтные здания. Это было дня за два до прихода немцев.

Козлов огляделся вокруг и невольно снял шапку. Бабы выли и бесновались, холодный мелкий дождь падал деду на лысину, щекотал кожу. Ему показалось, что бабы воют по скончавшейся шахте, а у него было чувство, словно он снова на кладбище, в осенний день, подходит к открытому гробу проститься со своей старухой. Немцы стояли в пелеринках и в шинелях, переговаривались, покуривали сигарки, поплеывали, словно все это смертоубийственное дело шло само собой. Только один, здоровенный солдат, с совершенно рябым лицом и большими темными мужицкими руками, уныло и кмуро разглядывал развалины шахты. «Вроде сочувствует... Может, тоже подземным был,— подумал старик,— забойщиком или по крепии...» Он первым полез в «букет». Нюшка Крамаренко завывала громко, во весь голос: «Олечка, ангелочек, деточка». Замурзанная с большим животом, раздувшимся от свеклы и сырых кукурузных зерен, трехлетняя девочка кмуро и сердито смотрела на мать, точно осуждала ее за слишком шумное поведение. «Ох, не могу, млеют мои руки, ножки мои млеют!» — кричала Нюшка. Она боялась черного провала, где сидели разъяренные от сражения бойцы. «Всех нас постреляют, нешто они разберут в темноте,— кричала она,— нас там, внизу, вас тут — подавят наверху...» Немцы подсаживали ее в «букет», она отталкивалась от борта ногами. Старик хотел помочь ей, но потерял равновесие и больно ударился скулой об железину. Солдаты засмеялись, и смущенный, злой Козлов рывкнул: «Лезь, дура, в шахту едешь, не в Германию, чего ревешь!»

Варвара Зотова ловко и легко прыгнула в бадью, она оглядела плачущих женщин и детей, протягивающих к ней руки, и крикнула: «Не бойсь, женщины, всех их там околдую, на-гора вывезу!» Ее залитые слезами глаза вдруг заблестели весело и озорно. Варваре Зотовой нравилось это опасное путешествие, — она и в девичестве славилась озорством. Да и перед самой войной, уже замужней женщиной, матерью двух детей, она в получку вместе с мужем ходила в ливную, играла на гармонии и плясала, грохоча коваными тяжелыми сапогами, с молодыми грузчиками, ее товарищами по работе на углемойке. И вот сегодня, в эту тяжелую и страшную минуту, Зотова, весело и отчаянно махнув рукой, сказала: «Эх, раз живем. Что суждено, того не минуешь, верно, дед?»

Марья Игнатьевна Моисеева занесла свою толстую большую ногу через борт, охнула, кряхтя сказала: «Варька, подсоби, не хочу, чтобы немец меня касался, без него справлюсь», — и перебралась в бадью.

Она сказала старшей девочке, державшей на руках полуторагодовалого мальчика: «Лидка, козу накорми, там ветки нарубленные. Хлеба нет, — так ты тыквы, половину, что от вчерашней осталась, свари в чугуне, — она под кроватью лежит. Соли у Дмитриевны позычишь. Да смотри, чтобы коза не ушла, а то уведут в минт». Бадью повело. Игнатьевна, потеряв равновесие, схватилась за борт, и Варька Зотова обняла ее за толстую талию. «Что это у тебя, — удивленно спросила она, — за пазуху положено?» Марья Игнатьевна не ответила ей, сердито сказала немецкому ефрейтору.

— Ну, что сердце зря рвать, посадили — так спускайте, что ли!

И ефрейтор, точно поняв, дал сигнал солдатам. Бадья пошла вниз. Раза три она сильно ударилась о поросшую темной зеленью деревянную обшивку, да так, что все валялись с ног. Потом пошла она плавно, сырость и мрак охватили людей, бедный свет бензинки освещал сгнившую обшивку ствола, вода бежала по ней, бесшумно поблескивая. Холодом дышала шахта, и чем ниже спускалась бадья, все страшней, холодней становилось душе.

Женщины молчали. Они вдруг оторвались от всего, что было дорого им и привычно, шум голосов, плач и причитания еще стояли у них в ушах, а суровая тишина черного подземелья уже охватила их, подчиняя их мозг и сердце. И вдруг в одно мгновение всем им пришли на мысль люди, уже третьи сутки сидевшие там, в глубине, во мраке... Что они думают? Что они чувствуют? Чего ждут, на что надеются? Кто они — молодые ли, старые ли? Кого вспоминают, о ком жалеют? Где берут силу для жизни? Старик осветил лампой белый плоский камень, замурованный между двумя балками, и сказал: «С этого камня тридцать шесть метров до шахтного двора, здесь первый горизонт. Надо голос подать женский, а то ребята постреляют нас».

И бабы подали голоса.

— Ребята, не бойтесь, бабы едут! — гаркнула Зотова.

— Свои, свои, русские, свои! — голосила Нюшка.

А Марья Игнатьевна протяжно подхватила:

— Слышь, сынки, не стреляйте! Сынки, не стреляйте!

На шахтном дворе их встретили два часовых с автоматами; у каждого из них на поясе висело по дюжине ручных гранат. Они разглядывали женщин и старика, мучительно щурясь от слабенького света бензинки, прикрывали глаза ладонями, отворачивались — желтый язычок пламени, величиной с младенческий мизинчик, закрытый густой металлической сеткой, слепил их, как летнее молодое солнце.

Один из них хотел помочь выбраться Марье Игнатьевне, подставил ей для упора плечо. Но он, видно, не соразмерил своей силы, и когда Моисеева оперлась об него ладонью, он вдруг потерял равновесие и упал. Второй часовой рассмеялся и сказал:

— Эх, ты, Ваня!..

Нельзя было понять, молоды они или стары, — лица их заросли бородами, говорили они медленно, движения их были осторожны, как у слепых.

— Пожевать ничего у вас нет, а, женщины? — спросил тот, что неудачно помогал Марье Игнатьевне.

Второй сразу же перебил:

— А хоть бы и есть, — товарищу Костицыну сдадут, он сам уже разделит.

Женщины молча всматривались в них, старик, поднимая лампу, освещал высокий свод подземного шахтного двора.

— Ничего, — бормотал он, — крепь держит, крепь такая — дай бог здоровья, на совесть ставили.

Один из часовых остался у ствола, второй пошел проводить делегатов к командиру.

— Где вы тут помещаетесь? — спросил старик.

— Да вот тут за воротами, направо, вниз коридор, там и сидим.

— Нешто это ворота? — удивленно сказал Козлов. — Это же вентиляционная дверь. На первом уклоне...

Часовой шел рядом с ним. Женщины шли следом.

В нескольких шагах от вентиляционной двери стояли два пулемета, направленных на шахтный двор. Пройдя еще несколько метров, старик приподнял лампу и спросил:

— Спят, что ли?

Часовой спокойно и медленно ответил:

— Нет, это покойники.

Старик посветил лампой на тела в красноармейских шинелях и гимнастерках. Их головы, груди, плечи и ру-

ки были перевязаны ржавыми от старой, сухой крови бинтами и тряпками. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу,—словно греясь. На некоторых были ботинки с вылезшими концами портянок, двое были в валенках, двое — в сапогах, один — босой. Глаза их запали, лица поросли щетиной, но не такой густой, как у часового.

— Господи,— тихо говорили женщины, глядя на покойников, и крестились.

— Пошли, чего стоять,— проговорил часовой.

Но женщины и старик еще смотрели на тела, с ужасом вдыхали запах, шедший от них. Потом они пошли дальше. Из-за угла коренного штрека слышался негромкий стон.

— Здесь, что ли? — спросил старик.

— Нет, это госпиталь наш,— ответил часовой.

На досках и сорванных вентиляционных дверях лежали трое раненых. Подле них стоял красноармеец и подносил ко рту раненого котелок с водой.

Двое лежали совсем неподвижно, не стонали; старик осветил лампой на них.

Красноармеец с котелком спросил:

— Откуда, что за народ?

Но, поймав напряженные взгляды женщин, обращенные к неподвижно лежащим, успокаивающе добавил:

— Скоро кончатся, часика через два так.

Раненый, пивший воду, сказал тихо:

— Мамаша, рассолу бы из кислой капусты.

— Да мы депутация,— сказала Варвара Зотова.

— Какая такая, от немцев, что ли? — спросил санитар.

— Ладно, ладно,— перебил часовой,— командиру все расскажете.

Раненый сказал Козлову: «Посвети-ка, дед»,— и, икнув откуда-то из самого нутра, приподнялся, откинул полу шинели, прикрывавшую развороченную выше колена ногу.

— Ой, батюшки мои! — вскрикнула Нюшка Краменко.— Ой!

Раненый тем же тихим голосом говорил: «Посвети-ка, посвети». И все приподнимался, чтобы лучше рассмотреть.

Он смотрел спокойно и внимательно, разглядывая ногу свою, как чужой, посторонний предмет, не веря, что

это мертвое, гниющее мясо, чугунно-черная, охваченная гангреной кожа является частью живого, привычного ему тела.

— Ну вот, видишь,— сказал он укоризненно,— черви завелись и шевелятся. Я говорил командиру,— зачем мучиться было со мной, оставили бы наверху, я бы гранаты мог бросать, а там бы пристрелил сам себя.

Он снова посмотрел на рану и недовольно сказал:
— Так и ходят, так и ходят.

Часовой сердито сказал ему:

— Не тебя одного тащили, с этими двумя,— он показал на лежащих,— четырнадцать человек покойников.

Нюша Крамаренко сказала:

— Чего же вам здесь мучиться, поднялись бы на-гора, там хоть в больнице обмоют, повязку сделают.

Раненый спросил:

— Кто ж, немцы? Нехай тут меня живым черви съедят.

— Пошли, пошли,— сказал часовой,— нечего здесь, гражданки, агитацию разводить.

— Постой, постой,— сказала Марья Игнатьевна и начала вытаскивать из-за пазухи кусок хлеба. Она дала хлеб раненому. Часовой протянул руку с автоматом и властно-сурово сказал:

— Запрещено. Каждая кроха хлеба, которая в шахте, поступает командиру для дележа. Пошли, пошли, гражданки! Нечего!

И они прошли дальше мимо госпиталя, где стоял уже запах смерти, такой же, как в мертвецкой, в которой они были несколько минут назад.

Отряд расположился в выработанной печи на первом западном штреке восточного уклона шахты. На штреке стояли пулеметы, имелось даже два легких ротных миномета.

Когда депутация свернула на штрек, женщины услышали звуки столь неожиданные для них, что невольно остановились. Со штрека раздавалось пение. Пели негромко, устало, пели какую-то незнакомую им песню, мрачную, невеселую.

— Это для духовности, заместо обеда,— сказал серьезно сопровождавший их боец,— второй день командир разучивает с ними; еще отец, говорит, пел ее, когда при царе на каторге был.

Одинокий голос, полный печали, затянул:

Наш враг над тобой не глумился,
Вокруг тебя были свои,
И мы, все родные, закрыли орлиные очи твои...

— Слушайте, бабы,— тихо и серьезно сказала Нюша Крамаренко,— вы меня пустите наперед, я лучше вас сумею слезами, криком. А то ведь ребята, видно, такие, что постреляют там немцы детей наших, а они на своем стоять будут.

Старик вдруг повернулся к ним и сдавленным голосом, охваченный бешенством, сказал:

— Что, суки, уговаривать пришли,— так вас самих пострелять надо!

И Марья Игнатьевна шагнула вперед, отстранила Нюшу и старика и сказала:

— А ну, пустите меня, мой черед пришел говорить.

Часовой, стоявший на штреке, вскинул автомат.

— Стой, руки вверх!

— Бабы идут!— крикнула Марья Игнатьевна и, пройдя мимо, властно спросила:

— Где командир, показывай.

Из темноты послышался негромкий голос:

— В чем дело?

Бензинка осветила группу красноармейцев, полулежавших на земле. В центре сидел большой, плечистый человек с круглой русой бородой, густо запачканной угольной пылью.

Все сидевшие вокруг него были тоже в угле, с черными руками, белки глаз их поблескивали, и зубы казались белыми, снежно-белыми.

Старик Козлов смотрел на их лица с великим умилением души: это были бойцы, прошумевшие своей железной славой по всему Донбассу. И ему казалось, что он увидит их в кубанках, в красных галифе, с серебряными саблями и лихими чубами, торчащими из-под папах и фуражек с лакированными козырьками. А на него смотрели рабочие лица, черные от рабочей угольной пыли,— такие лица были у его кровных друзей, рабочих — забойщиков, крепильщиков, запальщиков, коногоров. И, глядя на них, старый забойщик понял всем своим сердцем, что страшная горькая судьба, которую они предпочли плену,— это его судьба.

Он сердито оглянулся на Марью Игнатьевну, когда та заговорила.

— Товарищ командир,— сказала она,— мы к вам вроде депутации.

Он встал, высокий, очень широкий и очень худой, и тотчас поднялись за ним красноармейцы. Они были в ватниках, в грязных шапках-ушанках, заросшие бородами. И женщины смотрели на них. То были их братья, братья их мужей,— такими выезжали они из шахты после дневных и ночных упряжек,— в угле, спокойные, утомленные, щурясь от света.

— В чем же дело, депутатки? — спросил командир и улыбнулся.

— Дело простое,— ответила Марья Игнатьевна,— собрали немцы баб и детей и сказали: отправляйте женщин в шахту, пусть уговорят бойцов сдаваться; если не сумеете их на-гора поднять, постреляем вас всех тут с детьми.

— Так,— сказал командир и покачал головой.— Что же ты нам скажешь, женщина?

Марья Игнатьевна посмотрела в лицо командиру; она повернулась к двум своим товаркам и спокойно, печально спросила:

— Что же мы скажем, женщины? — И стала вытаскивать из-за пазухи куски хлеба, коржи, вареную свеклу и картофелины в кожуре, сухие корки.

Красноармейцы отвернулись, потупились, стыдясь смотреть на пищу, прекрасную, немыслимую своим видом, своим обаятельным запахом. Они боялись смотреть на нее,— то была жизнь. Один лишь командир смотрел прямо на холодный картофель и хлеб.

— Это не только мой вам ответ. Добро это мне старухи наносили,— сказала Марья Игнатьевна,— еле ведь донесла, все боялась, как бы немец под кофтой не пощупал.— Она выложила все это бедное приношение в платок, низко поклонившись, поднесла командиру, сказала:

— Извините.

И он молча поклонился ей.

Нюшка Крамаренко тихо сказала:

— Игнатьевна, я как увидела того раненого, как его живым черви едят, услышала его слова, так я обо всем забыла.

А Варвара Зотова оглядела красноармейцев улыбающимися глазами и сказала:

— Выходит, ребята, зря депутация в шахту ездила.

И красноармейцы глядели на ее молодое лицо.

— А ты оставайся с нами,— сказал один,— выйдешь за меня замуж.

— Ну и что ж, пойду,— сказала Варвара,— а кормить жену будешь?

И все тихо рассмеялись.

Два с лишним часа просидели женщины в шахте. Командир со стариком-забойщиком ушли в дальний угол печи, негромко разговаривали.

Варвара Зотова сидела на земле, подле нее, опершись на локоть, лежал небольшого роста красноармеец. В полутьме она видела бледность его лба, резко выступавшие из-под кожи лицевые кости, желваки на скулах. Он смотрел откровенным, пристальным взором, по-детски полуоткрыв рот, на ее лицо и грудь. Бабья нежность заполнила ее сердце, она тихонько погладила его по руке, придвинулась к нему. Лицо его искривилось улыбкой, и он хрипло шепнул ей:

— Эх, зря вы нас тут расстроили,— что женщины, что хлеб, все про солнышко напоминают.

Она вдруг обняла его, поцеловала в губы и заплакала.

Все сидевшие серьезно и молча смотрели, никто не пошутил и не посмеялся. Стало тихо.

— Что же, пора нам ехать,— сказала Игнатьевна и поднялась.— Дед Козлов, Дмитрич, поднимайся, что ли! Старый забойщик сказал:

— Проводить до ствола — провожу, а с вами на-гора не поеду, делать мне там нечего.

— Что ты, Дмитрич?— сказала Крамаренко.— Ты же тут с голоду умрешь.

— Ну, и что ж,— сказал он,— я тут со своими людьми умру, в шахте, где всю жизнь проработал.— Сказал он это спокойным и ясным голосом — и все сразу поняли, что уговаривать его не к чему.

Командир вышел вперед:

— Ну, женщины, не будьте на нас в обиде. Вас же, я думаю, немцы только запугать хотели, чтобы нас на провокацию взять.

— Детям своим о нас расскажите. Пусть они своим детям расскажут: умеют умирать наши люди.

— Эх, письмецо с ними передать,— сказал один красноармеец,— после войны бы переслали привет наш смертный.

— Не нужно писем,— сказал командир,— их, вероятно, обыщут, после того как они поднимутся.

И женщины ушли от них, плача, словно оставляли в шахте мужей и братьев, обреченных злой смерти.

Дважды в эту ночь немцы бросали в ствол дымовые шашки. Костицын приказал закрыть все вентиляционные двери, завалить их мелким угольным штыбом. Часовые пробирались к стволу через воздушники, стояли на посту в противогазах.

Во мраке пробрался к Костицыну санитар и доложил, что раненные погибли.

— Не от газа, а своей смертью,— сказал он, и найдя руку Костицына, передал ему маленький кусок хлеба.

— Не захотел Минеев есть, сказал: сдай обратно командиру, мне уже это без пользы.

Командир молча положил хлеб в свою полевую сумку, где хранился продовольственный запас отряда.

Прошло много часов. Бензиновая лампочка погасла, все лежали в полном мраке. Лишь на несколько мгновений капитан Костицын включил ручной электрический фонарь,— батарея почти вся выгорела, темнокрасная ниточка накалилась с трудом, не в силах преодолеть огромность мрака. Костицын разделил продукты, принесенные Игнатьевной, на десять частей. На каждого человека приходилось по картофелине и по куску хлеба весом в шестьдесят — восемьдесят граммов.

— Ну, что, дед,— сказал он забойщику,— не жалеешь, что остался с нами?

— Нет,— отвечал старик,— чего жалеть, у меня тут на сердце спокойно и душа в чистоте.

— А ты б рассказал что-нибудь, дед,— попросил голос из темноты.

— Правда, дед, послушаем тебя,— поддержал второй голос.— Ты не стесняйся, нас тут человек десять осталось, люди все рабочие.

— А с каких работ? — спросил старик.

— С разных. Вот товарищ капитан Костицын до войны учителем был.

— Я ботанику преподавал в учительском институте,— сказал капитан и рассмеялся.

— Ну, вот, четверо нас тут — слесаря. Вот я и три друга мои.

— И все четыре Иванами зовемся. Четыре Ивана.

— Сержант Ладьев наборщиком был в типографии, а санитар наш Гаврилов... он здесь, что ли?

— Здесь,— ответил голос,— кончилась моя санитарная работа.

— Гаврилов — он кладовщиком в инструментальном складе был.

— Ну, и один Федька — парихмахером работал, а Кузин — аппаратчиком был на химическом заводе.

— Вот и все наше войско.

— Это кто сказал, санитар? — спросил старик.

— Правильно, видишь, ты уж нас привык различать.

— Значит, шахтеров нет среди вас, подземных?

— Мы теперь все подземные, — сказал голос из дальнего угла, — все шахтеры.

— Это кто ж говорит? — спросил старик, — слесарь, что ли?

— Он самый.

И все тихо, лениво засмеялись.

— Да, вот приходится отдыхать.

— Мы и сейчас в бою, — сказал Костицын, — мы в осажденной крепости. Мы отвлекаем на себя силу противника. И помните, товарищи, что пока хоть один из нас дышит, пока глаза его не закрыты, — он воин нашей армии, он ведет великий бой.

Слова его были сказаны в темноту, звонким голосом, он почти прокричал их, и никто не видел, как Костицын вытер пот, выступивший на висках от чрезмерного напряжения, пондобившегося ему, чтобы произнести эти громкие слова.

«Да, это учитель, — подумал забойщик, — это настоящий учитель». — И он одобрительно сказал:

— Да, ребята, ваш начальник всей нашей шахтой заведывать бы мог, был бы заведующий настоящий.

Но никто даже не понял, как много похвалы вложил старик в эти слова, никто не знал, что Козлов всю жизнь свою ругал заведующих, говорил, что нет на свете человека, который смог бы заведывать такой знаменитой шахтой, ствол которой он, Козлов, прорубал своими руками.

Во тьме, охваченный доверием и любовью к людям, чью жестокую и страшную судьбу он добровольно разделил, старик сказал:

— Ребята, я эту шахту знаю, как муж жену не знает, как мать сына родного не знает. Я, ребята, в этой шахте проходил сорок лет, всю свою жизнь работал. Только и было у меня перерыву три раза — это в пятом году, за восстание против царя продержали меня в тюрьме четырнадцать месяцев, и потом в одиннадцатом году — еще на полгода сажали за то, что агитацию

против царя вел, и в шестнадцатом — взяли меня на фронт, и в плен я к немцам попал.

— Вот видишь,— сказал насмешливый голос,— вы, старики, любите хвалиться. Мы на Дону стояли, старик один, казак, все перед нами выхвалялся, кресты царские показывал, насмешки строил. А вот в плен мы живыми не идем, а ты пошел.

— Видел ты меня в плену?! — крикнул Козлов.— Видел ты меня там?! Меня раненым взяли, я без памяти был.

— Сержант, сержант,— сказал строго Костицын.

— Виноват, товарищ капитан, я ведь не по злобе, а посмеяться.

— Ладно, чего там,— сказал старик и махнул в темноте рукой в знак прощения, но никто, конечно, не видел, как он это сделал.

— Я из плена три раза бегал,— миролюбиво сказал он.— Первый раз из Вестфалии,— работал там на шахте тоже; и вроде работа та же, и вроде шахта как шахта, но не могу, и все. Чувствую — удавлюсь, а работать там не стану.

— А кормили как? — спросили в один голос несколько человек.

— Ну, кормили! Двести пятьдесят граммов хлеба и суп такой, что на дне тарелки Берлин видать. Ни слезинки жиру. Кипяток.

— Кипяточку сейчас я бы выпил.

И снова раздался голос командира:

— Меркулов, помните мой приказ,— об еде не разговаривать.

— Так я ведь о кипяточке, нешто это еда, товарищ капитан,— добродушно и устало ответил Меркулов.

— Да, поработал я там с месяц и в Голландию бежал, через границу перебрался,— говорил Козлов,— шестнадцать суток в Голландии жил и потом на пароход пробрался,— в Норвегию ехать. Только не доехал. Поймал нас немец в море и в Гамбург привел. Дали мне там крепко, к кресту подвязывали. Два часа висел, фельдшер мне пульс щупал, водой отливал, а потом послал в Эльзас, на руду — тоже подземная работа. Тут уж наша революция подошла, я снова бежал, через всю Германию прошел. Ну, тут уже мне помогали рабочие ихние. Я по-ихнему разговаривать стал. В деревнях не ночевал, больше старался в рабочих поселках. Вот так и шел. А двадцать верст осталось мне идти — снова ме-

ня поймали, и в тюрьму. Тут уж я в третий раз бежал. Пробрался в Прибалтийский край, ну, и тифом заболел. Неужели, думаю, не приду на шахту, неужели придется помереть? Нет, осилил я немца, осилил и тиф. Выздоровел. До двадцать первого года в гражданской войне был, добровольцем пошел. Я ведь против старого режима очень был злой, еще парнем молодым афишки разбрасывал,— тогда так листовки мы звали.

— Да ты, старик, неукротимый! — сказал сидевший рядом с Козловым боец.

— О брат, я, знаешь, какой,— с детским бахвальством сказал Козлов,— я человек рабочий, революционный, я ради правды никогда не жалел ничего. Ну, и пришел я, как демобилизовали меня, в апреле. Это было перед вечером уже. Пришел.— Он помолчал, переживая давнишнее воспоминание.— Пришел, да... пришел. И правду скажу, не в поселок зашел, а прямо вышел на здание, ну на копер посмотреть. Стою, и слезы льются,— и не пьяный ничуть, а плачу. Ей-богу, вот тебе честное слово. Смотрю на шахту, на глеевую гору и плачу. А народ уже меня узнал, к моей бабе побежали. Кричат: «Козел твой воскрес, на здание вышел, стоит там и плачет». Так, веришь, мне старуха до последнего часа простить не могла, что я к шахте на свидание раньше, чем к ней, пошел. Ты — шахтер, у тебя, говорит, вместо сердца кусок угля.

Он помолчал и сказал:

— Но веришь ли мне, товарищ боец,— ты, я слышу, тоже парень рабочий,— я прямо скажу — вот это мечтание было: на этой шахте жизнь проработать, на этой шахте помереть.

Он обращался к невидимым в темноте слушателям, как к одному человеку. Ему казалось, что это человек, хорошо знакомый ему, давний друг его, рабочий, с которым судьба привела встретиться после постылых дней, сидит рядом с ним в выработанной печи и слушает его с вниманием и любовью.

— Что же, товарищи,— сказал командир,— подходи-те паек получать.

— Может, присветить,— сказал шутя кто-то,— как бы два раза не подошел кто?

И все рассмеялись,— столь немислимым показалось им совершить такое подлое преступление.

— Давайте, давайте, чего же не подходите,— сказал Костицын.

И из темноты раздались голоса:

— Ну, чего же, подходи ты... деда-забойщика давай-те наперед, подходи, дед, чего ж ты, шупай свою пайку.

И старик оценил эту благородную неторопливость измученных голодом людей. Он много видел в своей жизни, видел он не раз, как голодные бросаются на хлеб.

После дележа еды старик остался сидеть с Костицыным.

Костицын тихо говорил ему:

— Вот, товарищ Козлов, спустились мы в шахту двадцать семь человек,— девять осталось. Люди сильно ослабели, хлеба больше нет. Я боялся, что люди друг на друга озлобятся, когда поймут всю тяжесть нашего положения. И была такая минута, верно была — начали по-пустому ссориться. Но произошел перелом, и я себе многое в заслугу ставлю, мы тут до вашего прихода разговор один серьезный имели. Вот так мы живем здесь: чем тяжелей нам,— тем тесней друг к другу жмемся, чем темней,— тем дружней живем. У меня отец на каторге был в царские времена, еще в пору студенчества, и мне его рассказы с детства помнятся. Он говорил: «Надежды мало было, а я верил». И меня он так учил: «Нет безнадежных положений, борись до конца, пока дышишь». И ведь так оно — страшно подумать, как мы этот месяц дрались, какими силами на нас враг шел,— и вот ничего, не сдались мы этой силе, отбились. Девять нас осталось, глубоко в землю ушли, над нами, может быть, дивизия немцев стоит, а мы не побеждены, будем драться и выйдем отсюда. Не отнять у нас неба, ветра, травы, мы отсюда выйдем.

Старик так же тихо ответил ему:

— А чего из шахты выходить,— тут он, дом. Бывало, заболеешь и в больницу не идешь, ляжешь в шахте — она вылечит.

— Выйдем, выйдем! — громко, так, чтобы слышали все, сказал Костицын. — Выйдем из этой шахты, мы — непобедимые люди, мы доказали это, товарищи!

Но едва произнес он эти слова, как тяжелый, медленный глухой удар потряс свод и почву. Заскрипела, затрещала крепь, глыбы породы повалились наземь, все, казалось, зашевелилось вокруг, а затем вдруг сомкнулось, сжало повалившихся людей, сдавило им грудь, сперло дыхание. Был миг, когда казалось, печем ды-

шасть: то густая и мелкая пыль, годами копившаяся на сводах, на крепи, поднялась и заполнила воздух.

Чей-то кашляющий, задыхающийся голос хрипло произнес:

— Немец ствол взорвал! Могила всем нам...

И тотчас же упрямый, исступленный голос Костицына перебил:

— Нет, не втопчет он нас в землю, выйдем мы, слышите, подыдемся наверх, мы выйдем!

И какое-то святое и злое упорство охватило людей. Кашляя и задыхаясь, словно опьяневшие от мысли, владевшей ими, кричали они:

— Выйдем, товарищ капитан, подыдемся наверх, своей волей подыдемся!

IV

Костицын отрядил двух человек к стволу. Их повел старик-забойщик. Идти было трудно, во многих местах взрыв вызвал завалы и обрушения кровли.

— За мной, сюда, за ногу меня щупай,— говорил Козлов, и уверенно, легко переползал через груды породы и поваленные стойки крепленья...

Он нашел часовых на шахтном дворе — оба они лежали в теплой, но уже холодевшей крови, и крепко держали в руках раздробленные свои автоматы.

Похоронили погибших, завалили их тела кусками породы. Один из бойцов сказал: «Вот теперь нас три Ивана осталось».

Старик долго лазил по подземному двору, пробрался к стволу, шумел там, разбирая крепь и породу, охал, ужасался силе взрыва.

— Вот окаянство,— бормотал он,— ствол взрывать? Где же это видано? Все равно, что младенца по спине дубиной ударить.

Он уполз куда-то далеко, затих совсем, и бойцы раза два окликали его.

— Дед, а дед, хозяин, давай назад, капитан ждет. Но старик молчал, не отзывался.

— Не придавило ли его,— сказал один из бойцов и снова закричал: — Дед, забойщик, где ты там, вертайся, слышишь, что ли!

— Эй, где вы? — слышался из штрека голос Костицына.

Он подполз к бойцам, и они рассказали ему о смерти часовых.

— Это Иван Кореньков, что хотел письмо с женщинами передать,— сказал Костицын, и все они помолчали. Потом Костицын спросил:

— Где же старик наш?

— Давно уполз, сейчас покличем его,— сказал боец, а то можно очередь дать из автомата, он услышит.

— Нет,— сказал Костицын,— давайте ждать.

Они сидели тихо, все поглядывали наверх, в сторону ствола,— не видно ли белого света. Но мрак сплошной и бесконечный.

— Похоронили нас немцы, товарищ капитан,— сказал боец.

— Ну, чего ты, нас нельзя хоронить,— ответил Костицын,— мы уж много их хоронили и еще столько похороним.

— Хорошо бы,— сказал второй боец.

— Конечно, хорошо,— протяжно подтвердил тот, что говорил о похоронах. И по голосам их Костицын понял, что они сомневаются в его вере.

— С тонну взрывчатки заложили, все переверотили,— проговорил он, поддерживая их недоверие.

Издали послышалось шуршание породы, потом снова затихло.

— Это крысы шуруют,— сказал боец.— Какая нам все-таки судьба выпала тяжелая. Я с детства на тяжелых работах был, и на фронте мне ружье тяжелое досталось — бронебойное, и смерть выпала тоже тяжелая.

— А я ботаником был,— сказал Костицын и рассмехался. Он всякий раз смеялся, вспоминая, что был ботаником. То прежнее время представлялось ему ослепительным, светлым,— он забыл, какие были у него тяжелые нелады с заведующим кафедрой, и что один из ассистентов написал на него заявление, забыл, как провалил он при защите свою кандидатскую работу и должен был, мучаясь самолюбием, второй раз защищать. Здесь, в глубине заваленной шахты, прошлое представлялось ему то лабораторным залом с настезь раскрытыми большими окнами, то светлой, полной росы и утреннего солнца лесной поляной, где он руководит коллекторами, собирающими растения для институтских гербариев.

— Нет, то не крысы, то наш дед вертается,— сказал второй боец.

— Где вы здесь? — крикнул издали Козлов.

Они прислушивались к его дыханию; оно было уже слышно за несколько шагов, и в дыхании этом ощутили они нечто тревожное, радостное, заставившее их всех насторожиться и встрепенуться.

— Ну, где вы? Тут, что ли? — нетерпеливо спросил Козлов.— Не зря я с вами остался, ребята, давайте скорее к командиру, ходок открылся.

— Я здесь,— сказал Костицын.

— Ну, товарищ командир, только пополз я к стволу, и сразу учуял,— струя воздушная, по ней пополз — и вот дело: завал наверху задержался, закозлило его, а до первого горизонта по стволу свободно, ну, и трещина там на первый горизонт от сотрясения, с нее и тянет струя. А ведь с первого горизонта квершлаг есть метров на пятьсот, в балку выходит, я тот квершлаг тоже проходил в десятом году. Пробовал я полезть по скобам, метров двадцать поднялся, а дальше скобы по-выбиты, тут уж я своей последней спички не пожалел, посветил — ну, как я вам раньше говорил, так и было. Там скобок с десяток нужно поставить, камень разобрать, которым ствол обмурован, метра два пробить и на выработанный горизонт пройти.

Все помолчали.

— Ну вот,— спокойно и медленно сказал Костицын, чувствуя, как сильно бьется его сердце,— ну вот, я ведь говорил вам, что тут нас не похоронишь.

Один из бойцов вдруг заплакал.

— Неужто, неужто мы опять свет увидим? — сказал он.

Второй тихо сказал:

— Как вы, товарищ капитан, знать все это могли? Я думал, вы так только, чтобы духовность в нас поддерживать, про надежду нам говорили.

— Ну, я командиру сразу про первый горизонт сказал, как еще женщины в шахте были, от меня его надежда,— самоуверенно сказал старик,— он только молчать велел, пока не подтвердится.

— Жить-то хочется, ясно,— сказал боец, который заплакал и теперь стыдился своих слез.

Костицын поднялся и сказал:

— Я должен посмотреть и убедиться, после этого вызовем сюда людей. А вы, товарищи, здесь ждите; если кто придет из отряда, им слова не говорите до моего возвращения. Ясно?

Бойцы снова остались одни.

— Неужели свет увидим? — сказал один.— Даже страшно делается, как подумаешь.

— Герой, герой, а жить-то хочется,— неодобрительно сказал тот, что плакал и все еще стыдился своих слез.

Вряд ли на земле была когда-либо работа мучительней и трудней той, что делал отряд Костицына. Беспощадная тьма давила на мозг, мучила сердца, голод терзал людей на работе и во время краткого отдыха. Люди, лишь теперь, когда появился выход из казавшегося им безнадежным положения, почувствовали всю страшную тяжесть, давившую на них, измерили муки того ада, в котором находились. Самая пустая работа, она у здорового, сильного человека при свете дня заняла бы короткий час, растягивалась на долгие сутки. Бывали минуты, когда изможденные люди ложились на землю, и им казалось: нет силы подняться. Но проходило некоторое время, и они вставали и, держась рукой за стену, вновь шли делать свое дело. Некоторые работали молча, медленно, обдуманно, боясь потратиться на лишнее движение; другие лихорадочно, со злым уханием работали короткие минуты, а затем, сразу выдохшись, сидели, безвольно опустив руки, ждали, пока к ним вернется сила. Так жаждущий терпеливо и упорно ожидает, пока соберется несколько мутных теплых капель влаги из пересохшего источника. Те, что вначале особенно радовались и считали, что выход из шахты вот-вот должен произойти, легко теряли веру и надежду. Те, что не верили в скорое спасение, чувствовали себя спокойней и работали ровней. Иногда во мраке раздавались крики отчаяния и бешенства:

— Света давайте... нет силы без света... Как без хлеба работать... Хоть поспать, поспать... Лучше помереть, чем так работать...

Люди жевали ремни, слизывали языком смазку с оружия, пытались на кладбище ловить крыс, но в темноте быстрые и нахальные крысы выскользывали из самых рук. И люди с гудящими головами, с вечным звоном в ушах, пошатываясь от слабости, вновь брались за работу.

Казалось, Костицын был выкован из железа. Казалось, он одновременно присутствует и там, где три слесаря Ивана рубят и сгибают скобы из толстых железин, и там, где идет разборка породы, и там, где в стволе

шла работа по вколачиванию новых скоб. Казалось, он видел в темноте выражение лиц бойцов и подходил в нужную минуту к тем, кто терял силы. Иногда он ласково, по-товарищески помогал подняться упавшим, иногда он медленно и негромко произносил: «Я приказываю вам встать, лежать здесь имеют право только мертвые». Он был безжалостен и жесток, но Костицын знал, что позволь он малейшую слабость, жалость к падающему, — погибнут все.

Однажды боец Кузин лег на землю и сказал:

— Что хотите мне сделайте, товарищ капитан, нет моей силы встать.

— Нет, я вас заставлю встать, — сказал ему Костицын.

Кузин, тяжело дыша, с мучительной насмешкой сказал:

— Как же вы меня заставите, может, застрелите? А мне только и хочется, чтобы меня пристрелили, — нет силы муку терпеть.

— Нет, не застрелю, — сказал Костицын, — лежи, пожалуйста, мы тебя на поверхность на руках вытащим. Вот там, при солнце, руки не подам, вслед плюну, — иди на все четыре стороны.

Кузин с проклятьем поднялся и пошел разбирать породу.

Лишь один раз Костицын потерял самообладание.

К нему подошел боец и тихо сказал:

— Упал сержант Ладьин, не то помер, не то сомлел, — не откликается.

Костицын хорошо знал простой и ясный характер сержанта, он знал, что в случае смерти или ранения командира Ладьин примет командование и поведет людей так, как вел их сам Костицын.

И, подходя в темноте к сержанту, он знал, что тот молча работал и сдал раньше других лишь оттого, что был еще слаб после недавнего ранения и большой потери крови.

— Ладьин, — позвал он, — сержант Ладьин, — и рукой провел по влажному лбу лежавшего. Сержант не отзывался. Тогда Костицын наклонился над ним и вылил на голову ему и на грудь воды из своей фляги. Ладьин пошевелился.

— Кто это здесь? — спросил он.

— Я, капитан, — сказал командир, наклоняясь над ним.

Ладьян обнял рукой шею Костицына, тыкаясь мокрым лицом в его щеку, шепотом сказал:

— Товарищ Костицын, мне уже не встать. Вы меня пристрелите и мясо мое поделите среди людей. Это спасение будет.— И он поцеловал Костицына холодными губами.

— Молчать! — закричал Костицын.

— Товарищ капитан, не выдержат иначе люди.

— Молчать! — снова крикнул Костицын.— Я приказываю молчать!

Его ужаснула простота этих страшных слов, произнесенных в темноте. Он оставил Ладьяна и быстро пошел туда, где слышался шум работы.

А Ладьян пополз следом, подтягивая за собой тяжелую железину, останавливаясь каждые несколько метров, набирая силы, и снова полз.

— Вот еще скоба одна,— сказал он,— передайте тем, что наверху работают.

Всюду, где не ладилась работа, бойцы спрашивали:

— А где дед, хозяин наш? Отец, пойдн сюда! Отец, где же ты там? А, хозяин!

И все они и сам Костицын ясно понимали и знали, что не будь среди них этого старика, им бы никогда не удалось справиться с огромной работой, которую они, наконец, довели до конца. Он легко и свободно двигался в темноте по шахте. Он ощупью разыскивал нужные им материалы. Это он нашел молот и зубило, это он принес из дальних продольных три ржавых обушка. Это он посоветовал привязывать ремнями и веревками тех, кто работал в стволе — вколачивал новые скобы взамен выбитых. Это он первым добрался до верхнего горизонта и разобрал во мраке камни, закрывавшие вход в квершлаг. Казалось, он не испытывал усталости и голода, так легко и быстро передвигался он, поднимался и спускался по стволу. Работа двигалась к концу. Даже самым ослабевшим вдруг прибавилось силы. Даже Кузин и Ладьян почувствовали себя крепче, твердо, не шатаясь, встали на ноги, когда сверху закричали:

— Последнюю скобу вбили!

Радостное, пьяное чувство охватило всех. Костицын в последний раз повел людей в печь, там роздал он автоматы, каждому велел прикрепить к поясу ручные гранаты.

— Товарищи,— сказал он,— пришла минута вернуться снова на землю. Помните: на земле война. Това-

рищи! Нас спустилось сюда двадцать семь, возвращаются на землю — восемь. Вечная память тем, кто навеки останется здесь.

И он повел отряд к стволу.

Только пьяный нервный подъем дал людям силу вскарабкаться по шатким скобам, подтягиваться метр за метром вдоль скользкого и мокрого ствола шахты. Больше двух часов занял подъем шести человек. Наконец они поднялись на первый горизонт и ожидали, сидя в низком квершлагае, оставшихся еще внизу Костицына и Козлова.

Никто не видел в темноте, как случилось это. Кажется, произошло это по жестокой ненужной случайности. Во время подъема уже в нескольких метрах от квершлага вдруг сорвался вниз старик-забойщик.

— Дед, хозяин, отец! — закричали сразу несколько голосов. Тело старика тяжело и гулко упало на груды породы, лежащей посреди шахтного двора.

— Проклятая, подлая нелепость, — бормотал Костицын, тормоза неподвижное тело. И только сам старик-забойщик, за несколько минут до своей гибели, чувствовал, что с ним творится что-то необычное, страшное.

«Смерть, что ли, пришла?» — думал он.

В ту минуту, когда бойцы, вколотившие последнюю скобу, радостно закричали, когда самые слабые и изнуренные вдруг почувствовали, что могут еще двигаться, он ощутил, что силы жизни оставляют его. Никогда с ним не было такого. Голова кружилась, красные круги мелькали в глазах. Он поднимался по стволу вверх, уходил из шахты, в которой проработал всю свою жизнь. И с каждым его движением, с каждым новым усилием слабели его руки, холодело сердце. В мозгу мелькнули далекие, давно забытые картины: чернобородый отец, мягко ступая лаптями, подводит его к шахтному копру... Англичанин-штейгер качает головой, смеясь смотрит на маленького одиннадцатилетнего человека, пришедшего работать в шахту... И снова красным застилает глаза. Что это — вечернее солнце в дыму и пыли донбасского заката, кровь или та красная дерзкая тряпка, которую он выхватил из-под пиджака и, гулко стуча сапогами, понес впереди огромной толпы оборванных, только что поднявшихся на поверхность шахтеров, прямо на скачущих из-за конторы казаков и конных полицейских?.. Он собрал все силы, хотел крикнуть, позвать на помощь. Но силы не было, слова не шли.

Он прижался к холодному скользкому камню лицом, пальцы его цеплялись за скобу. Нежная мокрая плесень касалась его щеки, вода потекла по его лбу, и ему показалось, что мать плачет над ним, обливая слезами лицо его.

— Куда, куда ты уходишь, хозяин?..— спрашивала вода.

И снова хотел он крикнуть, позвать Костицына и сорвался, упал вниз.

V

Они вышли в балку ночью. Шел мелкий теплый дождь. Они сняли шапки и молча сидели на земле. Теплые капли падали на их головы. Никто из них не говорил. Ночной сумрак казался светлым для их глаз, привыкших к многодневному мраку. Они дышали, глядели на темные облака, тихонько гладили ладонями мокрую весеннюю траву, пробивавшуюся среди мертвых прошлогодних стеблей. Они всматривались в туманный ночной сумрак, вслушивались: то капли дождя падали с неба на землю. Иногда с востока поднимался ветер, и они поворачивали свои лица к ветру. Они смотрели,— пространство было огромно, и каждый видел во мраке перед собой то, чего хотелось,— солнце.

— Автоматы прикройте от дождя,— сказал Костицын.

Вернулся разведчик. Он громко, смело окликнул их.

— Немцев в поселке нет,— сказал он,— три дня, как ушли; пошли скорей, там нам две старухи котел картошки варят, соломы настелили, спать ляжем. Сегодня двадцать шестое число; это мы в шахте двенадцать суток просидели. Они говорят: тут за наш упокой тайно всем поселком молились.

В доме было жарко. Две женщины и старик угощали их кипятком и картошкой.

Вскоре все бойцы уснули, прижавшись друг к другу, лежа на влажной теплой соломе. Костицын сидел с автоматом на табуретке, нес караул.

Он сидел, выпрямившись, подняв голову, и всматривался в рассветный сумрак. День и ночь и еще день проведут они здесь, а на вторую ночь двинутся в путь. Так решил он. Станный царапающий звук привлек его внимание. Казалось, мышь скребла. Он прислушался. Нет, то не мышь. Звук доносился откуда-то издали и в то же

время был совсем близко, словно кто-то робко и несмело, то, наоборот, настойчиво и упорно ударял маленьким молотом... Может быть, в ушах все еще стоит шум от их подземной работы? Ему не хотелось спать. Он вспомнил Козлова.

«У меня стало железное сердце,— подумал он,— теперь я не смогу ни любить никого, ни жалеть».

Старуха, бесшумно ступая босыми ногами, прошла в сени. Начало светать. Солнце прорвалось сквозь облака, осветило край белой печи, капли заблестели на оконном стекле. Негромко тревожно завохотала в сенях курица. Старуха что-то сказала ей, наклоняясь над лукошком. И опять этот странный звук.

— Что это? — спросил Костицын. — Слышите, бабушка, словно молоточек где-то стучит, или кажется мне?

Старуха негромко ответила из сеней:

— Это здесь в сенях цыплята вылупляются, носом стучат, яйцо разбивают...

Костицын посмотрел на лежащих. Бойцы спали тихо, не шевелясь, ровно и медленно дыша. Солнце блеснуло в обломке зеркала на столе, и светлое узкое пятно легло на впалый висок Кузина. Костицын вдруг почувствовал, как нежность к этим, все вынесшим людям, наполнила его всего. Казалось, никогда в жизни не испытывал он такого сильного чувства, такой любви, такой нежности.

Он вглядывался в черные, заросшие бородами лица, смотрел на искалеченные чугунно-тяжелые руки красноармейцев. Слезы текли по его щекам, он не утирал их.

Величественно и печально выглядит мертвая донецкая степь. В тумане стоят взорванные надшахтные здания, темнеют высокие глеевые курганы, голубоватый дым горящего колчедана ползет по черным склонам терриконов и, сорванный ветром, тает без следа, оставляя лишь острый запах сернистого газа. Степной ветер бежит меж разрушенных шахтерских домиков и над огромными конторами. Скрипят наполовину сорванные двери и ставни, красны ржавые рельсы узкоколеек. Мертвые паровозы стоят под взорванными эстакадами. Отброшены силой взрыва могучие подъемные механизмы, вьется по земле сползший с подъемного барабана стальной пятисотметровый канат, обнажились отточенные бетонированные раковины всасывающих шахтных вентиляторов, червонной медью блестит обмотка рас-

потрошенных огромных динамомоторов, на каменном полу механических мастерских ржавеют бары тяжелых врубовых машин. Страшно здесь ночью при свете луны. Нет тишины в этом мертвом царстве. Ветер свистит в свисающих прядях проводов, колокольцами позванивают клочья кровельного железа, вдруг стрельнет, распрямляясь, смятый огнем лист жести, с грохотом повалится кирпич, скрипнет дверь шахтерской башни. Тени и лунные пятна ползают по земле, прыгают по стенам, ходят по грудам железного лома и черным обгоревшим стропилам.

Всюду над степью взлетают зеленые и красные мухи, гаснут, исчезают в сером тумане. То немецкие часовые, боясь умерщвленного ими края угля и железа, постреливают в воздух, отгоняют тени. Огромное пространство тушит слабый треск автоматов, гаснут в холодном небе светящиеся пули, и снова мертвый, побежденный Донбасс страшит, ужасает победителя, и снова потрескивают очереди автоматов и летят в небо красные и зеленые искры. Все говорит здесь о страшном ожесточении: котлы взрывали свою железную грудь, не желая служить немцам, чугуны из домен уходили в землю, уголь хоронил себя под огромными пластами породы, а могучая энергия электричества жгла моторы, породившие ее. И при взгляде на мертвый Донбасс сердце наполняется не только горем, но и великой гордостью. Эта страшная картина разрушения — не смерть. Это свидетельство торжества жизни. Жизнь презирает смерть и побеждает ее.

ДОБРО СИЛЬНЕЕ ЗЛА

I

Часто в петливой фронтовой дороге во время короткой остановки в пути, в мимолетной встрече с прохожим в лесу, в минутном разговоре у деревенского колодца, под скрип иссушенного солнцем журавля, вдруг увидишь и услышишь чудесные вещи: мелькнет перед тобой драгоценное чудо человеческой души. Иногда услышишь милое мудрое слово солдата или деревенского сердитого старика, либо лукавой и одновременно простосердечной старухи. Иногда увидишь такое, что слезы невольно навернутся на глаза, а иногда жизнь рассмежит,— и через несколько дней вспомнишь и смеешься. Сколько поэзии, сколько красоты в этих мимолетных картинах, увиденных на лесных полянах, в высокой ржи, под медными стволами сосен, на песчаном берегу речки в час ясной утренней зари, в пыли и дыму пышного, огненного заката, при свете месяца. А иногда потрясет тебя увиденное, кровь отольет от сердца, и знаешь,— страшная картина, мелькнувшая перед глазами, навечно, до самого смертного часа будет преследовать тебя, давить на душу.

Но вот, удивительное, странное дело — станешь писать корреспонденцию, и все это почему-то не помещается на бумаге. Пишешь о танковом корпусе, о тяжелой артиллерии, о прорыве обороны, а тут вдруг старуха с солдатом разговаривает, или жеребенок-сосунок, пошатываясь, стоит на пустынном поле, возле тела убитой матки, либо в горящей деревне пчелы роятся на ветке молодой яблони, и босой старик белорус вылезает из окопчика, где хоронился от снарядов, снимает рой, и бойцы смотрят на него, и, боже мой, сколько прочтешь в их задумавшихся, печальных глазах.

В этих мелочах душа народа, в них и наша война, в ее муках, победах, суровой, выстраданной славе.

Белорусская природа схожа и не схожа с украинской, и так же не схожи и схожи лица белорусских и украинских крестьян и крестьянок. Белорусский пейзаж — печальная акварель, нежные и скупые краски. Все это найдешь и на Украине — болота, речушки, сады, леса, рощи, рыжие пески и песчаную глинистую пыль на дорогах. Но нет в украинской природе этой монотонной печали. Нет в украинских лицах тихой задумчивости, нет однообразия белой и серой одежды. Белорусская земля скупей, болотистей, и она не отпустила природе столько цветов, плодородия, богатства, а человеку — красок в лице и одежде.

Но когда смотришь на выходящие из лесов полчища белорусов-партизан, обвешанных гранатами, с немецкими автоматами, с патронными лентами, обмотанными вокруг пояса, то видишь, как щедро богат белорусский народ вечной любовью к своей земле, свободе.

Вот машина привозит нас к деревне. Стоят несколько женщин в белых платках, мальчишки, старик без шапки и смотрят, как парень в рваном пиджаке, положив наземь немецкий автомат, копает заступом землю. Сколько мы уже видели на пути белых свежих крестов, повязанных рушниками, не успевшими даже запылиться, сколько мы видели открытых могил, высоких, библейски строгих стариков с развевающимися бородами, несущих на руках гробы. По этим белым крестам и открытым могилам можно видеть путь немцев.

Должно быть, и здесь хоронят кого-нибудь. Может быть, парень копает могилу своей невесте, сестре?

Но не смерть собрала здесь людей. В 1941 году, окончив семилетку, деревенский парнишка закопал свои учебники и ушел в лес, в партизаны. Сегодня, через три года, он откапывает свои книги. Разве не чудесный это символ — паренек, партизан, положивший на землю автомат, в пыли движущихся к Минску армий, бережно и хмуро, озабоченно и любовно листающий отсыревшие желтые страницы школьного учебника? Его зовут Антон. Пусть спешат к нему инженеры, писатели, профессора. Он ждет их.

А машина уже катит вперед — спешит нагнать наступающую дивизию. Как найти нашу старую сталинградскую знакомую, в пыли и в дыму, среди рева моторов, под лязганье гусениц танков и самоходок, в скрипе огромных колесных обозов, идущих на запад, в потоке движущихся на восток босых ребятишек, женщин в бе-

лых платках, угнанных перед боями немцами и теперь идущих домой?

Добрые люди посоветовали нам, чтобы избавиться от остановок и расспросов, искать дивизию по известному многим признаку — в ее артиллерийском полку идет в обозной упряжке верблюд по кличке «Кузнечик». Этот уроженец Казахстана прошел весь путь от Сталинграда до Березины. Офицеры связи обычно высматривают в обозе Кузнечика и без расспросов находят движущийся день и ночь штаб.

Мы посмеялись диковинному совету, как шутке, и поехали дальше.

В этом огромном потоке стороннему человеку все могло показаться чужим, и сам он мог почувствовать себя затерянным среди тысяч не ведающих друг друга людей. Но сторонний человек с удивлением увидел бы, что все, кто движется вперед, обгоняя друг друга, отлично знакомы между собой.

Вот пехотный лейтенант, ведущий боковой тропинкой взвод, помахал рукой сидящему на самоходной пушке юноше в шлеме и комбинезоне, и тот, улыбаясь, закивал, стал кричать что-то, не слышное в лязге гусениц. Вот обозный, в совершенно белой пилотке, с серыми от пыли бровями, ресницами, усами, кричит водителю тягача, такому же пыльному, перепачканному, и водитель, ничего не слыша, на всякий случай утвердительно кивает.

А едущие в кузове полуторки два лейтенанта то и дело говорят, указывая на проходящие машины:

— Вон майор из противотанкового полка на виллисе поехал... Аничка, не заглядывайся, свалишься... Гляди, вон Люда из роты связи! Ох, черт, как ее разнесло!.. Никитин, ты что, уже из госпиталя обратно в батальон?

Три года люди воюют плечо к плечу, и в этих мимолетных встречах, в движущемся железном потоке выражается дружество, связь всех этих пыльных, худых, загоревших офицеров, сержантов, ефрейторов, бойцов, в белых от солнца и пыли гимнастерках, с медалями на выцветших, грязных ленточках, с красными и желтыми нашивками ранений.

Мы въезжаем в лес. Сразу становится тихо, машина идет едва намеченной дорогой, в стороне от грейдера. Под широкой и прочной, точно отлитой, листвой огромных дубов, на мягкой траве, которая бывает особенно

нежна и приятна в старых дубовых рощах, стоят три милостивые женщины. Тени резной листвы и светлые пятна солнца ложатся на их плечи и головы. Как прекрасен этот летний тихий час, и как горько плачут женщины, едва случайным вопросом водителя: «Какая, гражданочки, жизнь?» — затронута была их великая печаль.

Почти в каждой белорусской деревне слышали мы о беде, постигшей многие тысячи матерей.

Недели за две до начала боев немцы стали забирать в селах детей от восьми до двенадцати лет. Они говорили, что хотят учить их. Но всем скоро стало известно, что детей держат в лагерях за проволокой. Матери шли к ним за десятки верст.

— Матки млеют, дети кричат, на колючке виснут, — рассказывала женщина.

Потом дети вдруг исчезли. Где они, что с ними? Убиты, угнаны в рабство, или, как рассказывают, их держат возле госпиталей для германских офицеров, переливают их кровь раненым немцам?

Чем можно утешить неутешное горе?

А еще через несколько сот метров пути мы увидели, как две быстрые тени мелькнули меж деревьев: две девушки, собиравшие землянику, бросились бежать.

— Эй, не бойсь, — крикнул водитель, — это не немцы, свои!

И девушки вышли из овражка, смеялись, закрывая рот платками, и смотрели, как проезжает наша машина, протягивали нам плетеные квадратные корзинки, полные земляники. Вот мы вновь въезжаем на главную дорогу, в пыль и в грохот. И первое, что мы видим, это запряженного в телегу верблюда, коричневого, почти голого, потерявшего всю свою шерсть. Это и есть знаменитый Кузнечик. Навстречу ведут толпу пленных немцев. Верблюд поворачивает к ним свою некрасивую голову с брезгливо отвисшей губой — его, видимо, привлекает непривычный цвет одежды, может быть, он чувствует чужой запах. Ездовой деловито кричит конвоирам: «Давай сюда немцев, их сейчас Кузнечик съест!» И мы тут же узнаем биографию Кузнечика: при обстрелах он прячется в снарядные и бомбовые воронки, ему полагается уже три нашивки за ранение и медаль «За оборону Сталинграда». А ездовому командир артиллерийского полка Капраманян обещал награду, если он доведет Кузнечика до Берлина. «Вся грудь в орденах у тебя бу-

дет», — серьезно, улыбаясь одними лишь глазами, сказал командир полка. По указанной Кузнечиком дороге мы приехали в дивизию.

II

Многих старых знакомых не нашел я в гуртьевской дивизии, многих из тех, кого знал лично и надолго запомнил по коротким встречам, и тех, о чьих великих подвигах слышал. Нет и самого Гуртьева, павшего при взятии Орла: в момент разрыва снаряда на наблюдательном пункте он телом своим закрыл командующего Горбатова. Фуражка Горбатова была забрызгана кровью генерала-солдата. Но по-прежнему неутомимо работает в дивизии гвардии полковник Свирин, артиллерист Фугенфиров, сапер Рывкин. И часто проходят мимо тебя то офицер, то сержант, то ефрейтор с зеленой ленточкой сталинградской медали.

А на место ушедших пришли молодые, новые, и неукротимый дух павших живет в них. Здесь принято передавать оружие сталинградцев молодым героям. Пистолет Гуртьева отдан его сыну, лейтенанту; пистолет удальца-сапера Брысина носит его друг Дудников. И среди молодых саперов уже славится бесстрашный умища Черноротов.

Во время боя мы воочию убедились, что такое дружба сталинградцев. Прибежал связной и крикнул: «На артиллерийском эне убит Фугенфиров!» Свирин, схватившись за голову, застонал, лица людей в часы победы стали темны. И все в горе растерянно повторяли: «Ах, боже мой, как же это так!» А через пятнадцать минут сообщили: Фугенфиров цел и невредим. Был в дивизии связист Путилов. Когда в Сталинграде порвалась связь штаба с полками, он пополз исправить порыв, был тяжело ранен, зажал концы провода зубами и умер. Связь продолжала работать, скрепленная его мертвым ртом. Катушка Путилова передается теперь как знамя, как орден лучшим связистам дивизии. И мне подумалось, что этот провод, скрепленный мертвым Путиловым на заводе «Баррикады», тянется от Волги к Березине, от Сталинграда к Минску, через всю нашу огромную страну, как символ единства, братства, живущих в нашей армии, в нашем народе.

Ночевали мы в лесу, в палатке дивизионного медсанбата. Утром мы увидели странную картину: по лесу

от одной палатки медсанбата к другой санитары несли раненого. На носилках, уместившись у ноги раненого, путешествовали, чинно покачиваясь, два котенка.

Когда мы вошли в палатку, то увидели такую картину: раненые, лежа на носилках и на траве, наблюдали, как девушка-санитарка дразнила котят еловой веткой. Котята проделывали все, что положено им по штату в таких случаях: крались на брюхе, шли боком, распушив хвосты, прыгали вверх всеми четырьмя лапами, сталкиваясь в воздухе, валялись на спину, били хвостами.

Я посмотрел на раненых, вышедших час-два тому назад из боя. Их гимнастерки и белье были истерзаны смертным железом, залиты черной, запекшейся кровью. Но их серые, землистые лица мучеников улыбались. Видимо, было необычайно значительно и важно то, на что они смотрели. Они видели смерть, и вот они увидели жизнь: ведь это говорило об их детстве и об их детях, о доме, отвлекало от страданий и крови.

Не улыбалась только девушка-санитарка,— то была нужная работа, лечебная процедура. И право же, сколько нежного и тонкого женского ума нужно, чтобы, живя в восьми—десяти километрах от боя, вечно двигаясь, возить с собой этот живой инвентарь, для того чтобы вызвать улыбку на обескровленных губах. Один из армейских старожил, капитан Аметистов, рассказал мне, что ему часто приходится встречать в горбатовских войсках трогательную любовь к животным: один из генералов возит с собой голубя, который «пьет чай»: опускает клюв то в сахар, то в налитую для него в блюдечко воду. У уважаемого танкового командира живет еж и лукавец-кот. В полках живут прирученные зайцы, собаки с перебитыми и залеченными лапами. Один командир полка приручил даже лисицу, и она, убегая на день в лес, вечером возвращается к своему начальнику.

И снова я подумал — что в этой мелочи? Прихоть, желание развлечься? Или это говорит все об одном и том же: о чудесной, широкой любви нашего человека к жизни, к прекрасной природе, к миру, где свободному человеку надлежит истребить черные силы зла и быть разумным и добрым хозяином.

Мы въехали в Бобруйск, когда одни здания пылали, а другие лежали в развалинах.

Дорога к Бобруйску — это дорога возмездия! Машина с трудом пробивается среди сгоревших и изуродованных немецких танков и самоходных пушек. Люди идут по трупам немцев. Трупы — сотни, тысячи трупов! — устилают самую дорогу, лежат в кюветах, под соснами, в смятой зеленой ржи. Есть места, где машины едут по мертвым телам, так густо устилают они землю. Их беспрерывно закапывают, но количество трупов так велико, что с этой работой нельзя справиться в один день. А день сегодня изнурительно жаркий, безветренный, и люди идут и едут, зажимая рты и носы платками. Здесь кипел котел смерти, здесь свершилось возмездие, суровое, страшное возмездие над теми, кто, не сложив оружия, пытался вырваться по перерезанным нами дорогам на запад, возмездие над теми, кто кровью детей и женщин залил нашу землю.

У въезда в пылающий и разрушенный Бобруйск на низком песчаном берегу Березины сидит немецкий солдат, раненный в ноги. Он, подняв голову, смотрит на танковые колонны, идущие на мост, на артиллерию и самоходные пушки. К нему подходит красноармеец и, зачерпнув консервной банкой воды, дает напиток.

И невольно подумалось, что бы сделал немец летом 1941 года, когда через этот мост шли на восток панцирные колонны фашистских войск, если б на песчаном берегу Березины сидел наш боец с перешибленными ногами. Мы знаем, что бы он сделал. Но мы ведь люди, этим мы победили зверя. Фашисты воюют с детьми, женщинами, ранеными. Высший закон жизни осудил их на уничтожение. Близок день суда света над тьмой, добра над злом! Близок день полного возмездия!

И снова дорога, пыль, речушки, поля, треск автоматов в лесах.

В полуразрушенном темном сарае идет первый опрос взятых вчера вечером генералов: командира шестой дивизии генерал-лейтенанта Гайне и знаменитого палача, бывшего последовательно комендантом Орла, Карачева и Бобруйска, генерал-майора Адольфа Гамана. Здесь, в этом сарае, апофеоз «котла».

Гайне, в солдатских сапогах, с удлинненным лысым черепом, утирает пот с красного лица, улыбается, кива-

ет головой. Голос у него сильный, не поймешь, от простуды ли, или от большого шнапса, которым он поддерживал в себе мужество в период коротенькой своей пятнадцатидневной боевой деятельности. Речь его многословна и неясна — то ли он все еще пьян, то ли он не умеет ясно мыслить и выражать свои мысли словами. Вспоминается, как пленный немецкий капитан жаловался несколько часов тому назад на необычайно низкий уровень генералитета последнего времени: Гитлер поставил нацистских генералов-ефрейторов на смену кастовому генералитету. И, слушая скудную, путаную, тусклую речь Гайне, думаешь: «Да, есть на что пожаловаться фашистским гауптманам и обер-лейтенантам...» И вот начинает отвечать Адольф Гаман. Он необычайно объемистый, низкорослый старик, с большим красным лицом и тяжелыми щеками. Гитлер наградил его не то девятью, не то одиннадцатью орденами и знаками отличия; они у него и на толстой груди, и на толстом животе, и на толстом боку, поэтому их трудно сосчитать.

Ужасное чувство охватывает, когда глядишь на Гамана. Внешне он похож на человека. Руки, глаза, волосы, речь — все это не отличает его от человека. А перед глазами встают раскопанные могилы, где лежат сотни, тысячи трупов женщин и детей, похороненных живыми, трупы, у которых анатомы находили песок в легких; вспоминаешь развалины взорванного им четвертого августа 1943 года Орла, снесенный им с лица земли Карачев, еще горящий, дымящийся сегодня Бобруйск.

Вот этим же басистым голосом он отдавал приказания своим поджигателям, вот этой пухлой рукой подписывал он приказ о массовом истреблении беспомощных старцев и младенцев. Вот этой же толстой ногой в ладном сапожке он утапывал землю над недобитыми в яме старухами и детьми. Нет, страшно дышать одним воздухом с ним, с этим нечеловеком. Как полагается уголовнику, он все отрицает — и массовое убийство евреев, и массовые расстрелы партизан, и угон населения, и вообще всякое насилие. Раз только, кажется в Орле, был казнен мужчина за убийство из ревности. Взорвал ли он Орел? Да, но ведь всем известно, что он солдат и выполнял приказ Шмидта, командующего второй танковой армией. Да, да, он и в Карачеве выполнял приказ командования. И в Бобруйске. И вдруг он бросает быст-

рый, хитрый, испуганный взгляд на спрашивающих, взгляд седого жулика и убийцы, взгляд труса.

С каким отвращением, с каким брезгливым любопытством смотрит на него щуплый паренек-автоматчик в зеленых обмотках и тяжелых ботинках! Нет, хорошо, что первый допрос длился недолго, что Гамана уже увозят в тыл.

Почти одиннадцать месяцев тому назад генерал Горбатов на митинге в Орле призывал бойцов к мести, к тому, чтобы настичь орловского палача. Красноармейцы выполнили наказ.

Машина наша бежит все дальше среди дремучих партизанских лесов Белоруссии. Далеко за спиной уже остался Бобруйск, не так далеко уже до Минска. И все, что мы видим, все, что на мгновение мелькает и исчезает из глаз, но навек останется в памяти, все говорит о том, что добро побеждает зло, что свет сильнее тьмы, что в правом деле человек попирает зверя.

*1-й Белорусский фронт
5 июля 1944 года*

ТРЕБЛИНСКИЙ АД

I

На Восток от Варшавы вдоль Западного Буга тянутся пески и болота, стоят густые сосновые и лиственные леса. Места эти пустынные и унылые, деревни тут редки. И пешеход, и проезжий избегают песчаных узких проселков, где нога увязает, а колесо уходит по самую ось в глубокий песок.

Здесь, на седлецкой железнодорожной ветке, расположена маленькая захолустная станция Треблинка, в шестидесяти с лишним километрах от Варшавы, недалеко от станции Малкинья, где пересекаются железные дороги, идущие из Варшавы, Белостока, Седлеца, Ломжи.

Должно быть, многим из тех, кого привезли в 1942 году в Треблинку, приходилось в мирное время проезжать здесь, рассеянным взором следить за скучным пейзажем — сосны, песок, песок и снова сосны, вереск, сухой кустарник, унылые станционные постройки, пересечения железнодорожных путей... И, может быть, скучающий взор пассажира мельком замечал идущую от станции однокольную ветку, уходящую среди плотно обступивших ее сосен в лес. Эта ветка ведет к карьере, где добывался белый песок для промышленного и городского строительства.

Карьер отделен от станции расстоянием в четыре километра, он находится на пустыре, окруженном со всех сторон сосновым лесом. Почва здесь скупа и неплодородна, и крестьяне не обрабатывают ее. Пустырь так и остался пустырем. Земля кое-где покрыта мхом, кое-где высятся худые сосенки. Изредка пролетит галка или пестрый, хохлатый удод. Этот убогий пустырь был выбран и одобрен германским рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером для постройки всемирной плахи; такой не знал род человеческий от времен первобытного варварства до наших жестоких дней. Да, вероятно, и вселенная

не знала такой плахи. Здесь была устроена главная плаха СС, превосходящая Сабибур, Майданек, Бельжице, Освенцим.

В Треблинке было два лагеря: трудовой лагерь № 1, где работали заключенные разных национальностей, главным образом поляки, и еврейский лагерь, лагерь № 2.

Лагерь № 1 — трудовой или штрафной — находился непосредственно возле песчаного карьера, неподалеку от лесной опушки. Это был обычный лагерь, каких гестаповцы построили сотни и тысячи на оккупированных восточных землях. Он возник в 1941 году. В нем, как в некоем единстве, существовали черты немецкого характера, искаженные в страшном зеркале гитлеровского режима. Так в бреду горячечного уродливо и искаженно отражаются мысли и чувства, пережитые больным до своей болезни. Так сумасшедший, действующий в состоянии умопомрачения, в своих поступках искажает логику поступков и замыслов нормального человека. Так преступник творит свои дела, соединяя в ударе молотом по переносице жертвы умелые навыки — глазомер и хватку рабочего-молотобойца — с хладнокровием нечеловека.

Бережливость, аккуратность, расчетливость, педантичная чистота — все это неплохие черты, присущие многим немцам. Приложенные к сельскому хозяйству, к промышленности, они дают свои плоды. Гитлеризм приложил эти черты к преступлению против человечества, и рейхс СС действовало в польском трудовом лагере так, словно речь шла о разведении цветной капусты или картофеля.

Площадь лагеря нарезана ровными прямоугольниками, бараки выстроились под линейку, дорожки обсажены березками, посыпаны песочком. Были устроены бетонированные бассейны для домашней водоплавающей птицы, бассейны для стирки белья с удобными ступенями, службы для немецкого персонала — образцовая пекарня, парикмахерская, гараж, бензоколонка со стеклянным шаром, склады. Примерно по такому же принципу, с садиками, питьевыми колонками, бетонированными дорогами, был устроен и люблинский лагерь на Майданеке, по такому же принципу устраивались в Восточной Польше десятки других трудовых лагерей, где гестапо и СС полагали осесть всерьез и надолго. В устройстве этих лагерей отразились черты немецкой аккуратности, мелочной расчетливости, педантичной тяги к порядку,

немецкая любовь к расписанию, к схеме, разработанной до малейших мелочей и деталей.

Люди поступали в трудовой лагерь на срок, иногда совсем не большой,—4—5—6 месяцев. В него пригоняли поляков, нарушавших законы генерал-губернаторства, причем нарушения были, как правило, незначительными, ибо за значительные нарушения полагался не лагерь, полагалась немедленная смерть. Донос, оговор, случайное слово, оброненное на улице, невыполнение поставок, отказ дать немцу подводу либо лошадь, дерзость девушки, отклонившей любовные предложения эсэсовца, даже не саботаж в работе на фабрике, а одно лишь подозрение в возможности саботажа — все это привело сотни и тысячи поляков — рабочих, крестьян, интеллигентов, мужчин и девушек, стариков и подростков, матерей семейств — в штрафной лагерь. Всего через лагерь прошло около пятидесяти тысяч человек. Евреи попадали в лагерь лишь в том случае, если они были выдающимися знаменитыми мастерами — пекарями, сапожниками, краснодеревщиками, каменщиками, портными. Здесь имелись всевозможные мастерские, и среди них солидная мастерская мебели, снабжавшая креслами, столами, стульями штабы германской армии.

Лагерь № 1 существовал с осени 1941 года по 23 июля 1944 года. Он был ликвидирован полностью, когда заключенные слышали уже глухой гул советской артиллерии.

23 июля ранним утром вахманы и эсэсовцы, распив для бодрости шнапса, приступили к ликвидации лагеря. К вечеру были убиты и закопаны в землю все заключенные. Удалось спастись варшавскому столяру Максу Левиту, раненным пролежал он под трупами своих товарищей до темноты и уполз в лес. Он рассказал, как, лежа в яме, слушал пение тридцати мальчиков, перед расстрелом затянувших песню «Широка страна моя родная», слышал, как один из мальчиков крикнул: «Сталин отомстит!», слышал, как упавший на него в яму после залпа вожак мальчиков, любимец лагеря, Лейб, приподнявшись, попросил: «Пане вахман, не трафил, проше пана еще раз, еще раз».

Сейчас можно подробно рассказать о немецком порядке в этом трудовом лагере, имеется множество показаний десятков свидетелей, поляков и поляк, бежавших и выпущенных в свое время из лагеря № 1. Мы знаем о работе в песчаном карьере, о том, как не выпол-

нявших норму бросали с обрыва в котлованы, знаем о норме питания: 170—200 граммов хлеба и литр бурды, именуемой супом, знаем о голодных смертях, об опухших, которых на тачках вывозили за проволоку и пристреливали, знаем о диких оргиях, которые устраивали немцы, о том, как они насиловали девушек и тут же пристреливали своих подневольных любовниц, о том, как сбрасывали с шестиметровой вышки людей, как пьяная компания ночью забирала из барака десять — пятнадцать заключенных и начинала неторопливо демонстрировать на них методы умерщвления, стреляя в сердце, затылок, глаза, рот, висок обреченным. Мы знаем имена лагерных эсэсовцев, их характеры, особенности, знаем начальника лагеря, голландского немца Ван-Эйпена, ненасытного убийцу и ненасытного развратника, любителя хороших лошадей и быстрой верховой езды, знаем массивного молодого Штумпфе, которого охватывали непроизвольные приступы смеха каждый раз, когда он убивал кого-нибудь из заключенных или когда в его присутствии производилась казнь. Его прозвали «смеющаяся смерть». Последним слышал его смех Макс Левит 23 июля этого года, когда по команде Штумпфе вахманы расстреливали мальчиков. Левит в это время лежал недостреленным на дне ямы. Знаем одноглазого немца из Одессы Свицерского, названного «мастером молотка». Это он считался непревзойденным специалистом по «холодному» убийству, и это он в течение нескольких минут убил молотком пятнадцать детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, признанных не пригодными для работы. Знаем худого, похожего на цыгана, эсэсовца Прейфи, с кличкой «старый», угрюмого и неразговорчивого. Он рассеивал свою меланхолию тем, что, сидя на лагерной помойке, подстерегал заключенных, приходивших тайком есть картофельные очистки, заставлял их открывать рот и затем стрелял им в открытые рты.

Знаем имена убийц-профессионалов Шварца и Ледеке. Это они развлекались стрельбой по возвращавшимся в сумерках с работы заключенным, убивая по двадцать, тридцать, сорок человек ежедневно.

Все эти существа не имели в себе ничего человеческого. Искаженные мозги, сердца и души, слова, поступки, привычки, словно страшная карикатура, напоминали о чертах, мыслях, чувствах, привычках, поступках. И порядок в лагере, и документация убийства, и любовь к чудовищной шутке, напоминавшей чем-то шутки пья-

ных драчунов, немецких студентов-буршей, и хоровое пение сентиментальных песен среди луж крови, и речи, которые они беспрерывно произносили перед обреченными, и поучения, и благочестивые изречения, аккуратно отпечатанные на специальных бумажках, — все это были чудовищные драконы и рептилии, развившиеся из зародыша традиционного германского шовиннизма, спеси, себялюбия, самовлюбленной самоуверенности, педантичной слюнявой заботы о собственном гнездышке и железного холодного равнодушия к судьбе всего живого, из яростной тупой веры, что немецкая наука, музыка, стихи, речь, газоны, унитазы, небо, пиво, дома — выше и прекрасней всей вселенной.

Так жил этот лагерь, подобный уменьшенному Майданеку, и могло показаться, что нет ничего страшней в мире. Но жившие в лагере № 1 хорошо знали, что есть нечто ужасней, во сто крат страшней, чем их лагерь. В трех километрах от трудового лагеря немцы в мае 1942 года приступили к строительству еврейского лагеря, лагеря плахи. Строительство шло быстрыми темпами, на нем работало больше тысячи рабочих. В этом лагере ничто не было приспособлено для жизни, все было приспособлено для смерти. Существование этого лагеря должно было, по замыслу Гимmlера, находиться в глубочайшей тайне, ни один человек не должен был живым уйти из него. И ни одному человеку не разрешалось приблизиться к этому лагерю. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения за один километр. Самолетам германской авиации запрещалось летать над этим районом. Жертвы, подвозимые эшелонами по специальному ответвлению железнодорожной ветки, до последней минуты не знали о ждущей их судьбе. Охрана, сопровождавшая эшелоны, не допускалась даже во внешнюю ограду лагеря. При подходе вагонов охрану принимали лагерные эсэсовцы. Эшелон, состоявший обычно из шестидесяти вагонов, расчленялся в лесу, перед лагерем, на три части, и паровоз последовательно подавал по двадцать вагонов к лагерьной платформе. Паровоз толкал вагоны сзади и останавливался у проволоки, таким образом ни машинист, ни кочегар не переступали лагерьной черты. Когда вагоны разгружались, дежурный унтер-офицер войск СС свистком вызывал ожидавшие в двухстах метрах новые двадцать вагонов. Когда полностью разгружались все шестьдесят вагонов, комендатура лагеря по телефону вызывала со стан-

ции новый эшелон, а разгруженный шел дальше по ветке к карьеру, где вагоны грузились песком и уходили на станции Треблинка и Малкинья уже с новым грузом.

Здесь сказалась выгода положения Треблинки: эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырех сторон света, с запада и востока, с севера и юга. Эшелоны из польских городов Варшавы, Мендзыжеца, Ченстохова, Седлеца, Радома, из Ломжи, Белостока, Гродно и многих городов Белоруссии, из Германии, Чехословакии, Австрии, Болгарии, из Бессарабии.

Эшелоны шли к Треблинке в течение тринадцати месяцев, в каждом эшелоне было шестьдесят вагонов, и на каждом вагоне мелом были написаны цифры 150—180—200. Эта цифра показывала количество людей, находящихся в вагоне. Железнодорожные служащие и крестьяне тайно вели счет этим эшелонам. Крестьянин деревни Вулька (самый близкий к лагерю населенный пункт), шестидесятидвухлетний Казимир Скаржинский, говорил мне, что иногда бывали дни, когда мимо Вульки проходило по одной лишь седлецкой ветке шесть эшелонов, и почти не было дня в течение этих тринадцати месяцев, чтобы не прошел хотя бы один эшелон. А ведь седлецкая ветка была лишь одной из четырех железных дорог, снабжавших Треблинку. Железнодорожный ремонтный рабочий Люциан Цукова, мобилизованный немцами для работы на ветке, ведущей от Треблинки к лагерю № 2, говорит, что за время его работы с 15 июня 1942 года по август 1943 года в лагерь по ветке от станции Треблинка ежедневно подходили от одного до трех железнодорожных составов в день. В каждом составе было по шестьдесят вагонов, а в каждом вагоне не менее ста пятидесяти человек. Таких показаний мы собрали десятки. Если мы даже уменьшим все цифры, показанные свидетелями движения эшелонов к Треблинке, примерно в два раза, то все же количество людей, привезенных туда за тринадцать месяцев, выразится цифрой примерно в три миллиона человек.

Самый лагерь, с внешним обводом, складами для вещей казненных, платформой и прочими подсобными помещениями, занимает очень небольшую площадь — семьсот восемьдесят на шестьсот метров. Если на миг усомниться в судьбе привезенных сюда миллионов, и если на миг предположить, что немцы не убивали их тотчас по прибытии, то спрашивается, где же они, эти люди,

могущие составить население маленького государства или большого столичного европейского города? Тринадцать месяцев, триста девяносто шесть дней, эшелоны уходили, груженные песком или пустые, ни один человек из прибывших в лагерь № 2 не уехал обратно. Пришло время задать грозный вопрос: «Каин, где же они, те, кого ты привез сюда?»

Фашизму не удалось сохранить в тайне свое величайшее преступление. Но вовсе не потому, что тысячи людей невольно были свидетелями этого преступления. Гитлер, уверенный в безнаказанности, принял решение об истреблении миллионов невинных летом 1942 года, в период наибольшего успеха фашистских войск. Теперь можно доказать, что главные цифры убийств, произведенных немцами, приходятся на 1942 год. Убежденные в своей безнаказанности, фашисты показали, на что они способны. О, если бы Адольф Гитлер победил, он сумел бы скрыть все следы всех преступлений, он бы заставил замолчать всех свидетелей, пусть их были бы десятки тысяч, а не тысячи. Ни один из них не произнес бы ни слова. И невольно еще раз хочется преклониться перед теми, кто осенью 1942 года, при молчании всего ныне столь шумного и победоносного мира, вели бой в Сталинграде на волжском обрыве против немецкой армии, за спиной которой дымились и клокотали реки невинной крови. Красная Армия, вот кто помешал Гиммлеру сохранить тайну Треблинки.

Сегодня свидетели заговорили, возопили камни и земля. И сегодня перед общественной совестью мира, перед глазами человечества мы можем последовательно, шаг за шагом пройти по кругам троблинского ада, по сравнению с которым Дантов ад безобидная и пустая игра сатаны.

Все, что написано ниже, составлено по рассказам живых свидетелей, по показаниям людей, работавших в Треблинке с первого дня существования лагеря по день 2 августа 1943 года, когда восставшие смертники сожгли лагерь и бежали в лес, по показаниям арестованных вахманов, которые от слова до слова подтвердили и во многом дополнили рассказы свидетелей. Этих людей я видел лично, долго и подробно говорил с ними, их письменные показания лежат передо мной на столе. И все эти многочисленные, из различных источников идущие свидетельства сходятся между собой во всех деталях, начиная от описания повадок комендантской со-

баки Бари и кончая рассказом о технологии убийства жертв и устройстве конвейерной плахи.

Пойдем же по кругам треблинского ада.

Кто были люди, которых везли в эшелонах в Треблинку? Главным образом евреи, затем поляки, цыгане. К весне 1942 года почти все еврейское население Польши, Германии, западных районов Белоруссии было согнано в гетто. В этих гетто — варшавском, радомском, ченстоховском, люблинском, белостокском, гродненском и многих десятках других, более мелких, были собраны миллионы еврейского населения — рабочих, ремесленников, врачей, профессоров, архитекторов, инженеров, учителей, работников искусств, людей нетрудовых профессий, все с семьями, женами, дочерьми, сыновьями, матерями и отцами. В одном варшавском гетто находилось около пятисот тысяч человек. По-видимому, это заключение в гетто явилось первой, предварительной частью гитлеровского плана истребления евреев. Лето 1942 года — пора военного успеха фашизма — было признано подходящим временем для проведения второй части плана — физического уничтожения. Известно, что Гиммлер приезжал в это время в Варшаву, отдавал соответствующие распоряжения. День и ночь шла подготовка треблинской плахи. В июле первые эшелоны уже шли из Варшавы и Ченстохова в Треблинку. Людей извещали, что их везут на Украину, для работы в сельском хозяйстве. Разрешалось брать с собой двадцать килограммов багажа и продукты питания. Во многих случаях немцы заставляли свои жертвы покупать железнодорожные билеты до станции «Обер-Майдан». Этим условным названием немцы именовали Треблинку. Дело в том, что слух об ужасном месте вскоре прошел по всей Польше, и слово Треблинка перестало фигурировать у эсэсовцев при погрузке людей в эшелоны. Однако обращение при погрузке в эшелоны было таким, что не вызывало уже сомнений в судьбе, ждущей пассажиров. В товарный вагон набивалось не менее ста пятидесяти человек, обычно сто восемьдесят — двести. Весь путь, который длился иногда два-три дня, заключенным не давали воды. Страдания от жажды были так велики, что люди пили собственную мочу. Охрана требовала за глоток воды сто злотых и, получив деньги, обычно воды не давала. Люди ехали, прижавшись друг к другу, иногда даже стоя, и в каждом вагоне, особенно в душные летние дни, умирало к концу путешествия несколько стариков и больных

сердечными болезнями. Так как двери до конца путешествия ни разу не раскрывались, то трупы начинали разлагаться, отравляя воздух в вагонах. Едва кто-либо из едущих зажигал в ночное время спичку, охрана открывала стрельбу по стенам вагона. Парикмахер Абрам Кон рассказывает, что в его вагоне было много раненых и пятеро убитых в результате стрельбы охраны по стенкам вагона.

Совершенно иначе прибывали в Треблинку поезда из западноевропейских стран. Здесь люди ничего не слышали о Треблинке и до последней минуты верили, что их везут на работы, да притом еще немцы всячески расписывали удобства и прелесть новой жизни, ждущей переселенцев. Некоторые эшелоны прибывали с людьми, уверенными, что их вывозят за границу, в нейтральные страны: за большие деньги они приобрели у немецких властей визы на выезд и иностранные паспорта.

Однажды прибыл в Треблинку поезд с гражданами Англии, Канады, Америки, Австралии, застрявшими во время войны в Европе и Польше. После длительных хлопот, сопряженных с дачей больших взяток, они добились выезда в нейтральные страны. Все поезда из европейских стран приходили без охраны, с обычной обслуживающей прислужкой, в составе этих поездов были спальные вагоны и вагон-рестораны. Пассажиры везли с собой объемистые кофры и чемоданы, большие запасы продуктов. Дети пассажиров выбегали на промежуточных станциях и спрашивали, скоро ли будет Обер-Майдан.

Прибывали изредка эшелоны цыган из Бессарабии и из других районов. Несколько раз прибывали эшелоны молодых поляков — крестьян и рабочих, участвовавших в восстаниях и партизанских отрядах.

Трудно сказать, что страшней: ехать на смерть в ужасных мучениях, зная о ее приближении, либо, в полном неведении гибели, выглядывать из окна мягкого вагона в тот момент, когда со станции Треблинка уже звонят в лагерь и сообщают данные о прибывшем поезде и количестве людей, едущих в нем.

Для последнего обмана людей, приезжавших из Европы, самый железнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован наподобие пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались очередные двадцать вагонов, стояло вокзальное здание с кассами, камерой хранения багажа, с залом ресторана, повсюду имелись

стрелы-указатели: «Посадка на Белосток», «На Барановичи», «Посадка на Волковск» и т. д. К прибытию эшелона в здании вокзала играл оркестр, все музыканты были хорошо одеты. Швейцар в форме железнодорожного служащего отбирал у пассажиров билеты и выпускал их на площадь. Три-четыре тысячи людей, нагруженных мешками и чемоданами, поддерживая стариков и больных, выходили на площадь. Матери держали на руках детей, дети постарше жались к родителям, пытливо оглядывая площадь. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытопанной миллионами человеческих ног. Обостренный взор людей быстро ловил тревожащие мелочи — на торопливо подметенной, видимо за несколько минут до выхода партии, земле видны были брошенные предметы — узелок с одеждой, раскрытые чемоданы, кисти для бритья, эмалированные кастрюли. Как попали они сюда? И почему сразу же за вокзальной платформой оканчивается железнодорожный путь, растет желтая трава и тянется трехметровая проволока? Где же путь на Белосток, на Седлец, Варшаву, Волковск? И почему так странно усмеваются новые охранники, оглядывая поправляющих галстуки мужчин, аккуратных старушек, мальчиков в матросских курточках, худеньких девушек, умудрившихся сохранить в этом путешествии опрятность одежды, молодых матерей, любовно поправляющих одеяльца на своих младенцах. Все эти вахманы в черных мундирах и эсэсовские унтер-офицеры походили на погонщиков стада при входе в бойню. Для них вновь прибывшая партия не была живыми людьми, и они невольно улыбались, глядя на проявление стыдливости, любви, страха, заботы о близких, о вещах, их смешило, что матери выговаривали детям, отбежавшим на несколько шагов, и одергивали на них курточки, что мужчины вытирали лбы носовыми платками и закуривали сигареты, что девушки поправляли волосы и испуганно придергивали юбки, когда налетал порыв ветра. Их смешило, что старики старались присесть на чемоданчики, что некоторые держали под мышкой книги, а больные кутали шею. До двадцати тысяч человек проходило ежедневно через Треблинку. Дни, когда из вокзала выходило шесть-семь тысяч, считались пустыми днями. Четыре, пять раз в день наполнялась площадь людьми. И все эти тысячи, десятки, сотни тысяч людей, спрашивающих испуганных глаз, все эти юные и старые лица, чернокудрые и золотоволосые красавицы, горба-

тенькие и сутулые, лысые старики, робкие подростки — все это сливалось в едином потоке, поглощающем и разум, и прекрасную человеческую науку, и девичью любовь, и детское недоумение, и кашель стариков, и сердце человека.

И вновь прибывшие с дрожью ощущали странность этого сдержанного, сытого, насмешливого взгляда, взгляда превосходства живого скота над мертвым человеком.

И снова в эти короткие мгновенья вышедшие на площадь ловили мелочи, непонятные и вселяющие тревогу.

Что это там, за этой огромной, шестиметровой стеной, плотно закрытой одеялами и начавшими желтеть сосновыми ветвями? Одеяла тоже внушали тревогу: стеганные, разноцветные, шелковые и крытые ситцами, они напоминали те одеяла, что лежали в постельных принадлежностях приехавших. Как попали они сюда? Кто их привез? И где они, владельцы этих одеял? Почему им не нужны больше одеяла? И кто эти люди с голубыми повязками? Вспоминается все передуманное за последнее время, тревоги, слухи, передаваемые шепотом. Нет, нет, не может быть! И человек отгоняет страшную мысль. Тревога на площади продолжается несколько мгновений, может быть две-три минуты, пока все прибывшие успеют сойти с перрона. Этот выход всегда сопряжен с задержкой: в каждой партии имеются калеки, хромые, старики и больные, едва передвигающие ноги. Но вот все на площади. Унтер-шарфюрер (младший унтер-офицер войск СС) громко и отдельно предлагает приехавшим оставить вещи на площади и отправиться в «баню», имея при себе лишь личные документы, ценности и самые небольшие пакетики с умывальными принадлежностями. У стоящих возникают десятки вопросов: брать ли белье, можно ли развязать узлы, не перепутаются ли вещи, сложенные на площади, не пропадут ли? Но какая-то странная сила заставляет их молча, поспешно шагать, не задавая вопросов, не оглядываясь, к проходу в шестиметровой проволочной стене, замаскированной ветками. Они проходят мимо противотанковых ежей, мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, мимо трехметрового противотанкового рва, снова мимо тонкой, клубками разбросанной стальной проволоки, в которой ноги бегущего застревают, как лапы мухи в паутине, и снова мимо многометровой стены колючей проволоки. И страшное чувство, чувство

обреченности, чувство беспомощности охватывает их: ни бежать, ни повернуть обратно, ни драться: с деревянных низеньких и приземистых башен смотрят на них дула крупнокалиберных пулеметов. Звать на помощь? Но ведь кругом эсэсовцы и вахманы с автоматами, ручными гранатами, пистолетами. Они власть. В их руках танки и авиация, земли, города, небо, железные дороги, закон, газеты, радио. Весь мир молчит, подавленный, поработанный коричневой шайкой захвативших власть бандитов. И только где-то, за много тысяч километров, ревет советская артиллерия на далеком волжском берегу, упрямо возвещая великую волю русского народа к смертной борьбе за свободу, будоража, сзывая на борьбу народы мира.

А на площади перед вокзалом две сотни рабочих с небесно-голубыми повязками («группа небесковых») молча, быстро, умело развязывают узлы, вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. Идет сортировка и оценка вещей, оставленных только что прибывшей партией. Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемперы, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, наперстки, флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли, валенки, сшитые из ватных одеял на случай мороза, дамские туфельки, чулки, кружева, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки какао, молитвенные одежды, подсвечники, книги, сухари, скрипки, детские кубики. Нужно обладать квалификацией, чтобы в считанные минуты рассортировать все эти тысячи предметов, оценить их — одни отобрать для отправки в Германию, другие, второстепенные, старые, штопанные — для сожжения. Горе ошибившемуся рабочему, положившему старый фибровый чемодан в кучу отобранных для отправки в Германию кожаных саквояжей, либо кинувшему в кучу старых штопанных носков пару парижских чулок с фабричной пломбой. Рабочий мог ошибиться только один раз. Два раза ему не надо было ошибаться. Сорок эсэсовцев и шестьдесят вахманов работали «на транспорте», так называлась в Треблинке первая, только что описанная нами стадия: прием эшелона, вывод партии на «вокзал» и на площадь, наблюдение за рабочими, сортирующими и оценивающими вещи. Во время этой работы рабочие часто незаметно от охраны совали в рот куски хлеба, сахара, конфеты, найденные в продуктовых пакетах. Это

не разрешалось. Разрешалось после окончания работы мыть руки и лицо одеколоном и духами, воды в Треблинке не хватало, и для умывания ею пользовались только немцы и вахманы. И пока люди, все еще живые, готовились к «бане», работа над их вещами подходила к концу — ценные вещи уносились на склад, а письма, фотографии новорожденных, братьев, невест, пожелтевшие извещения о свадьбе, все эти тысячи драгоценных предметов, бесконечно дорогих для их владельцев и представляющих лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уносились к огромным ямам, где на дне лежали сотни тысяч таких же писем, открыток, визитных карточек, фотографий, бумажек с детскими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным карандашом. Площадь кое-как подметалась и была готова к приему новой партии обреченных. Не всегда прием партии проходил, как только что описано. В тех случаях, когда заключенные знали, куда их везут, вспыхивали бунты. Крестьянин Скаржинский видел, как из двух поездов, выломив двери, вырвались люди и, опрокинув охрану, кинулись к лесу. Все до единого в обоих случаях были убиты из автоматов. Мужчины несли с собой четырех детей в возрасте четырех — шести лет. И дети эти также были убиты. О таких же случаях борьбы с охраной рассказывает крестьянка Марьяна Кобус. Однажды на ее глазах, когда она работала в поле, были убиты шестьдесят человек, прорвавшихся из поезда к лесу.

Но вот партия переходит на новую площадку, уже внутри второй лагерной ограды. На площади огромный барак, вправо еще три барака, два из них отведены под склады одежды, третий под обувь. Дальше, в западной части, расположены бараки эсэсовцев, бараки вахманов, склады продовольствия, скотный двор, стоят легковые и грузовые автомашины, броневик. Впечатление обычного лагеря, такого же, как лагерь № 1.

В юго-восточном углу лагерного двора огороженное ветвями пространство, впереди него будка с надписью «Лазарет». Всех дряхлых, тяжело больных отделяют от толпы, ожидающей «бани», и несут на носилках в «лазарет». Из будки навстречу больным выходит «доктор» в белом фартуке с повязкой Красного Креста на левом рукаве. О том, что происходило в «лазарете», мы расскажем ниже.

Вторая фаза обработки прибывшей партии характеризуется подавлением воли людей бесперывными ко-

роткими и быстрыми приказами. Эти приказы произносятся тем знаменитым тембром голоса, которым так гордится немецкая армия, тембром, являющимся одним из доказательств принадлежности немцев к расе господ. Буква «р», одновременно картавая и твердая, звучит, как кнут.

«Achtung!»¹ — проносится над толпой, и в свинцовой тишине голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько раз на день, много месяцев подряд слова:

«Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в бараках налево».

Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начинаются страшные сцены. Великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга. Рукопожатия, поцелуи, благословения, слезы, короткие, кратко произнесенные слова, в которые люди вкладывают всю любовь, всю боль, всю нежность, все отчаяние свое... Эсэсовские психиатры смерти знают, что эти чувства нужно мгновенно затушить, отсечь. Психиатры смерти знают те простые законы, которые действуют на всех скотобойнях мира, законы, которые в Треблинке скоты применяли к людям. Это один из наиболее ответственных моментов: отделение дочерей от отцов, матерей от сыновей, бабушек от внуков, мужей от жен.

И снова над площадью: «Achtung! Achtung!» Именно в этот момент нужно снова смутить разум людей надеждой, правилами смерти, выдаваемыми за правила жизни. Тот же голос рубит слово за словом:

— Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, ботиночки и туфельки детей. Будьте аккуратны.

И тотчас же снова:

— Направляясь в баню, иметь при себе драгоценности, документы, деньги, полотенце и мыло... Повторяю...

Внутри женского барака находится парикмахерская; голых женщин стригут под машинку, со старух снимают парики. Странный психологический момент: эта смертная стрижка, по свидетельству парикмахеров, более всего убеждала женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая головы, иногда просили: «Вот тут неровно, под-

¹ Внимание!

стригите, пожалуйста!» Обычно после стрижки женщины успокаивались, почти каждая выходила из барака, имея при себе кусочек мыла и сложенное полотенце. Некоторые молодые плакали, жалея свои красивые косы. Для чего стригли женщин? Чтобы обмануть их? Нет, эти волосы нужны были на потребу Германии. Это было сырье... Я спрашивал многих людей, что делали немцы с этим ворохом волос, снятых с голов живых покойниц. Все свидетели рассказывают, что огромные груды черных, золотых, белокурых волос, кудрей и кос подвергались дезинфекции, прессовались в мешки и отправлялись в Германию. Все свидетели подтверждали, что волосы отправляют в мешках в германские адреса. Как использовались они? На этот вопрос никто не мог ответить. Лишь в письменных показаниях Кона утверждается, что потребителем этих волос было военно-морское ведомство: волосы шли для набивки матрацев, технических приспособлений, плетения канатов для подводных лодок.

Мне думается, что это показание нуждается в дополнительном подтверждении, его даст человечеству гросс-адмирал Редер, стоявший в 1942 году во главе германского военного флота.

Мужчины раздевались во дворе. Из первой утренней партии отбиралось полтора ста — триста человек, обладающих большой физической силой, их использовали для захоронения трупов и убивали обычно на второй день. Раздеваться мужчины должны были очень быстро, но аккуратно, складывая в порядке обуви, носки, белье, пиджаки и брюки. Сортировкой носильных вещей занималась вторая рабочая команда, «красная», отличавшаяся от работавших «на транспорте» красной нарукавной повязкой. Вещи, признанные достойными быть отправленными в Германию, поступали тут же на склад. С них тщательно спарывались все металлические и матерчатые знаки. Остальные вещи сжигались или закапывались в ямы.

Чувство тревоги росло все время. Обоняние тревожил страшный запах, то и дело перебиваемый запахом хлорной извести. Казалось непонятным огромное количество жирных, назойливых мух. Откуда они здесь, среди сосен и вытопанной земли? Люди дышали тревожно и шумно, вздрагивая, вглядывались в каждую ничтожную мелочь, могущую объяснить, подсказать, приподнять завесу тайны над судьбой, ждущей обреченных. И почему там,

в южном направлении, так грохочут гигантские экскаваторы?

Начиналась новая процедура. Голых людей подвели к кассе и предлагали сдавать документы и ценности. И вновь страшный гипнотизирующий голос кричал: «Achtung! Achtung! За сокрытие ценностей смерти! Achtung!»

В маленькой, сколоченной из досок будке сидел шарфюрер. Возле него стояли эсэсовцы и вахманы. Подле будки стояли деревянные ящики, в которые бросались ценности: один для бумажных денег, другой для монет, третий для ручных часов, для колец, для серег и для брошек с драгоценными камнями, для браслетов. А документы летели на землю, уже никому не нужные на свете, документы живых мертвецов, которые через час уже будут затрамбованными лежать в яме. Но золото и ценности подвергались тщательной сортировке, десятки ювелиров определяли чистоту металла, ценность камня, чистоту воды бриллиантов.

И удивительная вещь: скоты использовали все — кожу, бумагу, ткани, все служившее человеку, все нужно и полезно было скотам, лишь высшая драгоценность мира — жизнь человека растапывалась ими. И какие большие сильные умы, какие честные души, какие славные детские глаза, какие милые старушечьи лица, какие гордые красотой девичьи головы, над созданием которых природа трудилась великую тьму веков, огромным молчаливым потоком низвергались в бездну небытия. Секунды нужны были для того, чтобы уничтожить то, что мир и природа создавали в огромном и мучительном творчестве жизни.

Здесь, у «касс», наступал перелом — здесь кончалась пытка ложью, державшей людей в гипнозе неведения, в лихорадке, бросавшей их на протяжении нескольких минут от надежды к отчаянию, от видений жизни к видениям смерти. Эта пытка ложью являлась одним из атрибутов конвейерной плахи, она помогала эсэсовцам работать. И когда наступал последний акт ограбления живых мертвецов, немцы резко меняли стиль отношения к своим жертвам. Кольца срывали, ломая пальцы женщинам, вырывали серьги, раздирая мочки ушей.

На последнем этапе конвейерная плаха требовала для быстрого своего функционирования нового принципа. И поэтому слово «Achtung» сменялось другим, хло-

пающим, щиплящим: «Schneller! Schneller! Schneller!»
Скорей, скорей, скорей, бегом, в небытие!

Из жестокой практики последних лет известно, что голый человек теряет сразу силу сопротивления, перестает бороться против судьбы, сразу вместе с одеждой теряет и силу жизненного инстинкта, приемлет судьбу, как рок. Непримиимо жаждущий жить становится пассивным и безразличным. Но для того чтобы застраховать себя, эсэсовцы дополнительно применяли на последнем этапе работы конвейерной плахи метод чудовищного оглушения, ввергали людей в состояние психического душевного шока.

Как это делалось?

Внезапным и резким применением бессмысленной, алогичной жестокости. Голые люди, у которых было отнято все, но которые упрямо продолжали оставаться людьми в тысячу крат больше, чем окружавшие их твари в мундирах германской армии, все еще дышали, смотрели, мыслили, их сердца еще бились. Из рук их вышибали куски мыла и полотенца. Их строили рядами по пять человек в ряд.

— Hände hoch! Marsch! Schneller! Schneller! ¹

Они вступали на прямую аллею, обсаженную цветами и елками, длиной в сто двадцать метров, шириной в два метра, ведущую к месту казни. По обе стороны этой аллеи была протянута проволока, и плечом к плечу стояли вахманы в черных мундирах и эсэсовцы в серых. Дорога была покрыта белым песком, и те, что шли впереди с поднятыми руками, видели на этом взрыхленном песке свежие отпечатки босых ног: маленьких — женских, совсем маленьких — детских, тяжелых старческих ступней. Этот зыбкий след на песке — все, что осталось от тысяч людей, которые недавно прошли по этой дороге, прошли так же, как шли сейчас по ней новые четыре тысячи, как пройдут после этих четырех тысяч, через два часа, еще тысячи, ожидавшие очереди на лесной железнодорожной ветке. Прошли так же, как шли вчера и десять дней назад, как пройдут завтра и через пятьдесят дней, как шли люди все тринадцать месяцев существования троблинского ада.

Эту аллею немцы называли «дорога без возвращения».

¹ Руки вверх! Марш! Быстрее! Быстрее!

Кривляющееся человекообразное существо, фамилия которого Сухомиль, с ужимками кричало, коверкая нарочно немецкие слова:

— Детки, детки, шнеллер, шнеллер, вода в бане уже остывает! Шнеллер, детки, шнеллер! — и хохотало, приседало, приплясывало. Люди с поднятыми руками шли молча между двумя шеренгами стражи, под ударами прикладов и резиновых палок. Дети, едва поспевая за взрослыми, бежали. В этом последнем скорбном проходе все свидетели отмечают зверство одного человекообразного существа, эсэсовца Цэпфа. Он специализировался по убийству детей. Обладая огромной силой, это существо внезапно выхватывало из толпы ребенка и, либо взмахнув им, как палицей, било его головой оземь, либо раздирало его пополам.

Когда я слышал об этом существе, по-видимому, рожденном от женщины, мне казались невысказанными и невероятными вещи, рассказанные о нем. Но когда я лично услышал от непосредственных свидетелей повторение этих рассказов, я увидел, что рассказывают они об этом, как об одной из деталей, не выделяющейся и не противоречащей общему строю тревлинского ада, я поверил в возможность этого существа.

Действия Цэпфа были нужны, они именно способствовали психическому шоку обреченных, они были выражением алогичной жестокости, подавляющей волю и сознание. Он был полезным, нужным винтиком в огромной машине фашистского государства.

Нам следует ужасаться не тому, что природа рождает таких дегенератов: мало ли какие уродства бывают в органическом мире — и циклопы, и существа с двумя головами, и соответствующие им страшные духовные уродства и извращения. Ужасно другое: существа эти, подлежащие изоляции, изучению как феномены психиатрической науки, в некоем государстве существуют как граждане, активные и действующие. Их бредовая идеология, их патологическая психика, их феноменальные преступления являются необходимым элементом фашистского государства. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч таких существ являются столпами германского фашизма, поддержкой, основой гитлеровской Германии. В мундирах, при оружии, при орденах империи эти существа были целые годы полноправными хозяевами жизни народов Европы. Ужасаться нужно не существам этим, а государству, вызвавшему их из щелей, из мрака и под-

поля и сделавших их нужными, полезными, незаменимыми в Треблинке под Варшавой, на люблинском Майданеке, в Бельжице, в Сабибуре, в Освенциме, в Бабьем Яру, в Доманевке и Богдановке под Одессой, в Тростянце под Минском, на Понарах в Литве, в десятках и сотнях тюрем, трудовых, штрафных лагерей, лагерей уничтожения жизни.

Тот или иной тип государства не сваливается на людей с неба, материальные и идейные отношения народов рождают государственный строй. И вот тут-то следует по-настоящему задуматься и по-настоящему ужаснуться...

Путь от «кассы» до места казни занимал несколько минут. Подхлестываемые ударами, оглушенные криками, люди выходили на третью площадь и на мгновение, пораженные, останавливались.

Перед ними стояло красивое каменное здание, отделанное деревом, построенное, как древний храм. Пять широких бетонированных ступеней вели к низким, но очень широким, массивным, красиво отделанным дверям. У входа росли цветы, стояли вазоны. Кругом же царил хаос: всюду видны были горы свежевскопанной земли, огромный экскаватор, скрежеща, выбрасывал своими стальными клешнями тонны желтой песчаной почвы, и пыль, поднятая его работой, стояла между землей и солнцем. Грохот колоссальной машины, рывшей с утра до ночи огромные рвы-могилы, смешивался с отчаянным лаем десятков немецких овчарок.

С обеих сторон здания смерти шли узкоколейные линии, по которым люди в широких комбинезонах подкачивали самопрокидывающиеся вагонетки.

Широкие двери здания смерти медленно распахивались, и два подручных Шмидта, шефа комбината, появлялись у входа. Это были садисты и маниаки — один высокий, лет тридцати, с массивными плечами, со смуглым смеющимся, радостно возбужденным лицом и черными волосами; другой, помоложе, небольшого роста, шатен, с бледно-желтыми щеками, точно после усиленного приема акрихина. Имена и фамилии этих предателей человечества, родины и присяги известны.

Высокий держал в руках метровую массивную газовую трубу и нагайку, второй был вооружен саблей.

В это время эсэсовцы спускали натренированных собак, которые кидались в толпу и рвали зубами голые тела обреченных. Эсэсовцы с криками били при-

кладами, подгоняя замерших, словно в столбняке, женщин.

Внутри самого здания действовали подручные Шмидта, сгоняя людей в распахнутые двери газовых камер.

К этой минуте у здания появлялся один из комендантов Треблинки, Курт Франц, ведя на поводу свою собаку Бари. Хозяин специально натренировал ее — бросаясь на обреченных, вырывать им половые органы. Курт Франц сделал в лагере хорошую карьеру, начав с младшего унтер-офицера войск СС и дойдя до довольно высокого чина унтер-штурмфюрера. Этот тридцатипятилетний высокий и худой эсэсовец не только обладал организаторским даром, он не только обожал свою службу и не мыслил себя вне Треблинки, где все происходило под его неутомимым наблюдением, — он был до некоторой степени теоретиком и любил объяснять смысл и значение своей работы. Надо бы, чтобы в эти ужасные минуты у здания «газовни» появились гуманнейшие заступники гитлеризма, появились бы, конечно, в качестве зрителей. Они бы смогли обогатить свои человеколюбивые проповеди, книги и статьи новыми аргументами. Кстати, святой отец, столь благоговейно молчавший, пока Гиммлер расправлялся с человечеством, прикинул бы, во сколько приемов немцы могли бы пропустить через Треблинку его ватиканскую контору.

Велика сила человечности! Человечность не умирает, пока не умирает человек. И когда приходит короткая, но страшная пора истории, пора торжества скота над человеком, человек, убиваемый скотом, сохраняет до последнего дыхания и силу души своей, и ясность мысли, и жар любви. И торжествующий скот, убивший человека, по-прежнему остается скотом. В этой бессмертности душевной силы людей есть мрачное мученичество, торжество гибнущего человека над живущим скотом. В этом, в самые тяжелые дни 1942 года, была заря победы разума над звериным безумием, добра над злом, света над мраком, силы прогресса над силой реакции. Страшная заря над полем крови и слез, бездной страданий, заря, всходящая в воплях гибнущих матерей и младенцев, в предсмертных хрипах стариков.

Скоты и философия скотов предрекали закат миру, Европе, но та красная кровь не была краской заката, то была кровь гибнущей и побеждающей своей смертью человечности. Люди остались людьми, они не приняли

морали и законов фашизма, борясь с ними всеми способами, борясь человеческой смертью своей.

Потрясают до глубины души, лишают сна и покоя рассказы о том, как живые тревлинские мертвецы до последней минуты сохраняли не образ и подобие человека, а душу человеческую! Рассказы о женщинах, пытавшихся спасти своих сыновей и шедших ради этого на великие безнадежные подвиги, о молодых матерях, прятавших, закапывавших своих грудных детей в кучи одеял и прикрывавших их своим телом. Никто не знает и уже никогда не узнает имен этих матерей. Рассказывали о десятилетних девочках, с божеской мудростью утешавших своих рыдающих родителей, о мальчике, кричавшем у входа в газоню: «Русские отомстят, мама, не плачь!» Никто не знает и уж никогда не узнает, как звали этих детей. Рассказывали нам о десятках обреченных людей, вступавших в борьбу — одни против огромной своры вооруженных автоматическим оружием и гранатами эсэсовцев — и гибнувших стоя, с грудью, простреленной десятками пуль. Рассказывали нам о молодом мужчине, вонзившем нож в эсэсовца-офицера, о юноше, привезенном из восставшего варшавского гетто, сумевшем чудом скрыть от немцев гранату, — он ее бросил, уже будучи голым, в толпу палачей. Рассказывают о сражении, длившемся всю ночь между восставшей партией обреченных и отрядами вахманов СС. До утра гремели выстрелы, взрывы гранат, — и когда взошло солнце, вся площадь была покрыта телами мертвых бойцов, и возле каждого лежало его оружие — палица, вырванная из ограды, нож, бритва. Сколько простоят земля, уже никогда никто не узнает имен погибших. Рассказывают о высокой девушке, на «дороге без возвращения» вырвавшей карабин из рук вахмана и дравшейся против десятков стрелявших в нее эсэсовцев. Два скота были убиты в этой борьбе, у третьего раздроблена рука. Он вернулся в Тревлинку одноруким. Страшны были издевательства и казнь, которым подвергли девушку. Имени ее не знают, и никто не чтит его.

Но так ли это? Гитлеризм отнял у этих людей дом, жизнь, хотел стереть их имена в памяти мира. Но все они, и матери, прикрывавшие телом своих детей, и дети, утиравшие слезы на глазах отцов, и те, кто дрались ножами и бросали гранаты, и павшие в ночной бойне, и нагая девушка, как богиня из древнегреческого мифа, сражавшаяся одна против десятков, — все они, эти ушед-

шие в небытие, сохранили навечно самое лучшее имя, которого не могла втоптать в землю свора гитлеров-гиммлеров,— имя человека. В их эпитафиях история напишет: «Здесь спит человек!»

Жители ближайшей к Треблинке деревни Вулька рассказывают, что иногда крик убиваемых женщин был так ужасен, что вся деревня, теряя голову, бежала в дальний лес, чтобы не слышать этого пронзительного, просверливающего бревна, небо и землю крика. Потом крик внезапно стихал и вновь столь же внезапно рождался, такой же ужасный, пронзительный, сверлящий кости, череп, душу... Так повторялось по три-четыре раза на день.

Я расспрашивал одного из пойманных палачей, Ш., об этих криках. Он объяснил, что женщины кричали в ту минуту, когда спускали собак и всю партию обреченных вгоняли в здание смерти. «Они видели смерть. Кроме того, там было очень тесно, их страшно били вахманы и рвали собаки».

Внезапная тишина наступала, когда закрывались двери камер. Крик женщин возникал вновь, когда к газонке приводили новую партию. Так повторялось два, три, четыре, иногда пять раз на день. Ведь треблинская плаха была не простой плахой. Это была конвейерная плаха, организованная по методу потока, заимствованному из современного крупнопромышленного производства.

И как подлинный промышленный комбинат, Треблинка не возникла сразу в том виде, как мы ее описываем. Она росла постепенно, развивалась, строила новые цеха. Сперва были построены три газовые камеры небольшого размера. В период строительства этих камер прибыло несколько эшелонов, и так как камеры еще не были готовы, все прибывшие были убиты холодным оружием — топорами, молотками, дубинами. Эсэсовцы не хотели стрельбой расшифровывать перед окрестными жителями работу Треблинки. Первые три бетонированных камеры были небольшого размера, 5 × 5 метров, то есть площадью в двадцать пять квадратных метров каждая. Высота камеры сто девяносто сантиметров. В каждой камере имелось две двери — в одну впускались живые люди, вторая служила для вытаскивания загазированных трупов. Эта вторая дверь была очень широка, около двух с половиной метров. Камеры были смонтированы на одном фундаменте.

Эти три камеры не удовлетворяли заданной Берлином мощности конвейерной плахи.

Тотчас же приступили к строительству описанного выше здания. Руководители Треблинки гордились тем, что оставляют далеко позади по мощности, пропускной способности и производственной квадратуре камер многие гестаповские фабрики смерти: и Майданек, и Сабинбур, и Бельжице.

Семьсот заключенных в течение пяти недель работали над зданием нового комбината смерти. В разгар работы приехал из Германии мастер со своей бригадой и приступил к монтажу. Новые камеры, общим количеством десять, располагались симметрично по обе стороны широкого бетонированного коридора. В каждой камере, как и в трех предыдущих, имелись две двери — первая со стороны коридора, в нее вводились живые люди; вторая, расположенная параллельно, сделанная в противоположной стене, служила для вытаскивания загазированных трупов. Эти двери выходили на специальную платформу, их было две, симметрично расположенных по обе стороны здания. К платформе подходили линии узкоколейки. Таким образом, трупы вываливались на платформы и оттуда сразу же грузились в вагонетки, отвозились к огромным рвам-могилам, их день и ночь копали колоссы-экскаваторы. Пол в камерах был устроен с большим наклоном от коридора к платформам, и это значительно убыстряло работу по разгрузке камер. В старых камерах трупы разгружались кустарно: их носили на носилках и волокли на ремнях. Площадь каждой камеры была 7×8 метров, то есть пятьдесят шесть квадратных метров. Общая площадь новых десяти камер составляла шестьсот шестьдесят квадратных метров, а считая и площадь трех старых камер, которые продолжали работать при поступлении небольших партий, — всего Треблинка располагала смертной промышленной площадью в шестьсот тридцать метров. В одну камеру загружалось одновременно четыреста — шестьсот человек. Таким образом, при полной загрузке десяти камер в один прием уничтожалось в среднем четыре — шесть тысяч человек. При самой средней нагрузке камеры треблинского ада загружались по крайней мере два-три раза в день (были дни, когда они загружались по шесть раз). Нарочно уменьшая цифры, мы можем подсчитать, что при двукратной дневной загрузке одних лишь новых камер за день в Треблинке убивалось около

десяти тысяч человек, а в месяц около трехсот тысяч. Треблинка работала ежедневно в течение тринадцати месяцев, но если мы даже сбросим девяносто дней на простой, ремонты, недоставку эшелонов, то получится чистых десять месяцев работы. Если в месяц в среднем проходило триста тысяч, то за десять месяцев Треблинка убила три миллиона человек. Мы снова пришли к цифре в три миллиона. В первый раз эту цифру мы ввели из нарочито преуменьшенного подсчета прибывающих эшелонов.

Умерщвление длилось в камере от десяти до двадцати пяти минут. В первое время, когда были пущены новые камеры и палачи не могли сразу наладить газовый режим и производили опыты по дозировкам различных отравляющих веществ, жертвы подвергались страшным мучениям, по два-три часа сохраняя жизнь. В самые первые дни скверно работали нагнетательные и отсасывающие устройства, и тогда муки несчастных затягивались на восемь и десять часов. Для умерщвления применялись различные способы: нагнетание отработанных газов от мотора тяжелого танка, служившего двигателем треблинской станции. Этот отработанный газ содержит в себе два-три процента окиси углерода, обладающей свойством связывать гемоглобин крови в стойкое соединение, так называемый карбоксигемоглобин. Этот карбоксигемоглобин во много раз устойчивей соединения (оксигемоглобин), образуемого при соприкосновении в альвеолах легких крови с кислородом воздуха. В течение пятнадцати минут гемоглобин человеческой крови плотно связывается с окисью углерода, и человек дышит «впустую» — кислород перестает поступать в его организм, появляются признаки кислородного голодания: сердце работает с бешеной силой, гонит кровь в легкие, но отравленная окисью углерода кровь бессильна захватить кислород из воздуха. Дыхание становится хриплым, появляются явления мучительного удушья, сознание меркнет, и человек погибает так же, как гибнет удушенный.

Вторым принятым в Треблинке способом, получившим наибольшее распространение, было откачивание с помощью специальных насосов воздуха из камер. Смерть при этом наступала примерно от таких же причин, как и при отравлении окисью углерода: у человека отнимали кислород. И, наконец, третий способ, менее принятый, но все же применявшийся, убийство паром; и этот способ основывался на лишении организма кисло-

рода: пар вытеснял из камер воздух. Применялись различные отравляющие вещества, но это было экспериментирование; промышленными способами массового убийства были те два, о которых сказано выше.

Так весь процесс работы треблинского конвейера сводился к тому, что зверь отнимал у человека последовательно все, чем пользовался он от века по святому закону жизни.

Сперва у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безыменный лесной пустырь. Потом у человека отнимали на вокзальной площади его вещи, письма, фотографии его близких, затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребенка. Потом у голого человека забирали документы, бросали их в костер: у человека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низким каменным потолком — у него отняты небо, звезды, ветер, солнце.

И вот наступает последний акт человеческой трагедии — человек переступил последний круг треблинского ада.

Захлопнулись двери бетонной камеры. Усовершенствованные комбинированные затворы, массивная задвижка, зажим и крюки держат эту дверь. Ее не выломать.

Найдем ли мы в себе силу задуматься над тем, что чувствовали, что испытывали в последние минуты люди, находившиеся в этих камерах? Известно, что они молчали... В страшной тесноте, от которой ломались кости и сдавленная грудная клетка не могла дышать, стояли они один к одному, облитые последним, липким смертельным потом, стояли, как один человек. Кто-то, может быть, мудрый старик, с усилием произносит: «Утешьтесь, это конец». Кто-то кричит страшное слово проклятия... И неужели не сбудется это святое проклятие... Мать со сверхчеловеческим усилием пытается расширить место для своего дитяти — пусть его смертное дыхание будет хоть на одну миллионную облегчено последней материнской заботой. Девушка костенеющим языком спрашивает: «Но почему меня душат, почему я не могу любить и иметь детей?» А голова кружится, удушье сжимает горло. Какие картины мелькают в стеклянных умирающих глазах? Детства, счастливых мирных дней, последнего тяжкого путешествия? Перед кем-то мелькнуло насмешливое лицо эсэсовца на первой площади перед вокзалом. «Так вот почему он смеялся». Сознание меркнет, и приходит минута страшной, последней муки... Нет,

нельзя представить себе того, что происходило в камере... Мертвые тела стоят, постепенно холодея. Дольше всех, показывают свидетели, сохраняли дыхание дети. Через двадцать — двадцать пять минут подручные Шмидта заглядывали в глазки. Наступала пора открывать двери камер, ведущие на платформы. Заключенные, в комбинезонах, под шумное понукание эсэсовцев, приступали к разгрузке. Так как пол был покатым в сторону платформ, многие тела вываливались сами. Люди, работавшие на разгрузке камер, рассказывали мне, что лица покойников были очень желты и что примерно у семидесяти процентов убитых из носа и изо рта вытекало немного крови. Физиологи могут объяснить это. Эсэсовцы, переговариваясь, осматривали трупы. Если кто-нибудь оказывался жив, стонал или шевелился, его достреливали из пистолета. Затем команды, вооруженные зубо-врачебными щипцами вырывали у лежавших в ожидании погрузки убитых платиновые и золотые зубы. Зубы эти сортировались согласно их ценности, упаковывались в ящики и отправлялись в Германию. Если бы хоть чем-нибудь для эсэсовцев было выгодно или удобно вырывать зубы у живых людей, они бы, конечно, не задумываясь, делали бы это так же, как они снимали волосы с живых женщин. Но, по-видимому, вырывать зубы у мертвых было удобнее и легче.

Трупы грузились на вагонетки и подвозились к огромным рвам-могилам. Там их укладывали рядами, плотно, один к одному. Ров оставался незасыпанным, ждал. А в это время, когда лишь приступали к разгрузке газовой, шарфюрер, работавший на транспорте, получал по телефону короткий приказ. Шарфюрер подавал свисток, сигнал машинисту, и новые двадцать вагонов медленно подкатывали к платформе, на которой стоял макет вокзала станции Обер-Майдан. Новые три-четыре тысячи человек, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на вокзальную площадь.

Матери несли детей на руках, дети постарше жаллись к родителям, внимательно оглядывались. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног. И почему сразу же за вокзальной платформой кончается железнодорожный путь, растет желтая трава, и тянется трехметровая проволока...

Прием новой партии происходил по строгому расчету, таким образом, чтобы обреченные вступали на «дорогу без возвращения» как раз в тот момент, когда последние

трупы из газовой камеры вывозились ко рвам. Ров стоял незасыпанным, ждал.

И вот спустя некоторое время снова раздавался свисток шарфюрера, и снова двадцать вагонов выезжали из леса и медленно подкатывали к платформе. Новые тысячи людей, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на площадь, оглядывались. Что-то тревожное, страшное было в этой площади, вытоптанной миллионными ног...

А комендант лагеря, сидя в диспетчерской, обложенный бумагами и схемами, звонил по телефону на станцию Треблинка, и с запасных путей, скрежеща, громяхая, двигался шестидесятивантоновый эшелон, окруженный эсэсовской охраной, вооруженной ручными пулеметами и автоматами, и уползал по узкой, меж двумя рядами сосен идущей колее.

Огромные экскаваторы работали, урчали, рыли день и ночь новые, огромные, на сотни метров длины и темной многометровой глубины, рвы. И рвы стояли незасыпанные. Ждали. Недолго ждали.

II

В конце зимы 1943 года в Треблинку приехал Гиммлер, сопровождаемый группой крупных чиновников гестапо. Группа Гиммлера прилетела в район лагеря на самолете, а затем на двух легковых машинах въехала в главные ворота. Большинство приехавших носило военную форму, но некоторые, возможно, эксперты, были гражданскими лицами — в шубах и шляпах. Гиммлер лично осмотрел лагерь, и один из видевших его рассказывал нам, как министр смерти подошел к огромному рву и долго молча смотрел. Сопровождавшие его лица стояли в некотором отдалении и ожидали, пока Генрих Гиммлер созерцал колоссальную могилу, уже наполовину заполненную трупами. Треблинка была самой крупной фабрикой в концерне Гиммлера. В тот же день самолет рейхсфюрера СС улетел. Покидая Треблинку, Гиммлер отдал приказ командованию лагеря, смутивший всех — и гауптштурмфюрера барона фон Пфейна, и заместителя его Короля, и капитана Франца: немедленно приступить к сожжению захороненных трупов и сжечь их все до единого, пепел и шлак вывозить из лагеря, рассеивать по полям и дорогам. В земле находились уже миллионы трупов, задача эта казалась необы-

чайно сложной и тяжелой. Кроме того, было приказано вновь загазированных не закапывать, а тут же сжигать. Чем был вызван инспекторский приезд Гимmlера и личный категорический приказ, которому придавалось большое значение? Причина была лишь одна — сталинградская победа Красной Армии. Видно, ужасна была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате, если сам Гимmlер прилетел самолетом в Треблинку и приказал срочно заметать следы преступлений, совершаемых в шестидесяти километрах от Варшавы. Такое эхо вызвал могучий удар русских, нанесенный немцам на Волге.

Вначале дело с сожжением трупов совершенно не ладилось — трупы не хотели гореть; правда, было замечено, что женские тела горят лучше... Тратилось большое количество бензина и масла для разжигания трупов, но это стоило дорого, и эффект получался ничтожный. Казалось, дело это находится в тупике. Но нашелся выход. Из Германии приехал эсэовец, плотный мужчина под пятьдесят лет, специалист и мастер. Каких только мастеров ни родил гитлеровский режим — и по убийству малых детей, и по удавливанию, и по строительству газовых камер, и по научно организованному разрушению в течение дня больших городов. Нашелся и специалист по откапыванию и сожжению миллионов человеческих трупов.

Под его руководством приступили к постройке печей. Это были особого типа печи-костры, ибо ни люблинский, ни любой крупнейший крематорий мира не был бы в состоянии сжечь за короткий срок такое гигантское количество тел. Экскаватор выкопал ров — котлован длиной в двести пятьдесят — триста метров, шириной в двадцать — двадцать пять метров, глубиной в шесть метров. На дне рва по всему его протяжению были установлены в три ряда на равных расстояниях друг от друга железобетонные столбы, высотой каждый над уровнем дна в сто — сто двадцать сантиметров. Столбы эти служили основанием для стальных балок, проложенных вдоль всего рва. На эти балки поперек были положены рельсы, на расстоянии пяти — семи сантиметров одна от другой. Таким образом были устроены гигантские колосники циклопической печи. Была проложена новая узкоколейная дорога, ведущая от рвов-могил ко рву печи. Вскоре построили еще вторую, а затем и третью печь

таких же размеров. На каждую печь-решетку нагружалось одновременно три тысячи пятьсот — четыре тысячи трупов.

Был доставлен второй «багер» — колосс-экскаватор, а за ним вскоре и третий. Работа шла день и ночь. Люди, участвовавшие в работе по сожжению трупов, рассказывают, что печи эти напоминали гигантские вулканы, страшный жар жег лица работавших, пламя извергалось на высоту восьми — десяти метров, столбы черного, густого и жирного дыма достигали неба и тяжелым, неподвижным покрывалом стояли в воздухе. Жители окрестных деревень видели это пламя по ночам за тридцать — сорок километров, оно поднималось выше сосновых лесов, окружавших лагерь. Запах горелого человеческого мяса заполнял всю округу. Когда ветер дул в сторону польского лагеря, расположенного в трех километрах, люди задыхались там от страшного зловония. На этой работе по сожжению трупов было занято восемьсот заключенных, — численный состав, превышающий количество рабочих, занятых в доменном или мартеновском цеху любого металлургического гиганта. Этот чудовищный цех работал день и ночь в течение восьми месяцев беспрерывно и не мог справиться с миллионами человеческих тел. Правда, все время прибывали новые партии для газирования, и это тоже загружало печи.

Прибывали эшелоны из Болгарии; СС и вахманы радовались их прибытию: обманутые немцами и тогдашним фашистским болгарским правительством, люди, не ведавшие своей судьбы, привозили большое количество ценных вещей, много вкусных продуктов, белый хлеб. Затем стали прибывать эшелоны из Гродно и Белостока, потом эшелоны из восставшего варшавского гетто, прибыл эшелон польских повстанцев — крестьян, рабочих, солдат. Прибыла партия цыган из Бессарабии, человек двести мужчин и восемьсот женщин и детей. Цыгане пришли пешком, за ними тянулись конные обозы; их также обманули, и пришла эта тысяча человек под конвоем всего лишь двух стражников, да и сами стражники не имели понятия, что пригнали людей на смерть. Рассказывают, что цыганки всплескивали руками от восхищения, увидя красивое здание газовки, до последней минуты не догадываясь об ожидавшей их судьбе. Это особенно потешало немцев. Жестоко издевались эсэсовцы над прибывшими из восставшего варшавского гетто.

Из партии выделяли женщин с детьми и вели их не к газовым камерам, а к местам сожжения трупов. Обезумевших от ужаса матерей заставляли водить своих детей среди раскаленных колосников, на которых в пламени и дыму коржились тысячи мертвых тел, где трупы, словно ожив, метались и корчились, где у беременных покойниц лопались от жара животы, и умерщвленные до рождения дети горели на раскрытом чреве матери. Зрелище это могло помрачить рассудок любого, самого закаленного человека, но немцы правильно рассчитали, что стократ сильнее это будет действовать на матерей, пытавшихся закрыть ладонями глаза своим детям. Дети кидались к матерям с безумными криками: «Мама, что с нами будет, нас сожгут?» Данте не видел в своем аду таких картин.

Поразвлекшись этим зрелищем, немцы действительно сжигали детей.

Даже читать об этом бесконечно тяжело. Пусть читатель поверит мне, не менее тяжело и писать об этом. Может быть, кто-нибудь спросит: «Зачем же писать, зачем вспоминать все это?»

Долг писателя рассказать страшную правду, гражданский долг читателя узнать ее. Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших. Всякий, кто не узнает всей правды, так никогда и не поймет, с каким врагом, с каким чудовищем вступила в смертельную борьбу наша великая, наша святая Красная Армия.

«Лазарет» тоже переоборудовали по-новому. Раньше больных уводили за огороженное ветвями пространство, где их встречал мнимый «врач», и убивали. Тела убитых стариков и больных на носилках транспортировали к общим могилам. Теперь же был вырыт круглый котлован. Вокруг котлована, как вокруг спортивного стадиона, стояли низенькие скамеечки, так близко к краю, что сдившийся на скамеечку находился над самой ямой. На дне котлована были устроены колосники, на которых горели трупы. Больных и дряхлых стариков приносили в «лазарет», и затем «санитары» усаживали их на скамеечку, лицом к костру из человеческих тел. Потешившись зрелищем, каннибалы стреляли в седые затылки и в согбенные спины сидевших: убитые и раненые падали в костер.

Мы знали о тяжеловесном немецком юморе и всегда невысоко ценили его. Но мог ли кто-нибудь из живущих

на земле людей представить себе, что такое эсэсовский юмор в Треблинке, эсэсовские развлечения, эсэсовские шутки?

Они устраивали футбольные состязания смертников, заставляли их играть в «ловитки», организовывали хор обреченных. Вблизи общежития немцев был устроен зверинец, в клетках сидели лесные безобиднейшие звери — волки, лисы, а самые страшные свиноподобные хищники, которых носила земля, ходили на свободе, сидели на березовых скамеечках и слушали музыку. Для обреченных был даже написан специальный гимн «Треблинка», и там имелись такие слова:

Für uns glebt heute nur Treblinka,
Das unser Schicksal ist...¹

Окровавленных людей за несколько минут до смерти заставляли хором разучивать идиотские немецкие сентиментальные песни:

...Ich brach das Blumlein
Und schenkte es dem Schönsten
Geliebten Mädlein...²

Главный комендант лагеря отобрал в одной партии несколько детей, убил их родителей, одел детей в лучшее платье, закармливал их сладостями, играл с ними, а затем, спустя несколько дней, когда эта забава надоела ему, приказал детей убить.

Одним из главных развлечений были насилия и издевательства над молодыми красивыми женщинами и девушками, которых отбирали из каждой партии обреченных. Наутро сами насильники отводили их в газовню. Так развлекались в Треблинке эсэсовцы, оплот гитлеровского режима и гордость фашистской Германии.

Здесь следует отметить, что существа эти вовсе не были механическими исполнителями чужой воли. Все свидетели подмечают общие им всем черты: любовь к теоретическим рассуждениям, философствованию. Все они имели слабость произносить перед обреченными речи, хвастать перед ними, объяснять великий смысл и значение для будущего того, что происходит в Треблинке. Все они были глубоко и искренне убеждены, что

¹ Для нас осталась только Треблинка, это наша судьба..

² Я сорвал цветочек и подарил его любимой красотке...

делают правильное и нужное дело. Они подробно объясняли преимущество своей расы над всеми другими, они произносили тирады о немецкой крови, немецком характере, о миссии немцев. Их вера была изложена в книгах Гитлера, Розенберга, в брошюрах и статьях Геббельса.

Поработав и поразвлекшись, как только что описано, они спали сном праведников, не тревожимые сновидениями и кошмарами. Совесть их никогда не мучила, хотя бы потому, что никто из них не имел совести. Они занимались гимнастикой, ревниво следили за своим здоровьем, пили по утрам молоко, очень заботились о своих бытовых удобствах, устраивали вокруг своих жилищ палисадники, пышные клумбы, беседки. Они часто, по нескольку раз в год, ездили в отпуск в Германию, так как начальство считало их «цех» весьма вредным и заботливо оберегало их здоровье. Дома ходили они с гордо поднятой головой и помалкивали о своей работе, не потому, что стыдились ее, а просто, будучи дисциплинированными, не смели нарушить данной подписки и торжественной клятвы. И когда они под руку с женами ходили по вечерам в кино и громко хохотали, стучали подкованными сапогами, их трудно было отличить от самых рядовых обывателей. Но это были скоты в величайшем смысле этого слова,— эсэсовские скоты.

Лето 1943 года выдалось необычайно жарким в этих местах. Ни дождя, ни облаков, ни ветра в течение многих недель. Работа по сожжению трупов находилась в разгаре. Уже около шести месяцев день и ночь пылали печи, а сожжено было немногим больше половины убитых.

Заключенные, работавшие на сожжении трупов, не выдерживали ужасных нравственных и телесных мучений, ежедневно кончали самоубийством пятнадцать—двадцать человек. Многие искали смерти, нарочно нарушая дисциплинарные правила.

«Получить пулю — это был «люксус» (роскошь),— говорил мне коссувский пекарь, бежавший из лагеря. Люди говорили, что быть обреченным в Треблинке на жизнь во много раз страшней, чем быть обреченным на смерть.

Шлак и пепел вывозились за лагерную ограду. Мобилизованные немцами крестьяне деревни Вулька нагружали пепел и шлак на подводы и высыпали его вдоль дороги, ведущей мимо лагеря смерти к штрафному поль-

скому лагерю. Заключение дети лопатами равномерно разбрасывали этот пепел по дороге. Иногда они находили в пепле сплавленные золотые монеты, сплавленные золотые коронки. Детей звали «дети с черной дороги». Дорога эта от пепла стала черной, как траурная лента. Колеса машин как-то по-особенному шуршали по этой дороге, и когда я ехал по ней, все время слышался из-под колес печальный шелест, негромкий, словно робкая жалоба.

Эта черная траурная лента пепла, идущая среди лесов и полей от лагеря смерти к польскому лагерю, была словно трагический символ страшной судьбы, объединившей народы, попавшие под топор гитлеровской Германии.

Крестьяне возили пепел и шлак с весны 1943 года до лета 1944 года. Ежедневно на работу выезжало двадцать подвод, и каждая из них нагружала по шесть — восемь раз на день семь-восемь пудов пепла.

В песне «Треблинка», которую немцы заставляли петь восемьсот человек, работавших на сожжении трупов, есть слова, где заключенных призывают к покорности и послушанию; за это им обещается «маленькое, маленькое счастье, которое мелькает на одну-одну минутку». И удивительное дело, в жизни треблинского ада был действительно один счастливый день. Немцы, однако, ошиблись: не покорность и послушание подарили этот день смертникам Треблинки. Безумство смелых родило этот день. Терять им было нечего. Все они были смертниками, каждый день их жизни был днем страданий и мук. Ни одного из них, свидетелей страшных преступлений, немцы не пощадили бы, — всех их ждала газовня; да их и отправляли туда после нескольких дней работы, заменяя новыми из очередных партий. Лишь несколько десятков человек жили не дни и часы, а недели и месяцы — квалифицированные мастера, плотники, каменщики, обслуживавшие немцев, пекари, портные, парикмахеры. Они-то и создали комитет восстания. Конечно, только смертники и только люди, охваченные чувством лютой мести и всепожирающей ненависти, могли составить такой безумный план восстания. Они не хотели бежать до того, пока не уничтожат Треблинку. И они уничтожили ее. В рабочих бараках стало появляться оружие: топоры, ножи, дубины. Какой ценой, с каким безумным риском было сопряжено добывание каждого топора и ножа! Сколько изумительного терпения, хитро-

сти и ловкости понадобилось, чтобы укрыть это все от обыска и спрятать в бараке. Были созданы запасы бензина, чтобы облить и поджечь лагерные постройки. Как накапливался этот бензин и как бесследно исчезал он, точно растворялся? Для этого понадобились сверхчеловеческие усилия, напряжение ума, воли, страшная дерзость. Наконец был произведен большой подкоп под немецкий барак-арсенал. И здесь дерзость помогла людям, бог смелости стоял за них. Из арсенала были вынесены двадцать ручных гранат, пулемет, карабины, пистолеты. Все это исчезло в тайниках, вырытых заговорщиками. Участники заговора разбились на пятерки. Огромный сложный план восстания был разработан до последних мелочей. Каждая пятерка имела точное задание. И каждое математически точное задание было безумством. Одним поручался штурм башен, на которых сидели вахманы с пулеметами. Вторые должны были внезапно атаковать часовых, ходивших у проходов между лагерными площадками. Третьи должны были атаковать бронемашину. Четвертые резали телефонную связь. Пятые напали на здание казармы. Шестые делали проходы в ключей проволоке. Седьмые устраивали мосты через противотанковые рвы. Восьмые обливали бензином лагерные постройки и жгли. Девятые разрушали все, что легко поддавалось разрушению.

Было предусмотрено даже снабжение деньгами бежавших. Варшавский врач, который собирал деньги, едва не погубил всего дела. Однажды шарфюрер заметил, что из кармана его брюк видна толстая пачка кредиток,— это была очередная порция денег, похищенных из «кассы», которые доктор собирался укрыть в тайнике. Шарфюрер сделал вид, что ничего не заметил, и тотчас доложил об этом самому Курту Францу. Это было, конечно, событием чрезвычайным. Франц лично отправился допрашивать врача. Он сразу заподозрил что-то недоброе,— в самом деле, для чего смертнику деньги? Франц приступил к допросу уверенно и не спеша, вряд ли на земле был человек, умевший так пытать, как он. И он был уверен, что нет на земле человека, который мог бы устоять против пыток, известных гауптману Курту Францу. Но варшавский врач перехитрил эсэсовского гауптмана. Он принял яд. Один из участников восстания рассказывал мне, что никогда в Треблинке не старались с таким рвением спасти человеку жизнь. Видно, Франц чутьем понимал, что умирающий врач уносит важную

тайну. Но немецкий яд действует верно, и тайна осталась тайной.

В конце июля наступила удушающая жара. Когда вскрывали могилы, из них, как из гигантских котлов, валил пар. Чудовищное зловоние и жар печей убивали людей. Изнуренные люди, тащившие мертвецов, сами мертвыми падали на колосники печей. Миллиарды тяжелых, обожравшихся мух ползали по земле, гудели в воздухе. Дожигалась последняя сотня тысяч трупов.

Восстание было назначено на 2 августа. Сигналом ему послужил револьверный выстрел. Знамя успеха осенило святое дело. В небо поднялось новое пламя, не тяжелое, полное жирного дыма, пламя горящих трупов, а яркий, знойный и буйный огонь пожара. Запылали лагерные постройки, и восставшим казалось, что само солнце, разорвав свое тело, горит над Треблинкой, правит праздник свободы и чести.

Загремели выстрелы, захлебываясь, затараторили пулеметы на захваченных восставшими башнях. Торжественно, как колокола правды, загудели взрывы ручных гранат. Воздух всколыхнулся от грохота и треска, рушились постройки, свист пуль заглушил гудение трупных мух. В ясном и чистом воздухе мелькали красные от крови топоры. В день 2 августа на землю треблинского ада полилась злая кровь эсэсовцев, и пышущее светом голубое небо торжествовало и праздновало миг возмездия. И здесь повторилась древняя, как мир, история: существа, ведущие себя, как представители высшей расы, существа, громоподобно возглашавшие: «Achtung! Mützen ab!»¹, существа, вызывавшие варшавян из их домов на казнь потрясающими рокочущими голосами властелинов: «Alle r-r-r-gaus unter-r-r-r!»² — эти существа, столь уверенные в своем могуществе, когда речь шла о казни миллионов женщин и детей, оказались презренными трусами, жалкими, молящими пощады пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоящей смертной драки. Они растерялись, они метались, как крысы, они забыли о дьявольски продуманной системе обороны Треблинки, о заранее организованном всеубивающем огне, забыли о своем оружии. Но стоит ли говорить об этом, и нужно ли хоть кому-нибудь дивиться этому?

Спустя два с половиной месяца, 14 октября 1943 года,

¹ Внимание! Шапки сняты!

² Выходите все!

произошло восстание на сабибурской фабрике смерти, организованное советским военнопленным, политруком ростовчанином Александром Печерским. И там повторилось то же, что в Треблинке,— полумертвые от голода люди сумели справиться с сотнями отяжелевших от невинной крови мерзавцев эсэсовцев. Восставшие справились с палачами с помощью самодельных топоров, откованных в лагерных кузнях, оружием многих был мелкий песок, которым Печерский велел заранее наполнить карманы и ослеплять глаза караульных... Но нужно ли дивиться этому?..

Когда запылала Треблинка и восставшие, молчаливо прощаясь с пеплом народа, уходили за проволоку, по их следу со всех концов ринулись эсэсовские и полицейские части. Сотни полицейских собак были пущены по следам. Немцы мобилизовали авиацию. Бои шли в лесах, на болотах — и мало кто, считанные люди из восставших, дожил до наших дней.

После дня 2 августа Треблинка перестала существовать. Немцы дожигали оставшиеся трупы, разбирали каменные постройки, снимали проволоку, сжигали недожженные восставшими деревянные бараки. Было взорвано, погружено и увезено оборудование здания смерти, уничтожены печи, вывезены экскаваторы, огромные, бесчисленные рвы засыпаны землей, снесено до последнего камня здание вокзала, наконец, разобраны рельсовые пути, увезены шпалы. На территории лагеря был посеян люпин, построил свой домик колонист Стребень. Сейчас и этого домика нет, он сожжен. Чего хотели достичь всем этим немцы? Скрыть следы убийства миллионов людей в треблинском аду? Но разве это мыслимо сделать? Разве мыслимо заставить замолчать тысячи людей, свидетельствующих о том, как эшелоны смертников шли со всей Европы к месту конвейерной казни? Разве мыслимо скрыть то мертвое, тяжелое пламя и тот дым, которые восемь месяцев стояли в небе, видимые днем и ночью жителями десятков деревень и местечек? Разве мыслимо вырвать из сердца, заставить забыть длившийся тринадцать месяцев ужасный вопль женщин и детей, который по сей день стоит в ушах крестьян деревни Вулька? Разве мыслимо заставить замолчать крестьян, год возивших человеческий пепел из лагеря на окрестные дороги.

Разве мыслимо заставить замолчать оставшихся в живых свидетелей работы треблинской плахи, от пер-

вых дней ее возникновения до дня 2 августа 1943 года — последнего дня ее существования, свидетелей, согласно и точно рассказывающих о каждом эсэсовце и вахмане, свидетелей, шаг за шагом, час за часом восстанавливающих треблинский дневник? Им уже не крикнешь: «Mützen ab», их уже не сведешь в газовню. И уж не властен Гиммлер над своими подручными, которые низко опустив головы, теребя дрожащими пальцами край пиджаков, глухим, мерным голосом рассказывают кажущуюся безумием и бредом историю своих преступлений. Советский офицер, с зеленой ленточкой сталинградской медали, записывает лист за листом показания убийц. И в дверях стоит с сжатыми губами часовой, и на груди его та же сталинградская медаль, и худое, темное от ветров лицо его сурово. Это лицо народного правосудия. И разве не удивительный символ, что в Треблинку, под Варшаву, пришла одна из победоносных сталинградских армий? Недаром заметался в феврале 1943 года Генрих Гиммлер, недаром прилетел он в Треблинку, недаром приказал строить печи, жечь, уничтожать следы. Нет, зря метался он! Сталинградцы пришли в Треблинку, коротким оказался путь от Волги до Вислы. И теперь сама треблинская земля не хочет быть соучастницей преступлений, совершенных злодеями, она исторгает из себя кости, вещи убитых, которые пытались упрятать в нее гитлеровцы.

Мы приехали в треблинский лагерь в начале сентября, то есть через тринадцать месяцев после дня восстания. Тринадцать месяцев работала плаха. Тринадцать месяцев пытались немцы скрыть следы ее работы. Тихо. Едва шевелятся вершины сосен, стоящих вдоль железной дороги. Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пень смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов. Тихо шуршал пепел и дробленый шлак по черной дороге, по-немецки аккуратно обложенной окрашенными в белый цвет камнями. Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с легким звоном, миллионы горошинок сыплются на землю. Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливаются в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широ-

кий, спокойный. А земля колеблется под ногами, пухлая, жирная, словно обильно политая льняным маслом, бездонная земля Треблинки, зыбкая, как морская пучина. Этот пустырь, огороженный проволокой, поглотил в себя больше человеческих жизней, чем все океаны и моря земного шара за все время существования людского рода.

Земля извергает из себя дробленые косточки, зубы, вещи, бумаги,— она не хочет хранить тайны.

И вещи лезут из лопнувшей земли, из незаживающих ран ее. Вот они — полуистлевшие сорочки убитых, брюки, туфли, позеленевшие портсигары, колесики ручных часов, перочинные ножки, бритвенные кисти, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, полотенца с украинской вышивкой, кружевное белье, ножницы, наперстки, корсеты, бандажи. А дальше из трещин земли лезут на поверхность груды посуды: сковороды, алюминиевые кружки, чашки, кастрюли, кастрюльки, горшочки, бидоны, судки, детские чашечки из пластмассы. А дальше из бездонной вспученной земли, точно чья-то рука выталкивает на свет захороненное немцами, выходят на поверхность полуистлевшие советские паспорта, записные книжки на болгарском языке, фотографии детей из Варшавы и Вены, детские, писанные каракулями письма, книжечка стихов, написанная на желтом листочке молитва, продуктовые карточки из Германии... И всюду сотни флаконов и крошечных граненых бутылочек из-под духов — зеленых, розовых, синих... Над всем этим стоит ужасный запах тления, его не могли победить ни огонь, ни солнце, ни дожди, ни снег, ни ветер. И сотни маленьких лесных мух ползают по полуистлевшим вещам, бумагам, фотографиям.

Мы идем все дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью волнистые густые волосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше черные тяжелые косы на светлом песке, а дальше еще и еще. Это, видимо, содержимое одного, только одного лишь, не вывезенного, забытого мешка волос! Все это правда! Дикая, последняя надежда, что все это сон, рушится. А стручки люпина звенят, звенят, стучат горошины, точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколен. И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой пе-

чалю, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку...

Ученые, социологи, криминалисты, психиатры, философы размышляют: что же это? Что же — органические черты, наследственность, воспитание, среда, внешние условия, историческое предопределение, преступная воля руководителей? Что это? Как случилось это? Эмбриональные черты расизма, казавшиеся комичными в высказываниях второсортных профессоров-шарлатанов и убогих провинциальных теоретиков Германии прошлого века, презрение немецкого обывателя к «русской свинье», к «польской скотине», к «прочесоченному еврею», к «развратному французу», к «торгашу англичанину», к «кривляке греку», к «болвану чеху», — весь этот грошовой букет напыщенного дешевого превосходства немца над остальными народами земли, добродушно осмеянный публицистами и юмористическими писателями, — все это внезапно, в течение нескольких лет из «детских» черт превратилось в смертельную угрозу человечеству, его жизни и свободе, стало источником невероятных и невиданных страданий, крови, преступлений. Тут есть над чем задуматься!

Ужасны такие войны, как нынешняя. Огромна пролитая немцами невинная кровь. Но сегодня мало говорить об ответственности Германии за то, что произошло. Сегодня нужно говорить об ответственности всех народов и каждого гражданина мира за будущее.

Каждый человек сегодня обязан перед своей совестью, перед своим сыном и своей матерью, перед родиной и перед человечеством во всю силу своей души и своего ума ответить на вопрос: что родило расизм, что нужно, чтобы нацизм, гитлеризм не воскрес никогда, ни по эту, ни по ту сторону океана, никогда, во веки веков!

Империалистическая идея национальной, расовой и всякой иной исключительности логически привела гитлеровцев к строительству Майданека, Сабибура, Бельжице, Освенцима, Треблинки.

Мы должны помнить, что расизм, фашизм вынесет из этой войны не только горечь поражения, но и сладостные воспоминания о легкости массового убийства.

И об этом сурово и каждодневно должны помнить все, кому дороги честь, свобода, жизнь всех народов, всего человечества.

Сентябрь 1944 г.

ТВОРЧЕСТВО ПОВЕДЫ

Линия Белорусского фронта перед началом нашего наступления напоминала собой контур летящей птицы с размахом огромных крыльев на юг и на север в несколько сот километров. Теперь завеса тайны снята с дня и часа наступления. Весь мир следил за мощным взмахом железного правого крыла в двадцатых числах июня этого года и внезапным ударом левого в середине июля. За это время железные крылья фронта преодолели многие сотни километров, фигура птицы исчезла, фронт выпрямился, словно могучий напор изнутри сгладил излом.

Мне посчастливилось поспеть машиной и связными самолетами к началу наступления от крайнего правого до крайнего левого крыла и наблюдать первый день атаки на различных участках фронта, отстоящих друг от друга почти на тысячу километров.

Первый день наступления всегда особо интересен, в нем наиболее ясно и выпукло отражаются стиль, особенность, своеобразие не только метода и замысла, но и темперамента человека и людей, готовивших военное действие.

Картины боев настолько сложны, факты столь своеобразны, что уместить все это в рамки просто эмпирического описания, фотографирования нет возможности. Настойчиво просятся обобщенные картины и размышления о нашей тактике и о поведении противника. Группировка противника, обозначенная на карте у наших разведчиков, почти полностью во всех деталях своих, стыках частей и разветвлениях обороны соответствовала действительному расположению немецких дивизий, полков и батарей. В этом был первый залог нашего успеха и превосходства над немцами.

По всему пути вдоль фронта с удивительной последовательностью сталкивался я с немецкой ошибкой в опре-

делении направления наших ударов: главного и вспомогательного. Там, где противник сосредоточивался для отражения наших танковых таранов, оказывались лишь наши сковывающие части. Там, где, как, например, на лесистом и болотистом участке у генерала Батова, немец не ждал, из-за особенностей болотистой местности, больших действий, был нанесен оглушающий, мощный и быстрый удар. Повторяю, это приключилось на всех участках фронта. И вообще-то говоря, эта цепь частных просчетов достойно увенчивалась главным просчетом, стратегической калошей, в которую села гитлеровская ставка. Главный удар во всефронтовом масштабе ожидался немцами на юге, они готовили к нему Моделя,— а сокрушительно получил по зубам фельдмаршал фон Буш на центральном участке, тот самый, у которого «провидец» Гитлер отнял незадолго до наступления много тяжелого оружия и передал Моделю.

В чем причина этих немецких ошибок? По-видимому, в том, что предвидение немцев основывалось на шаблонных предположениях об удобстве местности и арифметических подсчетах дальних и близких расстояний. Они угадывали наступление на участках фронта, наиболее выдвинутых на запад, наиболее проходимых, наиболее близких к узлам дорог. Творчество нашего наступления избрало путь высший, не угаданный и не предвиденный противником. Болота и леса оказались проходимыми, многокилометровые дороги легли среди зеленых болотных трав, и там, где не проходил легконогий разведчик, проползли тяжелые танки и крупные калибры артиллерии. Кратчайшим расстоянием до границ «европейской крепости» оказалась не та геометрическая прямая линия, которую видели на карте немцы, а совсем иная, великолепная и сложная кривая, рожденная аналитической геометрией войны и насмерть захлестнувшая в трехкратном, витебском, бобруйском и минском, «котле» армии германского «центра».

В артиллерийской подготовке прорыва на всем протяжении фронта нам сопутствовал успех, однако путь к успеху был различен. Это явление необычайно знаменательное, над ним стоит задуматься. Казалось, успех на одном из флангов звал к точному копированию методов, приведших однажды к прорыву при переходе в наступление на других участках. Раз совокупность приемов приводит к удаче, то логично повторить эти приемы и во второй, и в третий, и в четвертый раз,— словом, всегда,

когда сходная задача стоит перед войсками. Немцы, например, считают законным шаблон в успехе. Они не задумываясь, переносят, и при том механически переносят, совокупность приемов, приводивших их к успеху, во все последующие операции. Эта шаблонизация, это канонизирование приемов успеха таит в себе много дурного: застой творческой мысли войны, пренебрежение к особенностям обстановки, которая, конечно, никогда не может быть одинаковой, и третье — дает возможность противнику парировать методы, раскрытые однажды, многократно повторенные и, следовательно, изученные. И поистине восхитительным было то творческое, живое богатство приемов, тот полный отказ от шаблона успеха, который пришлось наблюдать в действии наших генералов при прорыве немецкой обороны.

Три генерала бесспорно имели крупные успехи в этом наступлении. Всех трех их объединяют выдающиеся результаты. И прямо-таки великолепно то, что каждый из них действовал, руководствуясь всей совокупностью личного опыта, творческих приемов, каждый проявил свой стиль, своим почерком вписал страницу в золотую книгу победы.

Попробуйте-ка, став на место противника, парировать удары, столь монолитные в единстве цели и столь не схожие в творческом воплощении. Вот тяжеловесная, планомерно нарастающая, с плавным переносом огня от первой линии обороны к последующей артиллерийская подготовка. Ей предшествовала такая же монументальная разведка боем с введением крупных огневых средств и пехотных подразделений. Разведку и начало подготовки разделяют долгие часы. После стапятидесятиминутного ливня стали и взрывчатки в атаку бросаются крупные подразделения пехоты. Таков был стиль первого удара. И тут же рядом, на соседнем участке, прорыв осуществляется совсем иначе. Могучие артиллерийские узлы обрушивают снаряды на отдельные участки немецкой обороны. Превосходство огня над противником в этих точках достигает фантастических величин. Так на одном из участков фронта количество наших стволов относилось к количеству немецких, как 19 : 1. Это соотношение — свидетельство не только нашего превосходства в технике. Это свидетельство нашего умения переиграть противника. Снаряды здесь не покрывают первую линию окопов, как в первом случае, а обрушиваются на глубину обороны, где предполагается скопление живой

148

силы, оттянутой по ходам сообщения с первой линии после начала артиллерийского огня. Затем, после короткого шквала, наступает внезапная тишина, противник по шаблону, разработанному заранее, спешит занять первую линию траншей, ожидая атаки. И тотчас же огонь артиллерии обрушивается на эту первую линию. Затем вновь наступает тишина, и внезапно в траншеях врага, нарушая все представления о расстоянии и времени, слышится «ура». Это не та пехота, которую ждал противник, это штурмовые отряды, специально тренированные, отобранные: они тайно сосредоточились перед самыми траншеями немцев, так близко, что осколки собственных снарядов долетали до них.

И вот третий прорыв вражеской обороны. Его стиль отличен и от первого и от второго. Противник знает: начался огонь — значит, начата силовая разведка. Значит, нет смысла раскрывать свои артиллерийские средства. И вдруг он видит, что разведка внезапно переросла в наступление, что после нескольких минут огня десятки, сотни, тысячи, лавины пехотинцев затопляют вражеские окопы.

Вот три прорыва. Мы не ставим себе задачу разбирать, чьи методы совершенней. Здесь важно подчеркнуть другое: единство цели и различие средств, отсутствие шаблона в достижении успеха, живое творчество на первом, ответственнейшем этапе наступления.

В условиях современного боя необычайно повышается роль командира дивизии, связь с высшим штабом не может быть всегда совершенной, ответственные решения, не терпящие ни минуты отлагательства, должны приниматься самим командиром дивизии. От этого зависит и успех в преследовании, окружении, истреблении ошеломленного, но могущего через час-два прийти в себя противника. Этим определяется в большой мере высокий темп развития операции в целом.

На одном из участков Белорусского фронта операция планировалась высшим штабом на девять дней. Штаб соединения взялся провести эту операцию за семь дней. Фактически операция, включавшая в себя прорыв обороны группировки противника, расчленение ее, окружение и уничтожение, заняла трое суток. Это трехкратное сокращение срока, это трехкратное повышение темпа возможны стали потому, что командиры дивизий, люди, совмещающие в себе всю полноту, я бы сказал — всю тяжесть непосредственного, постоянного, круглосуточ-

ного руководства боем, проявили в полной мере свой опыт, инициативу, умение быстро в очень сложной обстановке принимать конкретные решения, устремленные к единой цели, поставленной высшим командиром.

Наблюдая работу командира одной гвардейской дивизии в период быстрого развития боевого маневра, я могу с ответственностью сказать, что напряжение его творческой боевой работы ничуть не уступало творческому напряжению ученого, решающего запутанную проблему, где массивная, многосложная, математическая теория переплетается с противоречивым, но обязательным эмпирическим материалом.

В течение короткого отрезка времени перед командиром дивизии стоит задача руководства боем, в котором участвуют, помимо его полков, и приданная артиллерия, и самоходные пушки, и гвардейские минометы. Тут же решаются вопросы обеспечения боеприпасами, горючим, выбор наиболее безопасных дорог в сложной обстановке «слоеного пирога».

В бою приходится иметь одновременно дело с контратакующими «фердинандами» и танками противника и с преследованием пытающихся вырваться пехотных подразделений и обозов, приходится принимать решение о немедленном строительстве переправы на одном участке реки и об одновременном разрушении немецкой переправы на параллельной дороге. И все эти десятки решений должны быть строго увязаны с замыслом высшего штаба, с указаниями, идущими сверху.

Надо прибавить, что работа эта шла не в кабинете, а в условиях, требующих огромных физических затрат, непосредственно на поле боя, перед лицом жестоких опасностей и смерти,— шла десятки часов, без минуты отдыха и сна. Подлинная и вечная душа творчества именно в том, что в ней примиряются высокие стройные замыслы и идеи с жестокой, упрямой, воинственной и противоречивой действительностью. Так и на войне замыслу высшего командования подчиняется действительность бушующего огнем, смертью, сталью поля сражения. И в этом большая заслуга нашего командира дивизии.

Теперь о дальнейшем. Ранней весной прошлого 1943 года мне пришлось на фронте подробно беседовать с одним генералом, в чьем соединении находились части, одной группой участвовавшие в прорыве обороны немцев северо-западнее Сталинграда, другой — в героической обороне Сталинграда.

Генерал рассказывал, что он замечает различие в стиле и умении этих командиров. Первые весьма решительны, сильны и опыты в наступлении, преследовании; вторые великолепно проявили себя в обороне, при отражении сильных танковых и пехотных контратак противника. Генерала беспокоила эта специализация, и он говорил мне о случаях неудач у своих командиров при быстрой смене обстановки, переходе от наступления к обороне, от обороны к наступлению. Он рассказал, как один мастер преследования смешался и дал приказ своему полку отступать, когда на фланге у него появились два десятка немецких танков, и как, примерно в это же время, на соседнем участке, другой командир полка, в чью кровь вошла героика массивной, длительной и малоподвижной обороны, прозевал внезапный ночной отход противника и до утра простоял, не пытаясь отрезать немцам путь отхода и резать их с фланга. Генерал, человек вдумчивый, сказал мне:

— Я вовсе не собираюсь усиливать в каждом из них эти отдельные черты. Это будет ошибкой. Наоборот, я пытаюсь привить им то, в чем они недостаточно еще сильны.

Все это было почти полтора года тому назад, еще на донских рубежах.

И вот летом нынешнего 1944 года, на рубежах Друти, Березины, Свислочи и Немана, с особым интересом следили мы за действиями тех командиров, чье прошлое связано с участием в обороне, либо в прорыве.

И поистине великолепен тот синтез, в котором соединился богатейший опыт прошедших боев. Не с одностронней специализацией, не с механическим наслаиванием опыта встретились мы, а с высшей формой вождения войск, рожденной из гармонического сочетания наступательного и оборонительного умения.

В маневренной войне, с большой плотностью во времени, сочетаются самые напряженные, яростные оборонительные бои с преследованием, обходами, движениями, с открытыми флангами. В маневренной войне вероломный противник то обороняется в разветвленной сети траншей, то, разбитый и окруженный, вдруг, собравшись в кулак, бросается в яростные атаки, сам прорывает, сам пытается окружить; в маневренной войне смены форм боя внезапны, резки и трудно угадываемы: на месте разбитой и преследуемой пехотной части в течение ночи может возникнуть свежая контратакующая дивизи-

зия, переброшенная на самолетах или автомобилями по шоссе на дороге. Разбитые и разрозненные, рассеянные по лесам и во ржи части противника иногда в течение нескольких часов вновь собираются для последнего удара отчаяния и могут представить серьезную помеху наступающим войскам нападениями во фланг, с тыла, прорывами на дороги, по которым движутся тылы.

Ни один самый лучший мастер наступления не справился бы с своей задачей в этих исключительно сложных и напряженных комбинированных боях, если бы он одновременно не был бы мастером обороны в самом высоком смысле этого слова. Маневренный бой немыслим вне этих двух качеств. Собственно, душа маневренного боя именно в этом соединении быстро сменяющихся наступательных операций и обороны. Наши генералы, офицеры, красноармейцы выдержали высший экзамен победоносного периода войны в творческом единении наступательного и оборонительного боя. Можно рассказать о многих командирах полков, дивизий, о стремительных действиях Чуйкова, прозванного в Сталинграде «генерал-упорство» и казавшегося тогда мастером лишь оборонительного сражения, о великолепной работе Батова, имеющего за плечами опыт сталинградского прорыва, курской оборонительной битвы, борьбы за Днепр.

Хочется остановиться на эпизоде небольшом, но поучительном и весьма драматическом. Первый дивизион артиллерийского полка одной гвардейской дивизии, сражавшейся под Орлом, на Сожи и на Днепре, принимал участие в прорыве обороны немцев в конце июня этого года.

Артиллеристам, в большинстве своем сталинградцам, после многомесячного стояния в обороне, напоминавшей собой стабильность сталинградских боев, пришлось сразу же после взлома немецких линий войти в прорыв вместе с пехотой и самоходной артиллерией. Артиллеристы, обогащенные опытом стремительного украинского наступления лета и осени прошлого года, отлично справлялись с новой напряженной работой, сопровождая огнем быстро наступавшую пехоту. Быстрая смена обстановки не отразилась на работе пушек. Умение воевать в стремительном движении стало таким же элементом их боевой работы, как и пятимесячная, прославившая их стрельба на сталинградских заводах. Они легко справлялись с новыми условиями: мгновенной ориентировкой, быстрым выбором и оборудованием огневых по-

зиций, стрельбой прямой наводкой, подвозом боеприпасов, выбором удобных дорог, борьбой с минами противника, маневренным боем с «фердинандами» и т. д. Командир полка Каграмамян поставил первому дивизиону трудную задачу: стремительно вырваться вперед, пробиться к последней оставшейся у окруженных немцев шоссе и оседлать ее, закупорить тяжестью гаубичного огня. Этот марш, в котором дивизион оторвался даже от пехоты и двигался на мехтяге в местах, где всюду находились вкрапленные очаги сопротивлявшихся немцев, был, несмотря на всю сложность, проделан необычайно быстро и успешно. К вечеру гаубицы и пушки, превысившие в своей подвижности самые подвижные средства, вышли к шоссе. Это произошло, кажется, на четвертый день наступления. Местность была ровная, сзади лежало шоссе, справа — невысокий кустарник, переходивший в лес. Уставшие люди уснули после нескольких дней боевого похода. Лишь часовые глядели по сторонам, да заместитель командира Фролов вглядывался в пустой проселок: поджидал командира, поехавшего с грузовиками под охраной одной из пушек за боеприпасами. Но недолго спали люди. «К бою!» — закричал Фролов. Вскочил лежавший на плащ-палатке начальник штаба дивизиона Бескаравайный. Со всех четырех сторон, ясно видимые при лунном свете, двигались колонны немцев. Дивизион, все эти дни преследовавший противника, сам оказался в окружении. Немцы обложили его плотным и тесным кольцом, открыли огонь. Началась эпическая битва шестидесяти трех наших пушкарей против тысячи немцев. Людям вспоминались самые страшные часы сталинградской обороны. Ожил девиз: «Стоять насмерть!» Ожесточение немцев, рвавшихся к шоссе и чувствовавших смерть, было невероятно. Семнадцать часов дрался дивизион. У некоторых орудий осталось по одному человеку. Раненный в грудь командир орудия Селезнев, оставшись один, подполз к заряженному орудью, дернул за шнур и произвел выстрел. Наводчик Коньков один вел огонь из гаубицы, держа в одной руке автомат. Пленные немцы поворачивали ему орудие. Семьдесят пленных захватили пушкари. Были минуты, когда огонь вели с дистанции в двадцать метров. И все же немцы не пробились. Через сутки заместитель командира полка подполковник Степанов лично подсчитал количество трупов немцев, лежавших у пушек дивизиона, занявшем в маневренном

стремительном наступлении круговую смертную оборону. Их оказалось около семисот. И дивизион, пополнившись вновь, от обороны перешел к стремительному, не знавшему ни дня ни ночи наступлению огнем и колесами. Вот в сочетании кажущихся полярными, а в действительности неразъединяемых стремительных наступательных ударов и смертной обороны рождается творчество победы этого дня. И всюду так — и в работе командармов, и командиров дивизий, и в малых действиях батальонов, дивизионов, рот, батарей. В этой зрелости объяснение и смелости, и непревзойденных темпов нашего сегодняшнего наступления. Напрашивается сопоставление этого синтетического единства с немецкой доктриной пресловутой эластичной и жесткой обороны. Эти два полюса немецкой оборонительной тактики представлены были двумя в некотором роде «полярными» фельдмаршалами: «эластичным Моделем» и «жестким фон Бушем».

Модель «специализировал» свою эластичность в период наших южных ударов. Фон Буш считался у немцев мастером «жесткой» обороны после борьбы на северо-западе. Так они и считались в немецкой ставке — специалистами каждый в своей области. Однако пришел час, когда Красная Армия расширила специальность обоих фельдмаршалов и натренированных ими войск: оба, и «жесткий» и «эластичный», потерпели крах. Мне пришлось быть при опросе трех немецких генералов, при первом опросе их в лесных сарайчиках и хатках, когда мундиры их были украшены не только крестами с дубовыми листьями, но и сухими дубовыми листьями белорусских лесов, по которым эти генералы кочевали в течение пяти дней. Фон Лютцов, наиболее военное образование из них, уже ясно отдавал себе отчет, какую роковую роль для немецкой армии «центра» сыграла узкая, догматичная, чуждая всякого синтетического начала специальность Буша, мастера «жесткой» обороны. Этот механический принцип был применен вне всякого учета общей стратегической обстановки, применен со схоластической тупостью и узостью, с чисто немецким упрямством, не учитывающим огромное превосходство наших танков, нашей авиации, нашей артиллерии.

Вот короткая цитата из тезисов немецкого командования к одному из совещаний командиров немецких дивизий армии «центра» незадолго до нашего наступления:

«По мнению фюрера, в настоящее время мы не можем больше совершать отходы. Вследствие этого позиции должны быть удерживаемы любой ценой. Поражение на южном участке Восточного фронта фюрер считает следствием недостаточной маневренности при выполнении оборонительной задачи...» И далее: «Из всего этого можно сделать только один вывод: удержать позиции!»

Теперь мы уже знаем, как немцы удержали позиции. Законно будет спросить, где же, после провала «жесткого Буша», будет проявлять свою вторую узкую специальность «Модель эластичный»? Между восточной и западной границами Германии? Между Одером и Рейном? Пространство как будто проиграно!

Так немецкая армия на разных этапах войны выдвигала узких схоластов, специалистов, начиная от специалистов по «молниеносному» наступлению и кончая специалистами «эластичной» обороны. Они проваливались, уходили со сцены театра военных действий, когда Красная Армия опускала занавес перед тем, как поднять его перед новым, а сегодня последним, актом войны.

В нашей армии созданся, вырос, закалился высший тип офицера и генерала, творчески синтезировавший в себе все богатство, все разнообразие опыта и форм войны.

Немецкая армия, немцы не сумели подняться на эту высшую ступень. Весь путь войск Белорусского фронта в этом наступлении, начиная от первых шагов после прорыва вражеской обороны и до нынешних стремительных боев на Висле, у подступов к Варшаве, отмечен живым творчеством победы. Наша материальная сила, огромная тяжесть удара нашей артиллерии, наших танков, нашей авиации, сила, проламывающая немецкое сопротивление,— великолепное выражение творчества всего советского народа. Без этого прочного фундамента — без советского огня и советской стали, подавляющих огонь и сталь немецкой армии, немыслима была бы победа. У нас стало больше танков, больше самолетов, больше пушек. Их боевые достоинства перекрыли силу немецкого оружия. Это результат исторического подвига советских рабочих, талантливой работы коллективного разума и коллективной воли. Сила этого творчества в том, что им охвачены все народы Советского Сою-

за, все возрасты, все профессии, все люди — от академиков до чернорабочих.

И когда на фронте я вижу юношу сапера, выбежавшего первым к подожженному немцами мосту и нашедшего блестящее, поистине творческое решение спасти мост: он начинает бросать гранаты в воду и фонтанами воды, поднятой взрывами, сбивает и тушит пламя; и когда видишь, как спустя месяц после начала наступления из лесов выходят, как по мановению, сверхмощные танки и самоходки, еще не бывшие в сражении, призванные питать наступление и неугасимо поддерживать могучий потенциал победного напряжения; и когда, вдруг, кажется тебе, поймешь величие общего замысла, то чувствуешь, что в армии живым и трудным творчеством победы охвачены все — от рядовых пехотинцев, от юноши сапера до генералов — мастеров вождения войск.

Это творчество, ищущее высших, более совершенных форм, никогда не удовлетворяющееся сегодняшним, пылливо и остро смотрящее в будущее, — и есть залог победы!

1944

ПЕХОТИНЕЦ

I

Дмитрию Ивановичу Касимову исполнилось двадцать девять лет. День рождения его был отпразднован в лесной избушке, стоявшей под частой листвой старых дубов; не пришлось вечером маскировать окна: свет лампы заглушался листвой деревьев. Дым, поднятый гостями, искурившими множество папирос, самокруток, трофейных сигарет и сигар, свободно уплывал наружу, а в комнате воздух оставался прохладным и недушным. Повар испек пирог с капустой и зажарил косулю, убитую ординарцем. Гости принесли подарки: начальник штаба — трубку из слоновой кости в форме черта с хвостом и рогами, заместитель по политической части преподнес кожаный портфель и вложил в него книгу, им же самим написанную, «Боевой путь гвардейского полка». Переплет был необычайно ценный, светло-желтой кожи. Сосед слева, командир артиллерийского полка, преподнес необычайный нож: на ручке, сделанной из авиастекла, имелась трогательная надпись, — такой нож был подарен, говорят, самому командарму, да и то менее замысловатый! Комбат Балашов подарил трофейный посеребренный пистолет. А заместитель по тылу принес к ужину пять бутылок шампанского, которые вез с собой от самого Бобруйска. Второй комбат преподнес полковнику под общий смех французскую зажигалочку. Об этой зажигалочке, имевшей вид девицы с голыми ножками, были слышаны даже в дивизии и корпусе, и зажигать ее можно было лишь в мужской компании. Она особенно нравилась толстяку-полковнику, начальнику штаба дивизии.

— Дай-ка, дай-ка ее сюда, — говорил он при встрече комбату и, прикурив, отплевывался, хохотал, колыша свой объемистый живот, добавлял: — Культурка, Париж, ах ты, дьявол, до чего все-таки изобретательская мысль доходит!

Он долго просил зажигалочку у комбата.

— Сменяй на бинокль десятикратный, цейссовский? — однажды, разгорячившись, сказал он, но комбат спокойно и негромко ответил:

— Ну что вы, товарищ полковник, дело не в абсолютной стоимости предмета. Оригинальная ведь вещь.

И вот командир полка не принял смешную зажигалочку.

— Нет, нет, спасибо, не возьму, — сказал Касимов.

Смущенный, но и несколько обрадованный комбат спрятал зажигалочку.

Наша машина подъехала к лесному домику в то время, когда гости садились за стол, и о разговоре по поводу подарка я узнал уже от своего шофера, а ему рассказал об этом шофер полковника.

Хозяин, надевший парадный китель, с новенькими, незасаленными орденскими ленточками, вышел из-за стола и, смеясь, сказал:

— Вот это я понимаю, военная удача!

Он посмотрел на меня, потом, скосив глаза, оглядел накрытый стол, букет цветов, и мы оба, как это иногда бывает, подумав об одном, произнесли одни и те же слова:

— А помните первую встречу...

Несколько раз за время войны приходилось мне встречать Касимова. Эти встречи, кроме первой, не были случайны; приезжая в армию и узнав, что Касимов находится на одном из участков фронта, я обычно ехал к нему. Не знаю, представляли ли для него ценность мои рассказы, но я всегда получал большую радость, слушая и наблюдая его. Его судьба, его мысли, его путь как бы повторяли, обобщали судьбу, мысли, путь многих и многих. Встречая людей, чей характер и поступки далеки были от идеала, я мысленно говорил себе: «Эх, Касимов бы поступил иначе», «Да, Касимов нашел бы другое решение».

Как почти всегда бывает, знакомства, завязанные в тяжелые дни июля 1941 года, отмечены особой сердечностью.

Касимов, человек сдержанный и молчаливый, обычно при встречах рассказывал мне о многих перипетиях своей военной и личной жизни, вспоминал детство, пускался в рассуждения. И постепенно история его жизни стала мне знакома.

Август 1941 года. Точно высеченные резцом, точно выжженные каленым железом отпечатались в душе, в памяти все большие и маленькие события, мысли и чувства тяжелой поры: и мимолетные встречи, и пронзительно-острое предчувствие неизбежных потерь, и трагическое ощущение слияния судьбы матери, жены, ребенка с судьбой окруженных полков и отступающих армий. Можно ли забыть фронт тех дней — умирающие в огне Гомель и Чернигов, обреченный Киев, обозы отступления, зеленые, ядовитые ракеты над притихшими лесами и реками, шепот печали, вставший над Украиной?..

Мы ночевали в маленькой деревушке Дяговой. На рассвете должны были мы ехать дальше на восток. Уже темнело, по дороге в несколько рядов шли конные обозы и грузовики. По обочинам шагали молчаливые красноармейцы, угрюмые, усталые. Черноглазая худенькая девушка-подросток, в бедном, рваном платье стояла под яблоней и смотрела на движущееся войско. Тени печали и тени сумерек легли на ее лицо, и она казалась символом великого сиротства этой тяжелой, горькой поры.

Хозяйка, седая сгорбленная старуха, приготовила нам богатый ужин. С подлинной щедростью и подлинно царственной широтой, которые я встречал лишь в трудовом, бедняцком народе, поставила она на стол все лучшее, что имела. Мы сидели, опустив головы, словно справляли поминки, а хозяйка, подавая к столу, несколько раз принималась плакать.

Вот в эту печальную пору я услышал о капитане Касимове. Утром мы увидели, как навстречу потоку отступающих движется пехотный батальон, при станковых пулеметах, полковых пушечках. Батальон шел на запад. С каким молитвенным чувством смотрели женщины на эту горсть людей! Знакомый мне майор вышел из соседней хаты и спросил лейтенанта, остановившегося попить воды, чьи это люди.

— Капитана Касимова, — ответил лейтенант и указал нам на худого, покрытого пылью командира.

Майор, понизив голос и оглянувшись на стоящих женщин, сказал:

— А ваш Касимов знает, что за рекой немецкие танки?

— Знает,— сказал лейтенант.— Мы оттого и идем на тот берег, что там немецкие танки.

Когда лейтенант отошел, майор, обратившись ко мне, сказал:

— Не завидую я этому Касимову,— через три часа немцы будут в нашей деревне, а он отправляется на тот берег. В лучшем случае через час его убьют, а в худшем попадет в окружение и в плен. Драпать надо!

Через полтора месяца, в конце сентября, я поехал из штаба Брянского фронта в дивизию, оборонявшую высокий лесистый берег Десны возле деревни Жуковки.

Надо сознаться, жутко в то время было ездить пустынными дорогами и ночевать в лесах. В штабах спали все не раздеваясь, отовсюду слышались автоматные очереди, тревожные слухи будоражили людей, с тыла ждали немецких парашютистов и мотоциклистов, часто не было известно, где стоят немцы, а где наши.

Дивизия, в которую я поехал, ночью двумя колоннами переправлялась через Десну и после страшного кровавого боя заняла маленькую деревушку Ряховичи. В те времена это было событием важным и радостным, я спешил осмотреть отбитую у немцев деревню. Она почти вся сгорела, среди дымящихся груд кирпича и черных, рухнувших балок копошились старики и женщины, лица и одежда их были в копоти и грязи. Лил мелкий холодный дождь. Меня окликнул полковой комиссар; его уже нет на свете, он был убит спустя несколько недель в этих же брянских лесах.

— Вон в той полуразвалившейся избе лежит человек один, вам интересно будет с ним поговорить,— сказал он,— и, кстати, вы тут с машиной, захватите его в медсанбат, а то немцы, видимо, перешли в общее наступление, нам, возможно, придется снова оставить деревню.

— А кто он, этот человек? — спросил я.

— Наш командир. Дрался месяц в окружении, был ранен в грудь, его в этой деревне старуха прятала.

Раненый лежал под навесом на мокром сене, щеки его густо заросли русой щетиной, и темный загар оттенял холодную бледность его запавших висков и бескровных, тонких губ. Худые, бумажно-белые руки вылезали из коротеньких рукавов деревенской слинявшей рубашечки. Рубаха была раскрыта, грудь перевязана полотенцами и бинтами. Лежавший приподнялся, улыбнулся.

— Касимов,— сказал он.

— Скажите,— вдруг вспомнил я,— не вы ли занимали оборону на западном берегу речушки, подле деревни Дяговой, эдак месяца полтора тому назад?

— Занимал и держал трое суток,— сказал он.

— Я вас видел, когда вы с батальоном шли к реке,— сказал я.

Едва мы разговорились, как подбежал красноармеец и, задыхаясь, проговорил:

— Полковой комиссар велел вам сейчас же ехать, противник подходит к переправе.

Я позвонил шофера, и мы стали укладывать раненого в машину.

Из-за развалин избы вышла старая женщина в мокром тулупе и начала помогать нам. Быстро, не стариковски ступая, принесла она узелок яблок, десяток яиц, завернутых в платочек, бутылку молока, достала из-под навеса синее шерстяное одеяло и прикрыла раненому ноги.

— Ну что вы делаете,— проговорил Касимов,— что вы, ей-богу, делаете,— остались без дома, голодные, зачем последнее отдавать? Что же это выходит, вы меня защитили, спрятали, спасли, одели, лечили, а я что для вас сделал?

Прощаясь, он поцеловал морщинистые, старые руки, поправлявшие на нем одеяло. Старуха по-матерински обняла его и вдруг зарыдала, припала головой к его плечу.

Водитель машины Туляков, человек, никогда не отличавшийся особой чувствительностью, начал всхлипывать и утирать глаза платком. И в самом деле, трагична и бесконечно печальна была эта сцена прощания накануне нового прихода немцев, прощания у дымящихся развалин избы. После Касимов мне рассказал, как в первую ночь, когда он подполз к дверям хаты, старуха, перевязав ему рану, до рассвета сидела рядом с ним. Он мог дышать, лишь сидя,— стоило ему лечь, как наступало удушье и кровь шла горлом. А сидеть у него не было никакой силы, мутилось сознание. Старуха всю ночь простояла на ногах, поддерживая его прислоненным к стенке. Он сквозь муть беспамятства запомнил ее лицо. А в соседних хатах стояли немцы, и некого было позвать на помощь.

Так мы встретились с капитаном Касимовым в начале войны. Мне думается, кто не испил всей горечи лета

1941 года, тот не может во всей глубине оценить счастье нашей победы.

В дальнейшем мне пришлось встречать Касимова несколько раз. Видел я его в Сталинграде, на крутом обрыве Волги. Он сидел в глубоком, темном блиндаже. Лампа, сделанная из снарядной гильзы, освещала его худое лицо, истертый план Сталинграда лежал перед ним. Спокойный, насмешливый, порой грустный, сидел он в своей испачканной землей пилоточке, зеленом солдатском ватнике. Земля, бревна крепления не выдерживали страшного напряжения этих часов и дней. И, слушая негромкий, медленный голос Касимова, глядя на его улыбающееся лицо, я невольно подумал: где берет он душевную силу и как назвать ее — нечеловеческой, сверхчеловеческой?

— Вот воюем понемножку,— сказал он.

— Устали? — спросил я.

— Нет, чего же уставать, какой в этом толк,— ответил он.

Я видел его спустя полгода в таком же блиндажике под станцией Поньри. Все кругом являло картину страшного, невиданного напряжения только что отгремевшего боя. Огромные воронки возле командного пункта, и деревья с ветвями, перебитыми осколками снарядов, и поле, покрытое железными телами сгоревших танков, и взрыхленная, разрытая земля — все говорило об адском, жесточайшем, испепеляющем напряжении боя.

Касимов, выйдя из блиндажа, показывал мне, откуда шли три дня назад двести девяносто немецких танков, куда обрушила свой удар бомбардировочная авиация противника. Капли дождя сверкали на широких листьях лопухов, и Касимов, повернувшись ко мне, сказал:

— Солнышко-то какое после дождя греет, замечательно, ей-богу, приятно как...

И я вдруг понял, что силу Касимова не нужно называть сверхчеловеческой, что сила его — человеческая сила, сила человечности.

Я вновь встретился с ним несколько севернее Киева, в ясный сентябрьский день. Один из батальонов полка Касимова переправился в этот день первым через Днепр. Я сказал Касимову:

— Вот мы с вами встретились в торжественный день: битва за Левобережье закончена.

Он почесал ухо, улыбнулся и проговорил:

— Для меня это не конец битвы за Левобережье. Это — начало битвы за Правобережье.

И за все время нашего разговора он не произнес ни одного пышного, торжественного слова, рабочий человек Отечественной войны.

III

Дмитрий Иванович Касимов родился в одной из деревень Горьковской области. Отец его был человек суровый и малоразговорчивый. Труд в семье был не только обязанностью и бременем, не только средством к жизни, а смыслом, основой жизни. Отец его научился читать и писать после революции, будучи уже взрослым человеком. Уважение к книге, к печатному слову, по-видимому, было очень сильно в этом человеке. Дмитрий Касимов заимствовал от отца уважение и любовь к книге. Ходить в школу нужно было за четыре километра, и маленький Касимов ни разу не пропускал уроков, даже в жестокие январские морозы и февральские вьюги. Часто он оставался после уроков читать книги, — учитель давал читать в школе, но не позволял брать книги на дом. И Касимов рассказывал мне, что первое чувство страха он преодолел именно в ту пору: ранние сумерки заставляли его в разгар чтения, и в душе начиналась борьба между интересом к книге и страхом перед путешествием по лесу, где зимними ночами бродили волки.

Он любил свою мать нежной и преданной любовью. Ему помнится, что в праздник Октябрьской революции ее, лучшую работницу на селе, повезли говорить речь в Нижний Новгород. Он, восьмилетний пацан, поехал вместе с ней и навсегда запомнил торжественный ужин, длинный стол, за которым сидели начальники и ученые люди в круглых очках. Они просили, чтобы мать спела деревенскую песню. И она встала в своем новом ситцевом платье, с седыми, гладко приглаженными волосами, положила свои большие, морщинистые руки на белый стол и вдруг запела молодым голосом, которого он никогда не слышал. И на темных худых щеках ее выступил девичий румянец, и глаза у нее блестели ярко, весело. А когда она кончила петь, к ней подошел маленький старичок с большими усами, пожал ей руку и заплакал. Дмитрию объяснил кто-то, что старик этот — знаменитый рабочий-большевик, просидевший за народ двена-

дцать лет на царской каторге, старик, которому сам Владимир Ильич написал письмо.

Все эти воспоминания крепко отпечатались в душе Касимова.

Запомнился ему тяжкий пот недетского труда в поле и в лесу, путешествие с плотовщиками по Волге от Нижнего до Астрахани, великое звездное небо над великой рекой, закаты и рассветы в бледно-розовом тумане, ночной плеск рыбы, песни, раздававшиеся с берега, ночные неторопливые беседы плотовщиков о правде и неправде, о хорошем и плохом человеке, о добре, которое сильнее зла.

На шестнадцатом году жизни поступил он в школу трактористов, ездил на тракторе, пахал землю, спорил со стариками, не хотевшими идти в колхоз; вскоре он стал помощником механика в ремонтных мастерских.

Он учился на вечерних курсах для взрослых, хотя еще не вышел из школьного возраста; работа в мастерских помешала учиться в школе. Мечтой Касимова было поступить в педагогический институт и стать преподавателем истории. Его призвали в армию, и он отслужил три года на Дальнем Востоке, затем он снова вернулся в ту же мастерскую, возобновил свои занятия. Два года готовился он к приемным испытаниям. Это было нелегко — после долгого, трудного рабочего дня садиться за учебник. Товарищи его по работе до того уставали, что по вечерам не ходили в кино и клуб, сразу же заваливались спать. А Касимов просиживал за книгами до двух часов ночи и, не выспавшись, с гудящей тяжелой головой в половине шестого утра вставал на работу.

Он не считал свою жизнь тяжелой, потому что с самых ранних лет видел вокруг себя каждодневный труд, — так работал его отец, так работала его мать, так работали все знакомые и близкие.

Выдержав экзамен в институт, Касимов медленно осмысливал свое детское желание стать учителем истории.

— Мне хотелось самому понять и другим объяснить, — нахмурившись, сказал он, — вот это самое, что с детства в меня вошло: как народ стал хозяином, как ему трудно далось это, как веками шла борьба за землю и за свободу народа.

По окончании института его взяли на трехнедельные сборы командного состава, потом он поехал в деревню. Ему казалось, что это лето будет первым легким летом

в его жизни. С осени ему предстояло работать в институте. Ему обещали при институте комнату, и он мечтал поселиться в ней со своей будущей женой Анной Ивановной Щегловой, студенткой фельдшерской школы. Чего только не собирался он проделать за это лето! — ходить на охоту, помочь отцу построить новую хату, ловить рыбу. Хотелось на пароходе, в каюте второго класса, повезти мать в Горький и познакомить ее со своей невестой.

Ему даже подумалось, что он заслужил это первое легкое лето в своей жизни.

Ведь все давалось ему трудом, упорным и суровым. Он приехал домой 20 июня и сразу же поехал с отцом возить лес для новой избы. Мать поставила тесто, чтобы испечь пироги на воскресенье. Эти пироги, еще горячие, только что вынутые из печи, она положила в чемодан сыну. Касимов сказал, что, отойдя несколько десятков метров от дома, он оглянулся, увидел мать в темном платке и белое пятно у забора, свежий лес, привезенный им накануне.

А он думал, что лето 1941 года будет первым легким летом в его жизни.

IV

Касимов начал войну командиром роты. Война оказалась непохожей на то, что читал он о ней, ни на то, что рассказывали ему старые солдаты, ни на срочную службу, ни на учебные сборы командиров запаса.

Но одно лишь в войне не было неожиданным для пехотного командира Дмитрия Ивановича Касимова — тяжесть ее. Эту тяжесть он охотно и просто принял на свои плечи, она была естественна и законна. Он ждал ее. Его не смутили долгие сорокакилометровые переходы, палящий зной, удушающая пыль, ночи, проведенные под проливным дождем, бессонница и тяжкие каждочасные опасности и труды.

Самым сложным для него оказалось принять команду над людьми, такими же, как он, — быть властным над их жизнью и смертью.

Он не мог внутренне, душевно осознать свое право посылать людей на смерть.

И как-то, во время разговора, он мне сказал:

— Я все недоумевал: ведь люди все одинаковы. И потом я понял, что это право командир получает из

двух своих обязательств перед бойцами. Первое — это моральное, что ли: дели с ними всю тяжесть похода и всю опасность боев. Вот, представляете, застаю батальон на марше. Жара такая, что дышать нечем. Люди сели на припеке отдохнуть, пыль кругом, пот с людей льется. «А где же командир батальона?» Оказывается, он не идет вместе с людьми, а на трофейной машине, легковой, вперед поехал, купаться в речке. Подумать только! Крестьянский сын ведь! Ну, уж я его искупал. Он у меня после этого понял, что комбату надо маршировать с людьми, а не в речке купаться. И детям своим закажет кататься. А второе обязательство: воюй так, чтобы ни один человек не мог сказать: «Касимов неправильно скомандовал». Воюй так, чтобы из двадцати возможных ты находил наилучшее, единственное решение. Вот тогда у тебя право командовать и у людей вера в тебя. Это разные вещи: дисциплина и душевное убеждение. Вот и добейся, чтобы эти разные вещи в одну сошлись, чтобы в основе дисциплины лежало доверие к командиру, а не так, чтобы дисциплина сковывала недоверие.

Вначале, еще до войны, мне казалось: просто все. Потом, только война началась, подумал: «Мать родная, да я не справлюсь!» Какие только вопросы не выплыли! И тактика противника, и сотни его приемов, и сила его оружия, и как оно действует, и каков немец ночью, и каков днем, и чего он не любит, и чего он боится, и как он себя ведет на открытой местности, а как в лесу. Сила нашего бойца, сила нашего командира; силу нашего оружия определить; во что я верю, а в чем сомневаюсь, да мало ли что...

Не даром, не дешево далась Касимову наука войны. Однажды летом 1941 года он потерпел неудачу: отступил со своей ротой перед горстью немцев, обманувших его. Немцы открыли пулеметный огонь по высоте, на которой сидели люди Касимова, имитировали атаку. Когда завязался бой, вдруг послышались автоматные очереди, взрывы гранат в тылу у касимовской роты. Касимов решил, что его окружили большие силы немцев, он приказал своим людям отойти, оставить важную для обороны высоту. Через несколько часов высоту пришлось брать с огромными усилиями. Пленный немецкий ефрейтор, усмехаясь, рассказал, что накануне он по приказанию своего офицера в сопровождении четырех солдат пробрался в рощицу восточней злополучной высо-

ты, там они и подняли страшный шум: бросали ручные гранаты, пускали в воздух одну за другой автоматные очереди; русские отступили. Касимов понял, что немец его обдурил.

Сперва он хотел утешить себя мыслью, что немец обманул его случайно. До утра размышлял он над этим происшествием, уличая самого себя в оплошностях и неумении.

Армии наши отступали в то время, но Касимов не падал духом. Сражаясь со своим батальоном в окружении, пробираясь раненым к деревне Жуковке, он не чувствовал себя потерянным и слабым.

— Сам не знаю,— говорил он,— откуда это бралось, но в то самое тяжелое для меня время, когда я одинокий лежал раненым в лесу, я думал, что нас победить нельзя.

Каждый день в тяжелых оборонительных боях Касимов постигал нечто новое для себя. Он говорил, что бой, который не обогатил хоть чем-нибудь его опыт, лично для него был проигранным, потерянным.

— Вот, к примеру, вопрос о ружейно-автоматном огне,— рассказывал он.— В первые дни войны мы смеялись над немцами, ведущими неприцельный огонь; нам казалось бессмысленным и глупым подымать дикую пальбу, не видя цели. Но вскоре я понял, что этот способ не так уж глуп. Моральное воздействие такого плотного, оглушающего огня большое, вполне окупает его неприцельность, неточность. Поди разберись во время боя, когда пули воют и свистят вокруг, целится по тебе противник или нет. Все равно кланяешься, жмешься к земле. А тут я выяснил, что мои бойцы в бою стреляют совсем лениво, несколько раз проверил после боя винтовки, оказалось — некоторые ни одного выстрела не делают. «Почему не вел огня?» Ответ у все один: «Противника не видел, не хотел зря стрелять». Ответ этот не точен. Люди боялись вести огонь, чтобы не навлечь на себя огонь противника. Ну, тут я сделал вывод — выработать вот такой автоматизм: находишься в бою — веди огонь, плотный, напряженный, подавляй им противника, жми его к земле. Я обрадовался: вот оно и есть решение вопроса, увлекся я. Но провел я еще несколько боев и понял: нет, это только часть вопроса. Такой вот огонь надо сочетать с точным, прицельным, снайперским огнем, снайперы в бою должны себе подготавливать цели так же, как артиллеристы, заранее намечать, засекать их. Орга-

низация этого дела — штука сложная, кропотливая. А затем стало мне ясно, что в бою очень важно бывает и молчать, что особенно тонкий момент и важный момент — это определить время, когда вести огонь. Умением молчать мы дезориентируем противника, и скажу вам, наоборот, без нужды, подчас бесцельно открытый огонь помогает противнику раскрыть наше построение и наши силы и причиняет врагу больше пользы, чем вреда. Бой вроде дипломатии: бывает полезно сказать слово, бывает полезно и помолчать. — Он рассмеялся и добавил: — Вся эта сложная штука, в общем, укладывается в поговорку: «Век живи, век учишься».

V

В Сталинград Касимов попал после второго ранения. Выписался он из госпиталя в конце июля, получил десятидневный отпуск. Ему повезло: знакомый ему летчик гнал с фронтового аэродрома самолет в Горький, и он совершил весь путь от Балашова до своего родного дома в один день. Невеселые новости ожидали его.

Мать, увидев его, заплакала.

— Поседел мой Митенька, — сказала она.

— И вы совсем седая стали, — тихо сказал он.

Она протянула ему помятую бумажку, извещение, — младший брат его, Сергей, был убит на фронте. Отец сильно постарел, стал религиозен, ходил в церковь, читал библию, уже не интересовался, как раньше, «светскими» книгами.

— Как воевал? — спросил отец.

— Всяко, — отвечал он, — разные случаи были. — И он рассказал отцу, как перехитрил его немец в июле 1941 года.

Касимов пробыл дома четыре дня и уехал в Горький. Он хотел поехать пароходом вниз по Волге, а в Горький заехал для того, чтобы повидать свою невесту Анну Ивановну Щеглову. Больше двух месяцев он не имел от нее писем. Но в Горьком он не застал ее. Узнал от соседей, что Щеглова поехала на фронт с санитарной летучкой.

Его душевное состояние сосредоточенной, угрюмой силы, думается мне, было общее для очень многих и многих и как бы совпадало с духом сталинградской борьбы. Ночью он сидел на палубе парохода, великое звездное небо стояло над великой рекой, прекрасны бы-

ли пышные закаты, нежны восходы солнца в легком тумане. Касимову вспомнилось детство и путешествие на плотках. Все было таким же торжественным, вечным, прекрасным, лишь песен не было слышно, темные берега Волги молчали.

Когда в конце сталинградской обороны я говорил с Касимовым в его душном блиндажике, он сказал мне:

— Вот почему-то некоторые считают сталинградскую оборону чудом. Какое это чудо? Мы к этому пришли без чудес своим горбом. Я по себе знаю, что дал мне этот год войны — и для души, и для воинского умения. Каждый красноармеец пришел в Сталинград созревшим.

В начавшемся после Сталинградской битвы наступлении Касимов принимал участие во многих операциях: на Дону, на Донце, под Курском. На Днепре он командовал стрелковым полком.

Он видел, что вечно меняющееся, стремительное движение войны вошло в новое русло.

Стократно отплатил он за время нашего наступления тому немецкому офицеру, что обманул его, переиграл в начале войны. Касимов умел создавать внезапности и неожиданности, научился инсценировать в дыму и грохоте ложные фланговые удары силой нескольких саперов и автоматчиков и действительные, смертельные удары всей огневой силой полка, рождавшиеся во мраке и тишине. Сам Касимов в период нашего наступления словно раскрылся внутренне, расцвел.

Для Касимова было неожиданностью, что жизнь на войне таит в себе не только тяжкие труды, но и часы отдыха, дружеских досугов, веселья. «Воевать стало легче, воевать стало веселее», — сказал он, улыбнувшись, при нашей последней встрече. Он очень гордился своими полковыми знаменитостями: певцами, танцорами, художником, поэтом.

Он любил в свободный час сходить на охоту, часто приходил он на привале к красноармейцам, рассказывал, шутил, слушал песни, а однажды на полковом празднике сам показывал, как пляшут в их деревне. Находясь в Москве, я получал от него изредка письма; в последнем он писал:

«Часто у нас пишут и говорят о том, что наша армия — армия-освободительница. Но мне все кажется, что люди не понимают этих слов. Это меня сердит, мне кажется — я один понимаю. Я уже десятки раз врывался в освобожденные села и города и каждый раз точно пе-

реживаю это впервые. И каждого бойца нашего, в копти, в глине, в мятой шинели, обнять хочется,— входит он в город, а сколько в нем простоты, скромности, дружелюбия, в этом бойце, который крушит эсэсовские танковые дивизии и штурмовые полки. И сколько в нем ума, правильной мысли. А сегодня мой полк шагает по Польше, полки идут по Чехословакии, Югославии. И всюду нам идут навстречу крестьяне, горожане: «Освободители пришли!» Тут уж как ни скромничай, есть чем гордиться, как уж ни будь от природы скромец, можно не на шутку возгордиться. Великая ведь вещь! Вот мне и кажется, что не все это понимают».

VI

Утром Касимов постучал в дверь комнаты, отведенной мне под ночлег.

— Оделись?

— Одедся,— ответил я.

— В таком случае я к вам знакомиться одну даму веду, опоздавшую на вчерашний праздник.

Он вошел с молодой, худенькой женщиной в форме лейтенанта медицинской службы.

— Знакомьтесь,— сказал он,— извольте видеть, пир целый был устроен, а она пренебрегла личным счастьем — некому было сменить.

— Щеглова,— сказала женщина, протягивая руку.

— Да что вы? Невеста ваша? — удивился я.

— Какая невеста,— рассмеялся Касимов,— теперь жена, была когда-то невестой. Теперь мы с ней расписались — и знаете, как? В освобожденном городе, первая запись во вновь открытом загсе наша,— открыли, можно сказать, кампанию.

— Ну вот,— сказала Щеглова,— Дмитрий Иванович эту историю буквально всем рассказывает, а интересна она только мне да ему. Пойдемте завтракать.

— И то дело,— сказал Касимов.

Но совместный завтрак не состоялся. Вбежал телефонист и торопливо проговорил:

— Товарищ полковник, вас хозяин к телефону требует.

Касимов, уходя, сказал:

— По-видимому, начинаем, я думал — часом позже.

В полдень, мы, остановив «виллис» у разрушенной

кладбищенской стены, пришли на наблюдательный пункт командира полка.

Два пустых снарядных ящика служили столом, на котором лежал лист карты. Под нехитрым прикрытием из сосновых бревнышек сидели радист и телефонисты со своей аппаратурой, связанные осторожно покуривали в рукав, поглядывая на начальство. Телефон звонил не переставая, радист методично, бесцветным голосом повторял слова приказаний. Касимов, покрасневшийся от волнения, с возбужденными глазами, то смотрел в бинокль, то отмечал изменения обстановки по карте, то говорил по телефону с командиром дивизии и командиром артиллерийского полка, то подзывал связных, то приказывал радисту вызвать командиров батальонов. Воздух был полон гудения и грохота, за лесом подымались густые столбы дыма бомбовых разрывов — это наши пикировщики обрабатывали немецкие огневые позиции. Со свистом и подвыванием летели в сторону немцев наши снаряды.

Касимов легко разбирался в сложном хаосе звуков.

— Так, так,— говорил он,— хорошо, правильно, еще, вот-вот.

Обернувшись к нам, он объяснил:

— Это Иван Илларионович, слышите? А вот это мои полковые, Петенька мой старается.

Иван Илларионович был командиром тяжелого артиллерийского полка, с которым меня познакомил Касимов на вчерашнем пиру. Вдруг наступила тишина. То не была естественная тишина отдохавшей природы, то была тишина, выражавшая высшее боевое напряжение, высшую точку боя.

— Слышите,— сказал Касимов,— слышите? Пошли! Во, во, идут.

Гудели моторы десятков самоходных пушек, широким веером шедших по полю. Они ползли старательно, упрямо, неловкие и сильные, трудолюбивые, медлительные, основательные, некоторые ползли, не раздумывая, через канавы, другие обходили препятствия и, казалось, сердито, недоверчиво фыркали:

И поле, до того казавшееся пустынным, вдруг ожило, зашевелилось, десятки маленьких серых фигурок пошли, побежали следом за самоходками.

— Вот она, пехота, красавица, вот она, умница,— сказал Касимов и обернул к нам свое счастливое лицо.

Испуганно, словно спохватившись, заскрежетали немецкие пулеметы, но звук их гас в грохоте самоходных орудий.

Телефонист протянул Касимову трубку.

— Балашов, слушаю, слушаю. Я, я. Так. Молодец, Балашов, иди, не оглядывайся, Ефимов идет следом.

Он подошел к снарядному ящику, служившему ему столом, и сделал пометку на карте. Потом, опершись руками на лист карты, наполовину высунувшись из окопа, он глядел вперед. Я посмотрел на его смуглые, порозовевшие от волнения щеки, на его блестящие глаза, потом на большие, загорелые крестьянские руки, лежавшие на светлом листе карты, и мне вдруг вспомнился рассказ Касимова о его детстве. Рассказ о том, как мальчишкой его повезли на праздник в город, как мать его, положив загорелые руки на белую скатерть, пела молодым, сильным голосом и как, охваченный душевным волнением, заплакал старик, отбывший за народ двенадцать лет царской каторги, — старик, которому сам Владимир Ильич написал письмо.

ДОРОГА НА БЕРЛИН

(Путевые письма)

МОСКВА—ВАРШАВА

I

Велик путь, двенадцать сотен километров, отделяющий Москву от Варшавы. Гигантская асфальтовая лента Варшавского шоссе, то припорошенная снегом, то отлакированная гололедицей, то каменно-серая, легла среди окованных морозом полей, пустошей, болот и лесов. Холодный дым поземки стелется над землей и оледеневшими водами, обожженными январской стужей. Поземка дует то вдоль шоссе, то поперек его, и каменный путь наш становится невидим в струящемся сером и быстром дыму. Леса то расступаются широко, то смыкаются плотно, и кажется, наш крошечный, крытый фанерой «виллис» не продерется сквозь узкую прямую щель, прорубленную к горизонту среди нахмуренных сосен, надевших белые снежные козухи на широкие зеленые плечи. Дубы, осины и липы похожи на черные безобразные скелеты, а березы и придорожные ивы так прекрасны, что даже напряженно следящий за коварной зимней дорогой шофер восхищенно смотрит на бледно-серое нежное кружево тонких ветвей.

Чтобы зарядиться бензином, мы сворачиваем с шоссе на Калугу, оттуда, через Тихонову Пустынь, Полотняный Завод, вновь выезжаем у Медыни на «Варшавку». Мы едем через развалины Медыни, Юхнова, Рославля. Кто посмеет назвать безобразными эти развалины? Они — наша память о суровом мужестве бойцов 1941 года. Калужский старичок, рассудительный и склонный к философствованию, как все сторожа, закрывая ворота заправочного пункта за нашей машиной, сказал на прощание:

— Вот едете к Варшаве, там война теперь, а было такое зимнее время — я выпускал из бочек бензин в канавы перед приходом немцев в Калугу. Пройдет лет десять, мальчишки будут в школе учиться и меня спрашивать: «Дедка, а это верно, что немец в Калуге был?»

Но следы великой битвы 1941 года, сожженные немцами мирные дома и сожженные красноармейцами немецкие танки видны не только в Калуге,— они и на Полотняном Заводе, и в Малоярославце, и даже недалеко от Подольска. Эти следы всюду — в пепелищах деревень, в истерзанных снарядами стволах вековых деревьев, в засыпанных снегом старых окопах, землянках, в прищуренных щелях полуразрушенных дзотов. Сквозь эти щели смотрели стальные дула станковых пулеметов и живые глаза бойцов сурового 1941 года. След великой битвы за Москву в сердце народа. Эти названия — Малоярославец, Калуга, Полотняный Завод, Юхнов и Медынь,— связанные с жестокими, кровавыми боями, с борьбой за свободу и жизнь России и Москвы, навечно будут сохранены в истории страны и в памяти народа.

Кто посмеет назвать безобразными эти развалины? Они величественный фундамент нашей сегодняшней победы. Здесь любимцы славы, Жуков и Рокоссовский, ныне ведущие свои армии в пределы Германии, обороняли Москву. Путь до Вислы, двенадцать сотен километров, кажется не только пространственно большим,— это путь огромного труда, терпения, великого народного подвига, путь, обгаренный кровью и потом, путь, проложенный миллионами рабочих рук, создававших для армии танки и пушки, минометы и снаряды в бессонном труде голодного и холодного сорок первого года. Каждый шаг этого пути завоеван, достался не даром, каждый метр его измерен трудом и подвигом. Миллион двести тысяч таких метров, полтора миллиона таких шагов — вот огромность необъятного шоссе, идущего от Москвы до Варшавы!

А машина мчится все дальше и дальше, мелькают километровые столбы, бьет ветер, стараясь сорвать фанерные стены и брезентовый верх, защищающие нас от стужи. В машине стоит легкая снеговая пыль, ее вдувает через щели, и холодные пылинки тают на щеках и на лбу. Уж надвигаются легкие сумерки; нарядная, позимнему одетая лисица перебегает дорогу, бежит среди кочек, метет богатым хвостом. Пока наш водитель, старшина Иван Пенин, который некогда, в сентябре 1942 года, привезший меня к Сталинграду, успевает затормозить, лисица отбежала метров на сто. Мы стреляем по ней из пистолетов, она даже не поглядела в нашу сторону, не ускорила своего хитрого и неверного мелкого ша-

га. Мы садимся, довольные, в машину: поохотились на лису! И охота заняла немного времени: не больше минуты. А когда сумерки сгустились, и в желтом свете фар обледеневшая дорога кажется медной, золотистой, заяц, выскочивший на шоссе, потрясенный и ослепленный мчащимся к нему светящимся чудом, запетлял, замер белым комочком.

Утром мы уже в Белоруссии, проезжаем Кричев, Пропойск и Довск, въезжаем на густо, обсаженный высокими деревьями участок шоссе, ведущий к Рогачеву. Здесь полгода тому назад через смертную, широкую пойму молодого Днепра пошли в наступление наши полки освобождать Белоруссию. Здесь 19 июня 1944 года, в 4 часа, в рассветные сумерки, облачное небо осветилось быстрым огнем тысяч орудий, земля задрожала от залпов артиллерийских полков и дивизий, прогнулась от тяжести двинувшихся в атаку танков. Все дальше мчится машина, все ближе Бобруйск. По обе стороны шоссе ржавеют остатки тысяч немецких машин, танков, растерянно глядят на все четыре стороны пятнистые дула немецких тяжелых орудий, зенитных и противотанковых пушек. Тут кипел котел окружения, в который попала вторично созданная 9-я немецкая армия фельдмаршала фон Бока, та 9-я армия, которую, уничтожая, гнали войска Рокоссовского от Курской дуги до границ Белоруссии, та в третий раз созданная 9-я армия, которую ныне вновь сокрушили, пронзили, рассекли на Висле войска маршала Жукова и истребляют в своем стремительном движении к восточной границе Германии. Поистине, Красная Армия заставит по-новому рассказывать древний миф о птице феникс, возникающей из пепла: феникс германской армии не возникает из пепла, а обращается в пепел!

Мы проносимся через вытянутый вдоль шоссе Слуцк, полуразрушенную Картуз-Березу — места, где стремительно наступали наши войска прошлой осенью. Здесь видим мы на обочинах дорог зеленые тела наших танкеток. Это следы вероломного ночного удара, нанесенного 22 июня 1941 года по Советской стране немцами со стороны Бреста... Тяжко, полной мерой заплатят нам в этом году немцы за тот разбойничий подлый удар! Проклянут они тот день и тот час, когда перешли без объявления войны советскую границу. Пусть гибнет от меча возмездия тот, кто первым обнаружил меч несправедливой, разбойничьей войны.

Перед вечером небо на западе вдруг очистилось от туч, и удивительной красоты красно-золотистое сияние осветило землю. Мы въехали в лес, и светящиеся полосы заката, мелькавшие меж ветвей, казались огромными крыльями самолетов, плавно и мощно стремящихся на запад.

Сердце забилось радостно, точно это яркое сияние среди темных зимних туч вещало победу.

Ночью в Кобрине мы узнали о том, что взята Варшава. Еще до света выехали мы вновь. Весть о взятии Варшавы уже распространилась по польским городам Бяла-Подляска, Мендзыжец. В Седлеце толпы людей шли на митинг, поблескивали трубы музыкантов, шагали солдаты польской армии. Мы выехали на последний участок нашей дороги, ведущей от Седлеца к Варшаве. Это была обычная своим напряженным оживлением фронтовая дорога, и в то же время в ней было нечто особое, радостное,— мы слышали в гудках машин, в реве моторов, лязге гусениц, видели в лицах и глазах едущих и идущих к Варшаве особое, торжественное, счастливое возбуждение.

Замедлив ход, мы проехали по многолюдным улицам маленького городка Минска-Мазовецкого.

Вот и Прага, варшавское Замоскворечье.

Здесь увидели мы подлинное народное торжество — бело-красные знамена красиво колыхались в воздухе, балконы зданий были украшены коврами, знамена украшали не только жилые дома, но и мертвые развалины, оповещая, что люди, некогда жившие здесь, тоже участвуют в общем торжестве. Жители Праги праздновали освобождение Варшавы вдвойне,— они разделяли радость всей Польши, они радовались тому, что смерть, подстерегавшая их в течение многих месяцев во время обстрелов немецкими пушками и минометами, побеждена. Тысячные толпы стояли вдоль набережных, жадно смотрели на освобожденный город.

Наш крытый фанерой маленький «виллис» подъехал к взорванному мосту, пофыркал и остановился. Надо думать, что впервые за очень и очень долгие годы это была первая машина, приехавшая по старинному шоссе из Москвы в Варшаву. Мы сошли на лед. Вдоль смятого, перекрученного взрывом стального кружева подорванного моста подошли мы к высокому каменному быку на западном берегу Вислы, взобрались по колеблющейся многометровой пожарной лестнице и сошли на набе-

режную. Часовой, пожилой красноармеец, стоя у маленького костра, разложенного на набережной, добродушно сказал стоявшему рядом автоматчику: «Вот, брат, какой сухарик у меня хороший в кармане нашелся, сейчас мы с тобой пожжем его». Это были первые слова, услышанные мной в Варшаве. И я подумал, что человек в серой помятой шинели, с суровым добрым лицом, закаленным морозом и ветрами, был одним из тех, кто, отстояв в страшный год Москву, прошли двенадцать сотен верст в великой страде освободительной войны. И весь пеший боевой путь его, сквозь огонь, смерть, вьюги, морозы, ливни, вновь на миг встал перед моими глазами.

II

Величественно, печально, можно сказать трагично, выглядела освобожденная Варшава в тот час, когда мы пришли в нее. Германский демон бессмысленного разрушения и зла вволю проявил себя за пять с лишним лет владычества над столицей Польши. Кажется, огромное, сорвавшееся с цепи чудовище колотило чугунными кулаками по многоэтажным домам, валило стены, выбивало двери и окна, рушило памятники, скручивало в петли стальные балки и рельсы, жгло все, что поддается огню, терзало железными когтями асфальт мостовых, камни тротуаров. Груды кирпича заполняют улицы огромного города. Сеть прихотливо петляющих тропинок, какие прокладывают охотники в дремучих лесах и в горах, легла через широкие площади и прямые улицы центральных районов. Люди, возвращающиеся в Варшаву, карабкаются через груды кирпича; лишь на некоторых улицах, Маршалковской, Краковском предместьи и других, могут двигаться машины и подводы. Сравнительно благополучней глядит юго-восточная часть города, район Бельведерского дворца и парка. Тут уцелели некоторые здания, их сравнительно легко восстановить, вернуть к жизни.

Всегда, когдаходишь в разрушенный город, в глаза бросаются лишь зримые следы немецкой палаческой работы захватчиков. Так и в мертвой, разрушенной, сожженной Варшаве прежде всего мысль обращается к тому, что видят сегодня, сейчас человеческие глаза: к тысячам, десяткам тысяч разрушенных зданий, к высоким стенам, черным от дыма пожаров, поваленным ко-

лоннам, разрушенным костелам, театрам, заводам, дворцам, к зияющим провалам крыш, к обрушенным лестничным клеткам, к пустым глазницам окон, к страшной, зримой глазом пустыне, где иногда на много кварталов не встретишь человека. Быть может, ночью здесь, на варшавских улицах, бродят в поисках пищи волки и лисы, прокладывает петлистый след заяц, те звери, которых мы встречали в белорусских лесах? Но ведь не только на зримую нами погибшую красоту Варшавы поднял руку германский палач! Ведь не только камень, изваянный человеком, подвергся разрушению!

Тут происходила трагедия во сто крат, в тысячу крат страшней той, следы которой зримы нами. Здесь подверглась казни и уничтожению ценность, большая, чем самые прекрасные дворцы и храмы мира, высшая ценность на этой земле — жизнь человека!

Ведь из каждого, ныне мертвого, окна этих десятков тысяч убитых домов глядели живые глаза детей, живые глаза девушек, их матерей, дедов, бабок. Ныне мертвы эти глаза. Ведь по мертвым ныне улицам шли десятки и сотни тысяч людей — профессоров, учителей, слесарей, артистов, механиков, бухгалтеров, врачей, часовщиков, архитекторов, оптиков, врачей, инженеров, ткачей, пекарей, каменщиков. Многие из них никогда уже не вернутся в свободную Варшаву — они убиты немцами. Десятки тысяч талантливых, честных, смелых, работающих людей, созидателей жизни, борцов за свободу погибли, казнены смертью. Еще и сейчас в подвалах разрушенных домов лежат заоченевшие от мороза трупы убитых немцами участников трагического, заранее обреченного восстания. После этого восстания немцы изгнали из города всех жителей, они разорвали в клочья колоссальную в своей сложности и многообразии ткань жизни, сотканную полуторамиллионным населением Варшавы. Люди сотен и тысяч сложнейших и драгоценнейших профессий были рассеяны по местечкам, деревням, лесным хуторам. Сердце Польши остановилось! Но сила жизни сильнее смерти. Медленно, несмело вливается жизнь в Варшаву.

Я гляжу на эти первые сотни людей — разведчиков жизни и труда, — на странные фигуры, повязанные шальями и платками, и стараюсь угадать их профессии. Вот этот, в барской шубе, с холеной золотистой бородой, в очках с телескопическими стеклами, сидящий на груде чемоданов в крестьянской телеге, быть может, известный

врач, а быть может, профессор университета. Этот пешеход, легко несущий на широких плечах огромный узел,— каменщик. Этот, в берете, с изможденным лицом, едущий по узенькой тропинке на велосипеде, с подвязанным к багажнику тучком,— быть может, часовой мастер. Вот идет вереница пожилых и молодых людей в шляпах, беретах, в шубах, плащах, осенних пальто и толкают перед собой кремового и голубого цвета детские колясочки на толстых шинах, груженные узлами, саквояжами, чемоданчиками, портплекдами. Вот, дуя на замерзшие пальцы, глядя печальными глазами на развалины, идут девушки, молодые женщины. Их тонкие фигурки, стройные ножки обезображены толстыми платками, большими мужскими ботами, толстыми гетрами. Их уже сотни, их тысячи, этих людей, одновременно сурово и радостно, печально и весело глядящих на свой родной город. Они, эти люди,— дыхание, кровь, мозг Варшавы.

Мы перебираемся в северо-западную часть города. Вот варшавское гетто. Стена, сложенная из красного кирпича, высотой в 3—3½ метра окружает десятки кварталов, входивших в гетто. Толщина стены около 40—50 сантиметров, в нее вмазаны осколки стекол, она вся увита ржавой колючей проволокой. Эта стена, да мрачное здание Гмины-Юденрата, да два костела — единственное, что оставили немцы в гетто. Здесь нет даже скелетов зданий, которые стоят вдоль варшавских улиц. Сплошное, волнистое красное море битого кирпича, окруженное кирпичной стеной,— все, что осталось от многих десятков кварталов, улиц, переулков. В этом каменном море редко увидишь целый кирпич — все раздроблено в мелкую щебенку. О высоте стоявших здесь зданий можно судить лишь по впадинам и холмам кирпичного моря. В глубине его похоронены многие тысячи людей, которых немцы взорвали в тайных убежищах — бункерах. Пятьсот тысяч евреев согнали немцы в варшавское гетто к началу 1942 года. Почти все они погибли на фабриках смерти, в Треблинке и на Майданеке. Лишь единицы из пятисот тысяч человек чудом вышли живыми из-за красной кирпичной стены. В апреле 1943 года, когда в гетто осталось в живых около 50 тысяч человек, вспыхнуло восстание обреченных. Сорок дней и ночей длился страшный бой между плохо вооруженными повстанцами и эсэсовскими полками. Немцы ввели в бой танковую дивизию и бомбардировочную авиацию. Повстанцы — мужчины, женщины, дети,— не сдаваясь,

дрались до последнего вздоха. О потрясающем эпосе этой битвы повествует сегодня застывшее мертвое море кирпича. Пусто в гетто; сюда никто не возвращается, сюда не идут потоки людей. Все, кто вывезены отсюда, мертвы, сожжены, и холодный пепел их рассеян по полям и дорогам. Лишь четырех человек встретили мы здесь. Один из них, с лицом живого мертвеца, уносил на память в детской плетеной корзиночке горсть пепла, оставшегося от сожженных гестаповцами во дворе Гмины убитых повстанцев.

Мы побывали в бункере — тайнике, где в течение долгих месяцев скрывались шесть поляков и четверо евреев. Самая необузданная фантазия не в силах нарисовать эту каменную тайную нору, устроенную на четвертом этаже разрушенного дома. В нее нужно пробираться то по отвесным стенам проваленной лестничной клетки, то бежать над пропастью по рельсе межэтажного перекрытия, то протискиваться в узкую черную дыру, пробитую в темной кладовке.

Впереди нас шла обитательница бункера, польская девушка, смело и спокойно шагавшая над пропастью. И надо сознаться, после трех с половиной лет войны — во время этого путешествия у меня то замирало сердце, то пот выступал на лбу, то темнело в глазах. А ведь «бункеровцы» во время немецкого владычества проделывали это путешествие не днем, а лишь в полном мраке, темными, безлунными ночами.

И вот мы снова на улице. Уже не сотни, а тысячи, десятки тысяч людей идут в город с востока и с запада, с севера и юга. Ученые и ремесленники, архитекторы и врачи, рабочие и артисты возвращаются из снежных полей в столицу Польши. Они, эти люди, — дыхание и кровь Варшавы. В тяжком, но радостном и свободном труде вновь восстановят, выткут они сложную, колоссально многообразную ткань жизни польской столицы.

Таков закон бытия: созидательный труд торжествует над демоном разрушения, жизнь побеждает смерть, добро сильнее зла. Освобожденная Варшава встанет из пепла.

...На утро крытая фанерой коробочка, привезшая нас в Варшаву, пофыркивая, выкатила на шоссе и побежала в сторону Лодзи, Кутно — все дальше на запад, по пути великой армии, следом которой мы ехали от Москвы.

*20 января 1945 г.
Белорусский фронт*

НА РУБЕЖЕ ВОЙНЫ И МИРА

1

Казалось, после железных военных лет природа разучилась улыбаться,— так сурова была весна. Мы выехали из Москвы в последнюю фронттовую поездку 20 апреля, и почти всю дорогу — до самой Варшавы — накрапывал мелкий осенний дождь. По-ноябрьски холодный ветер трепал стебли бурой травы, гнал по небу облака. По обе стороны шоссе горела прошлогодняя трава. Тянущиеся на многие километры ленты огня, медленно вясь, ползли полянами, выползали на холмы,— то люди выжигали на заброшенных полях бурьян и сорняки, готовили бедную, истерзанную землю к посеву ржи, пшеницы, ячменя. Многокилометровые огневые змеи формой своей и движением делали видимым и осязаемым ветер, трудолюбиво гнавший огонь по пустынным полям. Там, где ветер был особенно силен, в продуваемых сквозняком долинах и на склонах холмов, огонь бежал быстро, белым клином выдавался вперед, а в котловинах ветру не хватало простора, фронт огня загибался, и красные язычки его вместе с дымом отвесно поднимались к небу. Часто прорывался мелкий дождь, едкий дым смешивался с водяной пылью, и, казалось, нет суровей, печальней картины. Огромное пространство тонуло в дыму и тумане, мутно светился в этом тумане ползучий, упрямый, не гаснущий от мелкого дождя огонь, чернела обгоревшая земля, вся в угольных комьях спекшейся травы и бурьяна. Но удивительно, эта пустынная земля рождала в душе не печаль и не тоску, не мысль о запустении и смерти. Три великие стихии — огня, воды, земли,— встретившись в эту последнюю весну войны, торжественно напоминали о древних космогониях первых греческих мудрецов, Фалеса и Анаксимандра,— мир рождался из воды, огня и земли. Сурова и торжественна картина тяжкого и мед-

ленного рождения мира из основных элементов бытия. То была последняя весна войны, но то была первая весна мира. Сотворение мира! Среди этой суровой и торжественной, одновременно радостной и мрачной картины я впервые понял, почему столь щедрый язык наш отпустил лишь одно короткое слово — мир — для обозначения великих жизнетворящих понятий.

На месте, где стояла сожженная немцами деревня, остались лишь невысокие холмики рассыпавшегося самодельного кирпича, заброшенный колодец да несколько ржавых железин. Неподалеку, в лощинке, поднимались дымки, тут жили в нарытых во время боев красноармейских блиндажах погорельцы — жители села. Седая женщина с морщинистым худым лицом, мать убитых на войне сыновей, поила нас водой из консервной банки и, глядя на меня прекрасными, промытыми долгой слезой глазами, сказала печально и протяжно:

— Воскреснем ли? — И, покачав головой, указала на пепелище.

А дальше вдоль всех огромных дорог — той, что шла к Неве, к Волге, той, что шла к Волхову и к Тереку, к высоким Карельским лесам, к степям и к горам Кавказа, вдоль украинских и белорусских дорог, где отступали среди пыли наши армии в первый год войны, высятся холмы и холмики, курганы братских могил, солдатских могил. Смыты дождями и снегом, обесцвечены солнцем карандашные надписи на фанерных дощечках... Спят вечным сном наши мертвые дети, красноармейцы, сержанты, лейтенанты, наши хорошие мальчики, спят братья и отцы малых ребят... И вдоль дорог, которые слились в огромную реку нашего наступления, устремившуюся к Берлину и Кенигсбергу, Праге и Будапешту, Вене и Белграду, вдоль великой дороги русской славы, дороги могучего торжества Советского государства и советских народов, все курганы, холмы да холмики, могилы наших убитых сыновей, на покосившихся палочках — фанерные дощечки со смытыми надписями. То дождь, плача над могилами, смыл солдатские имена, объединив их всех единым именем павшего сына.

Они, уснувшие навечно у дорог, на холмах, на опушках лесов, среди деревенских пепелищ, среди полей, под обрывистыми берегами рек, среди зеленой болотной травы, — они миротворцы и сотворители мира; на пустынных сегодня полях, спасенных их кровью, посеет завтра народ ячмень и пшеницу. Отдавшие жизнь за свободу

своей страны, они вечно живут в делах народа, в его радости и в его скорбях.

В дороге часто приходится говорить с прохожими и проезжими людьми, и, как всегда в пути, прохожий человек, оторвавшись от суеты каждодневных забот, любит пофилософствовать, поговорить о делах государственных, общих, высказать свой взгляд на большие события. Близ польской границы произошла поломка машины, и мы вынуждены были долгие часы простоять в поле. Пока чинилась машина, зашел я на хутор. День был воскресный, хозяйка с детьми ушла в церковь, дома оставалась лишь бабка да прохожий человек, освобожденный после ранения от службы боец. Пробраться ему было недалеко, как сказал он мне, — в Орловскую область. Мы разговорились. Прохожий, по имени-отчеству Алексей Иванович, человек лет сорока с лишним, был на фронте с первых дней войны, трижды его ранили, воевал он все время в минометных войсках. Шинель его, в черных пятнах, в двух местах изодранная осколками, зимняя шапка, обмотки и тяжелые ботинки — одежда солдата, прибиток, который нес он домой. На хуторе прожил он около двух недель, помог хозяйке посеять, за что получил три пуда ржи. На рассвете должны были его подвезти хозяйскими лошадьми к станции, где он рассчитывал сесть в пустой идущий от фронта эшелон и поближе подобраться к дому. Алексей Иванович был очень доволен тем, что заработал хлеба, он даже повел меня в сени и, улыбаясь, смотрел, как я хлопывал по пузатому плотному мешку.

— Хлеб, хлеб наш насущный, — повторил он несколько раз.

Потом он рассказал о том, как немцы сожгли его родное село, и семья его — жена, дети — живут в землянке.

— Хорошо, что не с пустыми руками иду, — сказал он, — хлеба им с войны привезу, а то, как был после второго ранения в отпуску, посмотрел: плохо живут. Ну, и какая жизнь в земле — темно, сырость, насекомое. Летом оно ничего еще, а зимой трудно даже.

Он посмотрел на свои большие спокойные руки, темно-коричневые, точно налитые благородным трудовым железом, и произнес:

— Ничего, подыдем жизнь, и дом построим, и хлеба покушаем.

И захотелось, чтобы пожилая женщина, накануне спросившая меня «Воскреснем ли?» — услышала его спокойные, уверенные слова, она бы, наверное, поверила ему, когда он сказал: «Ничего, подыдем жизнь», — такому нельзя не поверить.

Потом пришла хозяйка с двумя девочками, бабка вытасила из печи горшок, и все сели обедать. Алексей Иванович ел медленно, аккуратно, далеко неся ложку, полную бараньего супа, и, как воспитанный человек, держал под ней кусок хлеба, чтобы не капнуло на стол либо на пол жирное пятно. Ел он по-простому, но какое-то подлинное изящество было в его неторопливых, спокойных, не жадных движениях. После обеда мы закурили и снова разговорились. Рассказывая о своей жизни, он задумчиво гладил по волосам шестилетнюю девочку хозяйки, охотно и доверчиво подставившую под шершавую ладонь свою русую головку, украшенную голубенькой, надетой к празднику лентой.

— Да,— сказал он и улыбнулся,— мои ребята победней одеты.

Хозяйка, по всему было видно, уважала его. Должно быть, за эти дни, что проработал у нее, помогая засеять поле, шедший из госпиталя красноармеец, проявился он как большой работник, человек честный и рассудительный. Мне даже казалось, что во взоре этой молодой и еще красивой женщины было нечто большее, чем уважение, когда она вдруг поворачивалась в сторону его спокойного, негромкого голоса и поглядывала на худое, строгое, с наметившимися морщинками лицо. Но это уж только казалось мне, конечно.

Я наблюдал его,— он был одет бедно. Он не был здесь хозяином. Ему принадлежал один лишь мешок ржи, стоявший в сенях. И застеленная белым покрывалом кровать, и расписанные голубыми цветами тарелки, гуси и индюки, подошедшие к порогу,— все это не ему принадлежало. Он был путник, шедший в меченной зимними кострами шинельке по дальней дороге в сторону своего орловского дома. И все же, удивительное дело, был он здесь главным лицом, бойцом Красной Армии, в этот день ворвавшейся в немецкую столицу — город Берлин, человек, засеявший на пути чужое поле, шедший домой, где ждали его жена, дети, старики родители. И он был уверен, что, придя домой, справится с тяжестью мирной заботы, как справился с тяжестью

войны. «Ничего, подыдем жизнь, и дом построим», — уверенно сказал он.

Алексей Иванович заговорил со мной о делах государства. Казалось, хватало у него своих забот. Но его не шутя волновали всевозможные и разнообразные вопросы. Стал он говорить об Америке и Англии, о том, как после победы сложится положение в побежденной нами Германии, вспомнил, как ждал он и друзья его по окопной жизни открытия второго фронта, заговорил о тяжести первого года войны, о том, как пойдет жизнь после победы. Все притихли, слушая его, старуха перестала мыть посуду, дети прекратили возню и подошли поближе. Он поглядел на меня и, как бы извиняясь, сказал:

— Мы ведь люди орловские, наша деревня все каменщики, приходилось и в Москве, и в Ленинграде работать. Да и за войну чего не видел, о чем только не думал!

Пришел водитель машины и сказал не очень уверенно:

— Вроде можно ехать, до техпомощи дотянем.

Я дал на прощание Алексею Ивановичу несколько папирос, и он так по-детски обрадовался ничтожному этому подарку, так благодарил меня, что невольно подумалось: видно, не часто в своей жизни получал он подарки...

Пришлось мне за эту поездку видеть своими глазами многое такое, что попадет на страницы истории. Был я свидетелем величественных боев за центр Берлина, видел охваченный пламенем и дымом Берлин в ночь капитуляции. Был я свидетелем многих драматических и величественных сцен, побывал я в исторический день 2 мая в рейхстаге, в новой имперской канцелярии, вошел в кабинет Адольфа Гитлера и смотрел на сплюснутый в лепешку, раздавленный рухнувшим потолком гигантский глобус, стоявший у письменного стола честолюбивого злодея, помыслившего завоевать мир. Видел, как на берегу Шпрее наши орудия били прямой наводкой по дому, в котором засели отказавшиеся капитулировать гестаповцы, и в ушах моих сохранился звук последнего берлинского выстрела, а перед глазами и по сей час стоят облака черного дыма и желтой пыли, поднятых над рухнувшими стенами последнего гестаповского убежища. Были у меня беседы и встречи с известными

ми генералами, знаменитыми героями, чьи груди украшены многими наградами.

И вот, удивительное дело, когда пытаюсь я разобраться в ярком, огромном ворохе последних впечатлений войны, почему-то прежде всего и ярче всего вспоминается придорожный хуторок и эта случайная встреча с идущим из госпиталя бойцом, вспоминается его худое лицо, его умная тихая речь, мешок ржи, который он везет в орловскую свою деревню, рассказ о зиме сорок первого года, его шинелька с темными пятнами огня, его рассуждения и мысли о прошлом и будущем, вспоминается поле, которое он по пути к дому засеял.

Но, конечно, нет в этом ничего удивительного, ничего странного,— именно он, и никто иной, так остро, сильно запомнился. Этот случайно встреченный прохожий тем и замечателен, что похож он на тысячи тысяч таких же прошедших войну бойцов, что ясный ум его, любовь к труду, спокойная вера в добро, и судьба его, и чудный подвиг терпения и труда, совершенный им с великой скромностью, подвиг, за который не просит он ни наград, ни почестей,— все это не его личные черты, а черты доброго и сурового трудового народа.

Его кровью, его неистребимой верой, его суровым боевым трудом, его страданием вписаны навечно на скрижали славы великие битвы Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда, Одессы, Курска и Белгорода, Тулы и Орла, битвы за Волгу, за Дон, за Днепр, за Буг и за Вислу, битвы за пять европейских столиц, кровавая битва за Берлин. Что же удивительного, что день и ночь, заслоняя самые яркие и пышные картины последних дней победоносной войны, стоит перед глазами фигура нашего красноармейца, такой, какой навечно запомнили мы его: в продранной осколками шинели, шапке-ушанке, с полупустым заплечным мешочком, с гранатами, заткнутыми за брезентовый пояс. Пожелаем ему от души жизни веселей и полегче, посытней, побогаче. Кто, как не он, заслужил ее! Пониже поклонимся ему все: кто, как не он, заслужил этот поклон!

Мы приехали в Берлин 26 апреля. Над огромным городом стояло огромное, как и сам город, облако черного дыма, воздух сотрясая ударами тысяч орудий: молоты войны ковали победу, канонада соответствовала масштабам битвы. Вечером тяжкое облако дыма засветилось кроваво-черным пламенем, орудийные удары не смолкали, то и дело вспыхивали залпы гвардейских миноме-

тов «катюш», и пронзительный звук, напоминающий свист пара, вырывающегося из гигантского паровоза, заполнял пространство. Был очень душный и теплый вечер. В небе клубились многоэтажные грозовые тучи. К ночи над Берлином разразилась первая весенняя гроза. Хаос облаков освещался пламенем пожаров, светящийся раскаленный дым подымался к грозовым облакам. Раскаты весеннего грома своей могучей октавой легко поглощали грохот орудий, вспышки выстрелов блекли в голубом пламени небесного огня.

Мы шли по аллее парка к штабу, разместившемуся в замке фон Трескова. Хлынул щедрый теплый дождь. В свете белых и голубых вспышек ярко возникали тяжелые мокрые грозди махровой сирени. Огонь освещал заросший пруд, огромные деревья и заблестевшие от дождя нагие фигуры статуй. Дождь вскоре прошел, запахи молодой листвы, цветов, прелого листа, земли, сырости, шедшей от пруда, осилили дымное и сухое дыхание пожарищ. Картина была грозная, величественная и в то же время полная нежной поэзии; не хотелось обрывать удивительного ощущения, возникшего в старом парке, мы невольно сдерживали шаги. Охватить мыслью происходящее казалось невозможным. В эти часы в огромный узел связались сотни и тысячи нитей, сблизилась столетия, воплотились в кровь и плоть, стали осязаемы исторические судьбы огромных государств, судьбы Европы. Битва в Берлине в грозовую весеннюю ночь! Стрелковые дивизии, артиллерийские полки и танковые корпуса Красной Армии штурмуют Люстгартен, рвутся к Унтер ден Линден, к Бранденбургским воротам, к новой имперской канцелярии, где, затаившись в глубоком трехэтажном подвале, сидели над последней картой войны Адольф Гитлер и Геббельс. Два километра отделяли острие карающего меча от величайших злодеев мировой истории. В штабах отдавались приказы: «Огонь по Тиргартену!», «Огонь по Аллее побед!», «Выбросить стрелковые подразделения к берегу Шпрее!»

Свершилось!

Подвигом народа свершалась победа...

II

По парку мы прошли в штаб генерал-полковника Берзарина. Высокие залы замка едва освещались маленькими лампочками, питавшимися от штабного движ-

ка. Смутно выступали из сумрака бронзовые статуи, печально и мелодично заиграли высокие, похожие на белую башню часы. Трогательно звучала нежная и простая мелодия, рожденная старинным скрипящим механизмом, словно из мрака времени седой старик вдруг запел детскую наивную песенку. Я сел в кресло у горящего камина, раскрыл книгу: крупным дрожащим почерком на заглавном листе стояла роспись владельца «фон Тресков».

А штаб жил своей жизнью. Над огромным листом карты, последним листом карты в эту войну, склонился полковник, начальник оперативного отдела. Красные стрелы, обозначавшие движение наших армий, со всех сторон стремились к синему кругу в центральной части Берлина. Этот темный круг был последним плацдармом Гитлера. Силы зла, грозившие захлестнуть мир, разлившиеся от южных до северных морей, от берегов Африки до западного берега Волги, были стиснуты, обложены в центре Берлина. Тело фашистского государства рассекли встретившиеся на Эльбе Красная Армия и дивизия американцев, его ядовитое сердце было сжато железным кольцом советских армий. Пригороды и окраины огромного города уже были в наших руках. Трептов, Иогансталь, Темпельгоф, Нойкельн, Буков, Вайсензее, рабочий Веддинг, бывший некогда красным, Шиандар, Шарлоттенбург, Ванзее, Потсдам с прелестным парком Сан-Суси. Большая часть этих окраин и пригородов сохранилась, дома в них уцелели. Здесь сконцентрировалось население Берлина, значительно более двух миллионов человек, здесь стояли целые дома, цвели в садах тюльпаны и сирень. В руках фашистов осталась центральная часть Берлина, обращенная в пустыню страшным, но справедливым гневом англо-американской авиации. То был суровый и жестокий символ: те, кто хотели предать огню и разрушению весь мир, ныне сами гибли среди пустынных развалин. Сотни и тысячи разрушенных зданий стали последним приютом фашистских полчищ, отрядов эсэсовцев, полицейских полков. Среди фантастических нагромождений кирпича и бетона, среди рваного кружева уцелевших кое-где стен, среди сплетения связанных в узлы стальных балок и рельсов, в сокрушенных и давно покинутых населением кварталах, в хаосе камня и металла разместились в последние дни своей жизни штабы фашистских дивизий и полков.

В подземельях новой имперской канцелярии затаился главный штаб фашистской обороны, демоны мирового зла. Кого защищали они? Германию? — Нет. Обманутая и купленная ими в дни успеха Германия отворачивалась от них в дни поражения и катастрофы. Они защищали себя, они дрались за лишний день жизни. Непревзойденный мастер демагогической пропаганды доктор Геббельс велел измазывать все берлинские стены, заборы, мостовые гигантской надписью: «Berlin bleibt deutsch!» («Берлин останется немецким!»). Фашистская верхушка в роковые для себя часы не посмела обратиться к населению с призывами верности фюреру, с испытанными в годы успеха расистско-нацистскими воззваниями, со своими партийными лозунгами. «Берлин останется немецким!» Дважды два четыре. Никто и не спорит с этим. Командование Красной Армии и командование союзных армий и не собирались опровергать этот бесспорный факт. Конечно, Берлин не будет ни турецким, ни китайским, он останется немецким городом. Ради чего было городить сыр-бор?

Геббельс сообразил в последние часы своей узурпаторской деятельности, что игра проиграна вчистую, что Берлин никогда во веки веков уже не будет нацистским, и пытался объединиться с арифметическими истинами, раствориться в них, спрятаться за спину бесспорных и общих идей.

А штаб, размещившийся в высоких полутемных залах замка, продолжал свою работу. То и дело звонил полевой телефон, постукивая сапогами, входили связанные, дежурные целомудренно курили в рукав, майор негромко договаривался с другим майором пойти ужинать. В некоторых комнатах укладывали штабное имущество: наутро предстоял переезд в один из близких к центру районов Берлина. Дощатые ящики, столы, закапанные чернилами и стеарином, самодельные табуреты, облезшие старые пишущие машинки, проделавшие тысячекилометровый путь, изведавшие жизнь в сырых блиндажах, бревенчатых и мазаных хатах, делившие всю горечь и тревогу войны с офицерами штаба, собирались переехать из одного берлинского замка в другой. Никому, естественно, не приходило в голову обменять эту убогую утварь на новую, лучшую, — то было священное имущество, с ним были связаны тяжкие времена войны, с ним будет связана пора побед и торжества.

Наступление продолжалось ночью. Вновь и вновь поскрипывали, трещали похожие на белую башню часы и звучала наивная песенка. Грузный, с седой, стриженной ежиком головой, Берзарин, выглядевший куда старше своих сорока лет, сидел за телефонами над планом города. Из районов Иогансталь и Темпельгоф рвались к центру гвардейцы Чуйкова и танковые корпуса Катюкова, с севера врубался в центр Берлина генерал-полковник Кузнецов и танкисты генерала Богданова. Пять генерал-полковников, напрягши всю свою волю, стремились корпуса и дивизии к Тиргартену, к рейхстагу, к новой имперской канцелярии, к пятиэтажным бетонным бастионам центрального пульта противовоздушной обороны Берлина. С юга и юго-запада вырвались стремительные танковые корпуса генералов Рыбалко и Лелюшенко. Цвет Красной Армии, люди, закаленные в битвах Сталинграда, Курска, Днепра, Буга, Вислы, сокрушая противника, ревниво и напряженно следили друг за другом, донося маршалу о своих делах. Шло великое соревнование за честь первыми вырваться к центру Берлина. Великолепным азартом этого соревнования были охвачены войска — от генералов до рядовых бойцов. И видно было, как скучнели лица начальников, когда по телефону доносили, что сосед вырвался вперед, обогнал на пятьсот — восемьсот метров.

— Может быть, врет? — спрашивали с усмешкой. — Говорят, сосед любит приврать.

Берлинское сражение — одно из величайших и самых жестоких сражений этой войны. В нем участвовали огромные воинские массы и колоссальные силы техники. Битва за Берлин решалась прежде всего далеко за пределами города, — на Одере, на Кюстринском плацдарме, на зловещих Зееловских высотах; эта битва решалась великолепными обходными маневрами, захлестнувшими окончательно и бесповоротно многочисленные дивизии пресловутой 9-й немецкой армии. Эта битва решалась стремительными ударами огромных танковых масс во фланг и тыл берлинской обороны. Последний этап битвы, развернувшийся в самом Берлине, характерен необычайным кровопролитным ожесточением. Часто в период затишья, предшествовавший последней битве, приходилось слышать разговор фронтовиков о том, что горько погибнуть в последние дни и часы войны людям, прошедшим через годы железа, крови и смерти. Но именно эти люди, ветераны Отечественной войны, щедро

пролили свою кровь в последних боях, и никто из них не помыслил быть осторожней, уступить свое передовое место. И немало прекрасных товарищей, чьими славными делами мы восхищались на всем огромном пути от Сталинграда до Берлина, погибли среди развалин фашистской столицы.

С каждым метром, приближавшим наши войска к центру Берлина, нарастало напряжение сражения. Полнокровная сила Красной Армии сотрясала весь город, сражение шло под землей, в туннелях метро, на земле среди развалин, в воздухе. Надо думать, Гитлер и Геббельс, доказывавшие немцам, что обескровленная и обессиленная Красная Армия давно не в состоянии наступать, сидя в глубоком подземелье, сотрясаемом богатырскими ударами нашей артиллерии, воочию убедились, что ложь, верховными жрецами коей были они,— ничтожное и пустое средство в большой войне и большой политике и что чем наглее и преступнее ложь и демагогия, тем беспощаднее историческая расплата за них.

Утро капитуляции Берлина!

Пасмурно, холодно, моросит дождь. В тяжелом, черном дыму, стелющемся меж домами, выстраиваются бесконечные, не имеющие конца и начала, колонны капитулировавших войск. Пожары, точно факелы, освещают последний парад обезоруженных немецких дивизий, медленно движущихся среди развалин. Одни идут, сгорбившись, опустив головы, другие жадно и напряженно смотрят по сторонам, вглядываются в нагромождения сокрушенных домов. Многие из тех, что шли в этот день безоружными среди развалин побежденного Берлина, собирались в октябрьский день 1941 года промчаться на автомобиле по улицам пылающей покоренной Москвы, сфотографироваться на Красной площади, у сокрушенной Кремлевской стены, на фоне разрушенного Мавзолея Ленина, оглядеть небо, черное от дыма, красное от пламени горящего Кремля. Может быть, об этих своих мыслях вспоминают они сегодня, в день жесточайшего своего поражения, в день величайшего нашего торжества? Они идут, идут, нет им конца: дивизии солдат, полицейские батальоны, полки фольксштурма, седые старики и подростки. Они выходят из домов, из-за баррикад, толпами подымаются из туннелей метро, все растут горы сложенного ими оружия, тихо звякают, падая на землю, винтовки, автоматы, штыки, кортики, пи-

столеты, растут горы невзорвавшихся гранат, глядят в дымное небо дула пораженных немотой зенитных и полевых орудий, широкие пасти тяжелых минометов и пушек.

На некоторых улицах из уцелевших домов вышли тысячи жителей, они стоят плотными шпалерами на тротуарах и молча, напряженно смотрят на бесконечный поток батальонов, полков, дивизий, корпусов, уходящий из Берлина. А сложившие оружие немецкие солдаты идут и тоже молчат и тоже напряженно смотрят в лица стоящих женщин, мужчин, старух, детей.

Умолкли орудия. Тишина. В небе пусто, не гудят самолеты. Молчание. Черный дым клубится над городом. Молчание, тишина. Лица стоящих, лица идущих напряжены, сосредоточены. В этот день катастрофы фашизма, капитуляции огромной армии, оборонявшей Берлин, в день, когда замерли тысячи типографских машин, печатавших коричневые газеты, когда замолкли радиопередатчики, круглосуточно передававшие речи, приказы, статьи руководителей германского фашизма, и над Берлином вдруг воцарилась тишина,— германские войска и германское население невольно оглянулись на двенадцатилетний путь, пройденный Германией под черными знаменами фашизма. Пусть долго длится это молчание, пусть долго не сходит выражение напряженной, тяжелой мысли с этих десятков и сотен тысяч лиц, пусть погуще соберутся морщины на лбах тех, что идут, и тех, что смотрят на идущих. Им есть о чем подумать.

Что думали эти трагически молчащие сегодня толпы, этот молчащий сегодня народ, в тот всем памятный день 1933 года, когда избранный волей многомиллионного большинства Адольф Гитлер стал канцлером «Третьей империи»? Сколько тысяч людей из стоящих сегодня среди разрушенных улиц павшего Берлина сказали в тот знаменательный день мюнхенскому коричневому волку «да!». Молчали ли так же, как они молчат сегодня, эти стотысячные толпы, в те дни, когда коричневый вождь Германии, проезжая на украшенном цветами автомобиле, объявлял населению столицы о падении Варшавы и Осло, Амстердама и Брюсселя, Белграда и Парижа, о начале последнего штурма Москвы? Сегодня немецкий народ молчит, хмуро и растерянно оглядывается, думает. Пусть же долго длится это молчание, пусть не сходит выражение напряженной мысли с сотен тысяч, миллионов лиц.

Многие ли из этой несметной толпы поднимали голос протеста в ту пору, когда имперские радиостанции, захлебываясь, сообщали о тотальном разрушении Ковентри, о первых бомбардировках Лондона? И кто из тех, кто молчит сегодня, произнесли слова протеста, когда Гитлер приступил к планомерному обращению в рабство славянских народов? И, наконец, многие ли из них осудили, пусть даже в сердце своем, коричневую свору, совершавшую беспримерное в истории людского рода убийство шести миллионов евреев,— грудных детей, беззащитных женщин, стариков и старух? Да, многие из тех, что сегодня искренне, от всей души произносили слова проклятия коричневым главарям, умывши руки, молчали, когда возопили камни, многие кричали «хох», когда мир онемел перед картиной чудовищных преступлений гитлеризма.

В этот дождливый, пасмурный день, черный день Германии, я говорил со многими немцами.

С ужасом и отчаянием смотрели они вокруг себя, точно проснувшись, словно впервые увидев тысячи разрушенных зданий, разбитые бомбами памятники, музеи, кайзеровские дворцы, сокрушенный тяжелой американской бомбой Берлинский собор, точно впервые поняв бессмысленность и безвозвратность понесенных ими потерь. Да, скажем прямо,— нелегко было этим людям смотреть на плененную армию, на столицу, обращенную в развалины, на советское знамя, поднятое в дыму и в огне над рейхстагом, на тысячи советских орудий и танков, с грохотом движущихся по Унтер ден Линден, по Аллее побед, по Тиргартену, мимо обелиска, увенчанного золотой фигурой Победы. Формула «Гитлер капут» сменилась новой: «аллес капут». Я глубоко убежден, что подавляющее большинство немцев лишь в этот день до конца осознало полную бессмысленность понесенных лишений, потерь, разрушений, смертей. И до этого дня немцы знали размеры понесенных жертв, но этот день был днем смерти надежды, днем, когда стало ясно: жертвы понесены бессмысленно и безнадежно.

На последнем этапе войны Гитлер часто напоминал, что жертвы и разрушения огромны, и лишь побежденный, обращенный в рабство мир сможет каторжным трудом вернуть и восстановить то, что сожрала война... То была последняя надежда. Так катящийся в бездну игрок все увеличивает ставки, пытаясь вернуть безвозвратно потерянное.

Я глубоко убежден, что тысячи немцев, кричавших некогда «Хайль Гитлер», побили бы фюрера камнями, задушили бы его, пояись он в это туманное, холодное утро среди развалин ставшего на колени Берлина. Тысячи немцев ненавидели его в этот день, в этом нет сомнения. Но многие ли среди молчаливой толпы, с отчаянием и горем глядевшей на Берлин, разрушенный, подобно Бастилии, во имя свободы и чести оборонявшегося человечества,— многие ли из этой толпы, подводя в день 2 мая окончательный итог ужасной войны, думали о других ранах, во сто крат ужасней, о тысячах сожженных белорусских, украинских, русских деревень, о десятках и сотнях снесенных с лица земли советских городов? Думали ли они, подводя итог войны, о Майданеке, Треблинке, Освенциме, Бельжице, Собибуре, о бесчисленных и безыменных оврагах, карьерах, каменоломнях, о страшных прямоугольных ямах, о лесных рвах, где в навал, утрамбованные, лежат миллионы трупов евреев, женщин, детей и стариков, убитых во имя преступной идеи расового господства?

Не знаю, думали ли об этом немцы 2 мая 1945 года.

Но об этом думали мы. Есть репарации более важные и значительные, чем материальные возмещения: репарации моральные. Немецкий народ должен осознать, измерить безмерную глубину моря крови и слез, которыми был затоплен мир в годы войны. Он должен подумать не только о своих, но и о чужих страданиях.

Немецкий народ должен на веки веков, пока над землей светит солнце, разрубить цепь, связывающую любовь немца к своей родине с человеконенавистнической, преступной государственностью. Мы поможем немецкому народу порвать эту цепь. Кое-что за последние годы мы уже сделали в этом направлении. Великий советский народ чужд идеям мщения, гуманная и добрая душа русского народа родила пословицу «кто старое помянет, тому глаз вон», но мудрый народный разум дополнил эту пословицу словами: «а кто старое забывает, тому оба глаза вон». Не думать о прошедшем — это значит не думать о новом, о грядущем. Забыть прошлое — это значит не видеть будущего, ослепнуть на оба глаза.

Чем ближе к центру Берлина, тем трудней пробиться через нагромождение разрушенных зданий. Все проезды, проходы забиты обозами, артиллерией, бесконечными колоннами грузовиков. Тысячи радостно возбужденных советских людей стремились к центру Берлина,

к рейхстагу, к Аллее побед. Сколько мимолетных впечатлений, встреч, тут же, кажется, исчезающих из сознания и внезапно через день-два вновь возникающих в памяти, как долгое и значительное воспоминание. Запомнился мне пустой, казалось, разговор с пожилым, усатым ездовым, с темно-коричневым морщинистым лицом, стоявшим на углу Лейпцигштрассе, около своих малорослых лошадок. Пока регулировщики «расшивали» пробку на перекрестке улиц, мы беседовали. Лицо ездового весело усмеялось, его небольшие, светлые, глубоко сидящие глаза смеялись, ему, видимо, очень хотелось с кем-нибудь побеседовать в этот торжественный для всех день. Он оказался украинцем, жителем одного из сел Винницкой области.

Я спросил его про Берлин. Как он находит этот город?

— От бачите,— сказал он,— вчера таке дило получилось в цим Берлини. Бой иде, ось на цей сами улицы, снаряды немецки так и рвуться. Я стою коло коней и у мэнэ обмотка развязалась, тильки я нагнувся намотать, снаряд як дасть! Кинь злякався тай побиг, от цей, а вин молодой, да дурный трохи. От я и думаю, шо мэни робить: чи ту обмотку наматывать, чи за тым конэм бигты? Ну и побиг, обмотка тягнеться, снаряды так и рвуться, и кинь мий бижить, а я за ным. От тут я побачив, що це есть за Берлин! Два часа биг тильки по одной улице, ей кинця нема! Бижу та думаю — ото Берлин! Берлин, Берлин,— а коня я-таки нагнав!

Мы посмеялись этому происшествию, а ездовой вдруг сказал:

— Я вам ще одно дило хочу сказать. Утром цього дня, як почалы нимцы в плен сдаваться, пришов наш командир полка до обозу, почав пытать ездовых, як кто рапортовать умие, ну, ништо, вси молчать! Подходить до мэнэ, а мэнэ ништо и не учив, и сразу я ему рапортую: «Товарищ подполковник, ездовой красноармеец Хоменко. Кони здоровы, подвода справна, грузу маю: сахару два мешка, муки три мешка, манной крупы мешок». И все. От подполковник каже: «Это молодец, рапортует, как надо, видать, старый солдат»,— и дав мэни щеколаду може с полкило.

Рассказав эту историю, ездовой смутился. У него, как и у всех нас в этот день, была потребность гордиться собой, вот он и рассказал случайному своему собеседнику, как в день капитуляции Берлина заслужил похва-

лу начальника. А смутился он потому, что не в природе нашего простого человека хвастать и, может быть, впервые в жизни похвастался он. Думается мне, ездovому Хюменко, прошедшему в полковом обозе полторы тысячи верст, сквозь осеннюю холодную грязь, сквозь метели и степные морозы, сквозь пыль и адову жару, под жестоким огнем, простится сегодняшнее его бахвальство на углу Лейпцигштрассе.

Но вот пробка «расшита», наша машина медленно движется дальше к рейхстагу. На одном из перекрестков мы вырываемся из общего потока машин и обозов, выезжаем на совершенно пустынную улицу. Курится дым над развалинами домов. Мостовая завалена остатками машин, забита обгоревшими немецкими танками, разбитыми пушками, на тротуарах, на мостовой лежат трупы убитых немецких солдат, — ночью здесь шел бой. Почти у всех убитых в руках оружие: один сжимает винтовку, другой автомат, многие стиснули в руках гранаты. Это те, кто не хотел капитулировать. Кого защищали они? Успели ли они понять перед смертью, что не Германию, не Берлин, не себя и не свои семьи защищали они? Они лежат под стенами, на которых торопливо выведено белой краской «Берлин останется немецким» — последний геббельсовский лозунг. Коричневая свора сокрушена. Берлин останется немецким. За кого же погибли они, эти лежащие с гранатами в руках убитые немецкие солдаты? Но вот мы наконец выезжаем к полуразрушенному зданию новой имперской канцелярии, к величественному зданию рейхстага. Красное советское знамя поднято над полуразрушенным куполом его. Бранденбургские ворота, как массивная рама, обрамляют картину берлинского пожара. Клубы черного, рыжего, серого дыма медленно вздымаются над Унтер ден Линден, красное пламя рвется к небу. Даже ко всему привыкшие, насмотревшиеся всяких пожаров военные люди останавливаются и долго молча смотрят на грозную и величественную картину. Рейхстаг окутан серой полупрозрачной дымкой. Фашисты озаменовали свой приход к власти и свой бесславный уход поджогом здания, над входом в которое написано: «Немецкому народу». Но этот второй пожар потушен нашими бойцами.

В полуразрушенном здании новой имперской канцелярии по тянущемуся на сотни метров вестибюлю катались на велосипедах два молодых красноармейца, надо

сказать, дело у них не очень ладилось, но это их мало огорчало.

Мы осмотрели кабинет Гитлера, из-под слоя упавшей штукатурки виден был раздавленный глобус, стоявший раньше возле письменного стола, на полу валялись книги из личной библиотеки Гитлера с льстивыми дарственными надписями его клеветов и подхалимов из мира германской науки и искусства, письма, адресованные ему, бумаги. И самый кабинет Гитлера, и приемные залы, и кабинеты остальных фашистских руководителей должны были подавлять посетителя огромностью своей. Но что огромные размеры гитлеровского кабинета по сравнению с огромностью преступлений, рожденных в этом проклятом месте! Что слышали эти стены в часы ужасных ночных бесед, когда собирались за этим столом Гитлер и Геббельс, усмехались рассказам Гимmlера о залитой кровью Польше, Белоруссии, Украине, об Освенциме, Треблинке, Майданеке? Как не рухнули эти стены, как не разверзлась, содрогнувшись, земля под фундаментом этой новой адской канцелярии? Да будут благословенны руки, разрушившие этот дом.

В рейхстаге шла «деловая» жизнь, в вестибюле, на каменных плитах бойцы Красной Армии, с лицами, еще не отмытыми от пыли и дыма ночного сражения, варили в котелках чай, тихонько играла гармошка. Конечно, вестибюль рейхстага не место для разведения костров и кипячения чая, но что этот невинный и добрый огонек, который тут же, едва чай вскипел, бойцы тщательно потушили, по сравнению с тем огнем над рейхстагом, который зажег Гитлер,— огнем, испепелившим половину Европы.

На площади, где высится обелиск, увенчанный золоченой фигурой Победы, где среди срубленных снарядами деревьев стоит тяжелый памятник Бисмарку, к вечеру собрались сотни красноармейцев. Небо очистилось от туч и дыма, поглубело, золоченая фигура засверкала в вечерних лучах солнца. Десятки цветных ракет полетели в воздух, броня танков не стала видима под грудами цветущих яблоневых и вишневых ветвей, стальные стволы пушек украсились тяжелыми ворохами махровой сирени, перевитой красными лентами. Отовсюду слышались музыка, пение. В разных местах площади собирались кружки бойцов, слышались взволнованные речи, многие плясали. На площадь Победы пришли люди из стрелковых батальонов, из танковых бригад, артил-

леристы, саперы, летчики. Это был прекрасный, выстраданный, завоеванный кровью и потом час нашего торжества, и красноармейцы, сыны и ветераны великой армии, торжественно, красиво и просто отпраздновали его.

Этот народный, стихийно возникший праздник достойно увенчал день берлинской победы.

III

Войска 1-го Белорусского фронта первыми закончили войну. Еще гремели орудия на севере и на юге, еще продолжалось бессмысленное сопротивление немцев в Либавском мешке, а перед армиями 1-го Белорусского фронта, вышедшими к спокойному течению Эльбы, не осталось ни одного вооруженного неприятеля. За плечами фронта лежал огромный путь от Волги и Сталинграда: Калач, Курск, Орел, Глухов, Гомель, Рогачов, Бобруйск, Брест, Ковель, Люблин, Варшава, Лодзь, Познань, Шверин, Кюстрин и, наконец, вражеская столица Берлин.

Пришло время оглянуться назад, задуматься, вспомнить, постараться осмыслить весь величайший победоносный поход, начатый в туманное, темное утро 19 ноября 1942 года и закончившийся в первые дни мая 1945 года в Берлине, Науэне, Бранденбурге, на берегу Эльбы.

Именно теперь пришло время вспомнить Дубовку, Ельшанку, Ольховку, Малую Ивановку, Окатовку, Котлубань, Ловкое, деревни и хуторки между Доном и Волгой, где зарождалось и началось наше наступление, вспомнить глинистый желтый обрыв над Волгой, где в темном и душном подземелье девяносто дней и ночей пробыл со своим штабом командующий 62-й армией Чуйков, закончивший войну в побежденном Берлине.

Оттуда, из ноябрьской темной плоской степи, из темных, обшитых досками домиков сталинградских деревень, пришла победа. Ученые стратеги, военные историки разработают драгоценные материалы, проследят шаг за шагом путь наших армий, разберут во всех подробностях каждую крупную операцию, напишут объемистые книги о полководческих замыслах и о боевом, практическом осуществлении этих замыслов. Им предстоит немалая работа, и ее не следует откладывать.

Социологи, историки, публицисты постараются объяснить себе и своим читателям логику социальных и исторических отношений, приведшую нас к всемирно-

исторической победе. Они раскроют во многих деталях и, надо надеяться, во всей глубине все элементы и условия, определившие победу советского государства над фашистской империей в титанической, не виданной миром борьбе, покажут, что в победе этой не было элементов случайного.

Писатели напишут романы, драматурги — пьесы, они расскажут о торжестве советского человека, о силе его, мужестве, о тех великих испытаниях и страданиях, которые преодолел он на пути к победе.

Но сегодня, когда не написаны книги и объемистые сочинения, у рядового участника и очевидца великих событий рождается желание самому оглянуться на пройденную дорогу, осмотреться вокруг, самому понять течение огромного исторического действия, свидетелем и участником которого довелось быть. Но мыслимо ли это, можно ли в не улегшемся еще хаосе событий проследить законы, по которым свершалась война?

Мне много пришлось говорить с красноармейцами, простыми, умными людьми. Народ часто лишь задает себе вопрос и, не отвечая на него, в самом уже вопросе находит очень глубокое, внутреннее духовное решение, важное и нужное человеку; словесный ответ, каков бы он ни был, не так уж интересен, пусть даже он будет ясный, четкий, простой ответ.

Вот теперь в Германии, в Берлине, наши бойцы стали особенно настойчиво задумываться, отчего же немец внезапно напал на нас, для чего нужно было Германии начинать эту ужасную, жестокую и несправедливую войну? Миллионы наших людей увидели сегодня богатые и сытые хозяйства немецких фермеров в Восточной Пруссии, увидели отлично организованное сельское хозяйство, увидели бетонированные скотные дворы, увидели просторные комнаты, ковры, гардеробы, полные платья, словом, увидели исторически, постепенно сложившийся за столетия относительно высокий уровень материальной жизни немецкого бауэра. Миллионы наших людей увидели немецкие шоссе, проложенные от деревни к деревне, увидели последнее слово дорожной техники — автострады для восьми и десяти идущих в ряд машин. Наши люди увидели в берлинских предместьях и в дачных районах двухэтажные дома с электричеством, газом, ваннами, с великолепно возделанными садами. Наши люди увидели виллы крупной берлинской буржуазии, умопомрачительную роскошь

замков, поместий, особняков немецких капиталистов и аристократов, увидели пышную, тучную роскошь квартир западных районов Берлина, где живут фабриканты, заводчики, владельцы торговых фирм, больших магазинов, крупные техники, крупные чиновники и пр.

И гневный вопрос, почему немец напал на нас,— сейчас, когда война кончилась, с новой силой возник в сознании людей.

Тысячи бойцов в Германии повторяют сейчас, оглядываясь вокруг себя:

— Зачем же они шли на нас, чего им нужно было?

И в этом гневном вопросе, в суровом недоумении, с которым он задается, есть духовное, внутреннее решение его, которое важнее всякой словесной формулы.

В этом простом и наивном вопросе горькое и суровое осуждение народа. Зачем пошли они на нас? Чего им нужно было?

Когда жестокий, заносчивый враг вторгся в пределы нашей Родины, когда окровавленный нож был занесен над самым святым, что есть у каждого человека, неисчислимы силы поднялись на страшную битву за свободу и независимость советских народов.

Могучие силы человечности и самоотверженности объединили миллионы людей. Народный гений выдвинул тысячи талантов, проявивших себя на полях сражений и в созданиях нашей военной техники. Наши маршалы, наши генералы, наши ученые, наши инженеры — плоть от плоти, кровь от крови трудового народа, сыновья трудовых матерей.

В сказочно короткие сроки талантливый и трудолюбивый народ создал величайшую в мире, совершеннейшую артиллерию, создал танковые армии, лавину стальных крепостей, перед которой дрогнули панцирные дивизии противника, народ поднял в воздух множество воздушных армий, тысячи и десятки тысяч самых современных истребителей, штурмовиков, легких и тяжелых бомбардировщиков.

В этой войне во всю ширь и во всю глубину проявили себя неизмеримые богатства народного духа, эта война была поистине народной, в ней билось сердце народа, в ней жила его прекрасная душа, в ней творил и мыслил народный гений.

Тысячи тысяч наших красноармейцев, находящихся сейчас в побежденной Германии, подвели в душе своей последний итог борьбы Советского Союза с фашистской

империей, тысячи тысяч людей укрепились в своей вере в то, что правда и добро побеждают, что дело свободы, дело добра и человечности торжествует над силами мрака, рабства и человеконенавистничества.

Мир увидел, как жестоко просчитались в своем кичливом, заносчивом и презрительном отношении к народам Советского Союза фашистские главари и все те, кто покорным и согласным стадом шли за ними.

Но не нужно думать, что наши люди ходят сейчас по Германии с чванливым презрением, отвергая и ненавидя все, что видят. Наши люди отлично понимают, что фашизм существовал в Германии двенадцать лет, а немецкий народ живет тысячелетия. Наши люди не отвергают, не презирают то, что идет от разумного трудолюбия, от старой высокой и истинной культуры немецкого народа. Здесь есть много такого, чему полезно поучиться нашему технику, инженеру, агроному, химику, строителям коммунального благополучия. Мы не чванливы, хотя мы победители в величайшей войне всех человеческих времен. Чванливы были немцы, начиная эту войну.

Сегодня они каются.

Тысячи немцев говорят о своей ненависти к нацизму и Гитлеру, говорят о том, что они всегда сочувствовали идеям демократии, всегда ненавидели и осуждали войну, что лишь безжалостный гестаповский террор мешал им вслух проповедовать идеи революционной демократии. Тысячи немцев говорят о том, что по приходе Гитлера к власти они были социал-демократами, либо коммунистами, и лишь террор Гимmlера, погубивший сотни тысяч людей Германии, цвет ее прогрессивной революционной интеллигенции, основные кадры революционного пролетариата, лишь этот террор заставил их замолчать, хотя в душе они оставались противниками нацизма.

Бесспорно, что такие люди были и есть в Германии, бесспорно и то, что их немало. В этом, конечно, нельзя сомневаться. Но ведь верить по-настоящему можно лишь словам, подтвержденным делом.

Мне хочется рассказать о случае, где слова были подтверждены делом. С группой товарищей поехали мы осмотреть политическую тюрьму, где гестапо содержало полторы тысячи заключенных. Тюрьма эта находилась в лесу, в нескольких десятках километров на запад от Берлина. Внезапный прорыв наших танков помешал гестаповцам осуществить подготовленное убийство

заклученных. Тюремщики бежали, и полторы тысячи политзаклученных, люди различных национальностей, граждане многих европейских стран, благословляя Красную Армию, обрели свободу. Ворота этой тюрьмы сокрушили русские танкисты. Камеры опустели, лишь в тюремной больнице осталось несколько десятков французов, чехов, бельгийцев, сербов, тяжело больных, уже не могущих передвигаться. Дни большинства из них были сочтены. Эти умирающие люди избрали своим старостой немецкого коммуниста Клюге. Клюге провел в тюрьме двенадцать лет. Худой высокий человек с землисто-серым лицом, ослепший на оба глаза, с грудью, животом, руками, покрытыми страшными глубокими рубцами, следами чудовищных пыток и избиений. Опираясь на плечо мальчика-сироты, Клюге медленно ходит по тюремной больнице, среди коек своих умирающих товарищей. От слабости у него частые головокружения, его приходится поддерживать. Его худое лицо с ввалившимися щеками сурово и неподвижно. Но когда ему сказали, что с ним хотят говорить советские офицеры, мертвое лицо слепого улыбнулось. Мы в молчании слушали глухой, сиплый голос, страшный рассказ о двенадцати годах, проведенных в тюрьмах гестапо... В груди этого измученного человека не остыл пламень революционной страсти, глухой голос его вдруг зазвучал сильно и молодо, когда заговорил он о своей революционной борьбе, о своей ненависти к фашизму. И я видел, как дрогнули от волнения губы моего седого спутника, когда Клюге, протянув руки, медленно и ошупью подошел к нему и обнял на прощание. Да, словам такого человека можно верить. Он не отступил от революционного знамени, он вынес на бедных плечах своих ужасный свинцовый груз, не согнулся, не пал духом. Свет великой идеи не померк перед его слепыми глазами в годы, когда черные, ядовитые тучи фашизма клубились в воздухе Германии.

Об этих людях, прошедших через все муки ада и оставшихся верными до конца великому светлому знамени интернационализма, не должно забывать.

Кто они, эти немногие, оставшиеся в жизни борцы? Кто они, эти верные соратники Тельмана и сотен тысяч погибших мученической смертью немецких революционеров? Последние уцелевшие свидетели революционного прошлого немецкого пролетариата? Или они и не только прошлое, быть может, они посланцы грядущего?

Поистине о многом можно подумать нашим людям, вышедшим к спокойному течению Эльбы, оглянуться назад на пройденный путь борьбы, посмотреть вокруг себя.

На плечи наших людей легла великая доля ответственности за судьбы мира, спасенного в этой страшной войне подвигом советского народа и Красной Армии. И об этой ответственности думают народ и армия в тишине, наступающей после громов войны...

В майский вечер было тихо на всем 1-м Белорусском фронте. Сюда не доходило грохотание орудий на севере и на юге, где вели последние ожесточенные бои войска Рокоссовского, Конева, Еременко и Маллиновского. Армии маршала Жукова первыми закончили боевую страду.

И вдруг тихий вечерний воздух дрогнул, послышались пулеметные и автоматные очереди, тяжело загрохотали орудия, светящиеся трассы пошли в вечернее ясное небо. Что это? Внезапный налет авиации, прорыв притаившейся группировки противника? — Нет!

То армии узнали о безоговорочной капитуляции Германии, то войска салютовали победе. Величественный гул все разрастался, ширился, перекатывался по всему фронту. Вскоре гремело небо от Белого до Черного моря. В эти минуты не хотелось, да и не нужно было ни о чем думать.

В эти минуты только исстрадавшимся человеческим сердцем, сердцем, пережившим безмерно жестокую войну, можно было объять, охватить свершившееся.

Только сердцем, пережившим смертное горе безвозвратных потерь, тоску разлуки, сердцем, оплакавшим бесчисленные могилы, развалины и пепел тысяч городов и сел, сердцем, несущим в себе любовь к павшим братьям и сыновьям, только сердцем, познавшим великую печаль и жаркую, душную ненависть, можно было объять то, что произошло. Миру был возвращен мир. И сотни тысяч, миллионы сердец бились торжеством, наполнялись радостью и слезами в час свершившейся победы.

ДОРОГА

Война коснулась всех живших на Апеннинском полуострове.

Молодой мул Джу, служивший в обозе артиллерийского полка, сразу же, 22 июня 1941 года, ощутил много изменений, но он, конечно, не знал, что фюрер убедил дуче вступить в войну против Советского Союза.

Люди удивились бы, узнав, как много было отмечено мулом в день начала войны на востоке,— и непрерывное радио, и музыка, и распахнутые ворота колючки, и толпы женщин с детьми возле казармы, и флаги над казармой, и запах вина от тех, от кого раньше не пахло вином, и дрожащие руки ездового Николло, когда он выводил Джу из стойла и надевал на него шлею.

Ездовой не любил Джу, он впрягал его в левую упряжку, чтобы сподручней было подхлестывать мула правой рукой. И подхлестывал он Джу по животу, а не по толстошкурому заду, и рука у Николло была тяжелая, коричневая, с искривленными ногтями,— рука крестьянина.

К напарнику своему Джу был равнодушен. Это было большое, сильное животное, старательное, угрюмое; шерсть на груди и на боках была у него вытерта шлеей и постромками, голые, серые плешины поблескивали жирным графитовым блеском.

Глаза у напарника были подернуты голубоватым дымом, морда с желтыми стертými зубами сохраняла равнодушное, сонное выражение и при подъеме в гору по размягченному от зноя асфальту, и при дневке в тени деревьев. Вот он стоит на перевале в горной долине, перед ним расстилаются сады и виноградники, перевитые серой лентой преодоленного асфальта, поблескивает вдаль море, в воздухе запах цветов, морского йода, гор-

ной прохлады и, одновременно, горячей и сухой дорожной пыли... Глаза напарника равнодушны, ноздри не шевелятся, с немного оттопыренной нижней губы свисают длинные прозрачные слюни; изредка чуть-чуть шевельнется ухо напарника,— он слышал шаги ездового Николло. А когда на учебных стрельбах били пушки, старик мул словно бы спал, не шевелил длинными ушами.

Джу как-то пробовал игриво толкнуть старика, но тот спокойно, без злобы лягнул молодого мула и отвернулся; иногда Джу переставал натягивать постромки, косил глаза на старика, тот не скалился, не прижимал ушей, а тянул вовсю, сопел и быстро-быстро кивал головой.

Они перестали замечать друг друга, хотя изо дня в день тянули телегу, груженную снарядами ящиками, пили из одного ведерка и по ночам Джу слышал, как тяжело дышал в соседнем стойле старик.

Ездовой, его цели, власть, его кнут, сапог, хриплый голос не вызывали в Джу рабского преклонения.

Справа шагал напарник, за спиной дребезжала телега и покрикивал ездовой, перед глазами лежала дорога. Иногда казалось, ездовой — часть телеги, иногда казалось, ездовой — основа, а телега при нем. Кнут? Что ж, и мухи в кровь разъедали кончики ушей, но мухи были лишь мухами. Так и кнут. Так и ездовой.

Когда Джу начал ходить в упряжке, он тайно злобствовал на бессмысленность длинного асфальта,— его нельзя было жевать, пить, а по обе стороны от асфальта росла лиственная и травяная пища, вода стояла в озерах и лужах.

Главным врагом казался асфальт, но прошло немного времени, и Джу стали более неприятны тяжесть телеги и вожжи, голос ездового.

Тогда Джу даже помирился с дорогой, мерещилось, что она освободит его от телеги и ездового. Дорога шла в гору, дорога вилась среди апельсиновых деревьев, а телега монотонно и неотступно погромыхивала за спиной, кожаная шлея давила на грудные кости.

Нелепый труд, навязанный извне, вызывал желание лягать телегу, рвать зубами постромки, и от дороги Джу теперь ничего не ждал и не хотел по ней ступать. В его большой, пустынной голове все время возникали образы запаха и вкуса пищи, туманные видения, волновавшие его: то запах кобылок, сочная сладость листвы, тепло

солнца после холодной ночи, то прохлада после сицилийского зноя...

Утром он протискивал голову в шлею, налаженную ездовым, и грудь его привычно ощущала прохладу мертвой глянцевиной кожи. Он теперь делал это так же, как старик напарник, не откидывая голову, не скалясь, — шлея, телега, дорога стали частью его жизни.

Все стало привычным, а значит, законным, связалось, превратилось в естественность жизни: труд, асфальт, водопой, запах колесной мази, грохот длинно-хоботных, вонючих пушек, пахнувшие табаком и кожей пальцы ездового, вечернее ведерко кукурузных зерен, охалка колючего сена...

Случалось, однообразие нарушалось. Он испытал ужас, когда его, опутанного веревками, кран перенес с берега на пароход, его затошнило, деревянная земля уходила из-под копыт, и не хотелось есть. Потом был зной, превосходящий итальянский, ему на голову надели соломенную шапочку, была упорная крутизна абиссинских красных каменистых дорог, пальмы, до чьей листвы нельзя дотянуться губами. Его очень удивила однажды обезьяна на дереве и очень испугала большая змея на дороге. Дома были съедобны, он ел иногда тростниковые стены и травяные крыши. Пушки стреляли часто, и часто горел огонь. Когда обоз останавливался на темной опушке леса, он по ночам слышал недобрые звуки, шорохи, некоторые звуки вызывали ужас, и Джу дрожал, всхрипывал.

Потом его снова тошнило, и дощатая земля уходила из-под копыт, а кругом была голубоватая равнина, и совершенно непонятно, хотя сам он мало двигался, внезапно возникла конюшня, где рядом в стойле ночами тяжело дышал напарник.

А вскоре после дня, отмеченного музыкой и дрожащими руками ездового, вновь не стало конюшни, возникла дощатая земля, стук, стук, стук, толчки и скрежет, а затем тьма и теснота скрежещущего стойла сменились простором равнины, не имевшей конца.

Над равниной стояла мягкая, серая, не итальянская и не африканская пыль, а по дороге беспрерывно двигались в сторону восхода грузовики, тракторы, пушки с длинными и короткими хоботами, шли колонны пеших ездовых.

Жизнь стала особо трудной, вся превратилась в движение, телега была всегда нагружена, напарник дышал

тяжело, его дыхание слышалось, несмотря на шум, стоящий на серой, пыльной дороге.

Начался падеж животных, побежденных огромностью пространства. Тела мулов оттаскивали в сторону от дороги, они лежали со вздувшимися животами, с растопыренными отшагавшими ногами, люди были к ним безмерно равнодушны, а мулы, казалось, тоже не замечали своих мертвых — мотали головами, тянули да тянули, но это только казалось,— мулы видели своих мертвецов.

На этой равнинной земле замечательно вкусной оказалась пища. Впервые Джу ел такую нежную, сочную траву. Впервые в жизни он ел такое нежное и душистое сено. И вода в этой равнинной стране была вкусной и сладкой, а сочные веники из молодых веток деревьев почти не горчили.

Теплый ветер в равнине не жег, как африканские и сицилийские ветры, и солнце грело шкуру мягко, нежно,— не походило на беспощадное солнце Африки.

И даже серая, мелкая пыль, день и ночь висевшая в воздухе, казалась шелковистой, нежной по сравнению с колючей, красной пылью пустыни.

Но сам простор этой равнины был непоколебимо жестоким, ему не было конца,— сколько мулы ни двигались рысцей, мотая ушками, а равнина была сильнее их. Мулы шли скорым шагом при свете солнца и при свете луны, а равнина все длилась. Мулы бежали, стучали копытами по асфальту, пылили по проселку, а равнина длилась и длилась. Ей не было исхода ни при солнце, ни при луне и звездах. Из нее не рождались горы, море.

Джу не заметил, как настало время дождей, оно пришло постепенно. Полили холодные дожди, и жизнь из однообразной усталости превратилась в режущее страдание, в изнеможение.

Все, из чего состояла жизнь мула, утяжелилось: земля стала липучей, разговаривала, чавкала, дорога стала очень вязкой и от этого удлинилась, и каждый шаг по ней стал как много шагов, а телега сделалась невыносимо ленивой, упрямой,— казалось, Джу с напарником тащили за собой не одну телегу, а много телег. Ездовой теперь кричал непрерывно, бил кнутом больно и часто,— казалось, не один ездовой сидел на телеге, а много. И кнутов стало много, и все они были языкатые, злые, одновременно холодные и жгучие, хлесткие, вьедливые.

Тащить телегу по асфальту было слаще травы и сена, но целыми днями ноги не знали асфальта.

Мулы познали холод, дрожь намокшей под мелким осенним дождем шкуры. Мулы кашляли, болели воспалением легких. Все чаще оттаскивали в сторону от дороги тех, для которых кончалась дорога, не стало движения.

Равнина расширилась — ее огромность ощущалась теперь не глазами, а всеми четырьмя копытами... Глубже и глубже уходили копыта в размякшую землю, липучие комья упорно тянули за ноги, и все огромней, шире, могучей раздвигалась, ширилась отяжелевшая от дождя равнина.

В большом, просторном мозгу мула, в котором рождались туманные образы запахов, формы, цвета, зарождался образ совсем иного понятия, созданного мыслью философов и математиков, — образ бесконечности: туманной русской равнины и непрерывно лившегося над ней холодного осеннего дождя.

И вот на смену темному, мутному, тяжелому пришел новый образ — белый, сухой, сыпучий, обжигающий поздри, пекущий губы.

Зима пожрала осень, но это не принесло освобождение от тяжести. Пришла сверттяжесть. Жестокий и жадный хищник пожрал менее сильного хищника...

Вдоль дороги рядом с телами мулов лежали мертвые люди, — мороз их лишил жизни.

Беспрерывный сверттруд, холод, стертая шлеей до мяса шкура на груди, кровавые болячки на холке, боль в ногах, сбитые, крошащиеся копыта, обмороженные уши, ломота в глазах, рези в животе от мерзлой пищи и ледяной воды постепенно вымотали мускульные и душевные силы Джу.

На него шло огромное равнодушное наступление. Колоссальный мир равнодушно наваливался на него. Даже злоба ездового прекратилась — он съежился, не дрался кнутом, не бил сапогом по чувствительной косточке на передней ноге...

Медленно, неминуемо война и зима подминали мула, и Джу ответил на огромное равнодушное наступление, готовящееся уничтожить его, своим безмерным равнодушием.

Он стал тенью от самого себя, и эта живая пепельная тень уже не ощущала ни собственного тепла, ни удовольствия от пищи и покоя. Ему было безразлично, двигаться ли по обледенелой дороге, перебирая механическими ногами, или стоять понуря голову. Он жевал сено равно-

душно, без радости, и так же равнодушно переносил он голод и жажду, секущий зимний ветер. Глазные яблоки ложило от белизны снега, но сумерки и темнота были ему безразличны, он не хотел и не ждал их.

Он шагал рядом со стариком напарником, теперь уж полностью похожий на него, их безразличие друг к другу было так же огромно, как их безразличие к самим себе.

Это равнодушие к себе было его последним восстанием.

Быть или не быть — стало безразлично для Джу, мул словно бы решил гамлетовский вопрос.

Так как он сделался безразлично-покорен к существованию и к несуществованию, он потерял ощущение времени, — день и ночь стерлись в его сознании, морозное солнце и безлунная тьма стали ему одинаковы.

Когда началось русское наступление, морозы не были особенно сильными.

Джу не овладело безумие во время сокрушающей артиллерийской подготовки. Он не рвал постромок, не шарахался, когда в облачном небе запылало артиллерийское зарево, и земля стала колебаться, и воздух, разодранный воем и ревом стали, заполнился огнем, дымом, комьями снега и глины.

Поток бегства не захватил его, он стоял опустив голову и хвост, а мимо него бежали, падали, вновь вскакивали и бежали, ползли люди, ползли тракторы, неслись тупорылые грузовики.

Напарник странно закричал голосом, похожим на человеческий, упал, заелозил ногами, потом затих, и снег вокруг него стал красным.

Кнут лежал на снегу, и ездовой Николло тоже лежал на снегу. Джу больше не слышал скрипа его сапог, не улавливал запаха табаку, вина, сыромятной кожи.

Мул стоял безразлично-покорный и не ждал свершения судьбы, — новая судьба и старая судьба были ему одинаково безразличны.

Пришли сумерки. Стало тихо. Мул стоял, опустив голову, свесив плетью хвост. Он не глядел по сторонам, не прислушивался. В пустынной равнодушной голове продолжала гудеть давно уж умолкшая артиллерийская стрельба. Редко, редко переступал он с ноги на ногу и вновь делался неподвижен.

Вокруг лежали тела людей и животных, разбитые, опрокинутые грузовики, кое-где лениво струился дымок.

А дальше, без начала, без края, была туманная, сумрачная, снежная равнина.

Равнина поглотила всю прошлую жизнь — и зной, и крутизну красных дорог, и запах кобылок, и шум ручьев. Джу мало уж чем отличался от окружавшей его неподвижности, он сливался с ней, соединялся с туманной равниной.

И когда тишину нарушили танки, Джу услышал их потому, что железный звук, заполняя воздух, входил в мертвые уши людей и животных, вошел и в уши понурого живого мула.

И когда неподвижность равнины нарушилась, и гусеничные пушечные машины развернутым строем, скрежеща шли по снежной целине с севера на юг, Джу увидел их — они отражались в ветровых стеклах и в зеркальцах брошенных машин, они отразились в глазах мула, стоявшего у опрокинутой телеги. Но он не шархнул в сторону, хотя гусеничное железо прошло совсем близко, дохнуло горьким теплом и масляным перегаром.

Потом из белой равнины выделились белые людские фигуры, они двигались бесшумно и быстро, не как люди, а как хищные охотники, исчезли, растворились, поглощенные неподвижностью снежной целины.

А потом зашумел кативший с севера поток людей, машин, орудий, заскрипели обозы...

Поток шел по дороге, а мул стоял не кося глазами, и движение шло мимо, но вскоре оно стало так велико, что разлилось за обочины дороги.

И вот к Джу подошел человек с кнутом. Он рассматривал Джу, и мул почувствовал запах табаку и сыромятной кожи, шедший от человека.

Человек, точно так же, как это делал Николло, ткнул Джу в зубы, в скулу, в бок.

Он дернул за узду, силно заговорил, и мул невольно посмотрел на лежащего на снегу ездового Николло, но тот молчал.

Человек снова потянул узду, мул не пошел, а продолжал стоять.

Человек закричал, замахнулся, и грозное понукание его отличалось от понукания итальянца не грозностью, а звуками, сочетавшимися в угрозе.

А потом человек ударил мула сапогом по косточке на передней ноге, ноге стало больно, по этой косточке бил сапогом Николло, и она была особенно чувствительна.

Джу пошел следом за ездовым. Они подошли к запряженным телегам. Их обступили ездовые, шумели, размахивали руками, смеялись, хлопали Джу по спине и по бокам. Ему дали сена, и он поел. В телеги были впряжены парами лошади с короткими ушами, со злыми глазами. Мулов не стало.

Ездовой подвел Джу к телеге, в которую была впряжена одна лошадь, без напарника.

Лошадь была темная, маленькая, рослый мул оказался выше ее. Она поглядела на него, прижала уши, потом наставила их, потом замотала головой, потом отвернулась, потом приподняла заднюю ногу, собираясь лягнуть.

Она была худая, и, когда вдыхала воздух, ребра волной проходили под ее шкурой, и на шкуре ее, как на шкуре Джу, виднелись кровавые ссадины.

Джу стоял понурив голову, по-прежнему безразличный к тому, быть ему или не быть, беззлобно равнодушный к миру, потому что равнинный мир равнодушно уничтожал его.

Он привычно, так же как делал это сотни раз до того, просунул голову в шлею, она не была кожаной, но совершенно так же, как и кожаная, коснулась его натруженной груди, запах от нее шел странный, непривычный, лошадиный. Но мулу был безразличен этот запах.

Лошадь стояла с ним в паре, и ему было безразлично тепло, дошедшее к нему от ее впалого бока.

Она прижала уши почти вплотную к голове, и морда у нее сделалась злая, хищная, не как у травоядного. Она выкатила глаз, приподняла верхнюю губу и обнажила зубы, готовая укусить, а Джу в своем равнодушии подставлял ей незащищенную скулу и шею. А когда она стала пятиться, натягивая упряжь, чтобы, повернувшись к нему задом, изловчиться и огреть его копытом, он не забеспокоился, а стоял понурившись, так же как стоял возле разбитой телеги, мертвого напарника, мертвого Николло и лежавшего на снегу кнута. Но ездовой закричал и ударил лошадь кнутом, а потом тем же кнутом — братом кнута, лежавшего на снегу, — ударил мула: ездового, видимо, раздражало понурое животное, а рука у него была как у Николло — тяжелая рука крестьянина.

И Джу вдруг покосил глазом на лошадь, а лошадь посмотрела на Джу.

Вскоре обоз тронулся. И снова привычно поскрипывала телега, и снова перед глазами была дорога, а за спиной тяжесть, и ездовой, и кнут, но Джу знал, что от тяжести не избавиться с помощью дороги. Он трусил рысцей, а снежная равнина не имела начала и конца.

Но странно, в своем привычном движении в мире безразличия он чувствовал, что лошадь, бегущая рядом, не безразлична к нему.

Вот она метнула хвостом в сторону Джу, шелковисто скользкий хвост совсем не походил на кнут либо на хвост напарника,— ласково скользнул по шкуре мула.

Прошло немного времени, и лошадь снова метнула хвостом, а ведь в снежной равнине не было ни мух, ни москитов, ни оводов.

И Джу покосился глазом на бегущую рядом лошадь, и она именно в этот миг покосила глазом в его сторону. Глаз ее сейчас не был злым, а чуть-чуть лукавым.

В сплошняке мирового равнодушия зазмеилась маленькая извилина — трещина.

В движении тело согревалось, и Джу ощущал запах лошадиного пота, а дыхание лошади, пахнущее влагой, сладостью сена, все сильнее и сильнее касалось его.

Сам не зная отчего, он натянул постромки, и кости его грудной клетки ощутили тяжесть и давление, а шлея лошади ослабела, и ей стало легче тянуть упряжку.

Так бежали они долгое время, и вдруг лошадь заржала. Она заржала тихонько, так тихо, чтобы ни ездовой, ни лежащая кругом равнина не слышали ее ржания.

Она заржала так тихо, чтобы только бежавший с ней рядом мул услышал ее.

Он не ответил ей, но по тому, как он вдруг раздул ноздри, ясно было, что ржание лошади дошло до него.

И они долго, долго, пока обоз не остановился на привал, бежали рядом, раздували ноздри, и запах мула и запах лошади, тянувших одну телегу, смешались в один запах.

А когда обоз остановился, и ездовой распряг их, и они вместе поели и попили воды из одного ведерка, лошадь подошла к мулу и положила голову на его шею, и ее шевелящиеся мягкие губы коснулись его уха, и он доверчиво посмотрел в печальные глаза колхозной лошаденки, и его дыхание смешалось с ее теплым, добрым дыханием.

В этом добром тепле проснулось то, что заснуло, ожило то, что давно умерло,— любимое сосунком сладкое материнское молоко, и первая в жизни травинка, и жестокий красный камень абиссинских горных дорог, и зной на виноградниках, и лунные ночи в апельсиновых рощах, и страшный сверхтруд, казалось, до конца убивший его своей равнодушной тяжестью, но все же, оказывается, до конца не убивший его.

Жизнь мула Джу и вологодская лошадиная судьба внятно им обоим передавались теплом дыхания, усталостью глаз, и какая-то чуждая прелесть была в этих, стоящих рядом доверчивых и ласковых существах среди военной равнины под серым зимним небом.

— А осел, мул-то, вроде обрусел,— рассмеялся один ездовой.

— Нет, глянь, они плачут оба,— сказал другой.

И правда, они плакали.

АВЕЛЬ

(Шестое августа)

1

В этот вечер сильно пахли листья и травы, тишина была нежной и ясной. Тяжелые лепестки огромных белых цветов на клумбе перед домом начальника порозовели, потом на цветы легла тень; пришла ночь. Цветы белели, словно вырезанные из тяжелого, плотного камня, вдавленного в синюю густую тьму. Спокойное море, окружавшее остров, из желто-зеленого, дышащего жаром и соленой гнилью, стало розовым, фиолетовым, а потом волна зашумела дробно и тревожно, и на маленькую островную землю, на аэродромные постройки, на пальмовую рошу и на серебристую мачту-антенну навалилась душная, влажная мгла.

Во мраке колыхались красные и зеленые огоньки — сигнальные знаки на гидросамолетах в бухте, засветились звезды — тяжелые, яркие, жирные, как бабочки, цветы и светляки, жившие среди чавкающих, душных болотных зарослей.

Чугунная ступня солнца продолжала давить на ночную землю: ни прохлады, ни ветерка, все та же мокрая, томящая теплынь, все та же липнущая к телу рубаха, все тот же пот на висках.

На террасе в плетеных креслах сидели летчики — экипаж самолета. Коричневая девушка в белом колпачке и белом накрахмаленном халате, в больших круглых очках принесла на подносе еду, расставила кружки черного, холодного чая.

У командира самолета Баренса руки были маленькие, как у ребенка, и казалось, его тонким пальцам не удержать штурвал самолета, идущего над океаном.

Но летчики знали, что в обширных списках личного состава военно-морской авиации Соединенных Штатов имя подполковника Баренса стоит в первой пятерке. Те, кто бывал у него дома и совершал с ним боевые полеты,

не могли объединить в своем представлении человечка в клеенчатом фартуке, с зеленой маленькой лейкой в руках, многословно объяснявшего достоинства окраски и формы выращенных им тюльпанов, с великим летчиком, молчаливым и упорным, лишенным нервности и эмоций.

Второй пилот Блек считался меланхоликом. Его голова лысела совершенно равномерно, всей поверхностью. При взгляде на бледную кожу, просвечивающую между редких волос, становилось скучно. Но и у Блека были страсти. Ему казалось, что он находится накануне открытия рецепта социального переустройства, которое приведет к экономическому расцвету и всеобщему миру. Однако, пока это открытие не было завершено, Блек летал на четырехмоторном бомбардировщике.

Третий член экипажа, радист Диль, был человеком, в котором жили две враждебные страсти — к спорту и к еде. Он участвовал почти до последнего времени в баскетбольной команде морских летчиков. Но страсть к еде добавила ему шесть кило, и он из участника команды превратился в болельщика. Диль был образован, силен в теории, и его лекции по электронике пользовались успехом среди техников и мотористов.

Штурман Митчерлих, седеющий, красивый, сухощавый, также отлично знал свое дело. До 1941 года он вел занятия по навигационным приборам в Высшей школе пилотов морской авиации, но, когда началась война, попросился на фронт и получил назначение в один из тихоокеанских полков. Считалось, что в его жизни была опустошившая душу, несчастная любовь, — этим объясняли цинизм, с которым он расставался со своими возлюбленными.

Пятый член экипажа — двадцатидвухлетний бомбардир Джозеф Коннор, румяный и светлоглазый, — не имел большого летного стажа, но еще на учебной практике он неизменно занимал первое место. Считалось, что в полку он установил несколько рекордов — чаще всех смеялся, дальше всех заплывал в море, чаще всех получал письма, написанные женским почерком. Его дразнили этими письмами, но письма ему писала мать, от этого он и краснел. Он не выносил выпивок и тайно от товарищей пировал — пил молоко с пенками, заедая каждый глоток ложкой персикового варенья. Два раза в неделю он писал письма домой.

Около недели экипаж отдыхал в полном безделье, внезапно сменившем еженощные полеты над японскими островами.

Но безделье томило лишь Коннора, остальные чувствовали себя неплохо. Первый пилот высаживал дикорастущие на острове растения в самодельные горшки, сделанные из консервных банок. Он решил добиться акклиматизации на родине некоторых луковичных растений и спешно готовил домой посылку, — ее брался доставить приятель, делавший грузовые рейсы.

Митчерлих ночью играл в покер с интендантами и начальником склада горючего, а когда поднимался северо-восточный ветер и становилось не так жарко, развлекался с туземной официанткой, грудастой девушкой Молли; судя по лицу, ей было не больше пятнадцати лет.

Диль вычерчивал кривую, предугадывающую исход любого баскетбольного состязания. Работа эта оказалась трудоемкой, требовала обработки многолетних материалов и привлечения высших ветвей математики. По вечерам Диль шел на кухню и готовил блюда из нежной местной рыбы, овощей, фруктов и консервированных специй, привезенных из Соединенных Штатов. Он ел медленно, задумчиво, никого не приглашая, иногда, подняв брови и пожимая плечами, повторял по нескольку раз одно и то же блюдо, если гастрономическая комбинация казалась ему не совсем ясной.

Меланхолик Блек лежал в гамаке с ворохом газет и брошюрок. Он делал пометки цветными карандашами на полях, но внезапно, словно проваливался в воздушную яму, засыпал.

Коннор много купался, писал маме письма и читал романы. Он не замечал, что в него влюблены девушки из секретариата начальника, а также туземные официантки. Когда голубоглазый, бронзовый, в белоснежном костюме, в белой фуражке, с полотенцем на плече, словно сбежавший с первой страницы иллюстрированного журнала, он возвращался с пляжа, среди маленького женского населения острова происходило волнение и беспроволочный телеграф передавал сообщение: «Он вернулся с пляжа».

Женские уши умели различить шум четырех моторов идущего на посадку самолета, на котором летал Коннор, и по острову проносилось: «Он пришел». Но юный са-

дист — истребитель варенья — сохранял неведение, равнодушие и невинность.

Как-то коричневая Молли сказала Митчерлиху, что готова любить его долгие годы, но скажи слово голубоглазый бомбардир, ее б не удержали ни душевная привязанность, ни даже соображения практического разума. Митчерлих похлопал ее ладонью по спине и ответил: «Я бы сделал то же на твоём месте». Но когда Коннор лежал в гамаке и, открыв рот, читал роман, Митчерлих, высмеивая его перед Дилем и Блеком, проговорил: «Вот макет мужчины из папье-маше. Молодой идиот, лишенный первичных половых признаков».

Недоумевая, откуда вдруг взялась в великольном Митчерлихе такая злоба, Диль смеялся, а меланхолический философ Блек, обладавший пониманием людей, сказал:

— Смиритесь, старик, вам ничто не поможет!

Казалось, ничто или почти ничто не связывало между собой этих людей, экипаж военного гидросамолета, собранных главным штабом на острове. Однако была одна общая им всем черта — каждый из них был талантом, выдающимся в своей сфере специалистом. Им дали самолет с невиданно совершенной моторной группой, электроаппаратурой, приборами, прицельными приспособлениями, с большим количеством новшеств и усовершенствований; все они, привыкшие к достижениям техники, первое время чувствовали себя на этой, не вошедшей еще в серию, машине так, как может чувствовать себя крестьянин-тракторист, привыкший к плугу и керосиновому двигателю и вдруг севший на легкой «бьюик».

Они летали часто, много, подолгу. Им не давали покоя ни днем, ни ночью. Чем хуже была погода, порывистей ветер, ничтожней видимость, шире грозовой фронт, тем вероятней было получение приказа о вылете.

Начальник говорил им, что они совершают разведывательные полеты, что материалы аэрофотосъемки представляют собой интерес для командования.

Видимо, все же суть дела была не в разведке, а в тренировке. Особенно ясно было это для Коннора — самолет при каждом полете снабжали бомбами не совсем обычной формы и нестандартного веса. Бомбы эти, конечно, не были фугасными, не были они и зажигательными. Взрываясь в различных расстояниях от земли, они

давали компактное облако сигнального темного дыма. При сбрасывании их полагалось учитывать необычайно большое число элементов. Все это потом сверялось с данными аэрофотосъемки. Конечно, Джозеф скоро набил руку в этом пустом занятии. А несколько дней назад их вызвали к начальнику, взяли торжественную подписку, и начальник рассказал им о новом оружии. Потом они присягали, что сохранят в тайне беседу.

У многих военных людей есть утешительное, постоянное чувство: наше дело маленькое, телячье — выполнять. Пусть начальство решает и приказывает, ломает себе голову, с нас хватит того, что мы отдаем свою жизнь.

После нескольких десятков полетов они спелись между собой, достигли совершенной рабочей слаженности, всегда необходимой и на заводе, и в шахте, и на рыбацкой лодке.

Но у них не установилось душевной, человеческой связи, которая так хороша в каждодневном тяжелом однообразном труде, согревает, освещает жизнь.

Вечером, ужиная, они, пошучивая друг над другом, разглядывали новую официантку, заменившую в этот вечер Молли, у которой был приступ малярии. Как большинство людей, которым постоянно в работе приходилось иметь дело со смертью, они, даже Блек, считавший себя философом, не задумывались над сутью жизни и сутью смерти. Смерть летчика для них была низведена в профессиональную вредность, высшую профессиональную неудачу, сопутствующую браку в работе и всегда могущую досадно проявиться. Смерть летчика не была роком, мистическим ударом, — она являлась следствием технических и навигационных причин, тактических новинок истребительной авиации и зенитной артиллерии противника, числа оборотов мотора, метеорологических условий.

Когда погибал летчик или экипаж, они спрашивали: — Что у них там случилось?

Но их не удовлетворял ответ: «Забарахлила правая группа моторов, когда пилот шел на цель», «Отказала пушка при сближении с истребителем противника».

Они спрашивали: «А почему перестали работать моторы?», «Что же произошло с пушкой, почему она отказала?» И им было мало услышать, что нарушился контакт, или перестало поступать горючее, или что у пушки при отдаче заела автоматика, подающая снаряд.

Когда же они узнавали во всей глубине техническую основу гибели самолета, то уже естественной делалась и гибель людей,—она являлась частью технического вопроса.

Очень редко причиной смерти становились сами люди: однажды пилот сошел с ума в воздухе, второй оказался пьян, у третьего и четвертого запоздал рефлекс — растерялись. Но и в этих случаях дело сводилось к техническому браку: все же отказывал мотор, а не человек. Это было главное в конечном счете.

Правда, иногда летчики, выпив, пускались в излишняя. Человек, как ни крути, человек: у него есть мать, отец, сестры, а если он успевает жениться и после этого у самолета барахлит мотор, на свете оказывались еще одна вдова и новые сироты.

В этот вечер летчики философствовали, хотя никто не был сильно пьян.

— Не забудьте,— сказал Блек,— что военный летчик не только гибнет, но и губит других.

Митчерлих добавил, что он может не только погубить человека, но и создать его. Оглянувшись на новую официантку, с любопытством слушавшую, он сказал ей:

— Я готов вас убедить в этом — конечно, когда станет прохладней.

Джозеф, чтобы скрыть стыд, стал давиться и кашлять.

Девушка вызывающе сказала:

— Да? Я сомневаюсь.

Четверо засмеялись, а у Коннора опять сделался кашель.

— Тогда поставьте поднос,— весело сказал Митчерлих,— и пренебрежем метеорологическим фактором.

— Не знаю про могущество,— сказал командир корабля,— но по части воспитанности, майор, дело плохо.

Самолюбивый Митчерлих был страстным поклонником самого себя — он любил свою свежую проседь, свой профиль, свои пальцы на ногах, свой смех, свой кашель с мокротой, свою манеру подносить рюмку к губам, свою независимость, свою резкость.

Но все же он сдержался и сказал:

— То, что вы говорите, тоже довольно-таки грубо.

— Я отвечаю на грубость, сказанную женщине,— сказал командир корабля.

Официантки уже не было на террасе, и Митчерлих, искренне удивляясь, произнес:

— Вот этой маленькой очкастой мартышке?

— Она девушка и родилась в одном году с моей дочерью,— сказал Баренс.

Тут взял слово Блек. Он произнес быстрым, но монотонным голосом речь о том, что люди равны при рождении и все равны в смерти и потому в короткий миг жизни, между двумя безднами равенства, надо соблюдать законы, не знающие черных, белых, желтых, богатых и нищих.

Диль, не дослушав его речь, проговорил:

— Оказывается, учение Блека сводится к тому, что надо подлизываться к командиру корабля и обвинять штурмана.

Но тут Блек, потеряв свою меланхоличность, повелительно и звонко крикнул радисту:

— Прекратите скотство в отношении меня лично.

— Э, ребята, бросьте,— нараспев произнес Коннор.— Виноватого нет. Все это от безделья.

Слова эти проговорил самый младший, слюнтяй и сластена, и потому справедливость их показалась комичной, и каждый произнес насмешливую самокритическую фразу.

Митчерлих сказал совершенно несвойственным ему тоном:

— Человек и при уме и честности может быть одновременно полным ничтожеством. В этом он и достигает равенства со всеми остальными. Поэтому и говорят, что все люди братья.

— Кроме того, каждый любит себя больше других, в этом все похоже,— проговорил Блек,— это тоже всеобщее равенство. Разница в том, что один хвастается своим себялюбием, как Митчерлих, другой скрывает его, как Баренс, а третий, вроде меня, для своего удовольствия притворяется, что любит ближнего больше, чем самого себя.

Диль сказал:

— Аминь. Я себя чувствую среди вас дураком. Хочется вытащить блокнот и записывать изречения.

Баренс пробормотал:

— Только не мои, конечно.

А Коннор сказал:

— У вас у всех есть занятия, а я от скуки превращаюсь в полного идиота, что для меня не так уж трудно.

Хорошего настроения и самокритики хватило всего на несколько минут. Внезапно заговорили о войне.

Блек сказал:

— Не надо забывать, мы боремся с величайшим злом — фашизмом. В таком деле и помереть не жалко, надо только помнить об этом.

— Это верно,— сказал Диль,— но как удержать это в памяти, когда валишься, как петрушка, вниз головой, в горящем самолете. В эти минуты забываешь свое имя.

А Митчерлих вдруг спросил у Джозефа, присюсюкивая, точно говорил с малюткой:

— Конечно, смерть — бяка, смерть — кака, как вы полагаете? Но уж пусть начальство,— добавил он,— судит о целях войны, с меня достаточно, что я рискую своей шкурой. А то окажется потом, что война была несправедливой, и опять моя шкура будет отвечать.

— От ответственности никто не открутится,— сказал Баренс.

Но тут все стали возражать ему — разве солдат может отвечать?

— Я ведь говорю о чисто моральной ответственности,— поправился Баренс.

Блек сказал:

— Знаешь, техника освобождает нас в этом деле от моральной ответственности. Раньше ты разбивал голову врагу дубиной и тебя обдавало его мозгом — вот тогда ты отвечал; потом расстояние стало все увеличиваться — на длину копья, полета стрелы, и ты только слышал его крик, потом он отдалился на выстрел из пищали, мушкета, и ты уже не слышал его стонов, только видел, как он падает — пестрый человечек, серая фигурка, потом неясный силуэтик, потом точка, потом не стал виден не только человек, но даже линкор, по которому бьешь... Кому нести ответственность? Тот, кто видит врага,— наблюдатель, он не стреляет, а тот, кто стреляет,— огневик,— тот не видит, у него только данные — цифры, за что же ему отвечать? Нет, отвечают не те, кто стреляет.

Джозеф тоже сказал несколько слов:

— Мне не пришлось ни разу видеть японца в форме.

— Ну и в самом деле смешно, почему мальчик должен знать, чего они там хотят,— сказал Диль.— Тут надо вычертить кривую—по оси ординат откладывается дальнотойность, а по абсциссе — ответственность стрел-

ка: кривая стремится к нулю, моральная ответственность становится бесконечно малой, практически ею можно пренебречь. Обычная вещь при расчетах.

Ночью бомбардир писал письмо:

«Дорогая мамочка, если бы ты знала, как я скучаю по тебе. Я ведь не виноват, что меня мало интересуют здешние люди. Меня тошнит от их развлечений, споров и от их выпивок.

Если бы ты только знала, как мне хочется быть возле тебя. Скажу тебе правду, не только потому, что люблю тебя больше всех на свете, но ведь ты единственная понимаешь, что я ближе к маленьким, чем к большим, и мне не нужно коктейлей и двусмысленных разговоров. Вечером нужно позвать меня, чтобы я шел ужинать и не торчал до темноты на площадке, а когда я лягу спать, ты посмотришь, аккуратно ли я сложил одежду и хорошо ли укрыт. А здесь спортом они не хотят заниматься из-за жары, посмеиваются надо мной, почему я не люблю карт и прочего, не веду в пьяном виде idiotских умных разговоров. И конца этому не видно. Блек объяснял сегодня вечером цели войны, но я так и не понял ясно, какое мне до всего этого дело. Я-то знаю, чего хочу,— быть дома, возле тебя и всех наших родных, снова видеть свою комнату, наш сад и двор, сидеть с тобой за ужином и слушать твой голос...»

Утром в штаб вызвали командира корабля. Вернувшись в свой домик, он по телефону попросил зайти всех членов команды.

Они застали Баренса в садике, он высаживал из грунта какие-то коричневые, мохнатые, похожие на гусениц корешки с цилиндрическими янтарно-желтыми побегами и прикрывал их бумажными колпачками с надписями и датами. Шея его и уши покраснели,— он был садовник в эту минуту.

— Получен приказ сегодня ночью вылететь,— сказал он, встал, распрямился, вытер ладони, сощурил глаза — и садовник исчез.

— Боевой полет? — спросили четверо одновременно.

— Да, новое оружие. Словом, понимаете сами. То, о чем говорил начальник во время секретного инструктажа. Почему-то на этот раз летим с пассажиром. Кроме того, нас сопровождают два «Боинга — двадцать девять».

— Объект и трасса намечены? — спросил Митчерлих.

— Да, вылетело из головы название городка. Я сейчас погляжу запись. Приказано строго держаться маршрута. Я вам передам его.

— А как со связью? — спросил Диль.

— Есть инструкция. Словом, Диль, скучать вам не придется.

— А по моей части есть специальные указания? — спросил Коннор.

— Есть, но не много. Частные объекты не даны. Примерно геометрический центр города. Сейчас посмотрю. Указана только критическая высота, ни ниже, ни выше — шесть тысяч метров.

Блек не задавал вопросов, он раздражался всякий раз, ощущая разницу в положении первого и второго пилота. Ему, конечно, надо было инструктировать людей, а не Баренсу.

Митчерлих сказал, обращаясь к Баренсу:

— Несколько необычайно, правда?

— Не совсем по-обычному, — нерешительно сказал Баренс.

Днем их дважды вызывали в штаб, беседовали, снова и снова инструктировали. Потом их познакомили с пассажиром — сутулым, худым полковником с близорукими, голубоватыми глазами, с белой, совершенно круглой, точно очерченной циркулем, широкой лысиной, с манерами и движениями, не имевшими ничего общего с военной службой.

— Какой-то медицинский профессор, владелец клиники, — сказал о нем Митчерлих.

— Да, вроде аптекаря, но, может быть, вице-президент, — сказал Диль.

Вместе с пассажиром они поехали к самолету.

Полковника больше всего интересовал бомбардир. Он расспрашивал Джозефа, осматривал устройство автоматического прицела, механизм сбрасывающего аппарата. По вопросам, которые он задавал, чувствовалось, что он не дурак. Может быть, изобретатель? Никто не слышал его фамилии. Затем они выверяли работу моторов, приборов.

Начальник лично следил за всем, а полковник уехал на базу. Потом с материнской придирчивостью и заботой их осматривал врач, им сделали ванны и приказали лечь спать.

И вот они сидели на террасе, пили холодный крепкий чай и поглядывали на узкую полосу шоссе, на белевшие

во мраке огромные восковые цветы, прислушивались к негромкому плеску воды, к постукиванию движка на радиостанции. Их не так уж волновала таинственность, которой обставлялся полет. В конце концов, не все ли равно — разведка ли, новое ли оружие, контрольное испытание машины, идущей в серию, ультиматум, военная прогулка высокопоставленного лица? Служба есть служба...

По пути на аэродром Джозеф сидел рядом с шофером, смешливым, хорошим пареньком, черным, вроде грека. Машина шла быстро, и синие фары ее окрашивали все вокруг в сказочные тона.

В эти минуты, как, пожалуй, никогда до этого, он особенно ясно ощутил счастье жизни, той, что равно добра и щедра к молодым и старым людям, собакам, лягушкам, бабочкам, червям и птицам...

Ему стало душно, жарко от счастья, даже пот выступил на лбу от желания сделать что-то шальное, что дало бы ему возможность со всей полнотой почувствовать свои двадцать два веселых года, свои широкие плечи, легкие и быстрые движения, свое веселое, молодое сердце, свою доброту ко всему живому.

Когда машина остановилась на берегу, Джозеф сказал Баренсу:

— Отлучусь на десять минут. Можно?

Баренс кивнул:

— Время есть.

Джозеф побежал к темным деревьям, сел, быстро разделся и по теплоту, не успевшему остыть песку пошел к воде. И в тот миг, когда он стоял в береговой котловине, закрытой от всего мира деревьями, а перед ним тяжело колыхалась ленивая и широкая океанская вода, он вновь ощутил прилив беспричинного счастья.

Разбежавшись, он бросился в воду и поплыл. Вода была теплой, он то и дело окунал голову, соленый вкус возник на губах, струйки воды, стекавшей с волос, щекотали виски, набегали на глаза. По-особому хороши стали звезды в небе, когда он смотрел на них мокрыми глазами. Капли воды дрожали на ресницах, и в каждой капле растворился крошечный квант звездного света, и, должно быть, оттого, что свет прошел через бездны пространства и времени, а соленые капли, захватившие этот свет, были согреты живым теплом человеческого тела, в душе у юноши возникло какое-то странное, ще-

мящее и сладостное ощущение... Он плыл живой, молодой, и в нем в этот миг соединилось вместе и прошедшее, и настоящее — вот ко всему любопытный и жалостливый Джо в детском передничке смотрит в печальные глаза отца, вернувшегося с работы, и слышит сиплый голос: «Здравствуй, дорогой мальчик», и слышит победный рев четырех моторов самолета, поднятого над двумя океанами — белых облаков и темной воды, и шум в белокурой вихрастой голове после первой выпивки...

Ему показалось, что когда-то он уже плыл в ночной теплой воде, и мир так же был хорош, и звездный свет на мокрых ресницах казался понятен, привычен, близок ему, как близка и привычна мать, — этот свет, шедший из галактической и межгалактической бездны, от Сириуса, от Паруса и Индийской Мухи, от Водяного Змея и Центавра, от Больших и Малых Магеллановых Облаков... И в эти секунды он почувствовал братскую и сыновнюю, нежную, добрую связь со всем живым, что существовало на земле и в глубинах моря, со слепыми протейми в подземных пещерных водах, со всем живым, чье легкое, доброе дыхание шло через пространство от звезд и мягкой голубоватой прохладой касалось его ресниц.

Он весело вскрикнул, окунулся, всплыл, снова посмотрел вверх сквозь брызги и капли воды, снова крикнул и, охваченный внезапным ребячьим страхом, что чудовище, не то осьминог, не то акула, сейчас схватит его за ногу, поплыл к берегу.

2

Два часа находились они в воздухе. Самолет шел все время по приборам. Серая плотная мгла лежала над огромным пространством.

Согласованность действий команды достигла своего высшего предела, и самолет казался людям живым, наделенным волей существом, высшим по сравнению с людьми организмом.

Сейчас решения и поступки людей определялись не так, как это бывает в обычной жизни, а одними лишь показаниями приборов и цифрами расчетов. Красные и сине-черные стрелки на больших и малых циферблатах, светящиеся цифры выражали сложный мир высоты, скоростей, давлений, широты, долготы, магнитных поправок, заменявший сейчас человеческие страсти, воспо-

минания, сомнения, привязанности. Сердца, дыхание летчиков сделались лишь простой математической функцией, от волнообразного движения синуса, от скольжения логарифмов, от показаний телеприборов, от меняющегося напряжения электромагнитного поля.

Это было удивительно. Ведь самолет, который управлял поступками людей, страстно выполнявших его волю, мертвый самолет, металл, стекло, пластмасса, возник и летел сейчас во тьме по воле человека, послушный, покорный одной лишь этой живой воле.

Бронированная птичья грудь, винты, светлые крылья рассекали, дробили, отбрасывали тьму и пространство,— слепой уверенно шел к цели.

Мгла над землей, густая и клубящаяся, такая же густая и клубящаяся, как мгла над океаном, охватывала необъятное, уже казавшееся космически, эйнштейновски криволинейным пространство. Хотя мгла была непроницаема для любого самого сильного объектива, люди совершенно уверенно чувствовали ее огромность.

Пассажир, склонив большую лысую голову, смотрел в иллюминатор,— угрюмое движение в сырой мгле поражало его. Он видел огромный океан тьмы впервые, и это зрелище тревожило его.

Но чувство волнения, с которым он смотрел в иллюминатор, было вызвано не тем, что он впервые в жизни наблюдал тьму над океаном. Чувство вызывалось тем, что картина эта была ему уже знакомой, он знал ее уже. Он вспомнил, как впервые услышал в чтении матери начальные строки библии,— бог, простерев руку, летел в нераздельном хаосе небес, земли и воды. Таким и был безвидный хаос, возникший в его детских снах,— он клубился вот так же, как он клубится сейчас, он казался тяжелым и легким одновременно, в нем таилась и тьма, и жизнь, и вечный лед смерти, и легкость небес, и черная тяжесть руд, земель и вод.

Пассажир вытянул руку и посмотрел на свои утолщенные подагрой длинные пальцы, поросшие короткими волосами, выхоленные ногти, ощутил маленькую мозоль на пальце, образовавшуюся от многих десятилетий пользования автоматической ручкой. Но мгла над бездной оставалась мглой, и он опустил руку.

В тот момент, когда самолет выходил на Японские острова, начался восход солнца.

Первый утренний свет коснулся растрепанной белокурой головы молодого бомбардира, и вокруг нее встало

светящееся облако. Юноша склонился над прицельным устройством и, придерживая дыхание, стал следить за стрелками приборов, в последний раз выверять плавное, медленное движение ориентированной по приборам прицельной нити, еще далекой от контрольной точки.

Оба пилота сидели за пультом управления. Блек, отстраняясь, откинулся от пульта, и руки его повторили движение, которое делает закончивший игру пианист,—первому пилоту полагалось вести самолет в момент выхода на цель.

Блек переглянулся с Митчерлихом, они подмигнули друг другу — их радовала точность работы: около тысячи километров самолет шел по-слепому, во тьме, и вот секунда в секунду он вышел к той точке побережья, которая была заранее задана. Тут было чем гордиться,—человек приближался по точности своих действий к прибору, и, если бы отказала электронная лампа, нарушив автоматичность работы, человек мог бы на время заменить ее. Пареньки на «Боингах» тоже не отстали.

Радист Диль сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. По инструкции, полученной перед полетом, он мог сейчас немного передохнуть,—связь, которую он держал в продолжение всего полета, сейчас следовало прервать и возобновить с сигнала: «Иду на цель». Диль нащупал в кармане шоколадную плитку, привычным движением переломил ее и засунул себе в рот большой кусок шоколада.

«Так, пожалуй, веселей»,—подумал он, скосив глаза на свою оттопыренную щеку.

Пассажир вновь привалился к иллюминатору. Солнце нетерпеливо выплывало из тяжелой, темной воды и, легко отделившись от нее, перешло в воздух, и тотчас зарозовела снежная вершина прибрежной горы, и ее серый, мягко покатый склон, поросший японской сосной, засветился. Огромное водное пространство окрасилось зеленью и оранжевой желтизной. Немота живой поверхности океана казалась странной,—ведь тысячи всплесков, шумов, шорохов, гудение стояли над могучей водой.

А там, где сходились суша и море, в рассветной дымке, дремлющей в последних мгновениях тьмы, в полукруглой, чашеподобной котловине, закрытой от утреннего солнца склоном дальней горы, лежал город.

Из быстро тающего сумрака выступали очертания мола, портовых сооружений, угадывался массив городского парка, плешины площадей и линии улиц, блеснула многорукавная дельта реки.

Пассажир отвернулся от иллюминатора, оглядел летчиков. Две спины, одна квадратная, другая длинная, сутулая, в форменных белых кителях, — пилоты. Митчерлих, спрашивавший еще накануне о нью-йоркских концертах, делал пометки на карте. Диль сосредоточенно всасывал шоколад и спокойно наблюдал за аппаратурой.

Пассажир шевелил губами, но гул моторов, шум в ушах не давали разобрать его слов.

Джозеф оглянулся в его сторону; глаза старика жадно смотрели на руку юноши; казалось, эта рука школяра, с неподстриженными ногтями, с чернильным пятном на указательном пальце, оставшимся после писания вчерашнего письма к матери, гипнотизировала его. Ведь никто в мире — ни президент, ни школьный учитель, ни воздушный генерал Арнольд, ни физики, возглавляемые гениальным Эйнштейном, ни Дюпон, ни родная мать, — никто-никто не стоял в этот миг рядом с этим мальчиком.

Но так ли? Порвались ли нити, протянутые через океан до этих пальцев?

Слов почти не было слышно, но по неясным звукам, а больше по движению губ Джозеф понял, что большеголовый аптекарь молился. Сам Джозеф не знал всех этих сложных мыслей. Его дело — включить телеустройство, далее уже действовала автоматика.

Джозеф нажал на полированную белую кнопку — она легко ушла в выточенное стальное гнездо, и вскоре легкий щелчок, который ощутила подушечка указательного пальца, подтвердил: бомба пошла на цель. Этот миг всегда был приятен Коннору — миг успокоения, когда трудное напряжение разряжалось. В такие мгновения ему казалось, что бомба отрывалась не от брюха самолета, а от его собственных внутренностей. Сразу становилось просторней и легче дышать — пловец освободился от гири, тянувшей его вниз.

Он склонился над стереосмотровым устройством, ожидая, пока бомба совершала свою дорогу.

Могучие, жадные линзы, как бы приподняв на огромной ладони океан и землю, приблизили их к глазам Джозефа. Он увидел тысячи подробностей этого утра: плещущую и дышащую океанскую воду, и бесконечное,

вьющееся розовато-белое драное кружево приборной пены, и зелень рисовых посевов в алмазной чешуе поливных вод, и быстро плывущий на запад город,— от него веяло той острой прелестью, которой полны, особенно в утренний час, чужеземные города. Глаз быстро ловил чуждый, необычайный вид домов и улиц, паутину дорог, яркие цветные пятна крыш, а сердце подсказывало, что и в этом чужом городе в ранний час сонно улыбаются красивые девочки, матери смотрят из окон на бегущих в школу школьников, старики радуются еще одному утру, богатому теплом, светом, голубизной неба...

Вот в этот-то миг кусок урана закончил свое падение и часть его перестала быть веществом. Бомба взорвалась на заданной высоте в две тысячи футов. Вспыхнул свет, свет смерти, давящий, жгущий.

Он ударил подобно острому, быстрому топору, он давил на глаза, нажимал на череп, и протуберанцы пурпурного, золотого, синего и фиолетового пламени распороли утренний воздух до самой стратосферы, осветили землю и все, что жило на ней, поразительно прекрасным светом,— он был серым и в то же время непередаваемо ярким, в сотни раз более ярким, чем самое яркое тропическое солнце, чем самое яркое зимнее солнце, сияющее над снежной равниной.

Светящийся шар, словно рожденная вновь звезда, стремительно вознесся в небо, раскрылся в субстратосфере наподобие огромного гриба, превратился в светящийся огненный столб.

Пассажиру казалось — из воронки, выжженной в том месте земли, над которым сверкнул эпицентр взрыва, где родилась неведомая планете температура в семьдесят миллионов градусов, поднимаются клубы обращенных в раскаленный атомный пар железа, алюминия, гранита, стекла, цветов, листьев, обращенных в атомный пар человеческих глаз, смоляных девичьих кос, сердец, крови, костей — и заполняют огромный куб пространства.

В этот миг автоматически закрылись все смотровые окна, отключились приборы. Самолет ощутил удар вызванного им огромного тайфуна. Оглушенный пассажир упал на пол, зажмурился, ему представилось, что небо, земля, вода вновь вернулись в хаос... Так и не победив зла, отцом и сыном которого он является, человек закрыл книгу Бытия...

Это показалось пассажиру на миг, но он открыл глаза и увидел маленькие руки первого пилота, оставшегося сидеть за пультом управления. Эти руки были вырублены из камня, такими неподвижными и холодными казались они.

Через мгновение он услышал голос радиста и подумал: «Президент уже все знает...»

Четырнадцатилетним худым мальчишкой он ходил по тихим вечерним улицам маленького городка и разговаривал сам с собой, прохожие оглядывались на него и смеялись... Он поднимал руку к темному небу, вот так, как он пробовал поднять ее в самолете, и произносил клятву: «Всю жизнь я посвящу одному делу — освобождению энергии. Я не потеряю ни часу, не отклонюсь ни на шаг. То, что не удалось алхимикам, удастся нам. Жизнь станет прекрасна, человек полетит к звездам».

Штурман Митчерлих помог пассажиру встать, усадил его на низкое кожаное сиденье. Штурман усмехнулся бледными губами и проговорил:

— Вы меня вчера взволновали рассказом о зимних концертах...

Блек провел рукой по глазам:

— Режет, как ножом. Но здорово мы им дали за Пирл-Харбор, по самой макушке!

Пассажир подумал:

«Странно! Юноша со вчерашнего дня гипнотизировал меня, а с момента взрыва он перестал меня совершенно занимать. Где они — те, что были там, внизу?»

Радиостанции не умолкали. Вышли экстренные выпуски тысяч газет. Два миллиарда людей говорили о погибшем городе, который никого не интересовал накануне. Назывались самые разные цифры погибших — от девяноста тысяч до полумиллиона.

Сознание людей, освоившее в эпоху фашизма миллионные цифры убитых в лагерях уничтожения, было потрясено быстротой, с которой убивала урановая бомба! В одну секунду, первую секунду после взрыва, число убитых и умирающих достигло семидесяти тысяч человек! Все почувствовали: средства уничтожения поднялись на такую высоту, что не такой уж фантастической стала казаться перспектива уничтожения человечества ради процветания и величия государств, счастья народов и мира между ними.

Политики, философы, военные, журналисты, публицисты в первые же часы после взрыва доказали, что мощный удар урановой бомбы, воздав фашизму за преступления против человечества и парализовав в большой мере сопротивление Японии, ускорит приход мира, которого жаждут все матери ради жизни своих детей. Эти доказательства сразу поняли и в японском генеральном штабе и в императорском токийском дворце.

Всего этого не успел понять маленький четырехлетний японец. Он проснулся на рассвете и протянул толстые руки к бабушке. В полутьме за спущенными занавесками он видел ее седые волосы и золотой зуб. Ее узкие, слезящиеся глаза улыбались среди темных морщин. Мальчик знал, что это он доставляет бабушке столько радости,— ей приятно, проснувшись, увидеть внука. А сегодня день особенно хорош. У мальчика наладился желудок, ему предстояло попробовать кое-что получше, чем жиденький рисовый отвар.

Так ни этот мальчик, ни его бабушка, ни сотни других детей, их мам и бабушек не поняли, почему именно им причитается за Пирл-Харбор и за Освенцим. Но политики, философы и публицисты в данном случае не считали эту частную тему актуальной.

Вечером после ужина летчики сидели на террасе и выпивали. Все они возбужденно говорили, плохо слушая один другого. Днем они получили благодарности от столь высокопоставленных людей, что, казалось, легче получить на Земле радиосигнал с Марса, чем подобные служебные телеграммы.

Было очень душно, и казалось тщетным бесшумное вращение вделанного в потолок большого, как винт самолета, вентилятора.

Командир корабля подошел к перилам. Так же как и вчера, мерцали в большой высокой черноте южные звезды и неясно светлели над темной землей лепестки цветов.

Баренс повернулся к товарищам, сидевшим за столом, и сказал:

— Меня всю жизнь раздражали старинные, заросшие сады, тупой и жадный лопух, крапива, лесная неразбериха тропиков. К чему прут из земли тысячи хищных, ординарных, на одно рыло растений? Я всегда верил, что садовники истребят эти заросли и в мире восторжествуют лилии, платаны, дубы, буки, пшеница.

— Понятно,— проговорил, зловеще и дурашливо по-смеиваясь, краснолицый, как индеец, Митчерлих,— все ясно. Мы с командиром против зарослей.

Шея его была багрова,— казалось, вот-вот вспыхнет от этой огненной багровости сухая седина. Он багровел так, когда пил долго и много. Он поднес стакан Баренсу и сказал:

— За успех садовников.

Баренс выпил и, поставив пустой стакан на перила террасы, проговорил:

— Хватит хвалить садовников.

Второй пилот объяснил:

— Сегодня Баренс не хочет думать о ботанике и вегетарианстве.

— Блек, дорогой друг, это все ерунда. Не стоит говорить. Но вот где Джозеф, я хочу с ним выпить,— проговорил Баренс.

— Он вышел на минутку, моет руки.

— По-моему, он уже четыре раза мыл руки.

— Ну что ж, его так учила мама,— сказал Митчерлих.

— За кого молился аптекарь, когда Джо нажимал на железку,— за них или за нас? — спросил Диль.

— Надо было спросить, если тебя это интересует, а теперь он уже докладывает в Вашингтоне: «Митчерлих — бабник, Диль — обжора»,— а президент хватается за голову.

— Вам льстит, что он слышал твое и мое имя? — спросил Митчерлих.— Плевал я на все это.

— А почему бы и нет? Представляешь себе, как выбирали людей для такого дела! А? Выбрали-то наш экипаж.

— Ничего не понимаю,— сказал Коннор, вернувшись на террасу,— все вы ничуть не изменились.

— Ты поменьше пей, Джозеф, это все же не молоко. Перекрыты все рекорды истории, я имею в виду — сразу.

— Это война,— сказал Блек,— не забудь — это война со зверем, с фашизмом.

Джозеф поднял руку и разглядывал свои пальцы.

— Тут выпили за садовников,— сказал Баренс.— Мне всегда казалось, что это самое честное, бескровное дело. А теперь я подумал: выпьем лучше за монастыри, а?

— Выходит, что я нажал на железку, не вы. Ладно.

— Да не шуми так, ты разбудишь весь остров
— Чему смеяться? А, Диль? Вас не интересует, куда они девались? — крикнул Джозеф радисту.

— Авель, Авель, где брат твой Каин?

— Каин обычный паренек, немногим хуже Авеля, и город был полон людей вроде нас. Разница в том, что мы есть, а они были. Верно, Блек? Ведь ты сам говорил: пора подумать обо всем.

— Тебя действительно скучно слушать, — сказал Блек. — Кому нужны пьяные, глупые мысли? Знаешь, человек умирает надолго, но если он глуп, то навсегда:

На его лбу и на висках выступили красные пятна.

— Я слежу за тобой, Коннор, ты выпил не меньше меня, — сказал Диль.

— Я? Ты ослеп! Вот девочки свидетельницы — я выпил два литра.

— Пусть официантки присягнут, но это невозможно.

— Девочки, сколько я выпил? Только правду!

— Не пора ли пойти спать? — проговорил Блек и встал.

— Спать я не буду. Мне надо подумать.

— Вот видишь, ты перепил. Думать будешь в другой раз.

— Слушай, Джозеф, совет старшего по возрасту, — проговорил Блек. — Иди спать. И пусть астрономы без нас решают проблему — возможна ли жизнь на земле.

— Пусть дитя поспит с девчонкой, это заменит ему липовый чай или отвар малины. Утром ты проснешься счастливым и здоровым, — поддержал Митчерлих.

— Смотрите, Диль уже вычерчивает кривую храпа.

— Перестань ты наконец смотреть на свои ладони и пальцы! — крикнул командир корабля.

Они встретились днем, выпавшиеся, выбритые, шурились и улыбались при мысли о предстоящем длительном отпуске.

Дневное солнце било в глаза, блистало на плоскостях самолетов, и казалось, даже необъятного зеркала Великого океана было недостаточно, чтобы отразить его нержавеющей, вечный блеск. Свет солнца был щедр, огромен, затоплял пространство, мешал видсть, ослеплял людей, птиц, животных.

Баренс положил на стол пачку газет и сказал:

— Крепко же вы спали. Я завтракал один, никто не брал почты. Никто не слышал, что тут творилось.

— Что же?

— Джозефа свезли на рассвете в санитарную часть, у него стало неладно с головой.

Посмотрев на лица товарищей, он сказал:

— Не то чтобы совсем помешался, но вроде. Он отправился среди ночи купаться, а на столе оставил письмо. Потом пытался повеситься на берегу, его обнаружил часовой, и все обошлось. Первые слова его письма я прочел. Не стоит повторять: жуткое письмо, как будто именно мать кругом виновата.

Блек, сокрушаясь, присвистнул:

— Видишь, Баренс, ты вчера забыл — кроме монастырей, есть еще сумасшедшие дома. Я сразу заметил, что с ним нехорошо. Но ничего. Если это не на всю жизнь, то через несколько дней пройдет.

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА

1

Победоносные войска Советской Армии, разбив и уничтожив армию фашистской Германии, вывезли в Москву картины Дрезденской галереи. В Москве картины хранились взаперти около десяти лет.

Весной 1955 года Советское правительство решило вернуть картины в Дрезден. Перед тем, как отправить картины обратно в Германию, было решено открыть девяностодневный доступ к ним.

И вот, холодным утром 30 мая 1955 года, пройдя по Волхонке мимо кордонов московской милиции, регулировавшей движение тысячных народных толп, желавших видеть картины великих художников, я вошел в Музей имени Пушкина, поднялся на второй этаж и подошел к Сикстинской Мадонне.

При первом взгляде на картину сразу и прежде всего становится очевидно,— она бессмертна.

Я понял, что до того, как увидел Сикстинскую Мадонну, легкомысленно пользовался ужасным по мощи словом — бессмертие,— смешивал могучую жизнь некоторых особо великих произведений человека с бессмертием. И, полный преклонения перед Рембрандтом, Бетховеном, Толстым, я понял, что из всего созданного кистью, резцом, пером и поразившего мое сердце и ум,— одна лишь эта картина Рафаэля не умрет до тех пор, пока живы люди. Но может быть, если умрут люди, иные существа, которые останутся вместо них на земле,— волки, крысы и медведи, ласточки — будут приходить и прилетать и смотреть на Мадонну...

На эту картину глядели двенадцать человеческих поколений — пятая часть людского рода, прошедшего по земле от начала летосчисления до наших дней.

На нее глядели нищие старухи, императоры Европы и студенты, заокеанские миллиардеры, папы и русские

князя, на нее глядели чистые девственницы, проститутки, полковники генерального штаба, воры, гении, ткачи, пилоты бомбардировочной авиации, школьные учителя, на нее глядели злые и добрые.

За время существования этой картины создавались и рушились европейские и колониальные империи, возник американский народ, заводы Питтсбурга и Детройта, происходили революции, менялся мировой общественный уклад... За это время человечество оставило за спиной суеверия алхимиков, ручные прялки, парусные суда и почтовые тарантасы, мушкеты и алебарды, шагнуло в век генераторов, электромоторов и турбин, шагнуло в век атомных реакторов и термоядерных реакций. За это время, формируя познание Вселенной, Галилей написал свой «Диалог», Ньютон «Начала», Эйнштейн «К электродинамике движущихся тел». За это время углубили душу и украсили жизнь: Рембрандт, Гете, Бетховен, Достоевский и Толстой.

Я увидел молодую мать, держащую на руках ребенка.

Как передать прелесть тоненькой, худенькой яблони, родившей первое тяжелое, белолицее яблоко; молодой птицы, выведшей первых птенцов; молодой матери косули... Материнство и беспомощность девочки, почти ребенка.

Эту прелесть после Сикстинской Мадонны нельзя назвать непередаваемой, таинственной.

Рафаэль в своей Мадонне разгласил тайну материнской красоты. Но не в этом неиссякаемая жизнь картины Рафаэля. Она в том, что тело и лицо молодой женщины есть ее душа,— потому так прекрасна Мадонна. В этом зрительном изображении материнской души кое-что недоступно сознанию человека.

Мы знаем о термоядерных реакциях, при которых материя обращается в могучее количество энергии, но мы сегодня не можем еще представить себе иного, обратного процесса — материализации энергии, а здесь духовная сила, материнство, кристаллизуется, обращено в кроткую Мадонну.

Красота Мадонны прочно связана с земной жизнью. Она демократична, человечна; она присуща массам людей,— желтолицым, косоглазым, горбуньям с длинными бледными носами, чернолицым, с курчавыми волосами и толстыми губами, она всечеловечна. Она душа и зеркало человеческое, и все, кто глядят на Мадонну, видят

в ней человеческое,— она образ материнской души, и потому красота ее навечно сплетена, слита с той красотой, что таится, неистребимо и глубоко, всюду, где рождается и существует жизнь,— в подвалах, на чердаках, в дворцах, в ямах.

Мне кажется, что эта Мадонна самое атеистическое выражение жизни, человеческого без участия божества.

Мне мгновеньями казалось, что Мадонна выразила не только человеческое, но и то, что существует в самых широких кругах земной жизни, в мире животных, всюду, где в карих глазах кормящей лошади, коровы, собаки можно угадать, увидеть дивную тень мадонны.

Еще более земным представляется мне ребенок у нее на руках. Лицо его кажется взрослее, чем лицо матери.

Таким печальным и серьезным взором, устремленным одновременно и вперед и внутрь себя, можно познавать, видеть судьбу.

Их лица тихи и печальны. Может быть, они видят Голгофский холм и пыльную, каменистую дорогу к нему, и безобразный, короткий, тяжелый, неотесанный крест, который ляжет на это плечико, ощущающее сейчас тепло материнской груди...

А сердце сжимается не тревогой, не болью. Какое-то новое, никогда не испытанное чувство,— оно человечно, и оно ново, точно вынырнуло из соленой и горькой морской глубины, пришло — и сердце забилося от его необычайности и новизны.

И в этом еще одна особенность картины.

Она рождает новое, словно к семи цветам спектра прибавляется неизвестный глазу восьмой цвет.

Почему нет страха в лице матери и пальцы ее не сплелись вокруг тела сына с такой силой, чтобы смерть не смогла разжать их, почему она не хочет отнять сына у судьбы?

Она протягивает ребенка навстречу судьбе, не прячет свое дитя.

И мальчик не прячет лица на груди у матери. Вот, вот он сойдет с ее рук, и пойдет навстречу судьбе своими босыми ножками.

Как объяснить это, как понять?

Они одно, и они порознь. Вместе видят они, чувствуют и думают, слиты, но все говорит о том, что они отделятся один от другого,— не могут не отделиться, что суть их общности, их слитности, в том, что они отделятся один от другого.

Бывают горькие и тяжелые минуты, когда именно дети поражают взрослых разумностью, спокойствием, примиренностью. Проявляли их и крестьянские дети, погибавшие в голодный, неурожайный год, дети еврейских лавочников и ремесленников во время кишиневского погрома, дети шахтеров, когда вой шахтной сирены возвещал обезумевшему поселку о подземном взрыве.

Человеческое в человеке встречается свою судьбу, и для каждой эпохи эта судьба особая, отличная от той, что была в предыдущую эпоху. Общего в этой судьбе то, что она постоянно тяжела...

Но человеческое в человеке продолжало существовать, когда его распинали на крестах и мучили в тюрьмах.

Оно жило в каменоломнях, в пятидесятиградусные морозы на таежных лесозаготовках, в залитых водой окопах под Перемышлем и Верденом. Оно жило в монотонном существовании служащих, в нищете прачек, уборщиц, в их иссушающей и тщетной борьбе с нуждой, в безрадостном труде фабричных работниц.

Мадонна с младенцем на руках — человеческое в человеке, — в этом ее бессмертие.

Наша эпоха, глядя на Сикстинскую Мадонну, угадывает в ней свою судьбу. Каждая эпоха вглядывается в эту женщину с ребенком на руках, и нежное, трогательное и горестное братство возникает между людьми разных поколений, народов, рас, веков. Человек осознает себя, свой крест и вдруг понимает дивную связь времен, связь с живущими сегодня, всего, что было и отжило, и всего, что будет.

2

После уж, когда я шел по улице, пораженный и смущенный мощью внезапного впечатления, я не старался разобраться в смещении своих чувств, мыслей.

Я не сравнивал это смятение чувств ни с теми днями слез и счастья, которые я, пятнадцатилетним мальчиком, переживал, читая «Войну и мир», ни с тем, что я чувствовал, слушая в особо угрюмые, трудные дни моей жизни музыку Бетховена.

И я понял, — не с книгой, не с музыкой сближало меня зрелище молодой матери с ребенком на руках...

Треблинка

«Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пенё смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов... Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с легким звоном... Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливаются в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный... Вот они,— полуистлевшие сорочки убитых, туфли, колесики ручных часов, перочинные ножики, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, кружевное белье, полотенце с украинской вышивкой, горшочки, бидоны, детские чашечки из пластмассы, детские, писанные карандашами письма, книжечки стихов...

Мы идем все дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью, волнистые густые волосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше черные, тяжелые косы на светлом песке, а дальше еще и еще...

А стручки люпина звенят и звенят, стучат горошины. Точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколов.

И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку...»

Воспоминание о Треблинке поднялось в душе, и я сперва не понял этого...

Это она шла своими легкими босыми ножками по колеблющейся треблинской земле от места разгрузки эшелона к газовой камере. Я узнал ее по выражению лица и глаз. Я увидел ее сына и узнал его по недетскому, чудному выражению. Такими были матери и дети, когда на фоне темной зелени сосен видели они белые стены треблинской газовой, такими были их души.

Сколько раз всматривался я сквозь мглу в сошедших с эшелона, но всегда неясно видны были они,— то человеческие лица казались искажены безмерным ужасом и всеглохло в страшном крике, то физическое и душевное изнеможение, отчаяние застигло лица тупым, угрюмым безразличием, то беспечная улыбка безумия застигла лица людей, сошедших с эшелона и идущих в газовню.

И вот я увидел истину этих лиц, их нарисовал Рафаэль четыре века назад,— так человек идет навстречу своей судьбе.

Сикстинская капелла... Треблинская газовня...

В наше время родила молодая мать своего ребенка. Страшно носить под сердцем сына и слышать рев народа, приветствующего Адольфа Гитлера. Мать всматривается в лицо новорожденного и слышит звон и хруст разбиваемых стекол, вопли автомобильных сирен, волчий хор затягивает на берлинских улицах марш Хорста Весселя. Вот глухой стук моабитского топора.

Мать кормит ребенка грудью, а тысячи тысяч складывают стены, тянут колючую проволоку, возводят баракки... А в тихих кабинетах проектируются газовые камеры, автомобили-душегубки, кремационные печи...

Пришло волчье время, время фашизма. В это время люди живут волчьей жизнью, волки живут жизнью людей.

В это время молодая мать родила и растила своего ребенка. И живописец Адольф Гитлер стоял перед ней в здании Дрезденской галереи,— он решал ее судьбу. Но владыка Европы не мог встретить ее глаз, он не мог встретить взор ее сына,— ведь они были людьми.

Их человеческая сила восторжествовала над его насилием — мадонна пошла своими легкими босыми ножками в газовню, понесла сына по колеблющейся треблинской земле.

Германский фашизм был сокрушен,— война унесла десятки миллионов людей, огромные города были превращены в развалины.

Весной 1945 года Мадонна увидела северное небо. Она пришла к нам не гостьей, не путешественницей иностранкой, а с солдатами и шоферами по разбитым дорогам войны, она часть нашей жизни, наша современница.

Ей все знакомо — и наш снег, и холодная осенняя грязь, и мятый солдатский котелок с мутной баландой, и вялая луковка с черной хлебной коркой.

Вместе с нами шла она, ехала полтора месяца в скрипящем эшелоне, выбирала вшей из мягких немых волос своего сына.

Она современница поры всеобщей коллективизации.

Вот идет она, босая, с своим маленьким сыном на погрузку в эшелон. Какой далекий путь перед ней, из Обояни, из-под Курска, из Воронежских черноземных

земель — в тайгу, в зауральские лесные болота, в песок Казахстана.

А где отец твой, — в какой авиационной воронке, на какой командировке на таежных лесозаготовках, в каком дизентерийном бараке погиб он?

Ваничка, Ваня, почему так печально лицо твое? Судьба закрестила за тобой и твоей матерью окна родной опустевшей избы. Какой далекий путь перед вами? Дойдете ли вы? Или, измученные, погибнете где-нибудь в дороге, на станции узкоколейки, в лесу, на болотистом берегу зауральской речушки?

Да ведь это она. Я видел ее в тридцатом году на станции Конотоп, она подошла к вагону скорого поезда, смуглая от страданий, и подняла свои дивные глаза, сказала без голоса, одними губами: «хлеба»...

Я видел ее сына — уже тридцатилетним, в сношенных солдатских ботинках, тех, что не снимают за полной негодностью с ног покойников, в ватнике, порванном на молочно-белом плече, он шагал тропинкой по болоту, туча гнуса висела над ним, но он не мог отогнать миллиардный живой, мерцающий над ним нимб мошкар, его руки придерживали на плече тяжелое, сырое бревно. Вот он поднял склоненную голову, и я увидел его лицо, ровную от уха до уха курчавую светлую бородку, полуоткрытые губы, увидел его глаза и сразу узнал их — это они, его глаза смотрят с картины Рафаэля.

Мы встречали ее в 1937 году, это она стояла в своей комнате, в последний раз держа на руках сына, прощаясь, всматривалась в его лицо, а потом спускалась по пустынной лестнице немого многоэтажного дома... На двери ее комнаты положена сургучная печать, внизу ждет ее казенная автомашинка... Какая странная настроженная тишина в этот серый, пепельный рассветный час, как немые высокие дома.

А из рассветной полутьмы выплывает ее новое настоящее — эшелон, пересылка, часовые на деревянных лагерных вышках, проволока, ночная работа в мастерских, кипятилок, нары, нары, нары...

Сталин медленной, мягкой походкой, в шевровых сапожках на низком каблуке, подошел к картине, долго, долго всматривался в лица матери и сына, поглаживая свои седые усы.

Узнал ли он ее, он встречал ее в годы своей восточносибирской, Новоудинской, Туруханской и Курейской

ссылки, он встречал ее на этапах, на пересылке... Думал ли он о ней в пору своего величия?

Но мы, люди, узнали ее, узнали ее сына: она — это мы, их судьба — это мы, они человеческое в человеке. И если грядущее занесет Мадонну в Китай, в Судан, всюду люди узнают ее так же, как сегодня узнали ее мы.

Чудная, спокойная сила этой картины и в том, что она говорит о радости быть живым существом на земле.

Ведь мир, вся огромность Вселенной—это покорное рабство неживой материи, и только жизнь есть чудо свободы.

И эта картина говорит, как драгоценна, как прекрасна должна быть жизнь и что нет в мире силы, которая могла бы заставить жизнь превратиться в нечто такое, что при внешнем сходстве с жизнью уже не было бы жизнью.

Сила жизни, сила человеческого в человеке очень велика, и самое могучее, самое совершенное насилие не может поработить эту силу, оно может только убить ее. Вот почему так спокойны лица матери и ее сына — они непобедимы. В железную эпоху гибель жизни не есть ее поражение.

Мы стоим перед ней, молодые и седые люди, живущие в России. Стоим в тревожное время... Не зажили раны, еще чернеют пожарища, еще не устоялись курганы над братскими могилами миллионов солдат, наших сыновей и братьев. Еще стоят опаленные, мертвые тополи и черешни над сожженными заживо деревьями, растет тоскливый бурьян над сгоревшими в партизанских селах телами дедов, матерей, хлопцев, девчат. Еще заваливается, шевелится земля над рвами, где лежат тела убитых еврейских детей и их матерей. Еще стоит вдовий плач по ночам в несметном числе русских изб, белорусских и украинских хат. Все пережила Мадонна с нами, потому что она — это мы, потому что сын ее — это мы.

И страшно, и стыдно, и больно — почему так ужасна была жизнь, нет ли в этом моей и твоей вины? Почему мы живы? Ужасный, тяжелый вопрос,— задать его живым могут лишь мертвые. Но мертвые молчат, не задают вопросов.

А послевоенная тишина нарушается время от времени раскатами взрывов, и радиоактивный туман стелется в небе.

Вот вздрогнула земля, на которой все мы живем,— на смену оружию атомного распада идет термоядерное оружие.

Скоро мы проводим Сикстинскую Мадонну.

С нами прошла она нашу жизнь. Судите нас — всех людей вместе с Мадонной и ее сыном. Мы скоро уйдем из жизни, уж головы наши белы. А она, молодая мать, неся своего сына на руках, пойдет навстречу своей судьбе и с новым поколением людей увидит в небе могучий, слепящий свет, — первый взрыв сверхмощной водородной бомбы, оповещающей о начале новой, глобальной войны.

Что можем сказать мы перед судом прошедшего и грядущего, люди эпохи фашизма? Нет нам оправдания.

Мы скажем, не было времени тяжелей нашего, но мы не дали погибнуть человеческому в человеке.

Глядя вслед Сикстинской Мадонне, мы сохраняем веру, что жизнь и свобода едины, что нет ничего выше человеческого в человеке.

Ему жить вечно, победить.

Май 1955 г.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

1. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

*Август — сентябрь, 1941 г. Центральный фронт
Гомель, Мена (Черниговщина), дорога на Брянский*

5 августа выезжаем на Центральный фронт в Гомель — политрук Трояновский, фотокор Кнорринг и я грешный. Трояновский, со смуглым худым лицом, большим носом, у него медаль «За боевые заслуги», человек бывалый, но не очень старых лет, моложе меня лет на 10. Сперва он представился мне рубакой, рожденным в боях, но затем выяснилось, что он начал свою журналистскую деятельность деткором «Пионерской правды», причем было это не так уж давно. Кнорринг, сказали мне, хороший фотокор, рослый человек, моложе меня на год. Я старше их обоих годами, но совершенное дитя по сравнению с ними в делах войны, им доставляет вполне законное удовольствие объяснять мне предстоящие страхи. Мне это вполне понятное чувство — я сам люблю рассказывать людям о делах, в которых съел собаку, а собеседник, в полной невинности, ничего не смыслит.

Выезжаем мы завтра поездом, мягким вагоном до Брянска, а оттуда как бог пошлет. Редактор, бригадный комиссар Ортенберг, напутствовал нас, говорит, предстоит наступление. Первая наша встреча произошла в ГЛАВПУРе. Он побеседовал со мной и под конец сообщил мне, что знает меня как автора детских книг, что страшно меня удивило, я и не знал этого. Когда мы прощались, я сказал ему: «До свиданья, товарищ Боев». Он расхохотался: «Я не Боев, а Ортенберг». Ну что ж, мы поквитались, он меня принял за Клавдию Лукашевич, а я его за зав. отделом печати ПУРа.

Друг друга не познаша. Весь день пьянствовал, как и полагается новобранцу. Пришел папа, Кугель, Вадя, женья, Вероничка. Вероничка смотрела на меня такими глазами, точно я Гастелло, растрогала меня. Всем семейством пели песни, вели грустные беседы. Настроение грустное, сосредоточенное, ночью лежал один и думал. О чем думал, о ком думал, было и о чем и ком подумать...

День выезда чудесный, жаркий, дождливый, со смелой быстрой солнца и дождя, мостовые и тротуары мокрые, то блестят, то аспидно серые, а воздух полон горячей, душной влаги. Трояновского провожает красивая девушка Маруся, она работает в редакции, но, по-видимому, провожать юного воина она поехала не по поручению редактора, а по личному желанию. Мы с Кноррингом скромно не смотрим в их сторону, затем уже втроем входим в помещение Брянского вокзала. Сколько вязано у меня с этим вокзалом... мой первый приезд в Москву с этого вокзала, может быть сегодня мой последний выезд... Мы пьем сидро в буфете и едим скверные пирожные.

Вот и поехали. Все знакомые станции. Сколько раз проезжал я здесь студентом, когда ездил на каникулы к маме в Бердичев...

Оказывается, Кнорринг знает Васю Бобрышева, печатал свои фото в «Наших достижениях». Впервые за много дней отлично выспался в мягком вагоне после московских бомбежек. С нами в купе едет железнодорожник из Брянска. Он рассказывает любопытно про человека, лежавшего рядом с ним, уткнувшись лицом в землю, и броматавшего: «Как правильно сделал Иоани Грозный, когда сбросил этого холопа с колокольни...»

Ночуем на Брянском вокзале. Все забито красноармейцами, многие плохо одеты, оборваны,— это те, что уже побывали «там». У абхазцев совсем нехороший вид, некоторые босые. Всю ночь провели сидя. Над станцией появились немецкие самолеты, небо гудит, все в прожекторах. Мы все кинулись подальше от станции на какой-то пустырь. К счастью, немец не бомбил, только попугал. Утром слушали радио из Москвы, пресс-конференция, которую проводил Лозовский¹, слышно плохо, мы жадно вслушивались; как всегда, он приводит много пословиц, но пословицы эти не тешат наши сердца.

Пошли на товарную станцию искать эшелон: нас берут в санитарную летучку до Унечи. Когда сели, вдруг паника: все бегут, стрельба, оказывается, немецкий самолет обстрелял пути из пулемета. Переляк был солидный, коснулся он и меня. От Унечи — в тамбуре товарного вагона. Погода чудесная, но мои спутники говорят, что это плохо, я и сам понимаю это. Вся дорога в черных ямах, воронках, видны поломанные взрывами деревья. На полях тысячи крестьян, мужчин, женщин копают противотанковые рвы. Мы напряженно следим за воздухом, в случае чего, решили прыгать, благо поезд идет весьма медленно. В момент нашего приезда в Новозыбков — налет. Бомба упала у въезда на станцию. Дальше этот эшелон не идет. Лежим на зеленой траве, жуем и, наслаждаясь теплом и зеленью, поглядываем на небо, не выскочил бы немец.

Ночью вскакиваем, идет санитарный эшелон на Гомель, цепляемся на ходу. Висим на ступеньках, стучим, просим впустить хоть в тамбур. Вдруг появляется женщина и кричит: «Немедленно прыгайте, запрещено ездить санитарными поездами!» Это женщина-врач, призванная облегчать людям страдания. «Позвольте, но ведь поезд идет полным ходом, куда ж прыгать?» Нас, цепляющихся за поручни, пять человек. Все командиры. Просим ее разрешить постоять в тамбуре. Она молча с необычайной энергией начинает нас лупить сапожником, бьет кулаком по рукам, чтобы отцепились, дело плохо, если сорвешься — пропало. К счастью, мы сообщаем, что дело происходит не в московском трамвае, и от обороны переходим к наступлению. Через несколько секунд тамбур наш, а стерва с докторским званием испуганно и поспешно, взвизгнув, исчезает. Первый боевой эпизод.

Приехали в Гомель. Эшелон заехал очень далеко от вокзала, мучительная дорога ночью по путям, каждый раз приходится подлезать под вагоны, стучаюсь лбом, спотыкаюсь, чертов чемодан оказался необычайно тяжел. Наконец подходим к вокзалу. Он совершенно разрушен. Мы ахаем и охаем, разглядывая развалины. Проходящий железнодорожник утешил нас, сообщил, что вокзал разрушили еще до войны, чтобы построить больший и лучший.

Гомель нас встречает воздушной тревогой. Местные люди говорят, что тревогу принято здесь объявлять,

246

когда нет немецких самолетов, а отбой дают, наоборот, в то время, когда начинается бомбежка.

Гомель! Какая печаль в этом тихом, зеленом городке, в этих милых скверах, в этих стариках, сидящих на скамейках, в милых, гуляющих по улицам девушках. Дети играют в песочке, приготовленном для тушения бомб. Как солнечная полянка, вот-вот огромная туча закроет солнце, буря подхватит песок и пыль, понесет, закрутит. Немцы отсюда в пятидесяти километрах.

Штаб Центрального фронта находится во дворце Паскевича, парк прекрасный, пруд, в нем лебеди, на аллеях, под огромными липами стоят бюсты великих людей. Всюду, в большом числе, нарыты щели. Нас принял начальник политуправления фронта бригадный комиссар Козлов. Приятный человек, большой ростом, спокойный. Беседовал с нами весьма обстоятельно, по-товарищески и вполне откровенно. Он сказал нам, что Военный Совет теперь обеспокоен известием, полученным вчера: немцы заняли Рославль и сконцентрировали там очень большие массы танков. Командует ими Гудериан, автор книги «Внимание, танки!». Козлов разрешил нам ездить по частям фронта, о чем сделал соответствующую надпись на командировочном предписании. Знакомились с работниками Политуправления. Просматривали комплект фронтовой газеты. В передовой статье вычитал такую фразу: «Сильно потрепанный враг продолжал трусливо наступать».

Устроились на ночлег в редакции фронтовой газеты. Встретился с Гольцевым, он в этот момент облачался для поездки на фронт, говорил со мной весьма рассеянно и совершенно безразлично, даже о Москве не спросил. То ли его занимала целиком мысль о предстоящей поездке, то ли он испытывал ко мне отвращение ветерана к новичку. Его статейки не войдут в «золотой фонд» нашей литературы, просмотрел их во фронтовой газете — сплошная пустяковина, как говорят мои коллеги корреспонденты: «Иван Пупкин убил ложкой пять немцев».

Спим на полу, не снимая сапог, подложив под головы противогазы и полевые сумки. Спим мы в клубе «Коминтерн», в помещении библиотеки.

Пришли знакомиться с редактором — полковым комиссаром Н. Носовым. Заставил себя ждать добрых два часа, сидели в темном коридоре, а когда наконец предстали пред светлые очи и поговорили пяток минут, то я сообразил, что товарищ, мягко выражаясь, не совсем умен и что ждать с ним беседы не стоило и двух минут.

Обедаем в штабной столовой. Она помещается в парке, в веселом, пестром павильоне. И кормят нас хорошо, как кормили в домах отдыха до войны: сметана, творожок, даже мороженое на третье.

Командир спросил заросшего бородой красноармейца: «Почему не брит?» Тот ответил: «Бритвы нет». «Хорошо,— сказал командир,— пойдешь в разведку в тыл противника, под видом мужика». Красноармеец: «Побреюсь сегодня, обязательно, товарищ командир!»

Немец подслушал наши разговоры в окопах и кричит из своего окопа регулярно, по утрам: «Жучков, сдавайся!» Жучков мрачно отвечает: «А...!»

Еду с Кноррингом на Зябровский аэродром под Гомелем, 18 километров от Гомеля. Комиссар ВВС Чикурин, большой, медлительный, дал нам свой «ЗИС». Ругает немцев: «Гоняются за машинами, отдельными грузовиками, легковушками, хулиганство, безобразие».

Командир полка подполковник Немцевич, с бородкой, очень красивый. Комиссар полка Голуб, украинец, батальонный комиссар, тоже с бородкой, такой же, как у Немцевича. Аэродромные постройки разбиты бомбежкой, поле изрыто бомбами. Самолеты «ИЛы» и «МИГи» замаскированы сетками. По аэродрому ездят автомобили, развозят заправку для самолетов, «безе» и грузовик

с термосами, девушки в беленьких халатиках заправляют обедом летчиков. Летчики едят капризно, неохотно, девушки их уговаривают. Часть самолетов спрятана в лес.

Немцевич замечательно интересно рассказывает о первой ночи войны, о страшном, стремительном отступлении. Он мчал на грузовике день и ночь, подбирал командирских жен и детей. Зашел в домик и увидел наших зарезанных командиров, их видимо зарезали во время сна диверсанты — это было в западных областях. Он говорит, что в ночь немецкого нападения ему понадобилось позвонить по какому-то пустому делу, и оказалось, что связь испорчена. Хотел позвонить «в обход», но и «в обход» связь не работала, тоже была испорчена. Он сердился, но не обратил на это обстоятельство большого внимания. К началу войны много старших командиров и генералов были на курортах в Сочи. Многие танковые части были заняты сменой моторов, многие артиллерийские не имели снарядов, авиационные не имели горючего для самолетов... Когда с границы стали звонить в верхние штабы о том, что началась война, некоторые получали ответы: «Не поддавайтесь на провокацию». Это была внезапность в самом жестоком, в самом страшном смысле этого слова.

Немцевич заявил мне, что вот уже больше 10 дней над его аэродромом не появляются немецкие самолеты. Вывод он делает категорический: у немцев нет бензина, у немцев нет самолетов, все сбиты. Более уверенной речи я не слышал, «верх оптимизма». Одновременно хорошая и вредная черта, но, во всяком случае, стратег из него не получится. Обедали в уютной и маленькой столовой. Хорошенькая подавальщица. Немцевич стонет от желанья, когда смотрит на нее, говорит с ней заискивающе, робко, моляще. Она с ним — насмешливо-снисходительна, это то краткое торжество и власть женщины над мужчиной в такой ситуации, дни, а может быть часы, предшествующие «сдаче» женского сердца. Странно в этом красивом и мужественном командире истребительного и штурмового полка видеть эту трепетную покорность перед женской силой. По-видимому, он бабник нешуточный. Ночевали в огромном, многоэтажном зда-

нии. Пустынно, темно, страшно и грустно. Тут недавно еще жили сотни женщин и детей, семьи летчиков. Ночью проснулись от страшного низкого гудения, вышли на улицу. На восток через нашу голову шли эшелоны немецких бомбардировщиков, по-видимому, тех самых, о которых говорил днем Немцевич, что стоят без бензина и уничтожены. Ощущение, надо сказать, не из веселых.

Утром мы снова идем на аэродром. День боевой работы. И теперь я вижу нового человека Немцевича — сурового, собранного, резкого и делового. опускается самолет, вернувшийся с боевого вылета. Подходит, вернее, подбегает к нам человек с красным, безумным, пьяным от радостного возбуждения лицом и кричит: «Товарищ командир полка, разрешите доложить, во славу моей советской Родины я только что сбил своего первого «Юнкерса-88»!» Я уловил выражение его глаз, и на миг для меня, человека земли, стало понятным то, что происходит там, в небе, во время воздушного боя. Какие чудные страсти там, какое опьянение! Но увидел я это только на один миг. Летчик этот, майор Рязанов, он дрался в Испании, сегодня его первый полет во время нашей войны, его первая победа.

При мне вылетели на задание командир эскадрильи Поппе, Смирнов, Левша, Шорохов, Мануйленко, Михайлин, Матюшин. Рев, заведены моторы, пыль, ветер, какой-то особенный самолетный ветер, плоский, прижатый к земле. Самолеты один за другим пошли в гору, покружили и ушли. И сразу на аэродроме пусто, тихо, словно класс, из которого выбежали дети. Меня все время не покидает ощущение, точно я попал на экран кинофильма, меня самого прокручивает в этой ленте, а не только смотрю на нее, такова плотность и быстрота множественных событий. Это покер, — командир полка бросил в воздух все свое достояние, поле игры пусто. Он стоит один и смотрит в небо, и небо пусто над ним. Он либо нищ, либо вернет все с лихвой. Это великая игра, на жизнь и смерть, на победу и поражение. Мир не знал такой игры... И вот после удачной штурмовки немецкой колонны снизились и сели самолеты. На радиаторе у ведущего вlepлено человеческое мясо. Машина с боеприпасами взорвалась как раз в тот момент, когда над этим грузовиком пролетел ведущий самолет. Поппе

250

выковыривает мясо напильником; зовут доктора, он рассматривает внимательно кровавую массу и объявляет: «Арийское мясо!» Все хохочут. Да, пришло жестокое, железное время!

Полк сбил 40 в воздухе, 95 расшиб на земле.

Летчик пришел в калсонах, но с револьвером, из окружения.

Немцевича пенят за то, что он организовал переподготовку летчиков на боевом аэродроме. У него самого 1500 летных часов, 6000 посадок.

К званию Героя представлены по полку: лейтенант Каменьщиков Владимир Григорьевич, командир звена младший лейтенант Ридный Степан Григорьевич.

Мне рассказали, как после сожжения Минска слепые из инвалидного дома шли длинной цепью по шоссе, связанные полотенцами.

Рассказ Каменьщикова (Он сейчас ранен, ходит по аэродрому — рука на перевязи. Парнишка. 1915 года рождения, из Сталинграда. Отец — машинист-железнодорожник. Учился в ФЗУ, в военно-строительном техникуме. В 1934 году взяли его в летную школу. Учился три с половиной года. Выбрал истребительную группу, в 14-й штурмовой полк. По личной просьбе был переведен в 41-й истребительный. Еще до войны был командиром звена.): «Я сам ночной истребитель. 22 июня приехал с аэродрома домой. Жена, сын Руфик, отец приехал за день до этого из Сталинграда ко мне в отпуск. Вечером пошли всем семейством в театр. Пришли домой, поужинали, легли спать. Жена меня ночью будит: «Авиация над городом летает». Я говорю ей: «Маневры». Однако вышел на крыльцо посмотреть... Нет, не маневры. Светло от пожаров, взрывы и дым над железной дорогой. Оделся и пошел на аэродром. Только при-

шел, а меня сразу посадили на самолет, и я над Белостоком сразу же встретил двух «мистеров». Одного я сбил, второй ушел, а у меня патронов нет. Навстречу новое звено, а патронов нет. Я решил уходить от них. Взорвали они мне два бака, а под сиденьем третий бак. Меня как из ведра огнем облило, расстегнул ремни и выбросился на парашюте. Костюм горит, в сапоги налился бензин и тоже горит, а мне кажется, что я не опускаюсь, а вишу на одном месте. А тут «мистеры» заходят, очередями пулеметными по мне. Тут мне немец помог. Я висел как раз над водой, а «мессер» перешиб очередью стропу моему парашюту. Я прямо в воду свалился и потух сразу; а если б не это, то обязательно сгорел бы, пока до земли добрался. Вот так я прямо из дома на войну попал, в первую ночь воевать начал. Лежать долго в госпитале я не захотел, когда меня в тыл эвакуировали, я удрал обратно на фронт. Вышел на дорогу, сел на попутную машину и нашел свой полк. Я вообще без воздуха сильно хую, не могу без полета. Что делал я? Дрался, летал. Вот третьего августа утром полетел в разведку на Бобруйский аэродром, вдвоем шли, через облака вышли прямо на аэродром, все рассмотрели. А утром на рассвете пошли в Бобруйск на штурмовку. Буквой «П» шли машины. С высоты 1500 метров ударил бомбами осколочными, потом на бреющем пошли, разбили гансам 40 машин. А пятого встретил, тоже вдвоем шли, уже возвращаясь домой, одиннадцать «мессеров». Сразу на троих пошли, в упор. Не сворачиваю. На расстоянии 5—10 метров взорвал я одного «мистера». Протасову плохо стало, я с ним шел, мотор у него задымил; на него пикируют штук шесть, а на меня четыре. Я пошел на тех, что на него пикируют. Рубанул второго. Все на меня кинулись. Мотор мой задымил, пробойн много. Вышел тут на наши зенитки, скольжением ушел на них, «мессера» отошли, а я на бреющем пришел на аэродром. Числа 7—8-го полетел я прикрывать «ИЛов»; обнаружили на Старо-Быховском аэродроме авиацию. Я вышел из-под солнца с пятеркой, бросили бомбы, начались пожары, сбили «мистера» на бреющем. Вывели из строя 25 машин, повзрывали им бензобаки. Всей пятеркой вернулись. В тот же день пошли на Бобруйский аэродром и дали им там крепко прикурить. Сбили трех «мистеров» и четырех бомбардировщиков, одну «савойю» и трех «хейнкелей». Как я могу по земле ходить? Я летать должен! Я по своему организму чувствую, что

рана не двадцать шесть дней заживать должна, а десять. У немцев есть, конечно, ничего летчики, но большинство все же дерьмо. В бой не вступают, хитрят, крадутся с хвоста, исподтишка ударить норовят, они вообще до конца не выдерживают... В небе лучше, чем на земле... Волнения нет, злость, ярость. А когда видишь, что он загорелся, светло на душе. А то так бывает: кто свернет? Он или я? Я никогда не сворачиваю. Вливаюсь в машину и уж тогда ничего не испытываю. Я раз видел его глаза — пустые они... Я сам форсирую руку, чтобы быстрее выздоравливала, — правда, больно, но рука уже работает. Я без воздуха не могу жить».

Прощаемся с Немцевичем. Так как машины у нас нет, Немцевич предлагает мне полететь в Гомель на У-2. Когда узнали, что это мой первый полет, все стали смеяться, смотрели на меня, как на младенца. Кнорринг увековечил меня в момент посадки и взлета, словом, все развеселились. Самый полет меня восхитил совершенно, когда самолет вдруг, как стрекоза, легко стал перелетать над лесом, по верхушкам деревьев, заскользил над речкой, над лужками, я ощутил прелесть крыльев, преимущество стрекозы над человеком и подумал, что не так уж прав был Иван Грозный, когда сбросил холопа с колокольни.

Рассказы об окружении. Каждый приехавший любит рассказывать истории об окружении, все эти истории очень страшные.

В штабе, где раньше был Дворец пионеров, огромный летчик, увешанный сумками, пистолетом, планшетами и пр., выходит, застегивая ширинку, из комнатухи с надписью: «Для девочек». А еще раньше это был дворец князя Паскевича.

Фотограф говорит: «Вчера я видел очень хороших беженцев».

Бомбежка Гомеля. Корова, воющие бомбы, пожар, женщины, запах духов — разбомбили аптеку — переси-

лил на миг гарь. Цвета дыма. Наборщики набирали газету, пользуясь светом горящих зданий. В глазах раненой коровы картина пылающего Гомеля. Шофер Петлюра. Как мы не пользуемся природой — в лес бегаем во время бомбежки.

Диалектика войны — умение скрыться, спасти жизнь и умение биться, отдать жизнь.

Работники редакции, потерявшие семьи в Кобрине, Бресте, Белостоке.

Выученные собаки с бутылками бросаются на танки — сгорают.

Красноармеец после боя, лежа на траве, говорит сам себе: «Животные и растения борются за существование, а люди — за господство».

Рвутся бомбы, батальонный комиссар лежит на траве, не хочет уходить. Товарищи кричат ему: «Ты совсем разложился, хоть в кусточки зайди». Штаб в лесу. Над лесом рыщут самолеты. Снимают фуражки — козырьки блестят, убирают бумаги. По утрам со всех сторон стрекочут машинки. Когда самолет, на машинисток надевают шинели, так как они в цветных платьях. Писаря в кустах продолжают распри — не поделили пайки.

Исход. Шоссе — подводы, пешком, обозы. Желтое облако над дорогой — пыль. Лица стариков и женщин. Ездовой Купцов сидел на лошади в 100 метрах от позиции, когда начали отход и орудие осталось. Немцы сыпали минами. Он вместо того, чтобы ускакать в тыл, поехал к орудию и вывез его из болота. На вопрос политрука, как это он пошел на подвиг и почти на верную смерть, ответил: «У меня душа простая, дешевая, как балалайка, смерти не боится, а боятся те, у кого душа дорогая».

Летчики говорят: «Герман летит». Пехота: «Вот он, стервятник», «Он, немец». «Юнкерс» на большой высоте, освещенный солнцем, похож на полупрозрачную вошь —

крылья загнуты, как лапки. Вижу много белых грибов — печально смотреть на них (дача). Совещание у бригадного комиссара Козлова. Он приятный человек — мягкий, расположенный, но внутренне сильный. Отправляли инструкторов на фронт. Очень ясно видны люди — кто хочет, а кто нет, кто просто принимает приказ, кто хитрит и откручивается. Все сидят и видят это, и хитрящие видят, что всем понятна их хитрость. А над головой летают немцы.

102 СД. Материалы о героизме личного состава.

Повар красноармеец Мороз. Красноармеец попал под минный обстрел: кухня перевернута, лошади убиты, сбруя порвана. Сделал сбрую из плащ-палатки, нашел лошадей, поставил на колеса кухню, погрузил на нее раненого и уехал из-под огня.

Отдельный дивизион ПТО. Расчет орудия младшего командира Ткачева. В упор били по немцам, пока не был выведен весь дивизион. Водитель трактора Модесв погрузил на трактор всех раненых и вывез. Все тяжело раненные забрали с собой оружие.

Конешкин за два дня до боя был исключен из комсомола за потерю билета. Он тремястами снарядами уничтожил до батальона немцев.

Таинственная картонка о мирном договоре найдена на позиции полка.

Глушко, капитан-орденоносец. Противник занял Гумнище. Капитан Филатов, командир ОРБ, получил приказ отбить Гумнище. Глушко, командир дивизиона гаубичного полка, точным огнем, прямой наводкой, зажег сарай, в котором сгорели немцы, разбил танк, бронемашину, захватил пленных, штабную машину, танкетки, автоматическое оружие. В этой операции погиб Филатов.

Лейтенант Яковлев, комбат, на него шли немцы совершенно пьяные, с красными глазами. Отбили все атаки. Яковлева на плащ-палатке, тяжело раненного, хотели вынести из боя, он закричал: «У меня есть голос, чтобы командовать, я коммунист, и я с поля боя уходить не могу».

О приеме в партию: принят командир орудия Гергель. На 3/8 подано 108 заявлений, принято 47 человек.

Весь расчет был выведен из строя. Гергель сам заряжал, наводил, вел огонь, уничтожил несколько бронемашин, большое количество пехоты и несколько мотоциклетов.

Капитан Глушко принят в партию. Попав в окружение с одним орудием, стрелял до последнего снаряда, взорвал орудие и вывел с боем всех своих бойцов.

В Юдичи не было воинских частей, налетело 7 бомбардировщиков. 13/8 в два часа дня заживо сгорел старик.

Поездка к фронту

Знойное синее утро. Тихий воздух. Деревня, полная мира. Славная деревенская жизнь: играют дети, старик и бабы сидят в садике. Едва мы проехали — 3 «юнкерса». Взрывы бомб. Красное пламя с белым и черным дымом. Вечером мы проезжали обратно. Люди с безумными глазами — измученные бабы ташат вещи, выросшие вдруг трубы стоят среди развалин. И цветы — золотой шар, пионы мирно красуются.

Штабная курица гуляет между землянок — крыло в чернилах.

Вышла из окружения 121-я дивизия.

Военный Совет. Высокий, с небольшой, лысеющей головой командующий Центральным фронтом Ефремов. «О, да здесь орехи есть»,— и все мрачно улыбнулись.

Пономаренко. Разговор с генералом: «Вы не смеете ругать по матушке членов ЦК». Генерал смущенно: «Я не его, я вообще матерился».

Приказ ночью: открыть ураганный огонь по Новобелице и по Гомелю. Небо запылало. В шалаше командующего тихий разговор. Голос Ефремова: «Если помните, в «Путешествии в Арзрум...» И другой голос: «Караимы не евреи, они происходят от хазар...»

А небо стало светло-желтым, словно луна взошла. И от этого шалаш кажется еще темней. И тихие, спокойные голоса... Приказы командующего, как удары топора.

Гапанович — замечательный человек — пыхтит трубкой, воля, спокойствие, здравый смысл. Грустит. Любит сидеть один. Долго, долго думает. Говорит соленые слова. «Ну, кавалерию я с 14-го года помню, за двести верст от фронта кур воруют и баб». Гуляет один, тихо, медленно, и думает. Глаза светлые; сам небольшой, плотный.

Заседание ЦК Белорусской компартии в лесу, на последнем клочке белорусской земли. Короткое, железное заседание. Вопросы решаются суровые, лишних слов нет... Диверсии, взрывы...

Население. Плачут. Едут ли, сидят ли, стоят ли у заборов — едва начинают говорить — плачут, и самому невольно хочется плакать. Горе!

Пустой дом, семья уехала вчера, хозяин уходит. Старик сосед вышел проводить. «А собачка останется?»

«Не захотел пойти». «Я его буду годувать». И вдруг зарыдал...

А дом остался — зреют на крыше зеленые помидоры, цветы радуются в саду, в комнате чашечки, баночки, в вазонах фикусы, лимон, всходят маленькие ростки пальмы. Всюду, во всем рука хозяйки, хозяйина — рогулька запирает ворота, умывальник, буфетник, глупые картинки на стенах. Учебник: «Родная литература».

Пыль. Пыль белая, желтая, красная. Ее поднимают копытца овец и свиней, лошади, коровы, телеги беженцев, красноармейцы, грузовики, штабные автобусы, танки, орудия, тягачи... Пыль стоит, клубится, вьется над Украиной...

Ночью летят «хейнкели» и «юнкерсы». Они распознались среди звезд, как вши. Воздушный мрак полон их гудения. Ухают бомбы. Вокруг горят деревни. Темное августовское небо светлеет... Когда падает звезда, либо когда днем гремит гром, все пугаются, а затем смеются: «Это с неба, с настоящего неба...»

Старушка думала в колонне встретить сына, простояла весь день в пыли до вечера. Подошла к нам: «Бойцы, возьмите огурчиков, покушайте на здоровье». «Бойцы, пейте молоко», «Бойцы, яблочек», «Бойцы, творожку», «Бойцы, возьмите...» И плачет, плачет, глядя на идущих.

Старик во время бомбежки пошел из щели за шалкой — ему снесло голову вместе с шеей.

Вспоминать занятые города, в которых когда-то побывал, так же, как вспоминать умерших друзей. Бесконечно грустно. Они кажутся странно далекими и в то же время близкими — и жизнь в них, как тот свет...

Колхозный сад в дер. Дяговой. Дивчина просит у нас яблок. Сад-то ее... Старик сторож молча смотрит, как мы обрываем яблоки. Он говорит о дореволюционных хозяевах, вспоминает все подробности, как звали, как имена и отчества. Теперь это часто.

Огурцы. Четыре человека из районной «Плодоовоши» грузят огурцы на станции под бомбежкой. Они плачут от страха, напиваются, а вечером с украинской насмешливостью хохочут друг над другом, едят сало, мед, чеснок, помидоры. Один из них замечательно изображает вой немецкой бомбы, взрыв.

Б. Король их обучает, как обращаться с ручной гранатой. Он считает, что они станут при немцах партизанами, а я чувствую их разговор — они хотят при немцах служить. Один собирается быть уездным агрономом, и смотрит на Короля, как на дурачка.

Лицо и душа народа: за три дня проехали через Белоруссию, Украину и приехали в Орловскую область. Какое отступление! Народ в несчастье открылся своей лучшей, благородной, доброй стороной. Черты сходства трех народов и черты различия, глубокого различия. Крепче, сильнее всех русский мужик; печальное и мягкое, лукавое и чуть-чуть неверное лицо украинцев; спокойная и черная тоска белорусов.

Собаки мчались через мост из горящего Гомеля вместе с легковыми машинами.

Снова вспомнил девушку Аринку из деревни Дяговой. Сама печаль, сама черноглазая поэзия народа. Черные, немые ноги, рваное платье, нищета. Мы ее угощали яблоками из ее колхозного сада.

Огромное орудие в черно-желтом облаке пыли ползет по дороге, на дуле два красноармейца, лица черны от пыли, пьют воду, пьют из каски.

Пленный, сопливый мальчик, плачет, говорит о маме. Его ведут шесть красноармейцев. Он шел на фронт 1200 км пешком.

Комендант — личность централизованного порядка...

Новое знание: куст, а ты думаешь — грузовик.

Франгер фон Лангерман унд Эленкампф — генерал-майор. Из показаний пленного.

Немецкий майор, мертвецки пьяный, кричал своим солдатам с автомобиля: «Они идут! Солдаты, нам ничего не осталось, как храбро умереть...» (Из захваченных доносов командиров подчиненных ему рот, подавших на него жалобу, как на сумасшедшего.)

2. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Сентябрь 1941 года. Брянский фронт.

Орел. Ночная дорога. Тьма. Испорчены тормоза машины. В темноте налетаем на беженцев, крик женщины. Евреи-беженцы. Приезд в Орел. Город во тьме. Прежде далеко из сельской мглы было видно свечение города, сейчас мгла. Гостиница. Постель! Впервые за время войны спанье без сапог, без одежды. Разговор с Москвой по телефону, тоскливое чувство от этого бесплотного общения с городом друзей, семьи, моего труда.

Поездка. Два красноармейца в пустом роскошном саду. Тихое ясное утро. Они связисты. «Товарищи командиры, я вам сейчас яблоков натрушу». Тяжелые и негромкие удары падающих яблок в тишине покинутого сада. Грустный белый помещичий дом, он снова во второй раз покинут, ушел второй хозяин, идет новый. И ве-

слое, славное лицо красноармейца с грудой яблок в руках.

Разговоры в деревнях. Всякие. Злые. Откровенные. А сегодня громкоголосая молодая баба кричала: «Неужели мы подчинимся германцу? Допустим до такого позора?»

Нарастающий гул орудий, нарастающая тревога, напряжение. В золотой пыли заката, среди красных сосен, по широкой, белой, песчаной дороге движется артиллерия, боеприпасы, конные обозы. Идет пехота. Молодой, пыльный и потный командир с огромным желтым георгином, освещенный солнцем заката.

Ночной бой. Канонада. Удары орудий, снаряды воют сперва тонко, а потом гудят, как ветер. Грохот мин. Много быстрого белого огня. Тревожней всего пулеметы и мелкая винтовочная чечетка. Зеленые и белые ракеты немцев, их подлый, нечестный, не дневной свет. Рябь выстрелов. Людей не видно, не слышно. Бунт машин.

Утро. Поле боя. Плоские, как блюдца, минные воронки, с разбрызганной вокруг земель. Противогазы, флаги. Ямки, вырытые бойцами во время атаки, под пулеметные и минометные гнезда. Во вред себе рыли ямки кучно, жалась друг к другу, две ямки — два друга, пять ямок — земляки. Кровь. Убитый за стожком сена, со сжатым кулаком, запрокинувшись, точно страшная скульптура: смерть на поле боя... а рядом с ним маленькая бутылочка с махорочкой, коробок спичек.

Немецкие укрытия устланы соломой. Солома сохранила отпечаток человеческих тел. У окопов пустые консервные коробки, лимонные корки, винные и коньячные бутылки, газеты, журналы. У пулеметных гнезд следов еды нет, лишь много окурков и разноцветных папиросных коробок — пулеметчики не ели, а много курили. Патроны и мины. При прикосновении к немецким вещам,

газетам, фотографиям, письмам — желание обязательно мыть руки.

Командир дивизии — высокий, скептический, желчный, в красноармейском ватнике полковник Мелешко. На слащавое замечание корреспондента, как возбужденно и радостно смотрят раненые, выходя из боя, комдив, усмехнувшись, добавил: «Особенно раненные в левую руку» (самострелы).

Немецкий пленный на опушке — жалкий, чернявенький мальчишка. С бело-красным платком на шее. Его обыскивают. Он вызывает у бойцов чувство удивления — чужой, бесконечно чужой этим осинам, сосенкам, грустным сжатым полям.

Чувство перемежающейся опасности — сперва кажется здесь опасно, а затем вспоминаешь это место, как московскую свою квартиру.

Кладбище — внизу, в долине бой, горит деревня, по левую руку от нас пикируют 12 немецких бомбардировщиков. На кладбище спокойно, в сгоревшей деревне квохчут куры, «несутся». И наш Петлюра, хитро улыбаясь, говорит: «Я вам сейчас яичек принесу». В это время со свистом налетел «мессершмитт», Петлюра, забыв о яичках, рухнул в яму меж могил.

Опять бой. Минометы и артиллерия.

Ночевка в лесу. Сине-голубое небо, меж стволов сосен яркая луна. Капли с шорохом соскальзывают с игл, туман и мелкий утренний дождь.

В лесу. Слышны автоматы «кукушек». «Кукушки» — финны. Отовсюду — частая ружейная стрельба.

Утро. Пошли в медсанбат навестить Уткина², ему оторвало пальцы осколком мины. Хмуро, дождь. На 262

маленькой полянке среди осинок около 900 раненых. Кровавое тряпье, обрезки мяса, стон, тихий вой, сотни мрачных, страдающих глаз. Молоденькая рыжая докторша потеряла голос, всю ночь оперировала, лицо у нее белое — вот-вот упадет. Уткина увезли уже на «эмке». Она улыбнулась: «Я его режу, а он стихи мне читал». Голос едва слышный, помогает себе говорить руками. Несут новых, все мокрые от дождя и крови.

Подполковник шел из Волковыска, в лесу встретил трехлетнего мальчика. На руках пронес его через сотни верст, болот, лесов. Я видел их в нашем штабе. Мальчик белоголовый, спал, обняв шею подполковника. Подполковник рыжий, совершенно оборванный.

Генеральский повар. Работал до войны в ресторане. Стоит со своей кухней в избе и смеется над деревенской едой. Бабы на него сердятся, зовут не Тимофеем, а Тимкой, он с ними грозен.

Человек один мало ел. Баба о нем сказала: «Закормленный он».

Рассказ Николая Алексеевича Шляпина, комиссара, члена Военного Совета 50-й Армии, о том, как он выходил из окружения. (Полковой комиссар.)

(Он умный, сильный, спокойный, большой, медлительный. Люди чувят его внутреннюю власть над ними.)

Вот запись:

«24 июля 94-я дивизия дралась под местечком Балашово. Полк был смят немецкими танками. Народ побежал, ночью приняли решение отойти за реку Вепь. Противник опередил, занял переправы и открыл огонь; люди побежали. Я бросился наперерез, в лесу собрал 5 групп. Решил пойти на прорыв у деревни Мамоново с 150 людьми и с 4 гаубицами. Когда вышли к Мамонову, их окружили 25 танков, вывели из строя пушки. И снова все побежали в лес. В лесу снова собрал 100 человек, испуганных, деморализованных; было 4 станковых пулемета. Дивизия и генерал ушли на тот берег. Близко танковая группировка немцев, слышали немецкую речь. Уложил людей спать, выслал разведку; оказалось около 700 танков. Лесок жиденский, молодой.

В 10 часов вечера собрал бойцов, сказал: «Не мы немцев боимся, а немцы нас боятся. Согласны снова пойти на прорыв?» «Согласны!» У района Приглова (?) осветили нас ракетами, и все войско разбежалось, осталось человек 20. Всю ночь их собирал, снова собрал 120 человек. Решил уйти в тыл к противнику, организовать. По пути встретил работников штаба и человек 40 людей. Пошли по азимуту на запад в лесной массив. Ушли в глубь леса. Встретили еще много людей, разыскали штаб дивизии, командовал подполковник Светличный. Прорыв решили отложить. Нашли 500 человек, составили полк, да тысячи 2 в дивизии. 29 июля снова неудачная попытка прорвать фронт противника. Светличный сбежал. Нашли листовку, как вести себя в окружении противника; воспринял ее как приказ. Сам стал во главе и подполковник Белявский. Поставил задачу: не прорыв, а уйти дальше на запад и бить противника. 30 июля ночью немцы послали 3 броневика в наш лес. Один подбили пушкой, два отошли. Немцы бросили батальон пехоты, мы его обратили в бегство. Ушли еще дальше на запад, в тыл к немцам. Помню эту первую ночь, когда пошли на прорыв. Мне стало ясно, что сразу ничего с этими людьми не сделаешь. Осветили нас ракетами. Я кричу: «Делай, что я!» И лег на землю. Легли. Пошли дальше. Снова ракеты. «Ложись!» Оглянулся. Все бегут обратно в лес. Поднял гранату: «Стой! Гранатой сейчас!» Никто и не оглянулся. Тут меня ярость взяла. Ну, думаю, я из вас сделаю героев, сукины дети... И сделал...

31 июля принял решение разбить дивизию на пять отрядов, отряды на роты, организовали штаб, назвались сводной дивизией, создали политотдел, назначили командиров и комиссаров частей, прокуратуру, партийный отдел. Поставил перед командирами и комиссарами задачу — ни о каком прорыве не говорить, активно бить врага в тылу. Приказал всем надеть петлицы, нарисовать или вышить знаки различия. Требовал строго отдания чести. За малейшее нарушение арестовывал на 2—3 суток строгого ареста, по уставу — хлеб и вода, но так как хлеба не было, то, значит, сидели на воде. Действовало. Нескольких приказал расстрелять, одного сержанта, схватившего крестьянку за горло.

Второе: привить вкус к бою. Начали с мелочей: напасть на отдельного мотоциклиста, взять пленного. И сразу поднялся дух, когда захватили двух мотоцикли-

стов и мотоциклы их притащили к нам. 4 августа снова захватили мотоцикл. Вообще-то это пустяк, ведь и ведущий, и сидящий сзади не боеспособны, а тот, что в коляске, не имеет прицельных возможностей. Стал я возить своих красноармейцев на мотоциклах, и это подняло дух. Отбили 20 мотоциклов и бронемашину. Затем уж пошли на крупную операцию: напали на 70 машин, большую колонну, открыли артогонь, пехота противника бежала, подавили артогонь немецкий. Отряд лейтенанта Гринюка дрался с 11 мотоциклистами и обратил их в бегство. После этого дела дух бойцов сильно укрепился. Затем еще захватили 12 мотоциклов, 8 пленных, 2 штабных машины, подбили один танк, 2 бронемшины и произвели нападение на штаб немецкого полка, автоколонну, в ней было 800 человек; напали на минометную батарею, на артиллерийские позиции.

Посылали разведчиков — разведать переправы и связаться с нашими частями. Комиссара захватили в плен. Немцы пленных не кормили, велели крестьянам кормить. Колхозники с косами заходили к пленным, отдавали им косы, и те с косами уходили в лес. Так ушло около 60 человек.

7 июля к нам пришел генерал Болдин с сотней человек. 8-го он принял командование. Послали 4 разведки, приказали разведчику политруку Осипову связаться с Коневым. Это удалось. Конев дал задачу о совместном действии с войсками, назначил срок. Пока время не теряли. Выследили, что немцы заготовили 20 коров, послали людей, убили немцев, коров к нам угнали. Снова немцы заготовили 28 коров, колхозники пришли и предупредили нас; отняли и эти 28 коров.

Политработа: сочетание демократии с суровостью.

«Почему вы не защищаете родину?»

«Нас командиры бросили!»

«Дам вам задачу — не выполните, расстреляю!»

«Слышали выстрелы?»

«Да».

«Знаете сержанта?»

«Знаем».

«Я его расстрелял за колхозницу; он схватил ее за горло».

«Правильно».

«Пойдете на прорыв?»

«Все пойдем!»

А вначале, помню, поставил я задачу — нужно унич-

тожить два пулемета. Говорю: «Я пойду сам, кто со мной?» Молчат. «Кто со мной, поднимите руку». Ни один. «Эге, смельчаков готовых нет, их надо создать».

Ловили связистов. Резали провод и прятались: приходил связист. Не нужно голого администрирования, не нужно орать, можно из каждого бойца воспитать храброго человека. Дисциплина: встань как следует, честь отдай, одежда пусть будет в порядке. Для проверки дал задание четверем командирам и двум политрукам задержать грузовик на шоссе. Пришли ни с чем. «Я вас сейчас расстреляю. Эй, дайте сюда ручной пулемет». Стоят, и пот с них льется. В последнюю минуту спрашиваю: «А может быть, послужите родине?» Замечательно отличились, разбили грузовик и броневик, и не было после лучше у меня людей.

Ели мясо без соли и без хлеба.

70 тяжелораненых, всех вылечили, всех вывезли. Некоторые предлагали отдать раненых на излечение колхозникам, но я не позволил. Всех вывел и вывез. Санитар один придумал выжимать сок из малины и черники — раненые от этого сока хорошо очень поправлялись.

Попал в плен во время разведки наш красноармеец Пашков. Немцы на него нагрузили патроны, сумки, вещевые мешки, велели тащить, а сами пошли налегке. Привели его в штаб. И сразу допрос.

«Кто у вас в лесу командующий?»

«Нет у нас командующего».

«Сколько вас там?»

«Тридцать восемь».

«Ты смеешься над нами, мерзавец?»

«Нет».

«Конину жрете дохлую».

«Что вы, у нас там мясо, крупа, масло, мед, хлеб».

После таких ответов его повели три немца на опушку леса, дали лопату: «Копай!» Выкопал он на сантиметров тридцать. «Хватит с тебя, сдохнешь так! Снимай сапоги». Прострелили ему оба плеча, он упал, его закопали. Он выполз из ямы, дополз к своим. Его возили по частям, полумертвого, белого, показывали бойцам, и он сам рассказывал. Это очень действовало на бойцов.

Стали издавать газету «За родину». Вышло пять номеров. Захватили рацию у немцев, давали сводку Информбюро и о подвигах бойцов. Огромный был успех. Редактор — мой адъютант лейтенант Кленовкин. 13 че-

люди пристроились в деревню, к бабам — днем косили, а ночью били немцев. В последнее время мы облагали, а немцы боялись: подходили к лесу танки, открывали ураганный огонь, и после этого на полном газу через лес мчались грузовые машины. Коммунисты заняли свои передовые места, а то вначале совершенно ступались.

Наш военврач неожиданно встретил в лесу своих родственников — шесть человек, бежавших из Минска евреев, со стариками и с ребятишками. Это действительно встретились, как в сказке. Трех девушек мы устроили ухаживать за ранеными. Пристроили еще 12 человек, среди них глубокий старик — еврей с коровой, впряженной в тележку. И его вывели целым и невредимым. Когда пошли в атаку, они все двинулись за нами.

Трусы говорили вначале: «Большой группой не выйдем, давайте мелкими группками пробираться, так незаметней». Вообще вначале страха много было. Помню разговор с начальником штаба полка орденосцем капитаном Лысовым: «Товарищ комиссар, петлицы спорите». «Неужели вы думаете, что я живым сдамся в плен?» А в первый день вообще говорили шепотом: «Товарищ комиссар, разрешите доложить, противник!» А это птицы кричали.

Сперва не мылись, не брились. Я требовал от всех чистоты и сам брился и мылся до утомления.

Личная моя биография простая: красноармеец, потом ротный библиотекарь, потом помощник политрука, затем политрук, политлектор, секретарь партбюро, инструктор, комиссар полка, начальник политотдела, комиссар дивизии, член Военного Совета армии. Сам я мариупольский рабочий. В армии с 1919 года. Стал большевиком после забастовки на заводе в 1916 году.

В лесу ко мне хорошо относился народ. Красноармеец подарил на память вышитый кисет и табачок-самосад, огромная ценность в лесу. Другой говорит: «Я для вас сберег банку консервов». Я ему сказал: «Дели с товарищами».

Ну и пришел день проверки, решающий бой. Подтянулись поближе. Винтовки и патроны у всех. 8 пушек 76 мм, 3 противотанковых 45 мм, около 20 станковых пулеметов, 60 ручных пулеметов, ротные минометы. Все люди, которых собрал с такими мучениями. Навалились мы на немцев с тыла, в момент боя вызвали панику, ударили дружно: убили 1500 человек, разбили 100 ма-

шин, 130 мотоциклов, две зенитных батареи и один артиллерийский дивизион. Кричали «ура» так громко, что Конев за шесть километров слышал. Трех офицеров один боец спугнул криком «ура», они пили кофе под кустиком; из их же автомата застрелил их. Другой боец убил трех немцев и тут же в окопе сел есть консервы. Когда я крикнул на него, он мне сказал: «Товарищ комиссар, я их сейчас разобью, поесть очень охота».

Видел своими глазами, как известный мне трус гнал 40 немцев, заколол 8 из них. Все, кто в первый день бегали, как зайцы, дрались, как львы. Когда подходили к штабу армии, шрапнель рвалась над головой, но ни один даже не пригнулся, шли в рост. И я снова вспомнил паническое бегство от ракет. Вывели всех — раненых, женщин, детей, стариков, которые с нами спасались, пленных даже вывели, 70 овец, 40 коров, 100 повозок и пр.

Встреча была замечательная, обнимались, целовались, отдавали нам махорку, хлеб. 11-го вырвались, а 13-го уже воевали. Провели митинг, меня спрашивали: «Долго ли мы будем еще без дела сидеть?» Это на второй-то день. Грустно мне было с ними расставаться, все донецкие рабочие, мои ведь земляки...»

(Это рассказал мне Шляпин. Мы лежали с ним в сарае на сене, и кругом бухало. А потом в этом же сарае девушка Валя заводила патефон, и мы слушали «Синенький, скромный платочек падал с опущенных плеч...». И худенькие осинки дрожали от разрывов и трассирующие шли в небо.)

Рассказ младшего политрука Кленовкина, адъютанта Ник. Алекс. Шляпина

Кленовкин такой же огромный, плечистый, как и Шляпин, но молодой очень и худой. Вот его рассказ:

«Разведка — движение, огневые средства. В жаркие дни лошади фыркают, удилами бренчат, пришлось лошадей бросить. Стали мы их вначале есть. В районе Секачи, село Гунино, стоял немецкий штаб. Мы видели, как немцы бреются, пьют чай, слушают патефон.

Вдоль дороги становимся цепочкой и смотрим.

Стал я начпродом, пошел в село, взял красноармейца с собой. Посмотрел в бинокль — в селе немцы. Посмотрел на второе село — опять немцы. Два красноар-

мейца увидели разбитую немецкую машину с хлебом. Стали сгружать хлеб в плащ-палатки. Вдруг шум, бронемашин едет. Мы утащили хлеб в кусты, смотрим: немцы выскочили — лопочут, плечами пожимают, один пустил очередь, и они поехали дальше. 25-го комиссар построил боевой порядок, пехоту вперед, за ней артиллерия. Вышли на поляну к селу. Вошли в село, комиссар верхом на серой лошади. Окружили нас танки и броневики. Комиссар дал команду: «К бою!» Подбили два танка, но командир дивизиона струсил. Комиссар побежал к орудийным расчетам и стал ими командовать. Комиссар приказал: «Отходить в лес!» Отошли в лес, отстреливаясь от автоматчиков. Комиссар был исключительно спокойный, смелый, не терялся никогда. Если среди бойцов шел слух: «Здесь комиссар!» — все шли к нему. Все время был в отрядах, беседовал, узнавал, какое у людей настроение. Курили клевер, сушили листочки. Выпустили 7 номеров газеты, печатали их две машинистки.

Комиссар ездил по отрядам на мотоцикле.

Воду возили в саперной лодке, от домика лесника возле ручья. Сперва с деревьев смотрели, как немцы воду берут, потом наблюдатели с деревьев кричат: «Выезжай, уехали!» Комиссар в бою идет спокойненько, медленно. «Вот сюда идите, вот так». Идет так, будто боя и нет. Все смотрят на него и ждут. «С нами комиссар».

Немецкая стрельба

Немцы стреляют. Вечером выйдут на опушку леса и начинают бить из автоматов. Капитан Баклан подошел к немцам на 50 метров, они не заметили его. Он лежал и наблюдал — их поведение напоминало поведение сумасшедших. Вот началась беготня и дикий крик. В воздух полетели десятки ракет, артиллерия начала стрелять без цели, затрещали пулеметы, автоматы стреляли в божий свет. А Баклан лежал и с удивлением следил за поведением немцев. Прежде чем войти в лес, немцы дико пуляют, а затем мчатся на полном газу.

Есть поговорка Шляпина: толк выйдет, а бестолочь останется.

Убит был немецкий расчет и выбиты лошади. Немцы пригнали военнопленных и на них вывезли орудия.

Сплошь угнали население, готовят оборону.

Под ураганным минометным огнем немцы в панике бросились в озеро — и утонули. «Это наше новое оружие» (капитан с бородкой). Деревня Новая Буда.

Наступление на широком фронте. Нормы насыщения недостаточные. Части, участвовавшие ранее в боях, показали большие результаты. Полк Ахмерова шел в бой без остановок и колебаний, занял ряд населенных пунктов, прикрыл дивизию, потеряв всего трех человек. Причины — умелое маневрирование огнем, опытность бойцов.

Разведка заходит в тыл противника на 12 километров. Разведка саперов — огневые точки, минометы.

Характер боя — потери противника очень велики, больше взвода не участвовало. В 11-й роте 107-го полка осталось 130 человек и 5 офицеров к началу наступления; в 10-й — 60 человек и 3 офицера; в 12-й — 30 человек и ни одного офицера, ею командует фельдфебель, т. е. потери около 70%. Срочно перебрасывают эрзац-батальоны, они шли на пополнение, но так как укомплектовывать было некого, батальоны пустили самостоятельно.

Характер 34-й дивизии — сборная дивизия. Из 13 человек убитых — 2 старых солдат, остальные 11 из разгромленных частей.

Пленные — запасные 159-го батальона, говорят, что настроение у них у всех — сдаваться в плен. Почти у всех солдат и многих младших офицеров находят наши листовки и газеты. У одного унтер-офицера найдено 5 советских газет, первая от 27 июля.

Найдена газета с двухмесячными итогами: немецкие и наши. Подчеркнуты красным цифры для сравнения.

Эрзац-батальоны укомплектованы гестаповцами и эсэсовцами, которые дробятся по запасным частям. Если солдат отрывается, то его обстреливают. После залпа наших новых минометов зарегистрировано до 1500 убитых, остальные унесены немцами. Доносят о крупных лазаретах в районе Клетни — в них до 4000 раненых немцев.

Прошли на правом фланге почти 9 километров. Дивизия Шелудько заняла 14 деревень: Красный Маяк, Вязовск, Девочкино, Казаново, Маковье, Ржавец, Голубея, Дубовец, Бересток, Коробки, Соболево, Волки, Тушево, Вилки.

Дивизия Серегина заняла 4 деревни.

Дивизия Рякина заняла 5 деревень.

Продвижение 8 и 6 километров.

В избе Петров и Шляпин³. Петров — маленький, носатый, лысеющий, в засаленном генеральском кителе, с Золотой Звездой, «испанской». Петров долго объясняет повару, как печь бисквитный пирог, как и почему всходит тесто, как печь пшеничный, а как ржаной хлеб. Он жесток очень и очень храбр. Рассказывает, как выходил из окружения, не сняв мундира, при орденах и Золотой Звезде, не желая надеть гражданскую одежду. Шел один, при полном параде, с дубиной в руке, чтобы отбиваться от деревенских собак. Он мне сказал: «Я всегда мечтал в Африку попасть, чтоб прорубаться через тропический лес, один, с топором и с винтовкой». Он очень любит кошек, особенно котят, подолгу играет с ними.

Адъютанты: у Шляпина — высокий, красивый Кленовкин; у Петрова — маленький, подросток, с чудовищно широкими плечами и грудью. Этот подросток может плечом развалить избу. Он увешан всевозможными пиштолетами, револьверами, автоматом, гранатами, в карманах у него краденые с генеральского стола конфеты и сотни патронов для защиты генеральской жизни. Петров поглядел, как адъютант его быстро ест с помощью пальцев, а не вилки, сердито крикнул: «Если не научишься культуре, выгоню на передовую, вилкой, а не

пальцами есть надо!» Адъютанты генерала и комиссара делят белье, разбирают его после стирки и норовят прихватить лишнюю пару подштанников.

Переходим через ручей. Генерал перескочил, комиссар вошел в ручей и помыл сапоги. Я оглянулся: генеральский адъютант перепрыгнул ручей, комиссарский зашел в воду и помыл сапоги.

Вечер при свечах. Петров говорит отрывисто. На просьбу командира дивизии отложить атаку из-за убыли людей говорит: «Передайте ему, я тогда отложу, когда он один останется». Затем сели играть в домино: Петров, Шляпин, девочка — толстощекая и хорошенькая Валя — и я. Командующий армией ставит камни с грохотом, прихлопывая ладонью. Играем в «обыкновенного», потом в «морского», потом снова в «обыкновенного». Время от времени игра прерывается: в избу входит майор-оперативщик и приносит боевые донесения.

Утро. Завтрак. Петров выпивает стаканчик белого, есть ему не хочется. Он, усмехаясь, говорит: «Разрешено наркомом». Собираемся вперед. Перед поездкой командарм играет с котами. Сперва в дивизию, потом в полк. Машину оставили, идем пешком по мокрому, глинистому полю. Ноги вязнут. Петров кричит испанские слова, странно они звучат здесь, под этим осенним небом, на этой промокшей земле. Полк ведет бой, не может взять деревню. Пулеметы, автоматы, свист пуль. Жестокий разговор командарма с командиром полка. «Если через час не возьмете деревни, сдадите полк и пойдете на штурм рядовым». «Слушаюсь, товарищ командарм», а у самого трясутся руки. Ни одного идущего в рост человека, все ползут, лезут на карачках, перебегают из ямы в яму, согнувшись в три погибели. Все перепачканы, в грязи, вымокшие. Шляпин шагает, как на прогулке, кричит: «Ниже, еще ниже пригибайтесь, труссы, труссы!»

Пошли во второй полк, в штабе полка пусто, перед иконами висят на веревочках для украшения электрические лампы, свитые в гирлянды.

Из донесения комиссара полка о драке между бойцами: «Один другого мгновенно ухватил за челюсть»

и сжатием руки выдавил ему зуб, который имел вид обуглившейся косточки, но еще оправдывал свое назначение в роте».

Генеральский повар Тимка.

«Когда я работал на передовой, выведу с кухней, хвачу денатурки стакан, и тут мне все равно: свищут мины, пули, а я пою и порции разливаю. Ох, и любили меня бойцы, ох, и любили». Он показывает, как балетными, полными грации движениями раздавал щи, и при этом поет. Он и сейчас, видно, хватил, как перед выездом на передовую.

Старуха хозяйка: «Кто его знает, есть бог или нет, я и молюсь ему, работа нетрудная, кивнешь ему два раза, может, и примет».

В пустых избах вывезено все, остались лишь иконы. Не похоже на некрасовских мужиков, которые из огня выносили иконы, а все добро отдавали пожару.

Всю ночь плачет мальчик, у него нарываёт нога. Мать тихо шепчет ему, успокаивает, а за окном грохочет ночной бой.

Плохая погода — мгла, дождь, туман, все мокрые, замерзли, и все довольны — нет немецкой авиации, с удовольствием говорят: «Хорошая погода».

На минометной батарее, на артиллерийской батарее звенит в ушах, звенит в ушах.

Заклание свиней. Страшный вопль, волосы от него становятся дыбом.

«Зеленые глаза сердце режут без ножа».

Допрос шпиона на лужайке. Тихий и ясный осенний день, нежное, ласковое солнце. Заросший бородой, в рваной коричневой свите, в большой крестьянской шляпе, с грязными, босыми, открытыми по икры ногами, стоит молодой крестьянин; яркие синие глаза, одна рука опухшая, вторая — маленькая, дамская, с чистыми ногтями. Говорит протяжно, мягко, по-украински. Он черниговский, несколько дней тому назад дезертировал, а сегодня ночью его задержали на линии фронта, когда он пробирался в наш тыл в этом, почти оперном, крестьянском наряде. Задержали его бывшие товарищи по роте: они узнали его, и вот он стоит перед нами. Его купили немцы за сто марок, он шел разведывать штабы и аэродромы. «Та всего сто марок», — протяжно говорит он. Ему кажется, что скромность этих денег может вызвать снисхождение к нему. «Та мни ж самому неловко, я бачу, бачу». Все движения его, усмешечка, взоры, громкое, жадное дыхание — все это принадлежит существу, чующему близкую неминуемую смерть. «А жену как зовут?» — «Жену — Горпына». — «А сына как зовут?» — «Сына Петр, — подумал и добавил старательно: — Петр Дмитриевич, пяти лет». «Мни бы побриться, — говорит он. — А то хлопци смотреть, неудобно мени». — И он проводит рукой по бороде. Рука мнет траву, землю, щепочки, мнет быстро, исступленно, точно какую-то спасительную работу для него делает. Когда смотрит на красноармейцев с винтовками, в глазах ужас. Тут я увидел, что такое ужас в глазах. Потом его бил по лицу полковник и плачущим голосом кричал: «Да ты понимаешь, что ты сделал?!» А потом закричал красноармеец-часовой: «Ты бы сына пожалел, он же от стыда жить на свете не захочет!» И изменник говорил: «Та я знаю, хлопци, знаю, що я наробыв», — обращаясь и к полковнику, и к бойцу, словно они сочувствовали его беде. Его расстреляли перед строем роты, в которой он служил несколько дней назад.

Майор Гаран получил письмо от жены. Занимался в это время делом. Он отложил письмо и продолжил работу. Потом прочел, улыбнулся и сказал тихо: «Я не знал, живы ли жена и сын, я их в Двинске оставил. Сын пишет: «Я во время бомбежки на крыше был и стрелял по самолетам из нагана». Деревянный у него наган».

20 сентября.

Первая ночевка после дня пронзительного холода, ветра. Большая холодная комната, тишина, грусть. Живет старуха, она из Донбасса, с ней сын, горбатый — он коммунист. Патефон, книжки — читал вслух Некрасова. Их жизни не коснулась пока война, но жизнь их печальная, без жара, без соков — горбун со старухой.

Секретарь райкома: «Заезжайте ко мне, ребята, спиртиска есть, бабенки нестарые».

Поле. Ветер. Ветер. Ветер. Холод. Природа ждет снега. Бабы, замерзшие, в дерюгах, бунтуют, не хотят ехать с малыми детьми — у некоторых по 5—6, в республику немцев Поволжья. Замахиваются серпами, серпы тусклые в сером осеннем свете. Глаза их плачут. Через мгновение бабы хохочут, сквернословят, а потом снова гнев, скорбь. Кричат: «Старик, у него два сына лейтенанта, вчера удавился, не хотел в Поволжье ехать, немец нас там достанет, он нас всюду достанет». «Помрем здесь, никуда не пойдём». «Приедет вшивый гад выселять, мы его серпами». И тут же: «Мужика нет, возьми кошку и бурчи с ней всю ночь». «Видишь, в небе журавли летят, на юг, а нас куда?» «Помогите нам, товарищи».

Ах, бабы! Глаза в беде живые, возбужденные, злые, детские, и в них убийство. Бабы носили за 200 верст мужикам в Курск сухарики.

Вторая ночевка. Почта. Зазвонил телефон. Показалось, скажут: «Василий Семенович, вас к телефону». Бухает немец. Затопили печь. Сладкая печаль чужого очага. Милая девочка с умными, темными глазами, сказала: «Вы на папкином месте сидите». Девушки. Клянут Гитлера — отнял парней, музыку, танцы, песни. В темноте идут войска. Девушка бежит к ним: «Братца своего посмотреть». Девушка — из кустарного музея кукла — круглое личико, синие глазки, кукольный ротик. Этим ротиком она произносит по поводу плачущей годо-

валой девочки: «Помрет — вот и хорошо, одной помееет».

Жалко поросенка — немцы заберут. Воспитали немцам поросенка.

Раненый боец — привезли ночью, задыхался, кричал. Две женщины с ним всю ночь голосили вместе, разрезали набрякшие от крови бинты, ему стало легче. Мужики боялись ночью везти его в госпиталь. Лежал до рассвета.

Единоличники белят хаты, вызываяще на нас поглядывают: «Пасха пришла».

Деревня *Каменка*. 21, 22, 23 сентября.

Хозяева — три женщины. Смесь украинского и русского говора. Они ходили смотреть пленных немцев: один — в очках — художник, второй — студент. Рассказывают: «Встал, позабавил дитя и опять лег». Старуха все спрашивает: «А правда, что немцы в бога веруют?» — Видно, в селе немало слухов о немцах. «Старосты полоски нарезают» и пр. Весь вечер объясняли им, что такое немцы. Они слушают, вздыхают, переглядываются, но тайных мыслей своих не высказывают. Старуха потом тихо говорит: «Що было мы бачылы, що будэ побачымо».

Во время боя водителю тяжелого танка оторвало голову. Танк пошел сам, так как мертвый водитель жал ногами на акселератор. Танк пошел лесом, ломая деревья, он дошел до нашего села и остановился. В нем сидел водитель без головы.

Рассказ бригадного комиссара. Техник-интендант 2-го ранга, недавно вышедший из окружения, вдруг по непонятной причине заподозрил в шпионаже зашедших к нему в хату командира и комиссара стрелкового полка, расстрелял их у себя во дворе, забрал их вещи

и деньги, а тела закопал в сарае. Этого техника-интенданта расстреляли перед строем командного состава дивизии, его застрелил старейший по возрасту, полковник.

Дед с почты. Широкий, белобородый, с сильным, низким и мрачным голосом, могучий дед. Он говорит, нахулясь: «У меня два сына полковника», и кричит девочке, выносящей мешки почты: «Маруська, гатуй! (готовь)» От этого «гатуй» стекла дрожат.

У старухи три сына немые, все три парикмахеры. «Старшему полсотни годов. Дерутся — ужас. Верещат, как кони, чуть що — схватил нож и лететь».

В группе Ермакова. Деревня Пустогород. Политотдел. Девушка красавица, еврейка, вырвавшаяся от немцев, у нее яркие, совершенно безумные глаза.

Ночью в хате разведотдела идет допрос мотоциклиста. Он австриец, высокий, красивый, всех восхищает его плащ, длинный, мягкий, стального цвета, все его щупают, покачивают головами; смысл таков: воюй после этого с ними, при таких плащах у них и самолеты соответствующие. Переводчиком еврей, полуграмотный, он говорит по-еврейски, австриец бормочет по-своему, оба от желания понять друг друга вспотели, но и только — допрос двигается с трудом. Австриец, ударяя себя в грудь, оглядываясь на двери, рассказывает о том, что он видел концентрацию танков Гудериана в нашем районе, огромное количество — 500! «Тут, тут, вот здесь, рядом с вами», — и он показывает рукой, как близко от нас все это. «Что он говорит?» — нетерпеливо спрашивает разведывательный начальник. Переводчик смущенно пожимает плечами: «Какие-то танки он видел, до пятисот штук». «Да ну его, пусть подробно назовет пункты, через которые везли его часть из Германии на фронт», — заглядывая в вопросник, говорит разведдатель. Ох, квалификация...

Ночевка в доме учительниц. Интеллигентная квартира — книги, которые читал, с которыми связано детство, школьные годы: Брэм, Неймаер, «История земли», Бе-

линский. И вещи детства: пепельницы из раковин, альбомы и раковины, которые гудят, когда к ним прикладываешь ухо, стенные часы, пальма в кадучке, обезьяны, вырезанные китайцами из розового камня. А немцы в пятнадцати километрах. Учительницы старухи поят нас молоком, но мы чувствуем их холод, они к нам относятся, как к ночевщикам, их мысли о новых, постоянных жильцах. Ночью меня и Коломейцева вдруг охватывает безумная тревога, мы проснулись, как по команде, и, одевшись, вышли на двор, долго молча слушаем — запад тих.

Едем — пустые дороги, всюду нарыты окопы, огромные рвы, оборона, противотанковые препятствия и ни одного бойца, пусто. Тихо и пусто, но много жути в этой тишине и осеннем покое.

Севск. Нам рассказывают, что здесь вчера был немецкий броневик, вышли два офицера, посмотрели и уехали. Ведь это глубокий тыл. Играли в дурачка; в семье девушка Зоя, красивая, умная, с сильным характером. Здесь мы почувствовали, не как у учительниц, что нас любят, что мы не ночевщики, а сыновья и братья. Переночевав, двинулись.

На дороге стоит немецкий броневик. Парнишка с кубарем усаживается. «Вас ведь подобьют?» «Кто? Немцы за своего примут, а свои увидят — разбегутся». И поехал. Невеселые шутки.

Небо стало немецким, наших неделями не видно.

Старик говорит: «Вы откуда отступаете?»

Хитрый Митрий — помер, а глядит.

Маляры, каменщики, сердясь на заказчика, замуровывают в стену яйцо, либо коробочку с тараканами

(положив в эту коробочку отрубей для пищи) — яйцо воняет, а тараканы верещат, все это беспокоит хозяев,

Орел, снова Орел. Над городом самолеты. Снова гостиница. Обычная провинциальная областная гостиница, но сейчас она кажется после путешествия особенно приятной, именно тем, что она такая обычная, мирная. Эта обычность сейчас прекрасна, есть даже комната, где стоят вазоны, накрытый бархатной скатертью стол, кресла и на стене висит школьная карта Европы, и мы подходим к этой карте и смотрим; страшно становится, как мы далеко отступили. В коридоре ко мне подходит знакомый по штабу фронта, фотокорреспондент Редькин, вид у него такой, что всякий бы насторожился. «Немцы жарят прямо на Орел, сотни танков, я еле выскочил из-под огня, нужно немедленно уезжать, не то они нас здесь накроют». И он рассказал, как сидел и обедал в одном очень спокойном тыловом штабе, и вдруг их (обедающих) встревожил шум; смотрят — бежит наркомвнуделец, весь осыпанный мукой. Оказалось, он спокойно проезжал в нескольких километрах от этого места, вдруг танк развернулся и выстрелил, снаряд попал в кузов грузовика, в котором он ехал (в кузове была мука), и вот он прибежал. Кругом танки! Редькин сел в машину и примчался в Орел, а по той же дороге, следом жарят немецкие танки, и никакого сопротивления нет. Редькин рассказывает с шипом, страшным шепотом. Захожу в номер, где остановились известные по штабу майор с бородкой и капитан из оперативного отдела: известно ли им что-нибудь о прорыве немцев? Они смотрят на меня глазами, полными бараньей самоуверенной глупости: «Чушь, ерунда», — и продолжают распитие напитков. Всю ночь город грохочет, мчатся машины, обозы, не останавливаясь. А утром он весь уже охвачен ужасом, агонией, словно сныняком. В гостинице плач, суета. Я пытаюсь заплатить за номер, никто не хочет принимать деньги, но сам не знаю зачем, я заставляю дежурную принять 7 рублей. По улицам бегут люди с мешками, чемоданами, несут на руках детей. С заячьими мордами прошмыгивают мимо меня стратег-майор и капитан. Идем в штаб военного округа, оказывается, без пропуска не пускают, мертвое спокойствие писарей и мелких начальников, пропуска с десяти, подождите час, начальство будет не

раньше одиннадцати. Ох, знаю я это непоколебимое, идущее от невежества спокойствие, сменяющееся истерическим страхом и паникой.

Все это я уже видел: Гомель, Бежица, Щорс, Мена, Чернигов, Глухов... Встречаем знакомого полковника. «Можно ли проехать в штаб по Брянскому шоссе?» «Может быть,— говорит он,— но, вероятней всего, немецкие танки уже вышли на этот участок». После этого идем в баню и едем по Брянскому шоссе, авось свинья не съест. С нами садится военная докторша-грузинка, ей тоже нужно во второй эшелон штаба фронта. Всю дорогу она поет необычайно неестественным голосом романсы, едет она из тыла и совершенно не представляет себе опасность. Мы все ее слушатели, смотрим влево, точно нас перекосило. Дорога пустынная, ни единой машины, ни одного пешего, ни крестьянских подвод, мертво! Страшная жуть этих пустых дорог, по которым прошел последний наш и вот-вот пройдет первый неприятель. Пустынная, ничья дорога, как пустынная, ничья земля между нашей и немецкой линией. Проехали благополучно, въехали в наш брянский лес, как в отчий дом. Через два часа после нас по этому шоссе шли немецкие танки, немцы вошли в Орел в шесть часов вечера, по Кромскому шоссе; может быть, мылись в той же бане, которую утром топили для нас. Ночью в нашей избе я вдруг вспомнил допрос австрийца в роскошном плаще, при свете коптилочки: об этих самых танках он и говорил!

Нас вызвал комиссар штаба и сказал: «В четыре ноль-ноль, ни минутой позже, выезжайте по этому маршруту». Никаких объяснений он давать нам не стал, но и без объяснений все было ясно, особенно после того, как мы разглядели маршрут. Наш штаб находился в мешке — справа немцы шли на Сухиничи, слева на Болхов из Орла, а мы сидели под Брянском. В лесу. Пришли в свою сторожку и стали укладываться: матрацы, столы, стулья, лампу, мешки, хозяйственный Петлюра даже снес с чердака запасы клюквы; все это уложили в кузов грузовика, подаренного нам генералом Еременко, и ровно в четыре, при ясном холодном небе и при свете осенних звезд двинулись в путь. Предстояло состязание на скорость: мы раньше выскочим из мешка или немцы успеют раньше завязать его.

Я думал, что видел отступление, но такого я не то что не видел, но даже и не представлял себе. Исход! Библия! Машины движутся в восемь рядов, вой надрывный десятков, одновременно вырывающихся из грязи грузовиков. Полеом гонят огромные стада овец и коров, дальше скрипят конные обозы, тысячи подвод, крытых цветным рядом, фанерой, жостью, в них беженцы с Украины, еще дальше идут толпы пешеходов с мешками, узлами, чемоданами. Это не поток, не река, это медленное движение текущего океана, ширина этого движения — сотни метров вправо и влево. Из-под навешенных на подводы балдахинов глядят белые и черные детские головы, библейские бороды еврейских старцев, платки крестьянок, шапки украинских дядьков, черноволосые девушки и женщины. А какое спокойствие в глазах, какая мудрая скорбь, какое ощущение рока, мировой катастрофы! Вечером из-за многоярусных синих, черных и серых туч появляется солнце. Лучи его широки, огромны, они простираются от неба до земли, как на картинах Доре, изображающих грозные библейские сцены прихода на землю суровых небесных сил. В этих широких, желтых лучах движение старцев, женщин с младенцами на руках, овечьих стад, воинов кажется настолько величественным и трагичным, что у меня минутами создается полная реальность нашего переноса во времена библейских катастроф.

Все глядят на небо, но не в ожидании пришествия Мессии, а в ожидании немецких бомбардировщиков. Вдруг крики: «Вот они, идут, идут сюда!»

Высоко в небе медленно и плавно треугольным строем плывут десятки кораблей, они идут в нашу сторону. Десятки, сотни людей переваливают через борты грузовиков, выскакивают из кабин и бегут в сторону леса. Как вспышка чумы, паника охватывает всех, с каждой секундой растет толпа бегущих. А над толпой разнесся пронзительный женский крик: «Труссы, труссы, это журавли летят!» Произошла конфузия.

Ночевка. Комаричи, что ли. Пришел кусок штаба. Полковник советует не ложиться спать, каждый час наведываться к нему. Сам он ровно ничего не знает, связи у него нет никакой, да и с кем связь? Наведывать-

ся к полковнику взялся Трояновский, внезапно он исчезает, мы бесимся, потом тревожимся, пропал парень, и нигде его нет. Ходим к полковнику в очередь— я и Лысов, в промежутках смотрим в окно и строим десятки гипотез об исчезновении Трояновского. Вышел на двор, подошел к нашей «эмке», какой-то неясный шум. Открываю дверцу— пропавший юноша в обществе племянницы нашей хозяйки. Смутил их, они меня. Трояновский извлечен, в избе мы ему закатываем страшнейший разнос: «Да понимаете, дурень, мальчишка, обстановку, да как вы смели...»

Он все понял и все признал, кается, на лице у него сладкое, умиротворенное выражение, зевает, потягивается. Это, по-видимому, злит нас больше всего, как неравноценно провели мы время. В избу входит племянница. На лице ее тихий покой, хоть рисуй с нее: «Невинность», «Чистоту», «Утро». И это нас бесит. На рассвете снова в путь.

Состязание на скорость продолжается: мы или немцы. Сажаем на наш грузовик медперсонал какой-то районной больницы. 10 врачей, они, не имея привычки ходить, прошли немного и выбились из сил. Довезли их до Белева. Старик врач трогательно, в высокопарных выражениях благодарит нас: «Вы спасли нам жизнь», а докторши даже не прощаются, подхватив узлы, бегут на вокзальный перрон. Благородная старая кость. Белев, с крутым въездом, страшнейшая грязь, узенькие и не узенькие улицы одинаково не вмещают громаду, вливающуюся с проселочных дорог. Множество диких слухов, нелепых и абсолютно панических. Вдруг бешеная пальба. Оказывается, кто-то включил уличное фонарное освещение — бойцы и командиры открыли огонь из винтовок и пистолетов по фонарям. Если б по немцам так стреляли. Те, кто не знает причин стрельбы, бегут кто куда может: немцы ворвались, кто ж еще?

Ночуем в чудовищно нищей комнате. Только в городе, в трущобе может быть такая страшная, такая черная нищета. Хозяйка мастодонт, с сиплым голосом, гремит, ругается, шипит на детей, на предметы. Мне, нам показалось, что она фурия, исчадие ада, и вдруг мы видим: она добра, великодушна, заботлива, с какой озабо-

ченностью стелет она нам свое тряпье на полу, как угощает! Ночью, во мраке, я слышу плач. «Кто?» Хозяйка сипло, шепотом говорит: «Это я, семеро детей у меня, оплакиваю их». Какая бедность, городская нищета хуже деревенской, глубже, черней — она объемлет все, нищета воздуха, света...

В избах стены оклеены газетами, это газеты мирного времени. Мы глядим и говорим: «Смотрите, мирное время». А вчера мы видели хату, она уже оклеена газетами военного времени. Если хата не сгорит, когда-нибудь придут и скажут: «Смотрите, газеты военного времени!»

Ночевка за Белевым у молоденькой учительницы. Она очень хорошенькая и очень глупенькая, совершенная овечка: чему-то она учила, не мудрости, верно. У нее ночует подруга, такая же молоденькая, но не такая красивая. Обе всю ночь говорят шепотом, горячо, спорят. Утром мы узнали: наша бросает дом и уходит на восток, подруга решила идти на запад к родным, живущим где-то за Белевым, проще говоря, остаться с немцами. Наша просит посадить ее на грузовик. Мы согласны. Я зову нашу полторку «Ноев ковчег» — сколько десятков людей мы уже вывезли из потопа, наступающего с запада. Обе подруги заплаканы, плакали всю ночь. Теперь все ночью плачут, а днем спокойны, безразличны, терпеливы. Укладываем вещи, наша молодая хозяйка выходит с крошечным узелком. Она не хочет брать ни зеркала, ни занавесочек, ни флакончиков одеколona, ни даже платьев. «Мне ничего не нужно», — говорит она. Видимо, я проглядел высшую мудрость в этой восемнадцатилетней девушке, мудрость жизни. Мы пробуем уговорить подругу. Лицо ее мертвое, губы сжаты, она молчит, не смотрит на нас. Подруги прощаются холодно, не протягивая руки. Остающаяся понимает: хоть все мы стоим рядом, но уже непроходимая чаща легла под ноги. «Заводи, пошел!» Да, нешуточные вопросы приходится решать в 18 лет! В последнюю минуту мы заходим в милую комнатку уже сидящей в машине девушки, в ничью комнату, и чистим кремом для лица сапоги, вместо тряпочки пользуемся беленькими воротничками. По-видимому, этим мы хотим самим себе подтвердить, что рухнула жизнь.

Такой грязи никто не видел, верно: дождь, снег, крупа, жидкое, бездонное болото, черное тесто, замешанное тысячами тысяч сапог, колес, гусениц. И опять все довольны: немец увязает в нашей адской осени, и в небе и на земле. Во всяком случае, мы выскочили из мешка: завтра вылезем на Тульское шоссе.

Деревня под Тулой. Домики кирпичные. Ночь, снег, дождь. Промерзли все отчаянно, особенно те, кто сидит в «Ноевом ковчеге»: полковой комиссар Константинов, учительница, корреспондент «Сталинского сокола» Бару. Лысов, Трояновский и я едем в эмке — нам теплей. Останавливаем машины среди темной деревенской улицы. Петлюра — маг по части добывания молока, яблок, рытья щелей и устройства ночлега — исчезает во мраке. Но на этот раз он, по-видимому, не на высоте. Мы входим в избу, холодную и темную, как могила. В избе в холоде и мраке сидит семидесятилетняя старуха и поет песни. Она встречает нас весело, охотно, не постарушечьи, без кряхтения и причитаний, а, судя по всему, у нее есть все основания жаловаться на судьбу. История ее такая. Дочь, московская фабричная работница, привезла ее в деревню к сыну, оставила и уехала обратно в Москву. Сын ее — председатель колхоза, переселил ее в эту полуразрушенную хату, — сноха ни в какую не захотела жить со свекровью. Сноха же запрещает сыну помогать матери, и она живет с подаяния добрых людей. Изредка сын тайно от жены приносит ей то немного пшена, то картофеля. Второй сын ее, Ваня, младший, рабочий тульского завода, пошел на войну добровольцем, воюет под Смоленском, от него давно, с месяц, нет писем. Ваня ее любимец. Вся историю свою она рассказывает добродушным, спокойным голосом, без горечи, без обиды, без боли, без упрека, рассказывает как мудрец, философ, ученый, говорящий о жестоких, но естественных законах жизни. Со щедростью царицы она отдала нашей замерзшей ораве все без остатка запасы свои: десяток полешек дров, которые должны были ей хватить на неделю, горсть соли, всю без остатка, так что у самой не осталось ни крупинки (а мы уж хорошо знаем, как бабы в деревнях жадны к соли), отдала нам полведра картошки, оставив себе не более полудесятка картофелин, отдала подушку — мешок, набитый соломой, рваное свое одеяло. Принесла

лампочку и, когда шоферы хотели налить в нее бензину, не позволила этого сделать: «Вам бензин пригодится»,— и принесла крошечный пузырек, где хранился у нее заветный «запас» керосина, вылила его в лампу. Все это сделала она с великой щедрой легкостью, великая, подлинная царица нашей земли, и, милостиво улыбнувшись нам, ушла за перегородку, в холодную половину избы, одарив нас теплом, пищей, светом, мягкой постелью. Там села она и стала петь песни. Я зашел к ней: «Бабушка, а сама в темноте, холоде и на голых досках спать ляжете?» Она только рукой на меня махнула. «Как же вы одна так, каждую ночь в темноте да в холоде?» «А что ж, сижу в темноте, песни пою или сама сказки рассказываю».

Когда сварился чугунок картошки, мы поели, отогрелись, легли. Старуха пришла к нам, стала у двери и сказала: «Теперь вам песни буду петь»,— и запела грубым, низким, сильным голосом, голосом не старухи, а старика. Песни у нее не были старинные, может быть, она и такие знала, но подумала, что молодым командирам интересней слушать городские песни про любовь, про бандитов, поинтеллигентней.

Потом она сказала: «Ох, и здорова я была, конь!» И сообщила: «Черт ко мне вчера приходил ночью, вцепился когтями в ладонь. Я стала молиться: «Да воскреснет бог и расточатся враги его», а он внимания не обращает. Тут я его матом стала крыть, он сразу ушел.

А позавчера Ваня мой приходил, ночью. Сел на стол и в окно смотрит. Я: «Ваня, Ваня!» — а он все молчит и в окно смотрит».

Если мы победим в этой страшной, жестокой войне, то оттого, что есть у нас такие великие сердца в глубине народа, праведники великой, ничего не жалеющей души, вот эти старухи — матери тех сыновей, что в великой простоте складывают головы «за други своя», так просто, так щедро, как эта тульская старуха, нищая старуха отдала нам свою пищу, свет, дрова, соль. Эти сердца, как библейские праведники, освещают чудным светом своим весь наш народ; их горсть, но им победить. Это радий, который в гибели своей сообщает радиоактивные свойства массам руды.

Эта царственно щедрая нищая нас всех потрясла. Отдали ей утром все запасы наши, а шоферы, охваченные исступлением добра, ограбили всю округу, натащили ей столько дров и картофеля, что хватит до весны. «Ото

старуха», — сказал Пётлюра, когда мы выехали на дорогу, покачал головой.

Ясная Поляна. Я предлагаю заехать. Эмка сворачивает с обезумевшего шоссе, за ней «Ноев ковчег». Среди курчавого золота осеннего парка и березового леса видны зеленые крыши и белые стены домов. Вот ворота. Чехов, приехав сюда в первый раз, дошел до этих ворот, оробел от мысли, что увидит через несколько минут Толстого, повернул обратно и пошел на станцию, уехал в Москву. Дорога, ведущая к дому, вымощена бесчисленным числом красных, оранжевых, желтых, светло-лимонных листьев — это красиво. Чем красивей, тем печальней — такое время. Слева пруд. И о пруде этом есть много историй, и о каждой дорожке, о деревьях, о фруктовом саде, о березовой роще — все это связано с дорогими нам именами: Тургенев, Гаршин, Репин, Чехов, Горький... И над всем этим и сейчас Толстой, упрямо и глубоко пустивший могучие свои корни в жизнь. В доме предотъездная злая лихорадка: со стен сняты картины, книжные шкафы пусты, со столов сняты скатерти и посуда, а в кабинете книги и журналы. Кровати стоят пустые — с них сняты простыни, подушки, одеяла. В прихожей и в первой комнате нагромождены ящики, уже забитые, готовые к отправке. Я бывал в Ясной Поляне в тихие, мирные времена, когда все усилия работников музея были в том, чтобы создать ощущение, иллюзию жилого дома. Стол был накрыт, перед каждым прибором лежали вилки, ножи, на столах стояли свежие цветы. И все же то не был жилой дом, а музей. Ни солонки с солью, ни перечница, ни застеленные постели, ни книги, раскрытые на столах, ничто не могло создать ощущение жизни в доме, из которого ушел Толстой. И сразу же, когда, входя в дом, надевал на ноги сшитые из тряпок туфли, когда слышал голос экскурсовода, когда глядел на торжественные и постные лица экскурсантов, чувствовал, что хозяин умер, что хозяйка умерла, что это не дом, не жилье, а склеп.

И вот сейчас я почувствовал совсем по-иному, что это не музей, а живой дом, что горе, вьюга, распахнутая все двери в России, выгоняющая людей из обжитых домов на черные осенние дороги, и судьба, не щадящая ни мирной городской квартиры, ни деревенской избы, ни заброшенного лесного хуторка, что судьба эта не поми-

ловала и дом Толстого, что и он пустился в тяжелый путь, под дождем и снегом, по не имеющей края и конца дороге, вместе со всей страной, со всем несчастным сиротой народом. Это горе, ворвавшееся в дом, сделало его сущим, живым, страждущим среди миллионов таких же сущих, живых, страждущих домов.

И с поразительной силой я вдруг почувствовал: вот они, Лысые Горы, вот он выезжает, старый, больной князь, и все слилось в нечто совершенно единое, то, что было больше ста лет назад, и то, что идет сейчас, сегодня, и то, что описано в книге с такой силой и правдой, что кажется личной судьбой не старого князя Болконского, а старого графа Толстого, и чего уже нельзя отделить от жизни, что стало высшей реальностью прошедшей сто лет назад войны, единственной реальностью, сохранившейся для нас, единственной правдой об ушедшем и вновь посетившем нас страдании. Семья Болконских и писавший о них свой выдуманный рассказ Толстой, та война и эта стали едины. Наверное, Толстой волновался и страдал, описывая горькое отступление той далекой войны, может быть, он даже заплакал, когда писал приезд Андрея Болконского и смерть старого князя, которого никто не помнил в поднывшем урагане, которого одна лишь дочь смогла понять, когда невнятно и жалко бормотал он: «Душа болит». И может быть, это волнение и горе Толстого, произошедшее в этом доме, и соединили воедино эти два горя, эти две беды, меж которыми легла пропасть столетия. Иначе отчего же с такой силой все это ударило по сердцу? Едина, непрерывна жизнь народа, как жизнь отдельного, одного человека, мы, приходящие на краткие годы, не видим, не ощущаем этого, мы видим отдельные звенья, а не вечную, длящуюся без разрыва в прошлое и в будущее, цепь. А в большом сердце Толстого вдруг соединились все звенья этой тяжелой цепи.

И когда вышла Софья Андреевна, накинув на плечи пальто, вышла, поеживаясь от холода, спокойная и удрученная, прошла по комнатам, вышла со мной в сад, то я снова не мог различить, кто она — княжна ли Марья, в последний раз идущая перед приходом французов по саду в Лысых Горах, внучка ли Толстого, которой судьба определила своим сердцем и своей душой проверить, уходя из Ясной Поляны, ту правду, что сказал ее дед о Маше Болконской. Но, конечно, ни о чем таком мы не стали говорить. Мы говорили о том,

что секретарь обкома обещал дать вагоны для вывоза вещей, и удастся ли это сделать теперь, когда немцы так близко и так стремительно движутся вперед. Мы вспомнили Москву и друзей, которых уже нет, и помолчали, думая о их печальной судьбе. Потом мы говорили о том, о чем говорят все, с болью, с недоумением, со скорбью,— об отступлении.

«Пойдемте на могилу»,— сказала Софья Андреевна.

...Сырая, вязкая земля, сырой, недобрый воздух, тишина, шуршание листьев. Дорога показалась необычайно длинной, надпись на дереве: «Зона тишины». И вот могила. Это чувство очень трудно рассказать оттого, наверное, что это чувство трудно чувствовать, такое оно невмещающееся в человека. Это чувство объединения смерти и жизни, одиночества мертвого и его связи, живой и нерушимой, со всей нашей горькой сегодняшней жизнью, забытости этого, засыпанного сухими кленовыми листьями холмика земли и живой, жгучей памяти, нужной и необходимой, памяти об этой могиле, которая стучит в наши души. Но это чувство не чувство гармонии, это чувство колющего противоречия, чувство муки, бессилия примирить то, чего бог не имеет силу примирить. И ужасно думать, что через несколько дней к этой могиле, громко разговаривая, подойдут немецкие офицеры, покурят тут, оживленно поговорят, не дай бог Толстой услышит, и никто уж из близких не подойдет, не помолчит, как мы сейчас молчим. И вдруг воздух наполняется воем, гудением, свистом — над могилой идут на бомбежку Тулы «юнкерсы» в сопровождении десятков «мессершмиттов». А через минуту с севера слышен треск, десятки наших зенитных пушек бьют по немцам, трещат пулеметные очереди «мессеров», и земля дрожит, колеблется. Эту дрожь, ужасную дрожь земли чувствует тело Толстого. Чугунно ухают бомбы, которые сваливают «юнкерсы». А мы молча возвращаемся, как молча пришли и молча стояли здесь, с Софьей Андреевной.

Тула, охваченная той смертной лихорадкой, мучительной, ужасной лихорадкой, что видели мы в Гомеле, Чернигове, Глухове, Орле, Болхове... Неужели и Тула? Полный ералаш. В столовой Военторга меня разыскивает командир, меня просят зайти в обком, там находится представитель Генштаба, он хочет узнать у меня, где штаб Брянского фронта, он должен направлять части и не знает, где штаб. Приходят обрывки ди-

визий, говорят, 50-я армия вся не вышла. Где Петров и Шляпин? Где девочка-санитарка, Валя, игравшая с нами в домино и заводившая «Синенький, скромный платочек»? Улицы полны народа, идут по тротуарам, идут по мостовым, и все равно тесно. Все тащат узлы, корзины, чемоданы. Заняли номер в гостинице. В гостинице встречаем всех корреспондентов. Тут и Крылов, с которым вместе драпали с Центрального фронта. Корреспонденты уже обжились в гостинице, некоторые завязали блиц-романы. Простились с Константиновым, он из Тулы на Москву поездом, простились с нашей спутницей учительницей, чьим кремом и воротничками мы чистили сапоги. Ночью наш грузовик в последний раз выполняет функцию «Ноева ковчега» — перевозим семью работников тульской редакции с вещами на вокзал. «Надо бы с них деньги взять», — сердится Петлюра, но водитель «Ковчега» Сережа Васильев, против — он замечательно душевный, милый и скромный парень. Ночью связались по телефону с редакцией, редактор приказал ехать в Москву. Нас охватило неразумное, жгучее счастье. Всю ночь до утра не спал — неужели увижу Москву?

Говорили товарищи, что немцев, идущих от Орла, затормозили, выбросили из резерва танковый корпус полковника Катукова ⁴.

Москва. Баррикады на дальних подступах, на ближних подступах, в самом городе, особенно на окраинах. Брились со всеми на Серпуховской площади, в роскоши, публика нежна, уступает очередь, спрашивает о войне. Не заезжая домой, поехали в редакцию, редакция — в ЦДКА. Редактор встретил нас в штыки. Почему не остались в штабе Брянского фронта? «Нам приказано было выехать, и мы выехали позже всех корреспондентов». «Почему не писали о героической обороне Орла?» «Потому что Орел не обороняли». «Все. Можете идти. Завтра в шесть часов утра вы, Гроссман, Трояновский, Лысов, вновь поедете на фронт». Говорят, он хороший редактор газеты. Возможно, что и так. Но откуда в этом местечковом человечке, судя по всему, имеющем незаконченное низшее образование, властолюбие и высокомерие в отношении к подчиненным, которое вряд ли

было у римских патрициев? В самом деле, после таких месяцев, пережитых на фронте, не спросить у сотрудников газеты, пусть даже из приличия, как они себя чувствуют, здоровы ли? Да беда в том, что такие выскочки не имеют понятия о приличиях. Зато утешение в том, что, возникая из «ничего», они так же легко и быстро в «ничто» обращаются.

Ночевал дома: папа и Женни Генриховна. Говорили с папой о самой тяжелой тревоге моей, но об этом не писать,— это день и ночь в сердце. Жива ли? Нет! Я знаю, чувствую.

Утром приехали за мной товарищи. Выехали утром на то же шоссе, по которому вчера приехали в Москву. В редакции все возмущались, но, конечно, шепотом, тем, что редактор не дал и дня отдохнуть. Главное — бессмысленно. Мчались без отдыха через Серпухов, Тулу. Погода ужасная. Октябрь, снег, дождь, резкий ветер. Мы лежим в кузове, жмемся друг к другу. Ночь, но мы продолжаем мчать и ночью, в Москве нам назвали пункт, где расположен штаб танкового корпуса: «Старухино». Едем, едем без конца. Вскипела вода в радиаторе, останавливаем машину набрать из кювета воды, шоссе совершенно пустынно, на десятках проеханных нами километров не встретилось ни одной машины. Вдруг из-за березки выходит красноармеец, он сипло спрашивает: «Куда?» Говорим: «В Старухино». «Обалдели, что ли?» — спрашивает он. Там, оказывается, уже со вчерашнего дня немцы. «Я в боевом охранении стою, тут передний край, вертайте скорей, пока немец не заметил, вон он». Ну, мы, конечно, вертаем. Если б не закипела вода в радиаторе, то наша корреспондентская деятельность тут бы и кончилась. В страшном мраке и в страшной грязи ищем штаб. Наконец нашли. В тесной избе жарко, душно, синий дым, нас сразу после 14-часовой дороги разморило от тепла, валимся от желания спать с ног, но времени нет, начинаем спрашивать командиров, читаем политдонесения, все это как в тумане. На рассвете, не отдохнув, садимся в грузовик и снова на Москву, нам дан жесткий срок. Приехали в редакцию к вечеру. Сели писать корреспонденции. Чтобы не заснуть, курим беспрерывно и пьем чай. «От-

писались», как говорят журналисты, сдали материал. Ни строчки из него редактор не напечатал. Вот это оперативная работа: и он и мы довольны.

Из донесений:

Красноармеец Сипов сказал политруку: «Товарищ политрук, когда же мы вступим в бой за освобождение Орла, в котором я прожил 20 лет свободно и радостно. Для меня нет большей чести. Я обязуюсь героически отдать жизнь за родину».

Красноармеец Сафонов, минометчик, сказал: «Я, как и все мои товарищи, обязуюсь до последней капли крови драться за освобождение моего любимого Орла».

Эскадрон кавполка ворвался в Болхов, уничтожил много живой силы, захватил документы и пленных. Командир полка тов. Чуфарин. Спешившись, подбили гранатами танк противника.

Лейтенант Воробьев принял командование над батальоном. 9 октября обнаружил 14 танков противника, окруживших батальон нашей пехоты. Воробьев принял бой и в течение 30 минут одним своим танком уничтожил 9 танков противника, остальные обратил в бегство. 10 октября Воробьев выехал в расположение танковой засады и встретил 8 тяжелых пушек противника, из них он уничтожил 4, а остальные обратил в бегство. В этот же день уничтожил тягач. 1920 года рождения, рабочий.

Танковый полк подполковника Еремина.

С 4 по 10 октября уничтожено: 94 танка ПТО-31, орудий — 12, тягачей — 15, автомашин — 9, цистерн — 2, бронемашин — 2, минометов — 2.

Радиотелеграфист танка (стрелок-радист) Вороничев Константин Николаевич, 1919 г. рождения; участвовал 9-го и 10-го в экипаже тов. Лугового, расстрелял из пулемета взвод пехоты и, быстро зарядив орудие вместе с Луговым, уничтожил 4 миномета, 12 танков, зенитную батарею.

Командир взвода тяжелых танков Луговой, рождения 1919 г., украинец, 9 октября получил приказ встретить и уничтожить колонну танков, двигавшихся на передний край обороны нашей пехоты. Вместе с лейтенантом Воробьевым выехал и за время боев уничтожил 12 фашистских танков и пр.

Все эти ребята и задержали немцев по дороге на Тулу от Орла. Вот они-то и есть наш костяк. Жалко, конечно, что корпус должен был наступать, а растратился в обороне. Но не до жиру, быть бы живу.

3. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Сентябрь 1941 г.

Двухмоторный бомбардировщик сел возле госпиталя, врачи захватили экипаж, который оказал сопротивление.

Бригада — уральцы. Мотострелковый батальон дерется блестяще. Комбат Смирнов (лейтенант), Бурменко — помощник, нач. и. о. по комсомолу Бурменко и капитан Чепик представлены к Герою Советского Союза (нач. химич. службы бригады).

Батальон Чепика занял южную окраину Вовны. Бурменко представлен к ордену Красного Знамени, мл. политрук Ковбасюк принял командование, когда убили комбата, расстрелял нескольких немцев, перерезал немцам связь.

В мотострелковом батальоне — 2 роты коммунистические. Военфельдшер Агапов (убит 22-го) 19-го во время неожиданной атаки на Вовны захватил 11 пленных. Он вынес 4-х с поля боя, пошел за танком, ворвался в избу, взял 11 человек, некоторые были в кальсонах. Захватил 2 ручных пулемета и несколько винтовок.

Шингареев — в разведке на броневичке залетел к немцам; разбило броневик, лейтенанта убило, его тяжело ранило. Пришел в себя, над ним стояли три немца. Выскочил второй броневик, ударил по немцам, двух убил, а третьего Шингареев заколол штыком. Он напился, упал без чувств, его спрятал старик колхозник. Ночью старик сделал 16 верст, доложил полковнику, за ним поехали и ночью вызволили.

Бригадир Дегтярев, старший сержант, и Леконцев, сержант. Бригада Дегтярева, хотя он колесник, великолепно работает как гусеничник — 6 машин с 1 сентября.

Косовщук — 7 ВТ и 4 Т-34 отремонтировали с 1 сентября. Работают дни и ночи. Добились центровки двигателя. Танк КВ отремонтировать решили, хотя специалисты постановили отослать на завод. Одна башня весит 10 тонн. Росмиченко, ст. политрук, награжден орденом Красного Знамени за бои на Халхин-Голе, неоднократно бывал в атаках. Ранен, танк подбили, в госпиталь не ушел, а работает в ремонтной роте по восстановлению своего танка. Руденок — Герой Сов. Союза — вылез из танка во время атаки, чтобы поднять пехоту, взорвалась мина, он был ранен. Башенный стрелок Шинкарев вывел танк (Героя получил за бои в Финляндии).

Зенитный дивизион

Подбили «хейнкеля», пикировали 37 бомбардировщиков, дрались как львы и не подпустили к танковой колонне.

Командир майор Меерович.

За время боев принято в партию до 40 человек.

Чепик (под Вовной) — представитель штаба. Командует батальоном лейтенант Смирнов. Под Вовной их обошли с трех сторон; выше батальона пехоты, танки противника, 4 тяжелых и 21 легких, большое количество минометов, масса автоматчиков.

Сумели удержать участок, хотя подкреплений не было. Уничтожили около 200 немцев, 4 танка, штабной автобус, 3 пушки, 3 грузовика с солдатами, 14 мотоциклов с мотоциклистами, много документов, карты, железные кресты.

— Быты и слухаты, — сказал связист Чепику, захватив миномет. Настроение бодрое. Рубеж ночью удержал и перешел в контратаку.

За 21-е уничтожили 6 танков, 4 бронемшины, около 300 убитых, 21 пленный, 6 пулеметов, 5 тысяч патронов, 2 миномета, 1 легковая машина, много винтовок и боеприпасов, около 4 пушек ПТО.

Уничтожен 71-й пехотный батальон — потери 500 человек.

4. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Юго-Западный фронт. Зима 1941/42 гг.

В ладанке убитого лейтенанта Мирошника запись: «Тот, кто осмелится изъять содержимое медальона, того прошу направить это по адресу. «Сыны мои, я на том свете, и вас зову к себе, но прежде за кровь мою отомстите врагу. Вперед к победе и вы, друзья, за Родину, за славные сталинские дела».

Командир дивизии Лазько и его жена Софья Ефимовна. Ночь. Жарко. Натопленная изба. Я и Буковский входим после долгой ночной, холодной дороги. Лазько — большой, пухлый. Она — брюнетка, крошечного роста, быстрая, властная. Оба чрезвычайно гостеприимные. Огромная домашняя еда — вареники, пирожки, соленья. Пока моемся, смываем водой мороз, Лазько держит белое холстинное полотенце, расшитое украинским узором. Начштаба дивизии — Поляк. До войны ответственный работник Наркоминдела. Грубый и угрюмый человек.

Залиман. Ночь. Метель. Машины, пушки. Едут молча. На развилке сиплый голос: «Эй, где дорога на Берлин?» Хохот.

Видна с пригорка немецкая контратака. Пробегут несколько шагов и лягут. Фигурка машет руками: офицер. Еще несколько шагов вперед, метнулись назад... Опять фигурка машет руками, и снова несколько шагов, заметались, сорвалась контратака.

Исполнение желаний. Только немцы группкой соберутся — бац, снаряд! — это Морозов. Только скопле-

ние — эх, разогнать бы, бац, снаряд — мы даже подскакиваем. Это наводчик Морозов.

Как занимали Залиман. Только немцы хотели делать перегруппировку (одни вышли из Залимана, а вторые не успели зайти), как мы заскочили. И только три раненых. А так бы пришлось потерять тысячи людей — у них там проволока, доты, дзоты, бетон, рвы, в блиндажах камины, как в квартирках — кафелем обложены. Разведка наша хороша — как донесли про это дело, все точно оказалось, как будто сами строили.

На КП полка. Савинцы. Пустая изба. Немцы вывезли все: стулья, кровати, табуреты, даже веник прихватили, пригодится в блиндаже. Командир дивизии полковник Песочин — толстый, большой. Комиссар дивизии — Серафим Сницер — толстый, большой. Песочин, видно, из интеллигентов, говорят, однако, что бьет подчиненных по лицу кулаком. Бил редактора дивизионной газеты. Сницер до войны — лектор ЦКП(БУ) по международным вопросам. Оба большие остряки. Они все время смеются друг над другом и все время оберегают друг друга от простуды. Кутают один другого, застегивают воротники шинелей. Шутки все время. Бьет тяжелая артиллерия немцев. «Почему не уничтожите?» — спрашивает Песочин. «Трудно нащупать», — отвечает веселый лейтенант артиллерист по фамилии Москвич. «Конечно, баб щупать легче», — говорит Сницер. На Москвиче белый халат — он как молодой доктор.

Трудность артиллерии: бой в селе — все перемешалось. Одна хата наша, другая их. Как тут использовать мощные огневые средства.

Приезд замкомандующего армией генерала Москаленко. Лестница начальников, длинна она. Нелегко по ней ходить.

Шутки. «Все толстеете, майор Костюков». «Соревнуюсь со старшим начальником». Комиссар дивизии: «Уверен, вы победите в этом соревновании». «Никак нет, у меня стабилизация наступила в 1936 году». «У вас

все толстые в полку». «Много для немцев чести заставить нас похудеть».

Бой по телефону. Артиллеристы, огневики, управленцы.

Дух армии — великая и неуловимая сила. Она реальность.

Обращение Гитлера к войскам: «Ни шагу назад с завоеванной территории». Приказ зачитали и заставили расписаться. Пленные говорят: «Нам зачли смертный приговор, мы в нем расписались».

Четвертая батарея. Командир Гаврилов. НП в ста метрах от противника, бьет в упор по врагу. В бою уничтожили до батальона немцев. Особенно отличилось орудие Поскребалина — прямые попадания в доты.

Обед для начальства в штабе полка. «Повар, сколько же вы лепили такие маленькие пельмени?» — «Начал лепить, когда он пикировал — не дает лепить, гад». Во время обеда вбегает капитан: «Разрешите доложить: замечено до трехсот автоматчиков». Сницер, разливая водку: «Ха-ха-ха! Делите на десять».

Второй день идет бой за Залиман. Очень сильный мороз. Дымка. Туман. Ветра нет. Оглушительно бьет артиллерия. Полк подполковника Ельчанинова ведет бой в Залимане. Пушки прикатили в самое село. Спрятали за хаты. Когда высматривают немецкий пулемет или миномет, выкатывают пушку, лупят прямой наводкой в упор, а затем снова закатывают ее за хату.

Истребительный отряд. Боевой парень с круглыми глазами. «Мы их как зайцев гоняем по лесу».

Полки: Макарова, Ельчанинова, Матвеева. Комиссары полков: Бондаренко, Викторов, Ратушный. Саперный батальон: военком Коваль, командир инженер, забыл фамилию. Артполк майора Иванова: начальник штаба майор Костюков, Морозов — младший сержант, наводчик 76 мм орудия 78-го полка, командир батареи младший лейтенант Кириченко. Морозов уничтожил прямой наводкой до батальона немцев. Ранен в щеку, остался на батарее.

Разговор с бабой: «Идут сорок немцев, я аж глаза закрыла. Ах, боже ж мой, прямо на село, а открыла глаза, кто лежит, кто обратно побег». (Это наводчик Морозов.)

ДНЕВНИКИ ПОЛКОВ

Полк Ельчанинова.

«8 октября 1941 г. Красноармеец Кравцов, 3-я минрота, систематически на марше пытался делать привалы без разрешения командира, чем терроризировал роту.

13/X 1941 г. Отличился из конной разведки красноармеец Матросов, который погиб. Одно наше отделение сдалось в плен под лозунгом «Долой советскую власть».

19/X-1941 г. В восьмой роте расстрелян красноармеец Панук за содействие побегу на сторону врага. Приступили к организации минометной роты. Приступили к подготовке уничтожения элеватора и мельницы на станции Лихачево.

20/X-1941 г. Заняли рубеж обороны. Нет чая. Проработали: все на разгром гитлеровской банды.

24/X-1941 г. Командир отделения Марченко не уверен в победе Красной Армии. Говорит: «Загонит нас Гитлер в Сибирь».

29/X-1941 г. 7-я стрелковая рота вела бой с разведкой противника — взято в плен четыре немецких фашиста и один убит.

12/XI-1941 г. Убитых, раненых и дезертиров нет.

15/XI-1941 г. Пулеметчик Сизов заявил: «Доклад т. Сталина прибавил мне силу». Красноармеец Оска заявил: «Даю вам, товарищ Сталин, клятву, пока стучит сердце, буду бить врага».

Красноармеец роты связи Панорин одобряет Указ Президиума Верхов. Совета о преобразовании Наркомата Общего машиностроения в Наркомат Минометного Вооружения.

Ходатайствую о расстреле двух немцев, лично убивших моего бойца 9-й стрелковой роты тов. Горелова.

Красноармеец Рябоштан сказал: «Сейчас я выкопаю окоп, и никакой огонь не заставит меня уйти отсюда».

Красноармеец 9-й роты Козырев сказал: «Тяжело сдавать свою землю, если бы скорее наступать».

Ветфельдшер Бобров внес в фонд обороны 1100 рублей.

Политрук Глянько ворвался с криком «ура» в село Купчиновка.

Красноармеец Кравченко заявил: «Для Родины не пожалею жизни».

Красноармеец Манюк заявил: «Каждый день ходить в наряд — это отдыха не будет».

Сделаны козырьки от минометного огня.

Красноармеец Журба заявил: «Лучше смерть, чем фашистский плен».

Красноармеец Бурак отказался взять ручной пулемет: больные глаза. Комроты Коваленко стал выражаться на него нецензурными словами.

Зааптекой Подус производит хищение аптечного спирта, остатки разбавляет водой.

В первой пулеметной роте работает струнный оркестр.

Арестован Особым Отделом бывший дезертир боец Манжуля, который явился сам.

На квартире, где расположена 6-я рота, хозяйка враждебно относится к бойцам: в чай подсыпает золы и пускает дым в квартиру.

Красноармейская художественная самодеятельность организована в масштабе батальона. Была поставлена постановка «В хуторе Федоровка». Ездовой Ключко захвачен немцами, они повели его к хате, где стояли бойцы, у порога, перед входом, Ключко крикнул: «Старшина, немцы!»

Красноармеец Пилюгин сказал: «Генерал Мороз бодро нам помогает. Гибнут козявки и от его войска».

Начались холода, орудия очищены от пушечного сала, смазаны веретенным маслом.

Созданы группы истребителей танков, идут занятия.

В батарее, где политрук Малышев работает, прекрасный хоровой кружок.

Своими силами организованы бани.

Ненависть к врагу выливается наружу из уст бойцов и командиров.

Тов. Косорщевский продекламировал стих. тов. За-
кривидорога.

В бою за село Залиман раненый красноармеец зашел во двор к гр. Якименко. Якименко Галя хотела оказать ему помощь. Во двор ворвался немецкий фашист и застрелил красноармейца, а также Галю и пытался застрелить сына Якименко 14 лет. Сосед старик Белявцев Семен схватил палку и ударил фашиста по голове. Подскочил боец Петров и пристрелил немца.

Врач Доленко. Ее муж ушел с партизанами, а врач Доленко уехала с немцами.

Для комсостава проведена лекция по философии».

Дневник стрелкового полка.

«Красноармеец Казаков сказал комвзвода: «У меня на тебя давно винтовка заряжена».

Массовое настроение бойцов насчет того, что плохо работает полевая почта.

Красноармеец Евстреев отказался идти на пост, мотивируя тем, что он мокрый. 20 октября самовольно ушел с поста, оставив пулеметный расчет. Ушел в седьмую роту, где среди бойцов говорил: «Командиры с нас издеваются, пьют последнюю кровь, сами обжираются». При разговоре политрука вступил в пререкание, заявив, что «придет скоро время, что мы вас тоже поднимем на штыки». Политрук застрелил его из пистолета.

Политико-моральное состояние хорошее. Расстрелян перед строем дезертир Тороков.

Бойцы командира Кашалова (минрота) заявили: «Какие бы ни были трудности, будем переносить, лишь бы продвигаться вперед».

Комвзвода Меликов устроил пьянку в честь своих именин, где были и комроты и политрук.

Лейтенант Богинава бросил ночью взвод и пошел к одной девчонке Марусе, которая ничего общего с ним не имела. Богинава предупредил ее, что если она не выйдет за него замуж — угрожал расстрелом.

Охотники говорят: «У шахтеров рука не дрогнет ради спасения Родины».

Красноармеец Голяперов заявил: «Буду принимать присягу только с крестом».

Мужественно и геройски вел себя тов. Василенко. Погиб как герой за Родину.

Младший лейтенант Евдокимов (1922 года рождения, образование 10 кл., комсомолец) случайно ранил в живот младшего лейтенанта Зорина, после чего мл. лейтенант Евдокимов сделал самоубийство.

Тов. Мышковский геройски дрался и уничтожил до взвода фашистов пулеметным огнем. Умер от ран.

В ночь на 11 ноября организовали разведку в село Залиман. Противник вдоль по берегу привязал гусей, которые подняли шум при нашем приближении.

Колхозница из села Красная Поляна заявила: «Жгите у меня все, чтоб скорее немцы сдохли».

Помкомвзвода Анохин и старшина Манохин выпили содержимое из флаконов с противоипритной жидкостью. Помкомвзвода Анохин умер сразу же, старшина умер по дороге.

Меламед Наум Моисеевич храбро дрался со своим взводом, взял трофеи. Меламед убит.

Минометчик Сивоконь безжалостно громил врага.

22 декабря в 15.00 похоронен командир полка тов. Аваков, павший смертью героя. С прахом командира прощались все подразделения. На похоронах были и местные жители.

Политрук Усачев забросал немцев гранатами, перешел в штыковую атаку. Усачев погиб геройски».

Девушки в оккупированных селах надевают отрепья, мажут лица золой.

Дивизия шахтерская.

В Залимане шесть красавиц девушек ушли с немцами.

Песочин говорит певуче, выслушивая боевые донесения: «А, боже ты мой».

Сницер говорит по телефону: «Вы уже завтракали, видно, не доходит по фитилю». «Ага, вот теперь дошло по фитилю».

Деревенский мальчик отправился в разведку и, придя поздно вечером домой, сказал стоявшему на постое командиру полка, что выследил немцев. Сиплым голо-

сом проговорил: «Дайте водки, замерз». Командир полка, ужинавший в это время, всполошился, захопотал: «Ваня, водки выпей, Ваня, курочки». Он выпил, закусил курочкой и стал рассказывать. В это время пришла мать и жестоко выпорола разведчика. Оказывается, он никуда не ходил, все выдумал.

Обращение Гитлера: «Мои солдаты! Я требую, чтобы вы не отступили ни на шаг с завоеванной вашей кровью земли. Пусть пожары русских деревень, освещая пути подхода резервов, вселяют в них дух бодрости. Мои солдаты, я сделал все для вас, теперь сделайте то, что в ваших силах, для меня». (Со слов военнопленного.)

Из письма немецкого солдата: «Не беспокойся и не огорчайся, так как чем раньше я буду под землей, тем больше мучений я себе сэкономлю».

Из письма немецкой девушки: «Я постепенно схожу с ума, вернись, мой любимый. Надеюсь, что ты выживешь, потому что иначе для меня война проиграна. Прощай, мое сокровище, прощай, Мицци».

Из письма: «Часто мы думаем — ну, теперь Россия должна капитулировать, но, увы, эти безграмотные люди слишком тупы, чтобы это понять».

Из письма: «У нас теперь есть русские пленные, но, поверь мне, если бы население могло действовать по своему усмотрению, ни один из этой сволочи не остался бы в живых».

Из письма: «С питанием у нас неплохо: вчера закололи свинью в 150 кг на семь человек, натопили 30 килограммов сала».

Из письма: «Мы варим галушки. Сперва мы положили слишком много муки, потом слишком много картофеля. Всего сделали 47 штук, для троих достаточно. Теперь я варю капусту и яблоки. Не знаю, как удастся, во всяком случае, без косточек. Мы все забираем у населения. Некогда писать, все время варим. Так приятно в армии! Нас четверо, мы зарезали себе свинку. Я здесь нашел массу меда, как раз то, что мне нужно».

Из письма: «Здесь ты могла бы узнать, что такое жуть. При малейшем шорохе я нажимаю на спусковой курок и снап трассирующих пуль вырывается из пулемета».

Тема — немцы в деревне. Девушки. Немцы-постояльцы гадят на простыни, не хотят по нужде выходить даже в сени. Бой. Раненый старик с палкой.

Песочин лупит командиров. Комиссар дивизии полковой комиссар Серафим Сницер лупит политруков. Каждый бьет по своей линии. Оба огромные, массивные, с толстыми пухлыми кулаками. На обоих дела в армейской парткомиссии, они дают обещания, но как пьяницы не могут удержаться, каждый раз срываются. Вчера Сницер отлупил танкиста, с которым поссорился из-за трофеев.

Красноармейский ансамбль армейский (Степанов). Существует около двух месяцев. С людьми разучивают песни. Непомнящий написал на текст Алтаузена, она отпечатана, раздается бойцам, а затем разучивается за певалами. Обслужили десятки тысяч народу. Краснов руководитель. Мезепенко читает рассказ о дружбе, передовую «Красной звезды» «Завещание 28». Баянист Терещенко («Утро в колхозе», «Мазурки Шопена»). Сметанин и Котляров исполняют «Котенок», «Ой, орал мужик край дороги». Копара хормейстер. Калистый, работник трибунала, поет: «Ой, Днипро, Днипро, ты течешь вдали и вода твоя, как слеза». Когда поют эту песню, плачут не только слушатели, но и участники ансамбля. Участники ансамбля — бойцы, пехотинцы, артиллеристы, танкисты. Одеты они плохо, один обморожен. Их обстреливают. Как-то корректировщик заметил машину и чуть не разбил ее минами. Концерты обычно дают перед боем. В одном селе Дуброва участники ансамбля перебежками, по одному, оставив машины, перебежали к месту концерта в лесу. Вышла старуха Василиса Ничволода и под баян танцевала с Котляровым, ей 75 лет. После концерта она сказала: «Спасибо, сыночки, живите много, много лет, бейте фашистов».

«Выступление ансамбля — это меткий выстрел по фашизму» (из отзывов).

Дивизия полковника Зиновьева.

Зиновьев, Герой Советского Союза, 1905 г. рождения, крестьянин. «Я мужик», — говорит о себе. В 1927 году пошел в Красную Армию, служил в Средней Азии в пограничных войсках. Во время финской кампании командовал ротой. 57 дней был в окружении. Там получил звание Героя Советского Союза. Зиновьев рассказывает: «Самое страшное, когда ползут они, бьешь по ним из пулеметов, бьешь их минами, артиллерией, кричишь на них, а они ползут, ползут, ползут! Вот теперь я так своих красноармейцев убеждаю: «Ползите!» Он окончил Академию, но говорит трудно, теряется, смущается, стесняется своей простоты.

Дивизия шахтерская. Сплошь шахтеры из Донбасса. Немцы зовут ее «Черная дивизия». Шахтеры не хотели отступить. «За Северный Донец ни одного немца не пустим!» Красноармейцы-шахтеры говорят о командире дивизии: «Наш Чапаев». В первом бою сто немецких танков атаковали дивизию, шахтеры отразили атаку. При прорыве фланга дивизии Зиновьев верхом промчался перед передним краем с криком: «Вперед, шахтеры!» «Шахтеры назад не идут!» — закричали красноармейцы. Бойцы спят в лесу при морозе 35 градусов. Они не боятся танков, привыкли к врубовым машинам. «В шахте страшней», — говорят шахтеры. Зиновьев говорит: «Главный человек на войне — красноармеец, ведь он кладет свою жизнь, ведь он в 35-градусный мороз спит на снегу. А отдать жизнь нелегко, жить всем хочется, и героям жить хочется. Завоевывать авторитет нужно каждодневным общением с бойцами, каждодневной беседой с ним, боец должен не только знать задачу, но и понимать задачу. С бойцом нужно беседовать, и спеть, и сплясать. Но авторитет у командира должен быть не дешевый, а дорогой. И командиры отделения, и взвода, и роты, и батальона, и полка должны каждый день, каждый час завоевывать свой дорогой авторитет у бойца. Этому, — говорит Зиновьев, — меня научила служба в пограничных частях, когда боец верит — он все исполнит и пойдет на смерть. Надо городок занять, надо дорогу перерезать, я знаю: займут, перережут».

Жестокие морозы. Скрипучий снег. Ледяной воздух перехватывает дыхание. Слипаются ноздри, ломит зубы. На дорогах нашего наступления лежат замерзшие немцы. Тела совершенно целы. Их убили не мы — их убил мороз. Шутники ставят замерзших немцев на ноги, на четвереньки, создают затейливые, фантастические скульптурные группы. Замерзшие стоят с поднятыми кулаками, с растопыренными пальцами, некоторые словно бегут, вжав головы в плечи. На них худые ботинки, худые шинелишки, бумажные, не держащие тепла, фуфайки. Ночью при яркой луне снежные поля кажутся синими, и в синем снегу стоят расставленные шутниками темные тела замерзших немецких солдат.

В только что освобожденной деревне, на площади, лежат трупы пяти убитых немцев и одного красноармейца. Площадь пустынна, спросить некого, и не спрашивая можно прочесть эту драму. Один немец убит штыком, второй убит прикладом, третий штыком, двое застрелены. И порешивший их красноармеец застрелен в спину.

Немцы покинули село. Два дня в селе не было ни наших, ни немцев, как говорят, стояло пустое, хотя все жители были в своих хатах. И вот что рассказывают жители: «С двух противоположных концов села одновременно въехали два разведчика, оба конные, как два рыцаря. Немец на огромной лошади, наш — на маленькой. Вся деревня наблюдала, затаив дыхание, бой. Немец издали закричал: «Ком, русь» — и они сразились, стали стрелять. Немец погиб, наш осилил».

Всюду на снегу следы. Эти следы рассказывают, как немцы бежали из деревни на дороги, а с дорог в яры, бросая снаряжение.

Опять стоящие немцы. Один в белье, в бумажном свитере.

У убитых и замерзших немцев отрубают ноги с сапогами, ставят на печку, и когда они оттаивают, вынимают ноги из сапог. Мне рассказывали, что один старик

с утра выходил на работу с пилой и топором, приносил к вечеру мешок ног.

В избе тесно от десятков людей, неразбериха, штаб еще не разместился. Красавица девушка в шинели не по росту, в шапке-ушанке, наползающей на глаза, в огромных валенках, и под всем этим серым, обезображивающим ее угадывается милая, стройная девушка. Она стоит растерянно, не знает где присесть, держит в руках красную сумочку. Удивительно печально выглядит эта помятая, когда-то нарядная дамская сумочка в этой серой военной хате. Боец шутя хлопнул девушку с размаху по спине, она внезапно заплакала. Боец сказал ей: «Прости, Лидочка, рука тяжелая, шахтерская».

Хозяева избы рассказывают, что немцы бежали из села уже под огнем нашей артиллерии, с несвязанными вещами, бежали панически, некоторые падали в снег, плакали навзрыд.

Хозяин избы рассказывает: «У нас стоял немец-шофер, рядовой, он с Полтавы кошку с собой привез, она его так знала, только он вернется из поездки, войдет в хату, она к нему шасть, об сапоги трется, он ее смальцем кормил, чистым смальцем кормил. А как стали бежать, он эту кошку с собой забрал, очень ее любил».

«А у нас на квартире стоял дивизионный врач Арц, все ночи напролет работал, как бык работал, пишет, пишет, потом кричит по телефону, как ворон: «Камышеваха! Камышеваха!», потом снова пишет, на свет даже не смотрел, как бык работал. А денщику кричал: «Почему русского не слышно» — любил, когда я по утрам дрова колол, нарочно будили меня».

Баба рассказывает: «Она была справная корова, молодая, они ее поймали, хотят что пожирнейши сожрать».

Дневник Донбассовской дивизии

Октябрь месяц

«Отсекр. комсомола Еретик, умирая с тяжелой раной, хотел бросить гранату в набегавших немцев, но бросить не было сил. Граната взорвалась у него в руке, убила набежавших немцев и Еретика.

Тяжело ранен редактор дивизионной газеты Пустовалов. При следовании на санитарной двуколке в село Малиновку Пустовалов умер. Похоронен в селе Гавриловке.

Вывезли на волах подбитый самолет.

Двенадцать километров несли бойцы своего раненого командира Муратова.

Четвертая батарея вела бой до последнего патрона, до последнего бойца. Весь расчет, сражаясь за Родину, героически погиб.

Красноармеец Петров заявил: «У нас на фронте плохое руководство».

Разведка из шести бойцов во главе с младшим лейтенантом Дроздом не вернулась. Потом Дрозд был обнаружен с двумя штыковыми ранами, мертвый, без нагана, но с документами и деньгами. Бойцы не обнаружены.

Начальник штаба артиллерийского полка старший лейтенант Платонов говорит: «Придется пулю в лоб себе пустить».

Порвали партийные билеты Турилин и Лихатов.

Гуляев заявил: «Зачем окапываться, все это напрасно».

Красноармеец Тихий пытался изнасиловать хозяйку, где ночевал. Боясь ответственности, Тихий выскочил из квартиры, взял винтовку, вскочил на лошадь и уехал в неизвестном направлении. Розыск пока положительно-го результата не дал.

Имеются массовые жалобы бойцов на полное отсутствие писем.

Беспартийный красноармеец заявил: «Мы имеем хорошую технику, но применить ее так, как стахановцы применяют, как отбойный молоток, еще не применили».

В городе Ямполе была сброшена листовка, писанная от руки: «В городе Иерусалиме во время утренней службы был слышен голос Спасителя. Кто помолится, хоть раз, тот будет спасен».

Младший лейтенант Чурелко кричал бойцам: «Вы, сволочи, не любите меня, потому что я цыган». После чего вскочил на лошадь, хотел поехать на передовую линию, но его не пустили. После чего он хотел застрелиться.

Красноармеец Дуванский гнал вола и ударял по волю прикладом. Приклад сломался при ударе по волу и произошел выстрел, ранивший Дуванского. Дуванский отправлен в санроту и привлечен к ответственности.

Коммунист Евсеев потерял блокнот. Красноармейцы этот блокнот нашли. В нем хранилась переписанная молитва.

Разведчики Капитонов и Дейга переоделись в гражданское платье и попали на собрание, где немцы выбирали старосту. Немцы крикнули, кто не здешний — выходи. Разведчики встали и их арестовали.

В ответ на доклад т. Сталина медсестра Рудь дала своей крови 250 куб. см., а Тарабрина — 350 куб. см.

Приняты срочные меры по ликвидации вшивости. Устроены вошебойки.

В штабной батарее, во время завтрака, в супе была обнаружена лягушка.

Бойцу Назаренко, вытащившему 2-х тяжело раненных из огня, а затем убившему 10 немецких солдат — одного ефрейтора и одного офицера, сказали: «Ты герой». Он ответил: «Что это за героизм, вот дойти до Берлина — это героизм!» Он сказал: «С политруком Черны-

шевым в бою не пропадешь! Он в разгаре боя подполз ко мне, засмеялся и развеселил меня».

Меню немецкой солдатской кухни: утром завтрак — кофе, обычно без сахара, с хлебом, намазанным жирами, свиным смальцем. Обед из одного блюда — суп мясной. Ужин — кофе с хлебом. Один раз в неделю дают мясное второе.

Шахтеры бойцы. Автоматчик Дмитрий Сычев из Горловки убил до сорока человек фашистов. Разведчик Михаил Савенков, машинист электровоза, ранен, представлен к награде. Учитель Лазовой Антон Михайлович погиб в бою. Денисенко Савелий выдвинулся из рядовых, командир взвода. До войны шахтный электромонтер. Изерский Григорий, ученик знатного шахтера Рябошапка, заместителя председателя Верховного Совета УССР, разведчик, представлен к правительственной награде. Эти люди главным образом из части Григорьева. Люди одной шахты часто служат в одном подразделении. Кадровики шахтеры Савенков и Сулименко, тоже машинист электровоза, пробились вдвоем из окружения. До войны они работали на одной шахте, дружили, соревновались. Многие из их подразделения сдались, увидя танки, но они отбивались до ночи, а ночью закопали пулеметы в снег и ушли к своим. Семья Красноголовцевых. Отец 25 лет работал на шахте Центральная № 1, Красноармейского района в Донбассе. Из десяти членов семьи пять ушли на фронт. Брат Александр — крепыльщик — теперь помощник командира взвода. Он убил немецкого офицера, и сестра прислала ему письмо. Пишет: «Молодец, Шура!» Брат Яков — коммунист, электрик, дважды ранен, теперь снова на фронте. Великолепный стрелок. Брат Петр. «Сколько радости было в нашем доме, когда повел он шахтный электровоз». Теперь он водитель танка. Под Новоград-Волынском бил в упор по немецким танкам, ранен, теперь снова на фронт. Анна — сестра, военфельдшер. Кульбицкий из горловской газеты. Горский — редактор.

В поле ночью наши бойцы заметили у стогов трех немецких автоматчиков. Стали окружать их, потом за-

кричали: «Сдавайтесь!» Немцы молчат. Оказывается, стояли мертвые, замерзшие, прислонившись к стогу, видимо, днем их расставили шутники.

В мирное время мы всегда путали в передней галоши, теперь, когда в избе спит десять, пятнадцать человек фотографов и корреспондентов, утром, в темных, видимых рассветных сумерках каждый раз начинается ералаш: чьи валенки, портянки, рукавица, шапка — ведь все одинаковое, на глаз вчерашнего гражданского человека — все на одно лицо, как китайцы. Военные не путаются.

О командирах дивизии: «Я стою»... «Этот рубеж занимаю я»... «Это я прорывал»... Вечное: «Сосед слева»... «Сосед справа»... «Сосед подводит»... «Сосед опоздал»... «Сосед наврал в донесении». «Ох, сосед, сосед»... «Это мои трофеи»... «Это мои зенитчики сбили немца, а упал он к соседу, и сосед заявляет, что это он сбил»... «Беда с соседями»...

Избы в морозное, сорокаградусное, ясное утро, все, как одна, дымят, словно линкоры в порту. Ветра нет. Не шелохнет, и много десятков дымовых столбов стоят, как подпоры между снежной белизной земли и голубым жестоким небом.

В украинской деревне, освобожденной от немцев, бабы мажут хаты не как перед праздником, а как после заразной, тяжелой болезни, посетившей село.

Утром в только что освобожденную деревню возвратился Кузьма Оглоблин, председатель сельсовета, ходивший в партизанах. Он чугунный, в черном тулупе с винтовкой. В избу набилось полно народу. Оглоблин говорит: «Не бойтесь ничего, живите смело... Вот сапоги немецкие сдавайте... Я, например, подбил гранатой машину, в ней было триста пар сапог, мне сапоги очень нужны были, но я ни одной пары не взял... Зачем вам документы? Мы ведь люди свои, смелей, смелей живи-

те, немцам конец, они не вернутся...» (К сожалению, Оглоблин ошибся, летом немцы вернулись.)

«Как немцы в хату, кошки с хаты и три месяца не входили в хату. Это не только у нас — во всех деревнях, рассказывают так. В общем они чувствуют — чужой народ, чи запах от немцев».

Сразу же после боя толпа деревенских баб вылезла из погребов и кинулась в поле, в немецкие окопы за своими одеялами и подушками.

Выехали в метель из Залимана в Сватово. Дорогу замело. Вскоре застряли совершенно безнадежно. К счастью, проходивший танк заметил нас, мы влезли на броню, и танк довез нас до Залимана, машину тащил на буксире.

Возвращение в Воронеж. Ночью в санлетучке. Знакомство с врачом в темноте, при слабеньком свете углей в печке. Докторша разговорилась, разволновалась, читает стихи, философствует. «Скажите, вы блондинка?» — спрашивает Розенфельд. «Нет, я совершенно седая», — отвечает она. Наступает молчание. Смутился Розенфельд, смутилась докторша, за компанию смутился и я.

Утром в санлетучке. Тяжелораненым в виде лакомства дается маленький кусочек селедки. Девушки-санитарки режут крошечные кусочки чрезвычайно бережно, священнодействуют. Бедность, бедность.

Старшина Койда говорит: «А раненые все прибуют и прибуют».

Раненый: «Товарищ майор, произошел скандал, разрешите к вам обратиться?» Майор испуганно: «Что, что случилось?» — «Да спорим — будет ли Германия после войны».

Летучка стоит на путях. Кругом воинские эшелоны. Как только Уляша, Галя, Лена лезут в теплушку, сразу же из-под земли появляются бойцы: подсаживать се-стер. Визг и хохот на всю сортировочную.

В Лисках расстались с летучкой. Снова вспомнил, как по дороге на фронт зашел голодный к коменданту и передо мной поставили полную тарелку роскошного украинского домашнего борща. В тот момент, когда я подносил первую ложку ко рту, ворвался Буковский и крикнул: «Скорей, бегом, эшелон уже тронулся». Я кинулся за ним. Этот борщ неделями преследовал меня.

Пересели в обычный поезд. Теснота, давка. Контролер говорит человеку в черном пальто: «Пусть сядет бо-ец, который сегодня едет, а завтра его нет». Узбек-красноармеец поет по-узбекски, громко, на весь вагон. Ди-кие для нашего слуха звуки, непонятные слова. Красноармейцы слушают внимательно, с каким-то бережным и стыдливым выражением, ни одной усмешки, ни одной улыбки.

Если командир дивизии вырвался вперед, он гово-рит: «Не могу дальше развивать успех, меня задержи-вает сосед». А тот, чья дивизия задержалась, отстает, говорит: «Еще бы отстал, я принял на себя всю силу удара, а соседу, конечно, легко переть вперед!»

Старик ждал немцев. Накрыл стол скатертью, поста-вил угощение. Пришли немцы и все разграбили. Старик повесился.

Командир полка Крамер Карл Эдуардович. Отчаян-но лупит немцев. Толстяк. Обжора. Во время боя забо-лел. Температура сорок. В бочку налили кипятку, тол-стяк влез в бочку и выздоровел.

Из директивы генерала от артиллерии Иванова командующим седьмой, восьмой, девятой и одиннадца-той армиями:

«26 января 1916 года. Почти все наши атаки в последних боях представляли собой одну и ту же характерную картину: войска врываются на участок неприятельской позиции, выбрасывают из окопов и укреплений остатки его передовых войск, неудержимо устремляются за ними и затем, атакованные, в свою очередь, соседними его частями или резервами, отходили не только к захваченным с боя укреплениям, но, закрепив их за собой и не имея вследствие этого в них опоры, отбрасывались назад, часто в положении, которое занималось перед атакой, понесая при этом обыкновенно большие потери».

Оттуда же: «...современное развитие подготовленных, укрепленных позиций в глубину, в связи с установившимся у австрийцев и германцев методом обороны этих позиций, когда непосредственно оборона передовых линий возлагается, главным образом, на пулеметы и артиллерию, а войска сохраняются для контратак...»

Из разговора генерала Алексева с генералом Куропаткиным по прямому проводу 9 июня 1916 года: «Каждая вновь подвозимая неприятелем дивизия увеличивает трудности борьбы и грозит свести на нет все то, что до сих пор сделано, нашу тактическую победу обратить в ничто, хотя тактическая победа без стратегических результатов — это дорогая, красивая, но бесполезная игрушка».

Разительное сходство этих генеральских соображений и наблюдений с соображениями и наблюдениями в районе Залимана нынешней зимой.

Еще о бедности. Бедность печальна, но она прекрасная бедность, какая-то народная бедность. Раненые, их угощение — кусочек селедки — тяжелым и пятьдесят граммов водки. У летчиков-истребителей, совершающих великие дела, стаканы сделаны из неровно обрезанных зеленых бутылок. У некоторых летчиков унты без пятки. Комиссар истребительного полка говорит старшине: «Надо бы дать ему другие унты, у него ведь пятки мерзнут!» Старшина мотает головой: «У меня нету». Летчик говорит: «Да ничего, мне тепло и так!»

Русский человек на войне надевает на душу белую рубашку. Он умеет жить грешно, но умирает свято. На

фронте у многих чистота помыслов и души, у многих какая-то монашеская скромность.

В танковой бригаде Хасина командир мотострелкового батальона капитан Козлов ночью философствовал со мной о жизни и смерти. Он молодой человек с бородкой, до войны учился пению в Московской консерватории. Козлов говорит: «Я сказал себе: все равно я убит, и не все ли равно, сегодня или завтра это будет. И живу я после этого решения легко, просто и даже чисто как-то. На душе очень спокойно, в бой хожу совершенно бесстрашно, ничего не жду, твердо знаю, что человек, командующий мотострелковым батальоном, должен быть убит, выжить не может. Если бы не эта вера в неминуемость смерти, мне было бы плохо и, вероятно, я не мог бы быть таким веселым и спокойным и храбрым в бою».

Козлов рассказывал мне, как осенью 1941 года в Брянском лесу он по ночам пел перед немецкими окопами арии из классических опер; немцы обычно, послушав немного, начинали бить из пулеметов по певцу, может быть, им просто не нравилось его пение.

Козлов сказал мне, что, по его мнению, евреи недостаточно хорошо воюют, он говорит, что они воюют обыкновенно, а евреи в такой войне, как эта, должны воевать как фанатики.

Тыл живет другим законом, и никогда он не может морально слиться с фронтом. Его закон — жизнь, борьба за жизнь, а жить свято мы не умеем, мы умеем свято умирать. Фронт — святость русской смерти, тыл — грех русской жизни.

Страшно то, что непривычно, привыкают ко всему. Но вот к смерти — нет. Вероятно, оттого, что умирают один раз. А с первого раза ведь не привыкнешь.

Терпение на фронте, безропотность к тяжестям невообразимым — это терпение сильных людей. Это терпение войска огромного, в нем и величие души народа.

Война — искусство. В ней дружат элементы расчета, холодного знания и умного опыта с вдохновением, слу-

чаем и чем-то совсем иррациональным. (Борьба за Залиман у Песочина.) Дружат, дружат, а иногда и враждуют. Это как музыкальная импровизация, которая немислима без гениальной техники.

Русский человек очень тяжело трудится и нелегко живет, но в душе своей он не имеет ощущения неизбежности этого тяжелого труда и нелегкой жизни. На войне я наблюдал лишь два чувства по отношению к совершающемуся: либо необычайный оптимизм, либо полную, беспросветную мрачность. Переходы от оптимизма к мраку быстры и резки, легки. Середины нет. Никто не живет мыслью, что война надолго, что лишь тяжкий труд на войне, непрерывный из месяца в месяц приведет к победе, и даже те, кто говорит об этом таким образом, и те не верят этому. Есть лишь эти два ощущения: враг разбит — первое, врага нельзя разбить — второе.

Луна над снежным полем боя.

Острие расистской ненависти направлено против ортодоксальных евреев, которые, по существу, являются фанатиками чистоты еврейской крови, расистами. Два полюса: на одном — расисты, угнетатели мира, на другом — еврей-расисты, угнетеннейшие в мире.

Кутузовский миф стратегии 1812 года. Кровавое тело войны обряжают в белоснежные одежды идеологической, стратегической и художественной условности. Те, кто видел отступление, и те, кто обряжал его. Миф — первой и второй Отечественной войны.

Юго-Западный фронт. Танковая бригада
Хасина

1-й батальон 6-й Гвардейской танковой бригады

Богачев Ал. Мих., 1918 г., Ленинград. Работал на Кировском заводе слесарем, на «Русском дизеле». В ар-

мни с октября 1939 г. В апреле 1941 г. попал в бат. т. Карпова, гор. Львов. Механиком-водителем.

«Командиром у меня был старший лейтенант Крючкин — хороший к-р, бесстрашный к-р. Крючкин давил пехоту, ПТО, орудия, подбил танк, много сделал. Ему оторвало половину тела, когда он высунулся из люка. Первый раз я был контужен 15 июля в районе Казати-на. Бегал в дивизию, просил вывезти подбитую машину. Полмесяца был в походном госпитале. Хотели меня направить в другую часть, я побежал к командиру гор. Золотоноша. В штабе встретил знакомого лейтенанта, тот объяснил, где часть. Знакомый шофер по дороге подвез. Первым увидел меня политрук Мартынов, потом позвал Карпов. Расспрашивал.

Встреча с товарищами — Андреев — старый друг, Дудников — механик-водитель; Шишло — Герой Советского Союза, командир машины. Снова стал водителем капитана Карпова.

1 октября под Штеповкой. Поддерживал атаку кавалеристов. Грязь, темно, шел с полуоткрытым люком, подорвался на mine, не мог ходить 15 дней.

Ст. Рубежное, лежал в госпитале. Лежал 2 месяца. Лежать скучно. Не мог писать, все время менялись адреса. 9 декабря вышел из госпиталя. Пошел к нач. пересыльного пункта, стал проситься в 1-ю танковую бригаду. Направили. В штаб заходит Дудников, мл. лейтенант, спрашивает, как здоровье, как себя чувствую. Встретился с Шишлом, Карповым. Командир машины Андреев, еще до войны знали друг друга. Дома мать и две сестры. Здесь живешь как со своей семьей, в другом месте как не в своей тарелке».

Ср. танк.

Командир машины ст. лейт. Крючкин, погибший, заряжающий — к-ц Бобров, радист-стрелок Солей и механик-водитель. Командир стреляет.

Тяж. танк.

Командир танка, к-р орудия, механик-водитель, старший моторист, он же заряжающий, радист, стрелок.

Криворотов Мих. Павл. 22-й год. С 20-го года работал в совхозе комбайнером в Башкирии. Мать по-

лучила благодарность от Воен. Совета 21-й армии и от колхоза.

В 1940 г. в декабре пошел в армию. «Я танков сразу не видел, с первого взгляда очень понравились, я их полюбил до невозможности. Вообще танк очень красив. Работал механиком-водителем. Машина, мощная своим огнем, мощная своей силой, золотые танки.

На 3-й скорости (очень хорошая скорость) семь раз ходил под Штеповкой.

У них пушки, минометы, мы овраг переехали, ворвались в деревню. Я кричу: «Пушка с левого фланга!» Уничтожили пушку, пулеметы. В левый бок ударил снаряд. Танк загорелся. Экипаж выскочил, а я в горящем танке подавил батарею. Немного спину нагрело — все горит. Быстрая машина. Жалко машину было бросать. Очень жалко. Доехал к себе — в верхний люк, через огонь проскочил, все равно как щука проскочил.

В танке горели масло, краска.

Атак очень много, я не считал.

(Огромный парень; синие глаза.)

Командир танка Т-34. Андреев Ник. Род. в 1921 г., Ленинградск. обл., окончил техникум, призвался в 1941 г. в танковую часть.

«Под Гомовом я стоял на дороге, на меня полным ходом 6 машин. Ушел за бугорок, видна одна башня. Дал огонь. Со второго снаряда подбил. Штук 10 танков у меня уже есть. Я попадаю со второго снаряда.

Маневрируешь на месте, чтобы не пристрелялись.

Увидели 5 танков. Крючкин высунулся из люка: «Давай, Андреев, вдвоем их ударим». «Давай».

Майор Карпов — розовощекий, тонкий овал лица, рыже-золотистые волосы, золотистые ресницы. Очень синие глаза.

Седов Мих. Степан., с 1917 г.

«Работал на автозаводе в лаборат. и механич. сборочном цехе. Я там всю свою жизнь получил, всю силу. Направили в аэроклуб. На заводе вызвали: «Мы вас освободим». Но мне авиация была уже дороже за-

вода. Таран не геройство. Геройство, когда побольше собьешь.

Саломатин Ал. Фролович, 21 г., маленький, белый, широкий.

«В чем геройство — спор? Таран геройство, не мог видеть, как полетели на бомбардировщиков. Отбил их, а сам погиб».

«...Шли на задание. Заметили ударную группу истребителей: к линии фронта шли бомбардировщики под прикрытием М. На ударную группу пошли Мартынов и Король. Я сразу в стайку на «мессеров»... Смотрю, наши колупаются, а бомбардировщики подходят к линии фронта.

Когда группа пошла в атаку — пошел и Седов. Седов атаковал «мессера», который шел на Мартынова. Седову зашло двое в хвост, я пошел на них в атаку. Преследую первого, после двух очередей из пушки и пулемета он задымил.

В это время по мне открыли огонь. Почувствовал по удару в козырек, и мне разбили очки. Я сорвал очки. Смотрю: МС, что дымился, вниз идет; я на него в атаку, очередь дал по нему, он загорелся и упал в лес. Еремин атакует МС, я тоже его атаковал, но мешали слезы, и летели стекла из козырька. Вышел из боя и наверху огляделся.

Капитан Еремин помахал крыльями, я к нему пристроился. Сразу нашел Седова, который прикрывал Скотного, севшего. С Седовым пристроились к общей группе и пошли домой».

Скотной, 1914 г., Василий Яковлевич. Украинец.

«Работал на паровозостроительном заводе электрообмотчиком, был бригадиром комсомольской бригады. Работал с 31-го г. по 36-й г. Аэроклуб был от меня километров пять, после работы ночью возвращался, язык на плечо. В 1937 г. — в тренировочный отряд. Присвоили звание старшины, меня устроили в истребительную авиацию».

Летал на Миге. Сбитых 2.

О бое. «Я шел в воздушном звене, вел капитан Еремин, Запрягаев и я. Вначале был я атакован Ю-88, нажал на всё, всем оружием. Тот закоптился и пошел вниз. Ему поспешал МС на выручку. Пошли мы с ним лоб в лоб. Он мне пробил радиатор, а я его поджег.

Я пошел на вырубку Еремину. Один МС меня зажег — масляный бак, трубки бензиновые. Внутри самолет горел и пару много. Пошел на снижение. Седов меня прикрыл. Я-то не обгорел, а сапоги обгорели. Вылез, помахал Седову — мол, иди. Самолет мой совсем сгорел».

Ст. сержант Король Дм. Бор. 21-го г. рождения, харьковчанин.

«Закончил 9 классов в 1940 г., пошел в авиацию. С октября в полку. Первый вылет. Я сидел и дежурил. Часто мимо нас Ю летали бомбить район знакомый, школа тут была.

...С Соломатиним взлетели по тревоге и сбили. Очень приятное чувство. Летишь, все прикидываешь, как бы лучше сделать. У меня 20 вылетов, 5 воздушных боев, 5 в группе, 1 мой МС.

Командир мне объясняет, я его понимаю, что он хочет. Договоренность на земле: покачал крыльями — подготовиться к атаке. Бой. Мы шли левыми ведомыми. Он мне покачал. Мне показалось, что вспыхнули разрывы зенитных снарядов, так их много было. Каша. Я сел поудобней: ну, будет дело. Они в три яруса — точно как комары. Я сразу узнал Ю-87, хотя раньше не видел: ноги торчат, нос желтый.

Вижу МС внизу, я сразу по нему. Видно, как трасса кончается в его черных плоскостях. МС — длинный, как щука. Смотрю, метрах в 20 — желтый нос; я дал вираж, но запоздал, вижу: по мне огоньки и синяя трасса. В это время Мартынов как кинется на него, он отвалился. «Чайки», надо «чаечек» прикрывать, там все люди хорошие.

Интересно, конечно, увлекаешься здорово».

Еремин Бор. Ник. 29 лет. В авиации с 1932 г. «Участвовал на Хасане, бомбил. В финской не удалось. Главный принцип — слетанность парами, дружба. Они слетаны — знают особенности один другого.

Мартынов (пом. ком.) летает с Королем, натаскал его. Они между собой беседуют. 2-я пара — летч. Балашов и Седов. Я со Скотным летаю».

Майор Ф а т ь я н о в Иван Сидорович.

«Бомбардируя противника, ходит на высоте 1500—2000 метров. Отсюда задача — высота истребителям 1700—2000 м. Учитывается, что бомбардировщики ходят строем звеньев, а перед бомбометанием выстраиваются в колонну, по одному пикируют. Истребители ходят 2 группами — 1-я, наиболее сильная, прикрывает сверху, 2-я группа ходит над землей 700—1000 метров, она прикрывает выход из пикирования. Истребители стараются разбить строй и одиночек бьют парами.

Наши ходят парами (даже бросают жертву, чтобы быть с товарищем). Идут парами — по вертикали, одна от другой в 50—100 метрах — верхняя смотрит вперед, в стороны, вниз; вторая — вниз и в стороны, третья — вверх и в стороны. Пара, заметившая противника, выдвигается вперед, дает знать: «Вижу», — и первая атакует.

Главное, мы верим в друга, в несчастье помогаем. Обычай не нами заведен, но свято соблюдается нами. Вера в матчасть у нас есть, не подводил ни мотор, ни самолет. Знание своих сильных сторон по сравнению с противником. В процессе боя я собрал группу и отбил атаку МС, обеспечили выход Седова. Нет, нельзя сказать, что я отбил, я прикрыл (скромность).

Этот бой — результат нашего опыта прежних боев над Лозовой. Мы знаем, что они не лезут в бой массой, что их пары не так крепки, их легче разбить.

О немцах. Они прикрывают Ю при входе в атаку и при выходе. (Стрижен, серо-зелен. глаза, бронзовое лицо.) Не выносят резких эволюций. У немцев слабо товарищеское чувство, пары легко разбиваются, уходят, стараясь использовать скорость. Они уходят от активного противника, но в раненых вцепляются зубами. Я бы не сказал, что у меня большой опыт. (Сама скромность. Был ранен в ночном полете.) Нет, не тяжело, в челюсть, выбило челюсть».

Капитан З а п р я г а е в Иван Иванович. (Курит трубку; белый.)

«С 1933 г. в авиации. Из Кинешмы. В армии с 29-го г., пошел добровольцем. 1909 г. Кончил школу командиров звеньев в 1934 г., был инструктором с 1934 г. по 1937 г. Учил испанцев. С 1939 г. тренировал летный состав в Забайкалье, был пом. ком. эскадрильи, затем комиссаром эскадрильи. В партии с

27-го года. До военной службы работал электриком на фабрике. В 1940 г. тренировал летный состав Действующей армии под Ленинградом. В 1941 г. в Черновицах.

Первый день войны в Черновицах. В пятом часу была объявлена тревога, прибежали на аэродром, произвел взлет под бомбежкой. Второй вылет с разбомбленного аэродрома. Ушли на запасный аэродром и оттуда сделали вылет».

О погибшем Демидове.

Прибыл 7 августа из Балтийского училища. Хороший организатор, всегда просился вылетать на боевое задание.

Вылетели пятеркой, шли не компактно. На него и Бондаренко навалились 12 «мессеров», 2 пошли за Федотовым.

Демидов вступил в бой с 8 «мессерами». Дрался сильно, бой длился около 17 минут. Они прикрывали бомбардировщиков. Демидов спас их, приняв на себя главный удар.

Демидов всех заражал своей смелостью. Баранов при вручении орденов заплакал. Первый тост за Сталина, второй — за погибшего Демидова.

Балашов, лейт., 7 августа. Прекрасный техник, организатор, выдвинут на командира эскадрильи.

О Демидове: «Пел хорошо, бывший артист; он учился в Москве, пел нам песни. Много летал. Любил петь и летать. Особенно следил за отстающими товарищами. Посмертно представлен к ордену. 1919 г. рождения, грамотный, развитой.

Бой был 4 марта над Краснопавловкой. Замечательный товарищ, замечательный летчик, шел на риск, но глупо не рисковал. Пел Вертинского, жил в Москве, на Сущевском валу. Это такой друг, в нем ты мог быть уверен больше, чем в самом себе. Этот никогда не бросит. Упал он у нас; его похоронили, еще двух командиров.

...Я кинулся на них и сбросил 2 эреса. Врезаюсь в середину, одного чуть не задел крылом. Я свалился с солнца, они не стреляли. Со вторым чуть не столкнулся, на расстоянии 25 метров сбил его пушкой, эресом, пулеметом.

Потом разворачиваюсь и общий огонь.

Второе звено — ведущий у меня под животом мет-

рах в 2; меня волной кинуло, я пикировал и ушел от 9 «мессеров». Я хотел выбить «мистера» из-под хвоста нашего Яка, но не успел (на нем лейт. Скотной), он ушел на планирование; но второго «мистера» я отогнал, его прикрыл. Он сел, я сделал два виража, чтобы его не убили; вижу, что живой, помахал рукой.

Еремин поддержал инициативу ведомого лейтенанта Мартынова, который первым увидел противника и кинулся на него (в звене Еремина капитан Запрягаев и лейт. Скотной).

Седов шел с Саломатиным на Ю-87.

Мартынов с Королем на «мессеров».

Бой длился 10—15 минут, был в 13.30, вылетели в 13.15, это было западнее Балаклеи. День был ясный, порой дымка. Ударили по врагу от солнца. Солнце способствовало этому делу. Полк за последний месяц сбил 23 самолета, за 1-й период сбито 14 самолетов, уничтожено до 9000 солдат и около 300 машин и цистерн, 15 танков, 300 лошадей.

За последний месяц — 23 самолета, 320 солдат, 39 автомашин, 51 повозка с грузом, 89 лошадей, сожжено 6 домов, 9 зенитных точек, склад с боеприпасами и склад с горючим.

Сами за месяц — 3 убитых и 1 без вести, самолетов — 5.

Я всегда ввязываюсь в бой, я хочу не отличий, хочу немцев разбить, жертвуя своей жизнью.

Таран — это русская натура, это советское воспитание.

Седов (играет самолетом: что сказал, то сделал).

Саломатин Ал. Ф. 1921 г.

Учился в гидротехникуме (аэроклуб).

Кашинскую школу в 38—40-м гг.

В Батайскую школу инструктором.

Война. 7 августа прилетел в полк.

Сбитых — один индивидуально, пять групповых.

Летал на И-16, теперь Як.

Ведомый у Седова.

Лейтенант Саломатин:

«Ведущий идет лоб в лоб ко мне, я самолета не трогаю. Он не выдержал, отвернул. Таран был бы удобнее. Один на один — ерунда. Боишься, как бы не навали-

лась орава, а увидишь ораву, радуешься, все забываешь,ходишь в азарт: «Идут же бомбить наши войска!»

О таране: «Истребитель сменять на Ю очень хорошо, целесообразная вещь. Но звание за это не стал бы присваивать, потому что каждый это сделает. У меня на счет тарана мысль давно есть, ударю винтурой. Он ведь может причинить много вреда».

(Скотной: «Какой же он герой, если не сбил полным боекомплектom и таранил».)

Саломатин: «Я не борюсь за награду, мне бы помочь пехоте. Я забываю мать родную, когда иду в бой.

Таран на догоне, вот таран!»

Седов: «В бою все может быть при полном азарте».

Скотной — молчаливый, грустный. «Вот в хороший клуб пройти я бы стеснялся, с девушкой бы постеснялся говорить». (Мы идем по снегу, прожектор.)

Качества: 1-е — знать матчасть, чтобы играть ею; 2-е — уверенность и любовь к своей машине; 3-е — смелость, холодный ум и горячее сердце; 4-е — чувство товарищества; 5-е — беззаветность в бою, преданность Родине, ненависть. Всегда ссоры: «Почему не я получил боевое задание?»

Мартынов Ал. Вас., 1919 г.: «Ораниенбаум. района, с 1936 г. на планеришках, с 1937 г. на самолетах. Кончил фабзавуч, работал на заводе в Ленинграде и учился в аэроклубе — за всю зиму ни одного выходного. Окончил Чугуевскую школу, был оставлен инструктором-летчиком. В детстве змеев пускал. По счастливой случайности я сразу из школы вылетел 7 июля на фронт.

Первая встреча с «хейнкелем» 11-го — я его атаковал 12 раз, он подзакоптился (под Знаменкой). Первый раз страшновато.

Первый сбитый над плотиной в Запорожье, двое меня зажгли. МС-109. Пробоин я привозил много, раз меня избили, как старую куропатку. Когда снаряд попадает на метров 20—30 кверху, подкачаешь — и самолет слушается. 130 вылетов боевых.

3 самолета лично (3 «мессера») и в группе — 4.

8-го : сбил при патрулировании, заметил 2 МС, идут и бьют по колонне. Я решил во что бы то ни стало сбить. Мне помог Саломатин, который выбил с хвоста

у меня «мессера», я первого загнал в землю с дымом, газом.

9-го: первым я заметил его и первым бросился в атаку. Был миг колебания? Нет.

23-го: снова бой, потери с обеих сторон.

Горел в воздухе, был сбит зенитной артиллерией (обгорел, ранен). Пролежал несколько дней. Эвакуировался в Запорожье. 1 месяц лежал в госпитале. Был командиром эскадрильи по прикрытию Днепропетровской плотины. В сентябре был зам. командира полка.

На ЮЗФ участвовал в 2 воздушных боях.

1-й бой. Я с лейтенантом Седовым вел бой с двумя «мессерами» в районе Андреевки.

2-й бой. 9/III я шел прикрывающим в звене Еремина.

Гляжу — черные точки.

Мы развернулись, пошли в атаку на истребителей. Мы шли со стороны солнца. Я кинулся за Мартыновым. Получилась собачья свалка. Я был не парный и кидался вышибать МС у тех, кто нуждался в помощи. Седов разогнал бомбардировщиков. Пока мы вели этот бой, наши «чайки» штурмовали цель. Мы их прикрыли.

Лейтенант Скотной выбил у меня и у Еремина «мессера» из-под хвоста. Нет, я не боялся, когда горел, — страху не было, некогда было пугаться, шел бой.

При атаке важно ударить сразу всеми самолетами, разбить их группы. 9-го благодаря массирован. и прицельному огню сразу три М были уничтожены. Седов врезался в шестерку бомбардировщиков в лоб, чуть не задел плоскостями. Сразу же эресом сбил одного.

Враг не любит боя на горизонталях, на виражах и старается перейти на вертикальный бой. У противника все плавно — отрывается от резких виражей. На горизонт. скольжении можно уйти, он не ведет прицельного огня. Слетанность пар — залог успеха. Слежу за ведущим, он дает сигнал «выйти из боя» (головной дает сигнал «выхода», когда не хватает горючего, либо для нового массированного удара).

(Еремин — 1 «мессер». Мартынов — 11. Саломатин — 11. Король — 11. Седов — Ю-87. Скотной — МС и Ю-88.)

Узнаешь напарника по характеру летчика, а характер летчика весь виден в полете машины. Определять летчика в воздушном бою очень сложно. Противника я определяю, который сильный, настойчивый.

Один на один, пусть у него и две железки, я его возьму. В прямом воздушном бою фрицу тяжеловато. Прямой поединок до последней капли крови. Они ловят простачков, клюют сзади. Я вынужден спасти товарища, чем сбить несчастного фрица.

5. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Юго-Западный фронт, зима 1942 года

Авиационный генерал говорит по полевому телефону про авиабомбы, вылет бомбардировочной авиации, начало атаки и проч. Потом вдруг говорит: «Ребенок плачет на линии, должно быть, в избе».

Пленного немца генерал велел нарядить в железные кресты и пустить обратно к немцам. Пленный заплакал и отпросился.

Маруся-телефонистка. Ее все хвалят, все знают. Она всех называет по имени и отчеству, и ее все зовут — Маруся, Маруся! Никто ее не видел в лицо.

Абашидзе — весельчак, комсомолец, батальонный комиссар, пошляк, — его отвратительный, наглый, грубый, высокомерный разговор со старухой крестьянкой — хозяйкой избы. Угрозы. Прикуривая, Абашидзе говорит: «Разрешите прикоснуться к кончику вашего удовольствия».

Самолеты И-16 называются «ишаки».

Говорят — не убит, а накрылся. Друг мой накрылся, какой парень!

Спирт — спиридон.

Прекрасный, ясный день. Над хатами идут воздушные бои. Ужасные картины — птицы с крестами, птицы со звездами. Весь ужас, все мысли, весь трепет человеческого ума и сердца в этих последних мгновениях жизни

ни машины, она крыльями словно выражает все, что есть в глазах летчика, его руку, его покрывшийся потом лоб. Самолеты низко, над самыми крышами. Вот врезался в землю, через несколько минут второй, человек умер на глазах, очень молодой, очень сильный, очень не хотевший умирать. Как он летел, как трепетал, как страшны перебои мотора, это перебои молодого сердца над снежным полем. Лисий и волчий норов желтокрестных «мессеров».

Летчики говорят: «Наша жизнь, как детская рубашонка — коротенькая и вся обос...на».

Странный парадокс: «мессеры» почти бессильны против наших «чаек», так как «чайки» очень медленно летают.

Радость киношника, заснявшего трагический воздушный бой: «Затушую кресты, и все!»

Всю ночь лежал мертвый летчик на прекрасном снежном холме — был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме.

Старший политрук Мордухович — маленький еврей из Мозыря, комиссар артдивизиона. В артдивизионе был боец, огромный тульский рабочий Игнатъев, смельчак, один из лучших бойцов дивизиона. Комиссар на время уехал. Во время перехода Игнатъев отстал от части, пристал к другой части, был в обороне, дрался. В период затишья его послали обратно в свою часть. По дороге его задержал пост НКВД. Игнатъева арестовали и предали суду за дезертирство. Трибунал приговорил его к расстрелу. В это время вернулся Мордухович и узнал всю эту историю. Он кинулся к комиссару дивизии, рассказал ему, какой Игнатъев замечательный боец. Комиссар за уши схватился: «Помочь теперь не могу!» Игнатъева повели расстреливать — уполномоченный Особого отдела, комендант штаба, два бойца

и замполитрук. Игнатьева подвели к леску, комендант выхватил пистолет и выстрелил ему в затылок. Произошла осечка. Игнатьев оглянулся, закричал и бросился бежать в лес. По нему открыли огонь, но все время мазали. Он скрылся. В трех километрах от этих мест находились немцы. Игнатьев три дня бродил по лесу. Ночью пробрался в дивизион в блиндаж к Мордуховичу. Мордухович сказал: «Не бойся, я тебя спрячу». Он дал Игнатьеву поесть, но тот не мог кушать, плакал, дрожал. Мордухович пять дней прятал у себя в блиндаже Игнатьева. На шестой день Мордухович пошел к комиссару дивизии, рассказал ему все. «Спасите, товарищ комиссар, ведь человек сам пришел! Говорит, я лучше умру от своих, чем перейду к немцам! И ведь невинный совершенно». История потрясла комиссара дивизии, и он поехал к комиссару корпуса. Тот тоже взволновался и отправился докладывать командующему армией. Приговор отменили. Игнатьев остался в дивизионе. Ходит теперь за Мордуховичем дни и ночи. «Что ты за мной ходишь?» — «Боюсь, что немцы убьют вас, товарищ комиссар, стерегу вас».

Бойца, обвиненного в дезертирстве, вели в трибунал. Наскочили немцы. Конвоиры, побросав оружие, бросились бежать, дезертир схватил винтовку, двух немцев убил, третьего привел в трибунал. «Ты кто?» — «Судиться пришел».

Рота смертников, составленная из приговоренных к расстрелу, которым расстрел заменен передовой. Ротой командует лейтенант-самострел, приговоренный к расстрелу.

У людей в этой смертной роте пегие, обмороженные лица, с розовыми следами сорокаградусного мороза, рваные шинели, страшный кашель, откуда-то из желудка, хриплый, лающий. Сиплые голоса. Все они заросли бородами. Танкисты прорвали огнем и гусеницами линию укреплений и высадили в Волобуевке десант под командованием старшего сержанта Томилина. Бой длился восемь часов. Десант Томилина овладел 12 домами, разгромил узел связи 75-го дивизиона 75-й пехотной дивизии. Сам Томилин убил десять фашистов, отделение сержанта Галкина уничтожило 30 человек, подо-

жгло 6 хат с автоматчиками и пулеметными гнездами, забросали штаб батальона гранатами. Действовали две группы, общей сложностью 55 человек, в течение ночи. Утром присоединились на южной окраине Волобуевки к нашим наступающим войскам. Томилин, ведя бойцов в бой, кричал: «А ну, бандиты, вперед!»

Танки ворвались в деревню под ураганным огнем минометов, сержант Вайсман, командир танка, протаранил хату-дзот, убил тридцать человек и уничтожил ПТР. Механик-водитель Логвиненко протаранил хату и весь день бил из хаты, высунув пушку в окно.

Седьмой Гвардейский гаубичный артполк РКК.

Первой батареей полка командовал Васильев, ныне он награжден и переведен в помощники командира дивизиона. Батареей же командует старший лейтенант Байгушев. Комиссар батареи политрук Брагин. 24 января 1942 г. стали гвардейцами. 29 декабря 1941 года, в день получения боевого приказа, зародилась парторганизация. Было три коммуниста, стало 35. Семнадцать человек — разведчики. Командиры взводов представлены к правительственным наградам. На столе приказ по ЮЗФ, в нем фамилия Васильева, награжденного орденом Красного Знамени.

31 декабря 1941 года, 18 часов, первая батарея получила боевой приказ: одним орудием выехать в тыл противнику, разбить огневые позиции и скопления огневой силы. Комиссар собрал коммунистов и объяснил задачу: пробраться надо было в деревню Плота; путь оказался очень тяжелым, через крутой овраг, орудие тащили на себе, машину с боеприпасами тоже вытягивали руками сантиметр за сантиметром. В 24 часа, в момент встречи Нового года, открыли огонь прямой наводкой с 800 метров по противнику — скоплению в количестве 600 человек. Выпустили 24 гранаты. Уничтожили немецкий штаб, склад с боеприпасами, много хат, много людей, коней, 20 пьяных офицеров. Вел огонь расчет Романова. Сутки не ели. Противник отстрели-

вался минами и автоматами. Наводчиком был Гаврилов. Расчет состоял из 10 человек: командир, наводчик, заряжающий, правильный, подносчики, досылающий.

Разведчики Перепелов, Афанасьев, Степанов написали заявление о приеме в партию. После приема разведчики отправились в тыл противника и провели там восемь дней. За эти восемь дней они три раза возвращались со сведениями. Белоусов ходил в разведку в Волобуевку, вел бой с передовым охранением противника, бросил две гранаты.

Молодой наводчик Быков и командир орудия Тарантохин вместо положенных 14 выпустили за пять минут 18 снарядов. Старики артиллеристы говорят, что не видели такой быстрой и точной работы.

Уничтожено три хаты.

Тракторист Демченко Сергей не имеет ни одной аварии, что большая редкость при таких страшных морозах. Душевно болеет о своей машине, не отходит от нее, уважает ее, на полчаса уйдет и начинает скучать.

Связь с пехотой перешла в дружбу с пехотой. Ведь все вместе.

Дивизион все время в движении. Нужны тракторы без отказа. Нужны щели. И для жизни землянки. Нужны блиндажи для боеприпасов. Нужно подготовить место для орудия, и на это уходят сутки работы без сна. А позиции меняем часто, тяжелая работа идет непрерывно. В 8 часов заняли, а в 24 часа уходим на новую позицию.

Еще об операции 31 января 1941 года. Помощник командира батареи Байгушев, комиссар Брагин, командир орудия Романов, наводчик Гаврилов, заряжающий Иванов, замковый Украинец. Пошли в тыл без дороги, яром съехали в яр, а затем сто пятьдесят метров тащили орудие и машины. Тащили над крутым обрывом, снег под кузов, тащили 4 часа.

Дневник 1-й батареи.

«30 ноября 1941 года в 7.00 первая батарея вытянулась в боевой походный порядок по маршруту Новый Аскол — Языково.

18.00 — вся батарея прибыла в указанное место и заняла боевой порядок. С утра повзводно батарея приступила к инженерному оборудованию боевого порядка ОП и трассировки и открытию НП. Приходилось землю кирковать и применять лом и клинья. Работы выполнены в срок, указанный командованием. Орудия поставлены каждое на свое место и замаскированы как с воздуха, так и с земли. Командование полка отметило хорошее внешнее оборудование землянок, их удобство. Организовано непрерывное дежурство разведчиков, связистов, пост в НОС.

3 декабря 1941 г. вели пристрелку реперов из первого орудия. Точность огня отличная, но отмечена некоторая медлительность. Было проведено отрытие противотанковых щелей в танкоопасном направлении. До каждого бойца доводится сообщение Совинформбюро. Через день выпускались боевые листки в 2 экземплярах. В землянках вывешены плакаты и Доска почета. 20 декабря 1941 г. выехали на огневые позиции. Приступили к отрытию щелей и блиндажей. КНП был выкопан в полный профиль. В ста метрах от КНП отрыли землянку, где взвод управления может отдыхать со всем полевым комфортом.

Огневиками тренировались в быстроте работы у орудия, а управленцы — в передаче целеуказаний и отыскания целей. Огневые: был расчищен от леса сектор обзора и обстрела. В 6.00 прогремел первый выстрел. Хорошо и дружно работали огневые расчеты, мастерски давали беглый огонь. Особенно быстро работали наводчик Гаврилов и номера расчета третьего орудия Ниязов, Кожин, Мякушев. Связисты безошибочно передавали команду. Прекрасно работали разведчики, быстро и точно давая отклонения от цели, а также непрерывно ведя наблюдения за действиями противника и продвижением своей пехоты к намеченным рубежам. Разведчики старались выявить еще не подавленные огневые точки.

13 января 1942 г. Младший сержант Белоусов был послан для связи с пехотой. На пути лежала лощина, поросшая лесом. Пробегая лесом, Белоусов заметил линию связи, соединяющую два немецких поста. На ближайшем к нему посту дозора не было. Белоусов снял лыжи и порвал связь. Пошел в глубь леса, нашел

пустую катушку и намотал на нее 70 метров телефонного кабеля. 12 января 1942 года старший сержант Иванов и разведчик Офицеров на склоне холма увидели 7 человек. Оказалось, фашисты подвели к проруби человека и стали его окунать. От огня фашисты удрали, а на льду остался полузамерзший старший военфельдшер. От страха он обмер.

25 января 1942 года. Погода ухудшилась, дул сильный ветер, метель, пурга не давали возможности вести огонь.

2 февраля 1942 года. В 23 часа 30 минут во время движения на передовом НП был убит осколком мины гвардеец Николаев, отважный разведчик, спокойный, выдержанный, исполнительный и смелый гвардеец.

5 февраля 1942 года. На батарее было проведено партсобрание. Обсуждались обязательства к 24-й годовщине Красной Армии. Ночью батарея сделала удачный огневой налет по селу Малиновка. Командир 224-ой сд объявил всему дивизиону благодарность.

В течение 19 дней батарея вела огонь по хутору Ямы, производились огневые налеты по скоплениям пехоты, по колоннам автомашин, по подводам. Проведено 4 партийных и 3 комсомольских собрания. Боевые листки выпускались аккуратно.

24 января 1942 года. В 6.00 Московское радио сообщило радостную весть: нашему полку присвоено звание 7-го Гвардейского».

В третьем дивизионе командир дивизиона капитан Рожков — «любимец пехоты»: пехота его обожает и не отпускает.

Повар в гвардейском полку очень любит слово «оформить». «Сейчас оформлю на столе», «Сейчас оформлю баранину», «Эй, хозяйка, оформи-ка нам кислой капусты».

7-й Гвардейский гаубичный полк РГК

Дневник полка.

«23 июня 1941 года в 8 часов утра полк получил приказ выступить на защиту Родины, и в 15.00 первый ди-

визион капитана Черняка дал мощный артиллерийский залп по врагу. 12 мощных 152-мм гаубиц каждую минуту выбрасывали на фашистские головы полторы тонны металла. Так началась боевая история гаубичного полка.

24 июня 1941 года полк уничтожил 2 артиллерийские батареи, 3 минометные батареи и более полка пехоты. Фашисты отступили на 18 километров. В этот день полк израсходовал 1380 снарядов.

25 июня 1941 года полк вел СО (сосредоточенный огонь) по Нагачуеву и Коханувке. Уничтожено: три артиллерийские батареи, полк пехоты, две 105-мм батареи и восемь танков.

28 июня 1941 года. Дивизион капитана Крупского вел огонь по переправе Каменный брод, переправу разбили. Уничтожено: рота мотоциклистов, две роты пехоты.

29 июня 1941 года. Полк вел непрерывный 10-часовой бой. Было обнаружено скопление танков в урочище Запуст, и весь полк обрушился своим огнем на фашистские танки. Урочище загорелось. Уничтожено 150 танков.

В районе Подзамочье полк вел жестокий, кровопролитный бой, уничтожив 1500 фашистов. Пали смертью храбрых капитан Мегере, лейтенант Котельников и лейтенант Слюсарев.

В течение четырех дней полк крушил противника под Днепроном».

Самая сложная стрельба с большим смещением.

Комиссар 5-го Гвардейского сошел с ума после налета авиации и рейда танков.

Планшеты, необходимые для командиров батарей, делали из больших икон.

Комиссар нарезал шпалы из красных резинок.

28 самолетов налетели. Ни один артиллерист не отошел от орудий. Командир объяснил: они привязаны к материальной части.

Ночью командир гаубичного полка подполковник Тарасов, лежа в избе на полу, читает «Фауста». Он в пенсне, протирает стекла кусочком замши.

Тарасов рассказывает, как он всыпал немцам. В его рассказах видна психология артиллериста. Как-то пехота донесла о том, что немцы по звуку рожка ходят обедать. По дымку определили кухни. Приказал приготовить данные, зарядить орудия и о готовности доложить. Дали сосредоточенным огнем.

Немецкого пленного везли в санитарном поезде. Чтоб спасти ему жизнь, нужно было переливание крови. Он закричал: «Найн, найн!» Не то боялся еврейской, не то не хотел славянской крови. Через 3 часа умер.

Оборона дрогнула, бойцы побежали. Батальонный комиссар с двумя револьверами в руках кричал: «Куда, куда, вперед, за Родину... Вашу в христа бога маты!.. За Сталина, б...!» Бойцы повернули и вновь заняли оборону.

Боец, фамилии нет, известно, что был кучерявый, 12 дней ездил на санях, переодевшись в гражданскую одежду, по тылам немцев. В соломе у него были спрятаны миномет и мины. Открывал огонь, потом прятал миномет в солому. Немцев он встречал с песнями. Они его ни разу не заподозрили. Уедет от немцев, вытащит миномет и по ним же ударит.

Старшина отлупил бойца.

Фотограф Рюмкин матерно ругал артиллеристов-гвардейцев, нефотогенично повернувшихся во время боевой стрельбы.

Лейтенант Матюшко командует истребительным отрядом, задача которого истреблять немцев, засевших в хатах. Ворвавшись в деревню, истребители кидаются по хатам. Матюшко сказал: «Они у меня все бандиты, война эта в хатах бандитская». Случается, немцев душат руками.

Из дыма и пламени слышался голос сержанта: «Сюда не бейте, я занял хату!»

Истребитель вошел в нашу хату и темным, быстрым своим взором окинул сидящих. И все поняли, он это делает по привычке человека, врывающегося в хату и убивающего. Лейтенант Матюшко тоже понял его взор и, смеясь, сказал: «Вот он один нас всех бы здесь укошил!»

Вошли в деревню Малиновка с батальоном мотопехоты. Хаты горят. Немцы кричат, умирают, один, черный, обгоревший, дымится. Бойцы два дня не ели, на ходу жуют сухой пшеничный концентрат. Полезли в разбитые погреба — вмиг добыли картошку, набили котелки снегом, варят картошку на углях, добытых в горящих избах... Как попал в погреб труп лошади? Нельзя понять! В этом же погребе разбитая бочка капусты, бойцы жадно едят ее полными пригоршнями, говорят: «Ничего, ничего, кушайте, она не отравлена». Тут же в погребе на лошадином трупе сделали перевязку раненому фотокору. Потом налетели наши самолеты и, не зная, что деревня уже занята, нас же пробомбили. Комбат Козлов, отражая атаку танков, был очень весел и совершенно пьян. Танки отбили лихо.

3-й Гвардейский казачий кавалерийский корпус уходит в бой. Грузят штабное имущество в грузовики, сматывают связь. Зимний, морозный вечер полон неизъяснимой прелести. Тихо и ясно. Потрескивают в походных кухнях дровишки. Коноводы ведут лошадей. Девушка посреди улицы обняла казака, целует его и плачет.

Замечательный наводчик на батарее, воюет с первого дня войны. Убит осколком. Убит в тот момент, когда смеялся. Он лежит замерзший, смеющийся, мертвый. Лежит день, лежит два. Никому не хочется его хоронить — лень. Земля как гранит от мороза. Плохие у него товарищи! Не хоронят трупов! Оставляют убитых и уходят. Похоронных команд нет. Никого этот вопрос не волнует. Никому до него нет дела. Через старшего батальонного комиссара Зотова шифровкой сообщил об этом в штаб фронта. Какое-то дикое, азиатское бездушие! Как часто приходится наблюдать подход резервов к линии фронта, пополнение идет по местам недавних боев, среди валяющихся, непохороненных убитых. Кто прочтет, что происходит в душах людей, идущих на смену этим, валяющимся в снегу?

Расстрел предателя. Пока зачитывали приговор, саперы кирками копают ему могилу. «Снимите сапоги», — сказали ему. Он очень ловко, носком одного сапога снял второй, а с оставшимся несколько мгновений повозился, попрыгал на одной ноге. Затем он вдруг сказал: «Отойдите, товарищи, шальная пуля может в вас попасть!»

Курская магнитная аномалия мешает летчикам и артиллеристам, путает приборы. Магнитная аномалия пошутила над «катюшей», а «катюша» пошутила над нашей пехотой, накрыла передний край. Утром на засыпанной снегом деревенской улице установили стол, покрытый красным сукном, выстроили танкистов из бригады полковника Хасина, началось вручение орденов. Все награжденные долгое время были в непрестанных боях, их строй похож на строй рабочих из горячего цеха: в рваных спецовках, в одежде, лоснящейся от масла, с черными, рабочими руками, и лица у всех типичные для рабочих. Награждаемого вызывают к столу, и он идет тяжело, с перевальцем, по глубокому снегу. «Поздравляю с высокой правительственной наградой!» «Служу Советскому Союзу!» — отвечают сильные голоса русских, украинцев, евреев, татар, грузин. Рабочий интернационал на войне.

Хасин в избе, окруженный помощниками, с выпуклыми темными глазами, с кривым носом, с синими от недавнего бритья щеками. Похож на персиянина. Его рука, похожая на когтистую лапу хищной огромной птицы, водит по карте. Он объясняет мне, как прошел недавний рейд танковой бригады. Ему очень нравится слово «облический», и он непрерывно повторяет его: «Танки двигались облически...»

Еще в штабе фронта мне рассказывали о том, что семья Хасина погибла во время массового расстрела мирного населения города Керчи, учиненного гитлеровцами, и что Хасину случайно попала фотография лежащих во рву убитых, и он опознал среди них жену и детей. Я думал о том, что чувствует этот человек, когда ведет в бой свои танки. Цельности впечатления от этого человека сильно мешает то, что в штабной избе развязно и нагло командует им молодая женщина-врач. Говорят, что она командует не только полковником, но и его танковой бригадой. Вмешивается в любые распоряжения, правит списки представленных к наградам.

Ночью разговариваем, не шибко трезвые, с командиром мотострелкового батальона Козловым. Он мне рассказывает, что награжденный утром двумя орденами герой, на которого я смотрел с восхищением, начальник разведки бригады, совсем не герой. Меня это поразило, так как казалось, что уж подлинней того, что я видел утром на деревенской улице, быть не может. Козлов подарил мне железный крест, снятый им с убитого офицера. Офицер лежал, рассказывал мне Козлов, тяжело раненный, пьяный, среди сотни стреляных гильз от автомата. Его, раненного, пристрелили бойцы. В кармане нашли порнографическую открытку.

Козлов и Буковский утром решили устроить состязание в стрельбе из револьверов. За сараями к старой груше прикрепили мишень, ко мне отношение жалостливое и снисходительное: гражданское лицо, не имеющее никакого опыта. Видимо, в силу необычайной случайности я всадил все пули до одной в яблочко. Ветераны Козлов и Буковский не попали ни разу. Думаю, что тут случайности не было.

Беседа с бойцами мотострелкового батальона.

Михаил Васильевич Стекленков (жилистый, ху-
335

дошавый, белобрысый, 1913 года рождения, родина — Гусь-Хрустальный, убежал из 5-го класса, стал работать; в 1935 году попал в кадровую школу артиллерийскую, был разведчиком, имел благодарность от командира корпуса): «Какой нам скучать — садимся и запеваем песни. Нам скучать некогда! Подумаешь о доме и забудешься. Отца моего в империалистическую войну газом отравили немцы, меня 23 июля направили в город Иванов в Военно-политическую школу; выстроили курсантов по тревоге, выдали, что положено, и пошел... Меня спрашивают: «Что ты все веселый?» «А что мне?» Хозяйка в избе спрашивает: «Что вы песни поете, теперь война!» А я ей: «Песни теперь только и петь...» Ну, расчет у меня смелый был — от орудия никуда. Я лежу, за бомбами смотрю, успею отползти, если понадобится... Вот тут, правда, из табаку выбились... Орудие 45-мм, из этой пушки вплотную интересно бить... Зачем ждать конец войны? Если доживу, домой вернусь, а не доживу, что ж такого...»

Продолжение беседы с бойцами мотострелкового батальона.

Косткин Николай Петрович, 1918 года рождения, рязанский, пошел трактористом, не успел жениться. Два брата на фронте, моложе его, а отец — сапер.

В 1938 году служил в войсках НКВД. В разговор вмешивается Стекленков, говорит: «Я теперь без войны не могу, выведут из боя, скучать начинаю». Косткин отморозил себе руку и ногу, но не уехал в госпиталь. Он командир взвода автоматчиков. «Четыре ночи в бою был, не заснул, какой-то азарт меня берет. Командир спрашивает: «Как, дадим?» «Дадим!» — И весело сразу мне. Я пули не боюсь, черт с ним, пусть убьет!»

Продолжение беседы.

Красноармеец Иван Семенович Канаев (1905 года рождения, августа 22-го, из села Дубровичи Рязанской области, работал дорожным мастером с 1930 года. Семья — восемь человек, отец — 61 год, мать — 58, жена и четверо детей. До войны призывался в 1929, 1930, 1931 годах. Последний раз на радиосвязи). «Учили, а мне в голову ничего не вложилось. Призвали 3 июля 1941 года, повестку принесли, когда дрова рубил. Песни пели, вина выпили, море по колено! Утром колхоз дал лошадей и отправили в Салочу, а вечером — в Рязань в казармы. Учили в Дашках на шофера. Жена, мать

приходили ко мне. Командование было очень хорошее, отпускали. Раз шесть дома был. Попал в первый мотострелковый батальон. Вот когда приближались к фронту, было действительно страшно. А пошел в бой, и стало как-то веселей. А теперь, как на работу, в бой хожу. Как на фабрику ходят. Я двадцать два раза в бой ходил. Под Богодуховом меня ранило, легко. Но я не ушел с передовой. Чего в госпитале путаться. Поподробнее? Значит, пришел в мотострелковый батальон, он еще в бою не участвовал. Первая Сталинская бригада. Приехали на фронт, заняли оборону, утром взошло солнце, а он с левого фланга стал бить из пулемета, зажег нам баки с бензином. А к вечеру мы ворвались в его окопы. Вперед было страшно, а сейчас я его пулю не боюсь, один миномет в тоску кидает. У меня винтовка — родное оружие, она не отказывает. Упала у меня в Богодуховке в грязь — я думал, пропадет, нет, слава тебе господи. Ходил я и в штыковую, только немец ее не принял. Крикнули «ура», он вскочил и бежать. По дому я меньше скучаю, но, главное, ребятишек повидать хочется, особенно младшего, народился, я его и не видел. А в общем скучаю. Есть один друг у меня, Селидов, с первого дня мы с ним. Днем прошли километров пятьдесят. Если со здоровыми ногами, не так уж трудно. Мы в Петрищеве взяли трофеев, а я для себя ничего не взял. Зачем мне, убьют. Часов ручных мог бы набрать дюжину, но у меня натура такая, мне отвратительно к нему, к его вещам прикоснуться. У меня вещевая сумочка легкая. Пошамать хлеба — раз, тетрадочка, пара белья, портянки запасные. Случалось с немцами прямо, лицом к лицу. Нас человек пятнадцать, а их целый взвод. Он меня ранил, а я его убил. Он выскакивает. Я помыслил, меня, словом, заинтересовало, хотел его живым взять. Стой, кричу, он по мне очередь — в руку попал. Я по нем приложился, все равно моя веселей, он упал. После мне хозяйка из хаты крынку молока вынесла, я попил. Вот перевязаться нечем было, я на раненого мальчишку бинт свой затратил, деревенский мальчишка, плечо ему перевязал. Иду теперь в бой спокойно, есть, конечно, чувство, но привык. Назад от миномета никогда не ходи. Побежишь назад, конец тебе! Если из пулемета он бьет, тоже в цель не очень попадает. Заляжешь, перебежишь. Замолк он, опять беги вперед! А как уж назад пошел — догонит! Автоматчики, они бесцельно бьют. Наступление утре-

цом, пораньше лучше всего. Он бьет, а ты видишь, откуда он бьет. Орудийным он редко бьет, и все у него перелет. Авиация, ну что она у него может сделать? Рассыплешься по полю. Вот миномет, я считаю, отвратительный. Он у него самый сильный. Дома воротного скрипа боялся, а здесь ничего не боюсь. В Петрищеве я пулеметчика сшиб на крыше. Подход мы сделали, залегли. Мороз сильный, а лежали долго, я здорово замерз. Как вскочил на ноги, ай, ай, больно! Ну, совсем замерз. Я из винтовки приложился по пулеметчику, он сразу замолк. Потом проверил: я ему в бровь попал. Я им человек пятнадцать извел. Я, что ли, пошел на него воевать? Мы воюем на своей земле. Весело больно было бежать в бой в Морозовке. Он отступает. А мы за ним бежим. Наслушаешься — мирное население про него такое рассказывает, такая у него подлость — разве их можно миловать?

День начался. Побрился, конечно, винтовку почистил, самого себя в порядок привести надо. У меня хозяйка иголку выпросила; я в бою хлястик потерял; достал хлястик, а пришить нечем. А вот пуговиц у меня всегда полон карман. Мое заключение такое, что мы должны победить. Я не знаю, каким только путем они нас летом брали. Вояка он отличный, но трус. Я сам лично видел: цельный взвод хотел к нам перебежать, а офицер наставил револьвер и удержал их. Меня, извините, ранило неловко, я перепугался, к жене ехать не с чем, а врач посмотрел и говорит: «Ну, счастливо отделался, все у тебя в порядке».

Немец из хаты в хату сделал ход — метров пять высота. Наш батальон что занял, нигде не отступал. Жалко отдать. Горько ли, тошно, стоим! Мешанин — хороший, веселый парень, второй номер пулеметчик. Весь взвод от него хохочет, золотой, исполнительный. Я вступил в партию по предложению политрука. На рассвете хорошо воевать. Как на работу идешь. Темненько, все его точки видать, особенно от трассирующих пуль, а как ворвешься в село, уж светло становится. В два листа табачок сворачивать сильнее.

К бабам я чутье потерял, ах, ребятишек бы я повидал, хоть на денек, а там до конца бы опять воевал.

Я ранее грузчиком работал. Не везло нам с отцом в жизни насчет лошадей. Мы в деревне подчас тяжелей выполняем работы, чем на войне. По тяжести в деревне тяже. Я выкидывал в день три тысячи кирпичей торфу.

Кирпич я работал вручную. А питание — ведро квасу на три человека и одно яйцо разомнешь в него. А здесь питание хорошее, водочка. Я на лодке шесть лет ездил в гребцах, при фабрике, пятьсот пудов поднимала у нас лодка. Здесь я привык, спишь под артиллерийским и минометным огнем. Храпишь посередь снежного поля. Но промерз я за эту зиму крепко. Комроты Вторых и майор Полузин — хорошие командиры. У майора с бойцами обращение хорошее, и все трудности с нами выносил. Не заводит туда, куда не следует. Правильная расстановка и с нами всегда впереди. У нас моральность для бойца — тащи не только раненого, даже убитого тащи во время боя. Вот меня оглушило — боец-товарищ подошел и вывел меня из боя... В газете Информбюро самое главное. Я не хочу похвалиться, но меня интересует, как воюют и другие. Хороший тот товарищ, кто не скрывается, идет до конца с тобою вместе. А в бою одна помощь — вместе идти, и все. Были у нас с 21-го года ребята, нельзя сказать плохое. Селиванов, тульский автоматчик, дружок мой, эх, хорошо стреляет».

О Канаеве — командир: «Он политбоец, своим примером ведет вперед. Вот все лежат, он встает и кричит: «Смелого пуля не берет! Бойцы, за мной!» Под Богодуховом он повел отделение в атаку. Первым ворвался в село и заколол двух немцев. А под Липовкой у нас выбыли семь ручных пулеметов; он собрал магазины от них, подошел ко мне и говорит: «Товарищ политрук, давайте биться до конца».

Из рассуждений капитана Козлова: «Чтобы сделать прицельный выстрел во время боя, нужно много смелости. У нас шестьдесят процентов бойцов за время войны вообще ни одного выстрела не сделали. Война ведется за счет станковых пулеметов, батальонных минометов и смелости отдельных лиц. У себя в батальоне ставлю вопрос так: надо чистить винтовки перед боем, а после боя проверять. Не выстрелил — значит, дезертир. Я беру на себя смелость утверждать, что у нас ни одной штыковой атаки не было. Да вы посмотрите, у нас уж штыков нет. А вообще я весны боюсь здорово, потеплеет, опять нас немец погонит».

6. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Сталинград. 1942 год

1. ДОРОГА — БАБЬЕ ЦАРСТВО

Выехали машиной из Москвы 23 августа. Начальство в редакционном гараже долго готовило машину для тысячекилометрового пробега от Москвы до Сталинграда. Однако, отъехав на три километра от Москвы, внезапно остановились: спустили покрышки на всех четырех колесах. Пока водитель Бураков удивляется происшествию, а затем неторопливо принимается клеить камеры, мы, корреспонденты, берем первое интервью у подмосковного населения. Девушка на шоссе, загорелая, нос с горбинкой, глаза синие, дерзкие.

— Вам полковники нравятся?

— Чего бы они мне нравились?

— А лейтенанты-кубари?

— Мне лейтенанты на нервы действуют. Бойцы рядовые мне нравятся.

Голубое, пепельное шоссе. В деревнях бабье царство. На тракторе, в сельсовете, на охране колхозных амбаров, на конном дворе, в очереди за водкой. Девушки подвыпившие, с гармошкой, ходят с песней — провожают подружку в армию. На женщину навалилась огромная тяжесть труда... Женщина — доминанта. Она приняла на себя огромный труд, и на фронт идут хлеб, самолеты, оружие, припасы. Она нас теперь кормит, она нас вооружает. А мы, мужчины, делаем вторую половину дела — воюем. И воюем плохо. Мы отступили до Волги. Женщина молчит, но нет в ней укора, нет у нее горького слова. Или затаила? Или понимает она, как страшна тяжесть войны, пусть и неудачной войны.

Хозяйка на ночевке — озорная, глупостница, веселая.

Говорит: «Э, теперь война, война спишет». Она смотрит на Буракова пристально, прищурясь — красивый, видный парень. Бураков хмурится, смущается. А она смеется, потом заводит разговор на хозяйственные темы, не прочь обменять масло на рубаху, купить поллитра у военных.

Худые женщины и девушки в платках работают на грейдерной дороге: грузят землю на деревянные носилки, кирками, лопатами выравнивают неровности.

— Откуда вы?

— Мы гомельские.

— И мы под Гомелем воевали.

Переглянулись, помолчали, поехали дальше. Страшновато стало от этой встречи вблизи деревни Мокрая Ольховка, что в 40 километрах от Волги.

Село Лебяжье. Рослые деревянные дома, комнаты выкрашены масляной краской. Проснулись, тихо, хмурое утро, дождик. Через 15 километров Волга. Жутко от этого ложного покоя и сельской тишины.

— Эй, чертан!

— Мы жихари этих мест.

Волга. Переправа. Сияющий день. Огромность реки, медленность, величие. Волга, словом...

На барже машины с авиабомбами. В воздухе самолеты, потрескивают пулеметные очереди. А Волга медленна, беспечна. И мальчишки, сидя на этой огнедышащей барже, ловят удочками рыбу.

Заволжье. Пыль, коричневая степь, осенний жидкий ковыль, бурьян, полынь. И вот солнце в бледной туманной дымке, в полнеба стоит дым, это дым Сталинграда...

Рассказ о генерале, шедшем из окружения. Вел на веревке козу. Его узнали командиры. «Куда, товарищ генерал, каким маршрутом?» Генерал усмехнулся, сказал: «Коза выведет». (Ген. Ефремов.)

Красивая Меча: несказанная прелесть этих мест. Яблочный сад. Рассвет. Холмы. Красивая Меча, рябины. Грозди рябины, ежели поднять их ладонью — словно прохладные девичьи груди.

Плач ночной по корове, упавшей в противотанковый ров. При синем свете желтой луны.

Бабы воют: «Четверо детей осталось». Словно мать потеряли дети. Мужик бежит в синем лунном свете ножом спускать корове кровь. Утром кипит котел. У всех сытые лица, заплаканные глаза, опухшие веки.

Милый город Лебедянь. Большая улица, обсаженная низенькими, приземистыми деревьями.

Ясная Поляна — 83 немца лежали рядом с Толстым. Их откопали и зарыли в воронки от фугасных бомб, которые бросали немцы.

Очень пышны цветы перед домом — ясное лето. Вот, кажется, жизнь, полная меда и покоя.

Могила Толстого — тоже цветы, пчелы ползают по цветам, маленькие осы висят неподвижно над ней. А в Ясной Поляне погиб от мороза большой фруктовый сад. Погиб весь — сухие яблони стоят серые, скучные, мертвые, как могильные кресты.

Бабы — ППЖ.

По записке нач. ахо. Плакала неделю, но пошла.

— Это кто? — Генеральская ППЖ. — А вот у комиссара нет ППЖ.

Эти девочки хотели быть Танями, Зоями Космодемьянскими.

— Чья это ППЖ? — Это члена военного совета.

Рядом тяжкий и благородный труд на войне десятков тысяч девушек в военной форме.

Бабы деревни.

На них навалилась огромная тяжесть всего труда. Нюшка — чугунная, озорная, гулящая.

Говорит: «Э, теперь война, я уже восемнадцати отпустила, как муж ушел. Мы корову втроем держим, а она только мне доить дает, а двух других за хозяек не хочет признавать. — Она смеется. — Бабу теперь легче уговорить, чем корову».

Она усмехается, просто и добродушно предлагает любовь.

Хозяюшка на следующую ночь. Сама чистота. Отвергает всякий похабный разговор. Ночью в темноте доверчиво рассказывает о хозяйстве, о работе, приносит показать цыплят, смеется, говорит о детях, муже, войне. И все подчиняются ее чистой, простой душе.

Вот так и идет бабья жизнь, в тылу и на фронте — две струи, чистая, светлая и темная, военная: «Э, теперь война».

Но ППЖ — это наш великий грех.

Старик смеялся, пока немец ел его сало, — думал, немец у кого-то другого взял, а сало было стариковское, немец украл.

Добродушие населения нашего.

Такой тяжести, не знаю, кто по силам способен носить.

Трагическая пустота деревень.

Девочек везут, они плачут, плачут матери — дочек в армию берут.

Огромность пространства: едем 4 дня. Уже другое время — на час вперед, другая степь, другие птицы — коршуны, совы, ястребки. Вот уже и дыни, и арбузы появились. А горе одно.

Старуха ходит сторожить колхозные амбары на ночь, вооружена сковородником. Кричит, когда кто-нибудь идет: «Стой, кто идет, стрелять буду!»

Генерал Гордов командовал Приволжским воен. окр. Воевал в Западной Белоруссии, сейчас он командует на Волге. Война на Волге идет.

В воздухе рев моторов, сумятица. «Кобры», Яки, «харрикейны». Появляется огромный, плавный «дуглас». Истребители неистовствуют, нюхают, бегут следом. Он ищет площадки, а они пляшут во все стороны. Сел. Истребители вокруг него и над ним. Величественно выглядит эта картина. Живые кадры из кино.

Красноармейцы, глядя на эту картину прилета, рассуждают. Один: «Ну словно пчелы, что это они несутся». Второй: «Бахчу стерегут, видно». Третий, глядя на появившийся «дуглас»: «Не иначе ефрейтор с нашей роты прилетел».

Ночевка у секретаря райкома. Разговоры о колхозах и о председателях, которые угоняют скот далеко в степь и живут королями — режут телушек, пьют молоко, занимаются куплей и продажей (а корова стоит 40 000).

Разговор баб на кухне райкомовской столовой.

— Ось цей Гитлер то настоящий антихрист. А мы раньше казали — коммунисты антихристы.

Сталинград сгорел.

Писать пришлось бы слишком много. Сталинград сгорел. Сгорел Сталинград.

Заволжье. Пыль. Коричневая степь. Ужи, раздавленные на дорогах. Реполовы. Верблюды. Крик верблюдов.

Степь многотравная.

Осенью жалкий ковыль, бурьян, полынь.

Сталинград.

Мертво. Люди в подвалах. Все сожжено. Горячие стены домов, словно тела умерших в страшную жару и не успевших остыть. Огромные здания, памятники, скверы. Надписи: «Переходи здесь». Груды проводов, на окне спит кошка, зелень в вазонах. Среди тысяч громадин из камня сгоревших и полуразрушенных чудесно стоит деревянный павильон, киоск, где продавалась газированная вода. Словно Помпея, застигнутая гибелью в день полной жизни. Трамвай, машины без стекол. Сгоревшие дома с мемориальными досками: «Здесь выступал в 1919 году И. В. Сталин». Здание детской больницы, на нем гипсовая птица с отбитым крылом, второе простерто для полета. Дворец культуры — черное, бархатное от копоти здание и на этом фоне две белоснежных нагих фигуры.

Бродят дети — много смеющихся лиц, много полусумасшедших.

Закат на площади. Страшная и странная красота: нежно-розовое небо глядит через тысячи и десятки тысяч пустых окон и крыш. Огромный плакат в бездарных красках: «Светлый путь».

Чувство покоя — после долгих мук. Город умер, словно лицо мертвого, перенесшего тяжелую болезнь и успокоившегося вечным сном.

И снова бомбежки, бомбежки уже умершего города.

Колхозница Рубцева.

Рассказ ее о трусах: «Немец, как копьё, пошел вниз. Тут его и бить, а герои все в бурьян полегли. «Эх вы!» — кричу им. Вели пленного через село — я спрашиваю: «Когда пошел воевать?» «В январе». «Ну, значит, ты моего мужа убил», — замахнулась я, а часовой не пускает. «Пусти, — говорю, — я его двину», а часовой: «Закона такого нет». — «Пусти, я его двину без закона и отойду». Не пустил.

При немцах живут, конечно, но для меня это не жизнь будет. Как мужа убили, у меня теперь один Сережа остался. При советской власти он у меня в большие люди выйдет, а при немцах ему пастухом умирать.

Раненые воруют у нас сильно, терпения нет. Всю картошку вырыли, помидоры, тыквы все очистили, нам теперь голодать зиму. В квартирах чистят — платки, полотенца, одеяла. Козу зарезали, но все равно жалко их: придет, плачет — отдашь ему свой ужин и сама плачешь».

Бабка. «Пустили их дурачки вглубь на Волгу, отдали Вол-России. Ясно. Техники у него много».

Жуткая переправа. Страх. Паром полон машин, подвод, сотни прижатых друг к другу людей, и паром застрял; в высоте Ю-88, пустил бомбу. Огромный столб воды, прямой, голубовато-белый. Чувство страха. На переправе ни одного пулемета, ни одной зениточки. Тихая светлая Волга кажется жуткой, как эшафот.

Живем мы в доме раскулаченного. Явилась откуда-то старая хозяйка. День и ночь на нас смотрит и молчит. Ждет. Так мы и живем под ее взорами.

Ночью в Сталинграде. У переправы ждут машины. Темно. Горят вдали пожары. Тяжело поднимается в гору подкрепление, переправившееся через Волгу. Мимо нас проходят двое. Слышу, боец говорит: «Легкари, торопятся жить».

«Летит!» Все сидят.

«Разворачивается!» Все бегут из избы на улицу, смотрят вверх.

По степи солдат с противотанковым ружьем гонит большущее овчье стадо.

Старик, у которого ночевали. «У меня 4 сына на войне, 4 зятя, 4 внука. Один сын готов. Прислали».

Всю ночь старуха сидит в щели. Вся Дубовка в щелях. Сверху летает керосинка — трещит, ставит свечи и бомбит маленькими.

«Где бабушка?»

«Бабушка в окопе, — смеется старик, — поднимет голову, как суслик, и назад».

«Конец нам. Дошел он, жулик, до коренной нашей земля».

Всю ночь над головой рев самолетов. Небо гудит день и ночь, словно сидишь под пролетом огромного моста. Этот мост днем голубой, ночью темно-синий, крутой, в звездах — и по этому мосту с грохотом едут колонны пятитонных грузовиков.

Огневые позиции над Волгой, в бывшем доме отдыха. Крутой обрыв. Река синяя, розовая, как море. Виноградники, тополя. Батареи замаскированы виноградными листьями. Скамейки для отдыхающих. На скамье лейтенант, перед ним столик. Он кричит: «Батарея — огонь!»

А дальше степь — с Волги прохлада, а степь пахнет теплом. В воздухе «мессера». Часовой кричит: «Воздух», а воздух чистый и то теплый, то прохладный, и пахнет польню.

Самым берегом у воды идут раненые в окровавленных бинтах, над розовой вечерней Волгой сидят голые люди и бьют вшей в белье. Ревут тягачи, скрежещут по прибрежному камню.

А потом звезды, ночь и лишь белеет церковь в Заволжье.

Телеграфный столб в степи. Если долго лежать под ним, то слышишь музыку — очень разнообразную и сложную. Столб наливается ветром и поет. Столб, словно вскипающий самовар, шкворчит, свистит, булькает. Это столб посреди степи. Столб сухой, высушенный солнцем. Он, как скрипичное дерево, на нем струны — провода, и вот стель завела себе такую скрипку, играет на ней.

Ясное, прохладное утро в Дубовке.

Удар, звон стекла, штукатурка, пыль, мгла в воздухе. Над Волгой крик, плач. Немец убил бомбой семь женщин и детей. Девушка в ярко-желтом платье кричит: «Мама, мама!..»

Воет по-бабьи мужчина, его жене оторвало руку. Она говорит спокойно, сонная. Женщине, больной брюшным тифом, осколок попал в живот, она еще не умерла. Едут подводы, с них капает кровь. И крик, плач над Волгой.

За забором колышется колодезный журавль, и кажется — колышется мачта.

Бригада Горелика. Люди не понимают значения события 23 августа. Но они обижены невниманием — орденов не дали, — у комбрига, заболевшего тифом, отобрали легковую машину.

Саркисьян. Он не поехал в воскресенье в Сталинград, т. к. была в поселке знакомая, и должны были привезти пиво. Он, как случайная железка, попал в машину немецкого военного плана. Возможно, Гитлер не спал из-за него несколько ночей — темп сорвался! А темп почти все.

О бюрократизме.

1) Случай с самолетами, которые 3 дня бомбили наши танки и в течение 3 дней шли по инстанциям телеграммы — ступени.

2) Сбрасывали продукты на парашютах попавшей в окружение дивизии. Интендант не хотел давать продукты, так как некому было расписаться на накладной.

3) Начальнику разведки не выписывают 0,5 литра водки, не дают нужного ему отреза шелка ценой в 80 руб. 50 коп.

4) Сообщение о вылетах. Заявка на бомбежку.

5) Самолет загорелся. Летчик, спасая машину, не прыгнул, довел горящую машину до аэродрома. Он уже горел, на нем горели штаны. АХО отказалось выдать ему новые штаны, т. к. не прошел срок износа. Несколько дней длилась волынка.

Идущие дивизии. Лица людей. ИТР, артиллерия, танки — Суворов и Невский. Идущие днем и ночью. Лица, лица — их серьезность, смертные лица.

Дивизия Сараева — Капранов, Савчук. Начальник штаба с бородкой, молчаливый и молитвенно исполнительный.

Дивизия Гуртьева — направление главного удара. Нач. шт. Тарасов — маленький, простой и умный мужичок. Свирин — комиссар. Родимцев — Борисов.

Шпионы. 12-летний мальчик узнавал штабы по проводам, парикмахерам, кухням, людям с донесениями.

Женщина, которой немцы сказали: если не пойдешь и не вернешься, расстреляем твоих двух дочек.

Горохов после 7-й атаки сказал командиру заградотряда: «Ну хватит в спину стрелять. Айдать в атаку». Тот пошел и отбросил немцев.

Разговор полковников Шубы и Тарасова с командармом:

— Что?

— Разрешите повторить.

— Что?

— Разрешите повторить.

Шубу по зубам.

Я стою смирно, язык забрал и зубы стиснул, а то еще язык откусишь и без зубов останешься.

На поле боя рядом убитый румын и наш. У румына лист бумаги и детский рисунок: зайчик и пароход.

У нашего письмо:

«Добрый день, а может быть, и вечер. Здравствуй, тятя...» А конец письма: «Приезжайте, тятя, а то без вас приходишь домой, как на фатеру. Я без вас шибко скучаю. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина».

Бабушка рассказывает, как ее ранило нашей бомбой, когда в деревне стояли немцы.

— Угодил по мне сукин сын, итти его мать, — сердито говорит она, потом поглядывает на переобувающегося командира и поправляется: — Сукин сын, сынок.

Боец, бывший военнопленный в прошлую войну, говорит, глядя на пикирующий самолет: «Должно быть, мой байстрюк бомбит».

Зимой в степи на передовой. Яма, прикрытая плащпалаткой. Печка из каски. Труба — медная гильза. Топливо — бурьян. В походе — один несет охапку бурьяна, второй — щепок, третий — гильзу, четвертый — печку.

Бегут в атаку, прикрывая лицо саперной лопаткой. В атаке винтовка предпочтительнее автомата.

Картинка: развороченный танком опорный пункт. Плоский румын, по нем прошел танк. Лицо-барельеф. Рядом 2 раздавленных немца. Тут же наш лежит в окопе, полусадавленный. Банки, гранаты, лимонки, окровавленное одеяло, листы немецких журналов. Среди трупов сидят наши бойцы, варят в котелке ломти, срезанные с убитой лошади, протягивают к огоньку озябшие руки.

Три генерала — Шумилов, Труфанов, Толбухин.
Хрущев — усталый, седой, обрюзгший.
Не то Кутузов, не то дедушка Крылов.

Радостный ясный день. Артиллерийская подготовка. Катюши. Иван Грозный. Рев. Дым. Атака. И неудача — немцы закопались, их не выковырять.

Как горел Ю-53, груженный бензином, в ясном вечернем небе. Летчики скачут с парашютами.

Еременко:

«Главный удар с юга выдержал Шумилов. Большую роль сыграла 133-я бригада танков КВ. Шли немцы и 3 румынских дивизии с Цымлянкой, Котельникова».

План Еременко ударить по флангам. Еременко вступил в командование после 7 ранений. После долгого разговора со Сталиным.

В эту войну был ранен 3 раза.

В 3-й ударной армии перебили ногу во время прорыва фронта.

Тов. Сталин сказал: «Поезжай, если можешь, мне нужно прорывать фронт».

Был Бок — Рунштед, теперь прилетел Манштейн, их выручать.

Чуйкова выдвинул я. Я его знал, панике он не поддается.

«Я знаю твою храбрость, но она бывает от большой выпивки, этой храбрости мне не нужно. Не принимай решений сплеча, ты это любишь». Я ему помогал, когда он начинал паниковать.

Родимцевская дивизия могла лучше драться.

Гуртьева я пропесочивал.

Чуйкова я перевел в трубу.

Горохов — храбрый, грамотный, умеет организовать бой. Я с ним потолковал и понял, что его можно поста-

вить на правый фланг. Я ему лично писал записки, говорил, посылал ему записки.

Труфанов — словянный солдатик.

64-я армия — большого веса армия.

Первый период я командовал один.

1) Я внутренне был убежден, что Гитлер будет разбит под Сталинградом.

2) Я знал и Чуйкова и Шумилова давно. Они мне очень верили.

3) Они мне верили — моей материальной помощи. Я спас армию маневром, по 5 противотанковых полков перебрасывал за ночь.

4) Реализм — разведка, которая смотрела правде в глаза.

У меня 2 принципа в оперативном искусстве:

Непрерывная забота о подчиненных войсках, т. е. надо поставить их в наивыгоднейшие условия в отношении противника. Это требует постоянного знания противника, снарядов, кушанье («чтобы было что кушать»).

Непрерывная информация вышестоящего начальника. У меня не было ни часа перерыва в связи. Ежедневно с начартом по вопросам обеспечения.

Каждый вечер я получал полные данные о противнике.

Чуйкова я знал по мирному времени — дружил его на маневрах.

За награды я жал здорово.

Шумилова я знал по освобождению Литвы, он сильнее Чуйкова — грамотный, сильный командир.

Разочарование мое в Лопатине, я его снял и поставил Чуйкова.

Мое впечатление о красноармейце хорошее, хуже с командным составом; недостача воли от малых знаний.

Красноармейцы показали полную зрелость русского народного духа.

Я был в старую войну ефрейтором. Убил 22 немца. Кто хочет умереть? Никто особенно не хочет.

Еременко по телефону:

«Артиллерия должна быть, как коршун на поле боя».

Мне предлагал Хрущев минировать. Я звоню Сталину. Он: «Зачем?»

Я: «Я Сталинграда не дам, мне не хочется минировать».

Сталин: «Гони их к матери».

Я страшно жестоко тут поступал: «Расстрелять на месте». Мы здесь создали 30 полков ПТО артиллерии («Баррикады»).

Централизованное управление артиллерией — 2 армейских и 1 фронтовую.

Группы АДД (дальнего действия).

2 полка — тяжелых минометов.

Я сосредоточивал на километр — 220 пушек.

Чуянов — ни ... не знает.

Мы выдержали на огне, на людях. А укрепления Я румын отогнал.

Авиации нашей мало было.

Дальнобойная авиация сыграла большую роль. У меня было 100 самолетов.

Красноармеец:

«Я вас узнал, товарищ командующий». Он мне рассказал, где он был, где воевал, сколько убил немцев.

У молодежи мало опыта житейского, они, как дети: куда пошлют, там и умрут.

Самый умный боец — 25—30 лет.

А более старшего возраста — «не совсем здоров, семья его мучает». Меня нога сильно мучает.

Под Смоленском страшное напряжение, потом Брянский.

Я пять дней на северо-западе не ложился спать.

Прямо пот выступал, он давит, а войска поставили глупо, мне жарко было.

Я очень здоровый.

Я уже спокоен, все организовал, подготовил; ложусь спать. Само пойдет.

Я 2—3 дня готовлю, а потом ложусь спать.

Когда обстановка требует, я по 3—4 дня не ложусь спать».

Когда в Сталинграде наша артиллерия накрывает своих, красноармейцы горько шутят: «Вот и дождались второго фронта, открыли».

У-2 сбрасывают продукты нашим войскам ночью. Мы обозначаем передний край площадками, которые зажигают на дне окопов. Командир роты Хренников забыл обозначить передний край, вдруг из тьмы небес хриплый голос: «Эй, хрен, ты скоро зажжешь площадки?» — Летчик с выключенным мотором. Хренников говорит, что на него это произвело страшное впечатление. Этот голос с неба, назвавший его фамилию.

Разговор красноармейцев, идущих к переправе.

Один: «Давно уж горячей пищи не кушал».

Второй: «Крови поьем там горячей своей».

Родимцев: «Ну, что ж там, все родину защищают, а мы воюем».

С-т Титов и д-т Ковтушенко прошли по льду в ночь с 16-го на 17-е, по льду в 3 см — саперно-инженерного батальона.

Соревновались два берега: кто скорее проложит дорожку — выиграл левый берег.

Переправа. Лодку пробило. Она везла муку. Боец Воронин не растерялся — высыпал из одного мешка муку, мешком заткнул дыру, а другие дыры обмазывал образовавшимся клейстером. Лодку пробило, в ней 77 отверстий — боец за день залатал все 77 дыр.

Ночь при луне, переход, лед постреливает, то светло, то облака.

Ген. Ч у й к о в:

«Сталинград — это слава русской пехоты. Пехота победила весь арсенал немецкой техники.

«Волтузка», «волтузить».

Отступление гибель.

Ты отступишь — тебя расстреляют. Я отступлю — меня расстреляют.

Нигде так не пользовались оружием ближнего боя.

Перестали бояться танков. Когда была авиация, немцы и наши бежали навстречу друг другу и прятались в одни ямы.

Немцы пробовали вбивать клинья, но мы им показывали клинья!

Они начали играть на гармошках губных и танцевать. Ну, мы им показали гармошки.

Радиоаппаратура не работала от бомбежки, сотрясаясь эмульсия в лампах.

Сидишь в блиндаже, гула нет, а в ушах иголки.

Посуда на столе рассыпалась.

Самое тяжелое чувство: где-то трещит, все грохочет, посылаешь офицера связи, и его убивает.

Вот тогда весь дрожишь от напряжения.

Нефть течет потоками через КП к Волге и вспыхивающая Волга. Мы в 15 метрах от Волги. Уйти — нарушить связь, остаться — Волга горит. Выход был к противнику только.

Немцу, должно быть, говорили, что штаб здесь, но он, должно быть, не верил этому.

Пресса дразнила Гитлера, а мы ужасались. Сидели, знали, чувствовали, что Гитлер бросил главные силы.

- Еременко, Хрущев мне сказали:
— Надо отстоять Сталинград. Как ты смотришь?
— Есть, слушаюсь.
— Нет, мало слушаться, как ты смотришь?
— Это значит: умереть — умрем.

Первая задача: надо внушить командирам, что не так страшен черт, как его малюют.

Паникеры знали: пощады не будет.

Бойцы знали: попал сюда, отсюда не уйдешь. Или голова будет отбита, или без ног.

Ну, еще русский задор.

Мы шли во встречный бой.

Когда он уставал атаковать, атаковали мы.

Политработа — все только нацелено на задачу, и все вместе с бойцами. «Изматы» — коммунизм, национализм, мы этим не занимались.

Боец пробыл три дня — уже старожилом себя считал. Здесь жили люди один день.

(О стойкости. Я говорю о чуде стойкости, что я не понимаю, как бегавшие раньше стали стойкими.)

Чуйков: «Представьте себе, я сам этого до конца не понимаю».

Каждый знал, что убежавших будут стрелять на месте, это страшней немцев.

Немцы ввали, что взяли Сталинград. Были случаи, когда немцы приезжали за хлебом и яйцами в город и попадали в плен.

Вредно переоценивать противника, но недооценивать его — опасно.

Немецкая атака: все вжать в землю, пустить танки, и после этой дикой волтузки наша бессмертная пехота выходила из земли и отсекала их пехоту от танков.

Кричат: «Танки на КП!» — «А пехота?» — «Отсекли». — «Все тогда в порядке».

О немцах.

Не блещут. Но в отношении дисциплины надо отдать справедливость. Приказ — закон.

У меня опыт некоторый есть для развязывания языков.

Наши бойцы настолько стали хитрыми, что ни один профессор не придумает. Такой окоп себе построят, что на голову ему наступишь, а его не заметишь.

Наша борьба: масштаб от броска гранаты до 150 метров.

Наши наверху, немцы внизу заводят патефон, наши проббили дырку в полу и огнеметом дали.

Бойцы, подходя сюда, говорили: «Ну, подходим к аду». А пробыв день-два, говорили: «Нет, тут в десять раз страшней и хуже, чем в аду».

Зверская злоба, нечеловеческая к немцам.

Вели, не довели — умер бедняга от страха.

— Хочешь волжской воды? — И раз 10—12 окупут.

Немцам пустили слух, что Гитлер приезжал в Питомник и сказал: «Держитесь, я сам веду армию на выручку вам» (одетый в форму ефрейтора).

Да, драка была, доложу вам, товарищи.

Столько пролили крови, столько потеряли — и отступить. Да это невозможно!

Еременко приехал 14-го ночью, и я с Гуровым вышли его встречать. Это был ад огневой, налет.

После 14-го я решил всех женщин на тот берег, сколько слез было.

Зараза мужества здесь, как зараза трусости в других местах. Жили часами, минутами, честное слово.

Ждешь рассвета. Ну, начинается. А вечер — слава богу, целый день прошел, как удивительно.

Да скажи мне, что я Новый год встречу, я рассмеялся бы.

Самое страшное, когда сидишь как идиот, бой кипит, и ничего не сделаешь.

Русь, давай шапку, дам автомат!

15 лет мне было, я командовал полком.

До этого я работал в шпорной мастерской, вырабатывал малиновый звон.

Я был главным советником у Чан-Кай-Ши.

Гордость обязательна военному человеку.

Командиру — пусть голова летит, но не кланяйся немецкому снаряду. Боец все это видит.

Глубокий выдох делали тогда, когда наступали сумерки.

Наше выражение: «Мы сидим, как зайчишки, играем в картишки».

Как бы не схарчили.

Странное беспокойство:

«А что о нас говорят, как там о нас? Что думают про нас?»

Страшная неуверенность.

«Да, когда воюют два генерала, то обязательно один из них окажется умным, второй дураком.— И, смеясь, прибавил: — Хотя дураки оба».

Последний разговор, разговор о жестокости и черствости как о принципе. Спор. Последняя неожиданная фраза: «Ну и что ж, я плакал, но плакал один. Что скажешь, когда четверо красноармейцев вызывают огонь на себя! Заплачешь, но один, один. Никто. Никогда. Не видел».

Б а т ю к.

Немецкие разговоры по радио:

— Русь, что ты обедал?

Ответ.

— А я, Русь, ел масло, яйца, только не сегодня. Сегодня я ничего не ел.

— Русь, я за водой иду, стреляй в ноги, не в голову. У меня дети есть, matka есть.

— Русь, давай узбека на румына менять.

«Мне Мамаев курган снится».

Бездидько — 1305 немцев.

«Тов. подполковник, сегодня убил 5 фрицев, истратил 4 мины».

«Я им зробыв великий сабантуй».

«Один кида, другий гра, а потом другой кида, а першый гра».

Батюк: «У нас в дивизии лучший снайпер по фронту Зайцев, лучший минометчик — Бездидько! Лучший артиллерист — Шуклин, командир 2-й батареи (14 танков одной пушкой)».

Бездидько ревниво говорит: «Потому он убив одной пушкой, шо у него тилько одна пушка была».

КП в трубе. длиной 71—30. Взрывной волной всех вдуло со столами.

Батюк: «Вот в этом блиндаже дверь обычно влетала внутрь и ложилась на стол».

Зайцев, «скромный, культурный», убил 225 немцев. Другие снайперы — это зайчата. Батюк говорит: «Они его слушают, как мышата». Он говорит: «Правильно, товарищи, я говорю?» Все: «Правильно, Василий Иванович».

Немцы все били минами по блиндажу начарта. Батюк, смеясь, стоял у своего блиндажа и корректировал: «Правей, левой».

«Бездидько, Расскажи, как ты разрушил бардачок».

Бездидько скромно: «Я это считаю за блиндаж».

Это дивизия украинцев, все друг над другом шутят. Когда попадают под минометный огонь, Батюк говорит: «От, сукин сын, Бездидько, хйба так я его учив». Бездидько обижается и сердится.

Батюк: «У меня 3 боя были в жизни, вот эти бои мое сердце радуют, вот это были бои. 1) Перед Каунасом. 2) Под Касторной. 3) Переконовка на Брянском фронте».

Подханов, раненный в ногу, лежал в санроте и выползал на передовую стрелять.

Красноармейская мысль взялась за ПТР.

1) Колесо от телеги сажают на кол и вертят на 360°, подбили 7 самолетов.

2) Зайцев приспособливает ПТР под снайперскую винтовку. Зайцев и 45 снайперов в его полку.

Батюк,— единственный, холодно относится к сталинградцам.

«Конечно, было огромное упорство. Но я здесь был сжат, стиснут. И противник был сжат, стиснут, он не мог развернуться всей своей силой. Мне не нравились эти бои. Я люблю полевой бой».

Ловля рыбы на штурмовом мостике и на лодках.

Зайцев убил женщину и немецкого офицера: «Крест-накрест легли».

Единоборство Зайцева с большим немецким снайпером.

— Тот убил троих наших, выждал 15 минут, наша балочка пустая, и стал подниматься. А я вижу — у него винтовка лежит, я встал во весь рост. Он меня увидел и понял. И я выстрелил.

Капитан Ильгачкин, командир батальона, болел тем, что никогда не мог попасть из пехотного оружия в самолет. Он начал теоретически высчитывать скорость пули ПТР (1000 м в сек.), составил таблицу, дополнил тем, когда самолет на нас летит, самолет от нас летит. Сразу же пошел по таблице. Тогда поставил столб, устроили втулку, на нее надели колесо и ПТР клали сошниками на спицы, а тело ружья было между спицами.

Стреляли Кузнецов, Репа (мл. сержант) и Ежовкин.

Прелестное и грустное.

Мамаев курган — КП батальона, ротные миномет-

чики все время проигрывают слова пластинки: «Нет, только не сейчас, друзья, в морозную постель».

Генерал Крылов:

(Начальник штаба у генерала Софронова — при обороне Одессы, начальник штаба у Петрова — в Севастополе).

«В Одессе линия фронта, — мы имели обвод, — линия фронта проходила в 18—20 км от города. В городе бои не шли. Получив приказ ставки, мы перешли в общее наступление, а ночью обвели дивизии, оставив на участке дивизии батальоны, которые были 16-го утром погружены на мелкие суда. Противник, отброшенный на много километров, перешел в наступление против пустых окопов. Ни одного орудия и человека не потеряли.

У меня было тяжелое чувство, Одессу можно было защищать. После эвакуации Одессы я прибыл в Севастополь. Приморская армия в Одессе и Севастополе. Севастополь держался 7 месяцев. Огромная трудность снабжения, ночью корабли должны были отойти. Был случай, когда на «Молотов» напали 73 самолета, командир корабля отстреливался орудиями главного калибра и отбился. У нас в Севастополе были уличные бои, на Северной и Корабельной стороне. Было отбито 3 наступления в октябре, декабре и январе. К 3-му решающему наступлению ими была проведена гигантская подготовка. 24-дюймовые мортиры, чудовищного действия. Они пробивали трехметровую толщу железобетона. Их было штук 9, они применялись впервые в мире, могли сделать 10—15 выстрелов. Все силы авиации, 2 танковые дивизии. В день делалось до 2500—2700 вылетов. День тогда был очень большой. После пятидневной бомбежки он перешел в наступление. Эти бомбежки дали возможность наметить направление его главного удара. Я пришел к выводу, что хорошо закопавшийся боец неуязвим для бомбежки.

Истощение запасов боеприпасов и людских ресурсов заставило нас прекратить оборону.

Главные бои были на подступах к городу.

Каждодневно укрепляли позиции.

Мы уехали в ночь с 1 на 2 июля.

В Севастополе я чувствовал, что дальнейшее сопротивление невозможно. Сознание было, чтобы дороже продать свою жизнь. Мы это знали еще до начала 3-го решающего наступления. Мы плыли 4 суток.

Опыт.

Сила предвидения, сила определять ход событий. Изучил тактику противника: последовательное прогрызание, рассечение наших боевых порядков. Система заранее подготовленных позиций, планирование суток на 5.

Сталинградские бои.

1) Выгода артиллерийских позиций в Заволжье.

2) Связь играла огромную роль — радио и офицеры связи были главной силой. Когда шел лед, порвались все линии связи и мы 2 недели были на радио.

Отличия.

Там сила таяла, а здесь пополнялась. Масштаб был больше, потенциал не превышал.

Много было общего. Иногда казалось, что продолжаешь один и тот же бой. Но чувства обреченности, как в Севастополе, не было.

Пребывание наше здесь сыграло огромную роль в психологическом усилении морального состояния командирского состава и войск.

Бить авиацией по переднему краю немец не мог. На «Кр. Октябре» он разнес в щепы одну свежую свою дивизию.

Командный состав штаба армии на 5 танках держал улицы, чтобы обеспечить высадку Родимцева.

Отдельные моменты были острее севастопольских.

Близость КП к фронту, выход неприятеля непосредственно к КП.

Во всех 3 городах я убедился, что немецкая пехота действует робко. Главный расчет на силу мотора.

Их расчет на массированное применение техники, ошеломление. Могучая техника находилась в диспропорции с возможностями немецкого пехотинца.

Немецкое среднее командное звено безынициативно, т. к. полагается на высшее командование.

Командование Тодт⁵ — армейская группа.

Командующий 6-й армией — фельдмаршал, генерал танковых войск — Паулюс. Он командует ныне.

6-я армия сковывала, а направление главного удара осуществлял Тодт.

Манштейн — от Котельникова.

По силе удара самый тяжелый день 14 октября, на СТЗ, дивизия Желудева.

Первые числа сентября были особенно тяжелы, начало разброда.

Работал вечером, тогда собирался с мыслями, чтобы дать войскам указания. Днем считали минуты до вечера.

Пожар бензобаков. Столб на 800 метров. Волга, все это с ревом, течет к берегу. Меня вытащили из огневой реки. Некоторые работники, спавшие, сторели.

В штабе погибло до сорока человек.

Из Саратова. Ушел из Саратовской гимназии добровольцем в возрасте 16 с половиной лет.

Семья в Камышине и Саратове».

Нигде нет столько музыки, как здесь. Эта вскопанная, глинистая земля, засранная, в крови, поет радиомузыкой, пластинками патефонов, голосами ротных и отделенных певцов.

Гуров:

«Горишный подчинил себе полк Родимцева и им замыкали Мамаев курган.

Сараевская дивизия была разбросана по всему фронту, поэтому управления ею фактически не было.

Чем страшней фронт, тем больше еда напоминает мирное время.

Сараевская дивизия свою функцию не выдержала и оборону не выдержала, и порядка в городе не соблюла.

Человек, боец был один, командный состав лишь разный.

Лучшая из всех дивизия Утвенко. Она шла на «свежего противника».

Уход командира из полка. Прощание — пустое: «Напиши». — «Ладно, ладно». Торопливо. А человек выдержал всю тяжесть сталинградских боев.

Командиры дивизий больше рассчитывали на кровь, больше, чем на колючую проволоку в обороне Сталинграда.

Мнение Гурова: «Никаких укреплений не было».

А вот немцы засели в них и положили много на Донском фронте.

Крылов хохочет над баррикадами, которые строили в городской черте.

Много построено на крови политруков и замполитруков.

Тут часто услышишь о Банном овраге.

— КП армии ушел!

— Куда?

— Да, не на левый берег, а ближе к переднему краю.

Я смотрел на Батюка, как он отдает распоряжения, как реагирует на донесения, как воюет.

Первый раз на левой стороне (по случаю 25-летия ВЧК) показалось очень далеко, первый раз сел в «ЗИС», проверяют документы, странно все это было.

Самый для меня трудный период был с 13 сентября, и несколько дальше, как раз накануне подхода 13-ой дивизии.

Следующий наиболее тяжелый период — это с 14 октября.

Военный Совет переезжал: с высоты 102 переехал в штольню на реку Царицу; побыли там 7—8 суток.

Нас отрезали от основной группировки, и немец подошел вплотную к КП.

Затем переехали к бензобакам, возле «Красного Октября», там пробыли около месяца. Тогда был пожар, и он раскрыл КП, нельзя было выйти из блиндажа.

В момент доклада убило инструктора Круглова у Васильева. Потом перешли в штольню у завода «Баррикады» (с 7 до 15 октября).

Там нас отжимали на правом фланге от главных сил. Оттуда пошли в Банный овраг, в трубу КП 284-й дивизии, оттуда ушел к берегу. Нас туда не пустили немецкие автоматчики (получалось, что батальоны были впереди). После этого перебрались на место 1047-го полка.

Когда отдавали высоту 102, мы чувствовали прежде всего неуверенность, не знали, чем кончится.

Крылов — одним словом сказать, молодец.
Умно реагируя, быстро давал ценные советы.

Маневр был ограничен. Но — вот разведка помогла выяснить, что подходит 79-я пехотная дивизия, и мы сманеврировали и парализовали удар.

Мы действовали без резервов, тоненькую линию обороны — вот что мы имели.

Ни разу не было тяжелого положения с боеприпасами и продовольствием. К переходу мы накопили 10 сутокных дач.

Были дни, когда мы вывозили 2000—3000 раненых.

149-я бригада Болвинова — это, пожалуй, лучшая из частей — о ней стоит написать.

Болвинов поступил в подчинение Горохова, и Горохов его заслони́л. Но Болвинов делает то, что нужно. Он ползал, обвесившись гранатами, от одной огневой точки к другой, и его любили красноармейцы.

Полковник Людников и его дивизия. Это молодцы».

Есть собаки, которые очень хорошо различают самолеты. Когда наши летят, хоть над самой головой ревет — никакого внимания. А немецкий — сразу начинают лаять, выть, прячутся. Пусть он даже совсем высоко летит.

Мурашев и фельдшер Зайцев приговорены к расстрелу — первый за то, что прострелил себе руку, второй за то, что застрелил немецкого знаменитого летчика, спускавшегося на парашюте с разбитого самолета. Обоим заменили. И оба теперь — лучшие сталинградские снайперы. (Мурашеву 19 лет.)

В новогодний вечер мы уходим от Сталинграда, мы стали Южным Фронтом. Какая грусть! Откуда взялось это чувство разлуки, ни разу на войне я его не испытывал.

Вспомнился мне в день славы тот батальон, который переправился к Горохову, чтобы отвлечь на себя удар. Он весь погиб до последнего человека. Но кто вспомнил этот батальон в день славы? Никто не вспомнит тех, кто переправился в конце октября в ненастную ночь.

Калмыкия

Степь. Снег и желтая пыль, поднятые ветром белой поземкой по медной дороге. Пустые хатоны. Тишина — какой нет. Дороги минированы. Езжайте вперед. Хитрость. — Мы закурим и позавтракаем. — А мы дольем масла! — А мы растопим снег, чтобы долить в радиатор. Жуть минированной дороги. Броневик, грузовик, дальше еще грузовик — разнесенные взрывом.

Мертвые тела бойцов, выброшенные силой взрыва. Лошади с вырванными брюхами — лежат парой, как шли. Опять грузовик. Минобоязнь — это болезнь.

Пусто и тихо. Собака с человеческой костью в зубах бежит вдоль дороги, а за ней вторая поджав хвост.

Хатоны — мужчины ушли.

Коченеры, Шабанеры, Русский дом. Комсомолка Булгакова с ребеночком. Она единственная на район сохранила в кизяках комсомольский билет. Патефоны, уют и жуть. Кругом банды.

Человек, пришедший из плена. Кто он? Шпион или верный человек? Это загадка. На нем тень. Он темный. Он говорит, что прошел 4 тысячи верст пешком. 3 раза бежал. Шел на смерть и под смертью вынес великие страдания — взяли его под Смоленском, а вышел он под

Элистой. Ему нельзя верить, и ему нельзя не верить. Трагичный человек. В хатоне нет ни одного петуха — бабы их зарезали. Румыны по петушиному крику находят спрятанных кур.

Степь — гладь и волны, туман, пыль, снег, иней, тишина, мерзлая полынь, всадники на полях.

Элиста. Сгоревшая Элиста, и снова, как 15 лет назад, Элиста — это деревня, города больше нет.

Ш к о л а.

История изъята, как предмет.

География СССР изъята — взамен физический обзор Европы, как части света (без стран), положение Европы, границы Европы, моря, относящ. к Европе, острова, полуострова, только физический обзор, климатич. условия, горы, поверхность.

Русский язык — нового учебника не дали, старый починили — вырвали все листы, связанные с политикой СССР.

Предложили ребятам вырывать листы. Немец-офицер беседовал с детьми. Он кончал Одесскую гимназию, преподавал химию в старших классах.

Чтение — книга для чтения была изъята («Горький не писатель, а шарлатан»).

Хрестоматия запрещена, ее не изъяли.

Чтение: Пушкин, главу из «Тараса Бульбы», «Заколдованное место», «Медный всадник», «Крестьянские дети», отрывки из «Детства» и «Юности» Аксакова.

Ввели книгу «Что будет после» и журнал «Гитлер освободитель» (Альбрехт «в подвалах ГПУ»).

Арифметика — из задачника изъяты задачи, связанные с советскими делами (задачи — сбить столько-то советских самолетов и пр.).

Введен немецкий язык. Офицер лазил по сумкам ребят, искал невырванные листы. У девочки нашли книгу Ленина, крику было много, но девочку не исключили.

Естествознание — была запрещена последняя глава о происхождении человека.

Немецкому языку — 2 часа в неделю.

Введены наказания — «можете даже бить ребят».

Пение — русские народные песни: «Яблоко спелое», «Дети, в школу собирайтесь».

Школа не была типичной для школ в оккупированной области — немец действовал на свой страх и риск.

«Немец спросил: «А из «Войны и мира» им нельзя почитать?» Я сказала: «Они еще маленькие».

Библиотека. Изъяты: вся политика, Гейне и все советские писатели. «Гаврош» — немец скорчился и сказал: «Что вы, что вы». История Рамбо.

Платили 500 р. в месяц.

Паек.

426 гр. хлеба на работающего в день и 2 кило в неделю на иждивенца. А затем сократили — 2100 на работающего и 1400 на иждивенца. Раз в неделю 300 гр. такого мяса, что мы его не брали.

Немецкий паек получали «метисы» (наполовину немцы). Было объявление: «Все метисы должны зарегистрироваться в комендатуре в своих интересах», им выдавали породистую корову за 1000 руб., шоколад, белую муку, конфеты.

Были русские, приравненные к метисам.

— Меня мучило чувство, что я работала.

Краммс — учительница, к нам относилась свысока.

Когда она уходила, мы говорили: «Пойдем шифровать немецкие сводки».

Батаманджиев — написал статью «Калмык любит свою степь».

«Нам обещали транспорт в августе, мы составили список, но нас не вывезли».

На уборной: «Русским вход воспрещен».

Открыли хурул.

Калмыки щеголяли зелеными мундирами.

Гибель 93 семей евреев. Детям смазывали губы ядом (?).

Учительница (я не стал спрашивать ее имени и отчества). Ночью ее пытался насиловать офицер, ему помогал денщик. Она держала шестимесячного ребенка на руках. Он стрелял в пол, угрожал ребенку. Денщик ушел, запер. В соседней комнате были наши военнопленные. Она кричала, звала, но в соседней комнате мертвая тишина.

Она некрасивая, умная, окончила физ.-мат. факультет.

Ее разговор с немецким инженером. Он принес ей, чтобы похвастать, книги, она смеясь показала ему свои. Она знала больше. Немцы кричат на улице «швайн», «русская голова с соломой». Разговор о музыке.

Никто ничего не знает. Танго и фоксы. Только поют и танцуют.

Она смеялась над танкистами, пришедшими пешком:

— Где ваши танки, русский солдат плохой?

— О, нет, русский солдат хороший, сильный.

«Когда ночью слышишь топот сапог, падает сердце».

«Мальчишка приехал, становился в позы.

— Почему вы такой веселый, вы ведь на войну идете?

Через неделю он вернулся, их поклевала наша авиация.

— Я хочу к папе и маме! — сказал он.

А другие говорят:

— Надо воевать, не надо думать о доме!»

«Солдат пришел, нашел сахар. Он сосал кусок сахара. Я ему показала на грудного ребенка, он улыбнулся и ушел.

Они очень любят сладкое, сосут сахар всегда».



Курай — для топки, стелется.

Будяки, цигрик — он зеленый, цветочки красные — едят верблюды.

Мочажина — растет по болоту, высокое.



Чэпэ.

Приговор, расстрел. Раздели, закопали. Ночью он пришел в часть в окровавленном белье. Его снова расстреляли.



Немцы в Элисте.

В августе ходили и ездили в трусах (на мотоциклах).

Собака, ненавидевшая немцев. Верность.

1 мая 1943 года

Приехал в 62-ю сталинградскую армию. Она стоит теперь среди зацветающих садов, в чудесном месте, где фиалки, зеленая яркая трава. Тихо. Поют жаворонки. Я волновался по дороге — очень хотелось увидеть людей, с которыми так много связано.

Встреча. Обед у Чуйкова на террасе дачного домика. Сад. Чуйков, Крылов, Васильев, два полковника — члены Военного Совета.

Встреча холодная, все они кипят. Неудовлетворенность, честолюбие, недостаточные награды, ненависть ко всем, кто отмечен более щедрыми наградами, ненависть к прессе, о кинофильме «Сталинград» говорят с проклятиями. Большие люди, тяжелое, нехорошее впечатление.

Ни слова о погибших, о памятнике, об увековечении тех, кто не вернулся.

Каждый только о себе и о своих заслугах.

Утром у Гурьева. Та же картина.

Скромности нет. «Я сделал, я вынес, яяя-я-я-я...» О других командирах без уважения, какие-то сплетни бабьи: «Мне передали, что Родимцев сказал то-то и то-то...»

В общем, мысль такая: «Все заслуги только у нас, у 62-й, а в самой 62-й лишь я один, остальные между прочим».

Суета сует и всяческая суета.

7. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Сталинград. 1942 год

Город Сталинград, последние числа августа, начало сентября, после пожара.

Переправа в Сталинград. На старте для храбрости Высокоостровский, Коротеев, Коломийцев и я выпили в совхозе на Левобережье непомерное количество яблочного вина. Больше всех усердствовал Высокоостровский, на катере «съездил в «ригу». Над Волгой воют «мессера», Волга в тумане и дыму, непрерывно жгут дымовые шашки, чтобы маскировать переправу.

Сгоревший мертвый город, площадь Павших бойцов. Надписи на памятниках: «Пролетариат Красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».

«Здесь похоронены 54 героических защитника Красного Царицына, зверски замученных и повешенных Врангелем в 1919 году».

В подворотне на груди вещей жители сгоревшего дома едят щи. Валяется книжка «Униженные и оскорбленные». Капустянский сказал этим людям: «Вы тоже униженные и оскорбленные».

Девушка: «Мы оскорбленные, но не униженные».

Памятник летчику Хользунову над Волгой.

Мельницы — 4. Хлебозавод — 3—4.

Директор завода Аньенов.

«Баррикады» в ночь с 23 на 24 августа продолжали работу. 300 человек пошли в рабочие батальоны. Примерно столько же с Тракторного. «Баррикады» дали в эту ночь 150 пушек. Гонор руководил работой. Отбор людей производили Гонор и парторг Ломакин. Сомова — секретарь Тракторозаводского райкома, руководила, держала связь.

24 августа было выпущено 6—8 танков.

Варапоново, там, где старые окопы, заросшие травой, где шли самые кровопролитные бои гражданской войны, — здесь вновь самый тяжелый напор врага.

70—80 танков было выпущено из ремонта в течение 24—25 августа.

Комиссар рабочего батальона Сазыкин с «Красного Октября». Из 80 осталось 35 человек, на подступах к Тракторному — автоматы и винтовки.

Танки переданы были армии.

Первые рабочие батальоны дрались с 25 августа по 2 сентября.

Дворец физкультуры — на фоне бархатно-черного от дыма дома две белоснежных фигуры.

Юго-западнее Сталинграда.

Расчет сержанта Апанасенко и расчет Кирилла Гетьмана — на них двигались 30 танков. Выдвинулись на открытую позицию и стали бить по танкам. В это время налетели самолеты, но они продолжали стрелять. Командир огневого взвода упал. Апанасенко взял командование на себя. Хорошо действовал наводчик Матвей Пироженко, подбивший танк со второго снаряда.

Донбассовский пролетарий Ляхов, красноармеец мотострелкового батальона танковой бригады, написал перед наступлением командованию: «Третий раз получен приказ о наступлении на разъезд, сегодня разъезд возьмем или умрем. Враг многочисленнее нас, но будь он сильнее хоть в пять, даже десять раз — разъезд будет наш. Если умру, считайте меня коммунистом. Передайте товарищу Сталину, что я жизнь отдам за Родину, за него и ничуть не пожалею. Если б я имел пять жизней, то все бы без колебаний отдал бы за него, так дорог для меня этот человек».

Боец застрелил другого, который выносил раненого и поднял руки перед врагом. Боец после этого сам вы-

ташил брошенного раненого. Отец дал ему, прощаясь, полотенце, которое мать вышивала невестой, и свои четыре креста за германскую войну.

Район Тракторного.

Подполковник Герман — командир зенитного артполка, стоял на северной окраине Сталинграда. 23-го вечером к Тракторному подошли около 80 немецких танков, двумя колоннами, и много машин с пехотой. У Германа много девушек — прибористы, дальномерщицы, стереоскописты, разведчицы. Одновременно массированный налет авиации. Часть батарей была по танкам, часть по самолетам. Когда танки подошли к батарее Скакуна вплотную, то Скакун, командир батареи, старший лейтенант, стал бить по танкам. Его атаквали самолеты. Он приказал двум пушкам бить по танкам, двум — по самолетам. Связи с батареей не было. «Ну, накрылись», — думает Герман. Грохот. Снова молчание. «Ну, накрылись!» Опять огонь. Лишь 24-го вечером вернулись четыре человека, вытащившие на плащ-палатке раненого тяжело Скакуна. Девушки погибли у орудий.

Батарея Гольфмана дралась двое суток немецким оружием. «Кто вы, пехота или артиллерия?» — «И то и другое».

Раненого Гольфмана заменил младший лейтенант Левченко, командир взвода управления.

Истребительная танковая бригада подполковника Горелика стояла на отдыхе в районе Тракторного. Внезапно ворвались танки. «Немцы!» «Немцы?» Разведка. Головной танк в немецкой колонне был наш КВ.

Зенитчики получили приказ отойти, но пушек не смогли отвести. Тогда многие остались. Командир огневого взвода Труханов, лейтенант, остался, выстрелил в упор, работая за номера, подбил танк и погиб.

Прорыв танковой дивизии, мотопехота.

Станция Варапоново — большие бои.
Станция Гумрак — большие бои.

Родимцев говорит: «По всей реке ездили, собирали. Теперь имеем целый флот: 27 лодок рыбацких, моторки, подняли со дна Волги катер, но он погиб от прямого попадания. Дивизия обеспечена полностью — горячая пища, смена белья, шоколад, сгущенное молоко. Раненые эвакуируются образцово. Трехдневные запасы. Людское пополнение «черненькие» (узбеки). В составе дивизии четыреста человек фундаторов, десантников, вы их легко узнаете по орденам. Возраст от 25 до 30 лет. Бойцы имеют сухой паек НЗ на трое суток...» (далее запись утеряна).

Генерал Родимцев: «Красноармеец Чехов убил 35 фашистов, я ему хотел дать отпуск, так как он жизнь свою окупил».

За бои — 60 танков, 2000 убитых.

Наступательные операции сменялись снайперским огнем. Гибкая война.

Захват дома. Группа захвата в 10 человек, бутылки. Группа закрепления, боеприпасы, продовольствие на шесть дней, окопы на случай окружения.

Дивизия расселилась по домам в шахматном порядке с немцами. Четверо держались четырнадцать дней, два пришли за продуктами, два остались сторожить дом.

Разведка очень затруднена.

Настроение — усталость, но хорошее.

Вши — достали примуса, утюги и выбивают.

Живут в подвалах, квартирах и окопах.

Во время танковой атаки подбили 42 танка.

Наступало 2 полка пехоты и 70 танков на полк подполковника Панихина.

Выбыли все расчеты ПТО, до последнего человека.

Люди, люди, люди — золото.

Первый этап — перешли в наступление на вышедшего к реке немца.

Взяли Мамаев курган, в день по 10—15 атак.

«Тов. Ортенберг. Одиннадцатого утром приехал с Высокоостровским, а ночью переправился в Сталинград. Подробно говорил с бойцами, командирами, генералом Родимцевым»¹.

8. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

*Северо-западнее Сталинграда
Сентябрь 1942 года*

(Начало книжки утеряно).

«...А он прощался, говорил: «Ребята, только будьте дружной, не тушуйтесь». Так у нас слезы и покатались. Он с 1923 года».

«Мы, молодые, о доме не думаем, это больше пожилые».

«Большинство погибли из-за кухонь».

«Старшины загорают около кухонь, пока еду получишь, уже прокисшая. Я так мучился из-за обуви, шел — мозоли кровяные. Снял с убитого — целы, но малы».

«Старшина 4-й роты Романов нас подводил на поле боя. Это значение имеет для настроения. Мы молодые,

¹ Из письма Вас. Гроссмана редактору газ. «Красная Звезда».

воспитанные, сознаем, терпим, а у пожилых совсем плохое настроение».

Романов рассказывает о немце с лукавством: «Э, думаю, это нехорошо, он ходит во весь рост».

Командир полка Савинов — чудесное русское лицо. Синие глаза, красный загар. На каске выбоина от пули. Савинов: «От удара пули стал я пьяным, 15 минут пролежал без памяти. Напоил меня немец пьяным».

ПТР.

Игнатъев, командир роты, старший сержант. Громов с 1904 года, первый номер. Валькин — второй номер. Чигарев — командир отделения.

Рассказ Громова: «Когда попадаешь, сильный огонь на броне, выстрел глушит страшно, рот открывай. Я лежал; кричат: «Идут», я со второго выстрела попал. Немцы закричали страшно, слышали мы хорошо. Даже дух возрадовался. Сперва дымок, потом трескотня и пламя. Евтихов одну машину подбил. Попал в кузов, как закричат фрицы... (У Громова светло-зеленые глаза, страдающее, злое лицо.)

Первый номер несет ружье, второй номер несет тридцать патронов ПТР, сто винтовочных, две противотанковых гранаты и винтовку.

У него звук, земля дрожит.

И у нас главные потери от того, что завтрак и обед самим носить приходится. Самим ходить только ночью надо. Посуда не позволяет, надо ведра достать.

Ночь лежали, а днем наступать. Что это такое, не поймем? А поле ровное, как стол».

Полковник Сабуров. Четыре раза отразили танковую атаку, подорвали склад с боеприпасами, уничтожили 4 станковых пулемета, 48 солдат, 5 орудий.

«Меня,— говорит командир дивизии,— доктор по телефону лечит: пробраться ко мне не может, а я потом за порошками посылаю к нему».

Наводчик, красноармеец Харин.

Радость. «Вчера эта «рама» сама себя запалила, бросила ракету, зацепился за нее парашют».

Аэродром: Князев.

Салдин — комиссар у Михалева, ходил в перчатках.

Фролов — комиссар у Савкина, погиб с полком.

Савкин погиб под Котлубанью, а в Ст-де погиб Маркелов.

Охитович Лев Алекс. ППС 1852 часть 66.

Ст. л-т Рубен Ибарурри.

Д о н е с е н и е

Вр. 11—30 20.9.42 г.

Гв. ст. лейтенанту Федосееву (ком. 1 батальона)

Доношу, обстановка следующая: противник старается окружить мою роту, заслат в тыл моей роты автоматчиков, но все его попытки не увенчались успехом, несмотря на превосходящие силы пр-ка, наши бойцы и командиры проявляют мужество и героизм над фашистскими шакалами.

Пока через мой труп не перейдут — не будет успехов у фрицев. Гвардейцы не отступают, пусть падут смертью храбрых бойцы-командиры, но пр-к не должен пройти нашу оборону. Пусть узнает вся страна 13 гв. дивизию, 3-ю стр. роту. Пока командир роты жив, ни одна блядь не пройдет. Тогда может пройти, когда командир роты будет убит или тяжело ранен. Командир 3 р. находится в напряженной обстановке и сам лично физически нездоров, на слух оглушен и слаб. Происходит головокружение, и падает с ног, происходит кровотечение

с носа, несмотря на все трудности, гвардейцы — именно 3-я рота и 2-я — не отступят назад, погибнем героями за город Сталина, да будет им могилою советская земля. К-р 3-ей р. Колаганов лично убил двух пулеметчиков-фрицев и забрал пулемет и документы, которые представил в штаб б-на.

Надеюсь на своих бойцов и командиров, пока через мой труп ни одна фаш. гадина не пройдет. Гвардейцы не жалеют, до полной победы будем героями освобождающих Сталинграда.

19.9.42

Колаганов.

9. СТАЛИНГРАДСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Начали переправу в 17. 00 14-го сентября, поспешно на ходу вооружаясь.

При переправе был разбит один паром, погиб 41 чел., спаслось 20. Борьба за высоту 102, красноармеец Кентя уничтожил 5 автоматч., захватил пулемет, 3 винтовки, ракетницу, флаг.

К-ц Муркин уничтожил офицера и 2-х солдат.

Расчет ПТР гвардии красноармейца Бирюкова уничтожил фашист. танк, расчет погиб от взрыва снаряда.

Лейтенант-сапер Чумаков, сержанты Дубовой и Бугаев, кр-цы Клименко, Шухов, Мессерешвили, выполняя задачу по взрыву заблокированного здания Госбанка под сильным огнем противника, неся каждый по 25 кг взрывчатки, подобрались к дому и произвели взрыв.

7 узбеков учинили самострелы конечностей. Все они расстреляны.

Примерно с 22-го сентября оборонительные бои с пехотой, танками противника.

Сержант Хачатуров разминировал под огнем противника 142 мины.

Прорыв немцев к Волге 1-го октября. Ночной бой. Отбиты.

Техника — мелкие группы, перекрестки улиц. Значение ракет. Лейтенант Орленок, бил из пулемета, схватил ПТР, подбил танк.

Переправа

Начальник переправы подполковник Пузыревский, около 2-х недель, до этого был капитан Езиев — чеченец, убит на барже бомбой.

Перминов — военком, с начала организации переправы 57-й день.

Замкомбат — Ильин, тяжело ранен, увезен на самолете.

Гамкрелидзе — командир 2-й роты.

Убито и ранено из комсостава: Езиев, Смерчинский — убит до Езиева, комбат — основал переправу — убит минным осколком. Шолом Аксельрод, командир технического взвода, погиб на барже при наведении переправы от разрыва мины.

Политрук — Самоторкин и лейтенант Петров — ранены минами.

Политруку Ишкину оторвало ногу снарядом дальнобойной.

Лейтенант Ливир — ранен в ногу при бомбежке.

Командир 1 роты Абрамов был ранен во время бомбежки.

Хоронили вблизи Волги. Речи, салют. Памятник ставили — на нем когда погиб и при каких обстоятельствах.

Похороны ночью, ни одного не проводили без салюта.

Рядового состава выбыло 100 человек — из них убито 28, раненых 71 человек, оставшихся в батальоне.

Весь батальон — ярославцы, в пределах 42—48 лет. Представлено к награде 55 человек.

Было 305 человек.

Переправа работала 57 дней.

Мессеры один раз лишь обстреляли из пулеметов. Немцы бьют с севера из-за «Баррикад» и с высоты 102.

Сброшено за все время:

Бомб — 550, мин — 8000, снарядов — 5000.

Бывают горячие дни: вот, например, 550 бомб за пять дней.

«Скрипуны» или «музыканты» пикируют с воем, ни черта не сбросят, а только ревут.

Сержант Власов — 48 лет, старичок, ярославец. Барку пробило снарядом. Один его держит за ноги: шинелью заткнул дыру и забил. На барже было 400 тонн боеприпасов.

Работал в колхозе председателем. 2 сына на фронте, дома 3 детей и жена.

Смирнов Дмитрий Александрович, лет 38. Сержант, держал за ноги Власова, когда тот чинил. Власов потушил пожар.

Загорелись снаряды от «катюш», один грузовик, а кругом десятки машин, мы их оттащили.

Расчет лейтенанта Минычева — красноармейцы Пушкаренко, Золотов, Мозжухин, Денисенко.

Потопили много барж, ночью не было ни одного случая, чтоб тонули груженые.

Потоплены: пароходы «Пережат», «Пожарский», «Капитан Иванищев».

Катера: «Ленинец», «Сокол» — всего 4 катера.

Вчера погиб тральщик — с 75 ранеными пошел ко дну.

Попавшие в воду мины и бомбы не дают осколков, только опасно попадание.

Есть мнение, что на берегу и в домах сидят корректировщики.

Поставили в распоряжение роты вошебойку, так она по ней 10 бомб запустил.

У нас Волга — 1300 метров ширины.

Ночью только минометный обстрел, непрерывный обстрел, ни на минуту не прекращающийся. Мины рвутся и на реке и на берегу.

Немецкое расписание:

До 12 ночи огонь. С 12 до 2-х тихо. С 2-х до 5 начинается.

С 5 до 12 дня тихо. С 9 утра авиация точно как по расписанию до 5 вечера.

В один день 1800 заходов. Авиация бьет по берегу, по реке не бьет.

Артиллерия мало действует.

«Маскируем — заводим под берег и лесом, пароход «Донбасс» заходит внутрь разбитой баржи, прячется за разбитыми баржами».

Быт

Своя пекарня, баня, вошебойка.

Баня в земле вырыта, бойцы любят париться с веничком, не выгонишь из бани. Трубу волной с бани стащило.

Пекарня — русская печь зарыта в землю, печем прекрасный пышный хлеб — мастера замечательные. В эту бомбежку пекарню всю-всю!

Кухню во второй роте — прямым попаданием.

— Разрешите доложить, вся кухня взлетела на воздух, вместе со щами! — Варите второй обед.

Старшине Спиридонову разворотило заднюю часть, просит выпить.

Двое тяжело раненных, Волков и Лукьянок, приперлись из госпиталя за 30 км, убежали пешком. Посадили на машину обратно везти, оба плачут — не поедем из батальона.

Волкова ранило в шею и лопатку, лопатка рассечена.

Красноармеец Миноходов, когда ранило Езнева и Ильина, вытащил их обоих с баржи, перевязал, сам был ранен в спину, бежал один километр до 2-го эшелона, сказал, что ранен комбат, и упал без чувств. Вместе их увезли в госпиталь.

Ни один человек не хочет уходить из батальона.

Труса-шофера моторного катера застрелил Власов после речи комиссара.

Шофер Ковальчук получил приказ отвезти бойцов на «Красный Октябрь». Обстрел был сильный, и он, испугавшись, отвез их на остров и сказал: «Мне моя жизнь дороже. Снимайте, расстреливайте, я все равно работать не буду, я человек пожилой».

Построили батальон и перед строем расстреляли.

У всех настроение — скорее разбить и обратно домой. Больше всего не любят зенитчиков.

Переправа работает с 6 вечера до 4 ч. 30 мин. утра.

При луне очень трудно; красиво, но бог с ней, с этой красотой.

«Самое страшное, что я испытывал, это когда начала тонуть баржа. Человек 400 бойцов. Паника, крики: «Тонем, пропали!»

А Власов подходит: «Готово, товарищ комиссар».

И тут пожар — боец, сукин сын, взял бутылку КС и начал пить, пожар начался, затушили плащ-палатками.

Вот-вот начнут бросаться в воду!

Там еще был у нас старикашка Муромцев, нашел две пробоины, залепил.

Все ведь боятся, и я испугался, все подвержены, но некоторые умеют держать этот страх».

Теперь привыкли до того, что, когда затихает, говорят: «Скучновато!»

Очень нашим понравилась статья про ярославцев, сидят, гордятся, как петухи: «Про нас пишут!»

Власов Павел Иванович: (Тутаевский район Ярославской области, 43 года. Семья 6 человек, один сын гвардейский минометчик, взяли в августе 1941 года, охраняли склады.

Командиром батальона был Смеречинский.)

«Прошли на Волгу с 25 августа.

Баржа большая, тысячи четыре тонн боеприпасов, пока грузили, обстреляли, но мы не обращали внимания. Пошли. Я на носу был, там мое место. Начался обстрел. Пробило палубу, пробило борт на метр ниже воды. Вода зашумела, народ закричал.

Я у одного вырвал палатку и кинулся в трюм; палубу разбило, поэтому и светло там. Большую дыру палатками и шинелью заткнули. А мелкие дыры мы снаряджи затыкали — меня за ноги держали, а я свешивался.

(О трусе-шофере)

Это было в первых числах октября. Нам дали приказ переехать на ту сторону, исправить пристань.

Он нас привез на остров, говорит: «Мне своя жизнь дороже». Мы его матом крыть, знали бы мотор, мы б его спешили. Нас обратно не везут, говорят, вы дезертиры с фронта. Пришлось на хитрость идти, перевязали себя. Змеев, тот ногу перевязал, палку взял. Доложили комиссару. Нас выстроили, весь батальон. Комиссар зачел приговор. А он плохо себя держал — плакал, просился на позицию. Но из него уже плохой защитник, он говорил, что немцу передается. У меня чувство такое было, что если б у меня воля была — я б его растерзал без этого приговора. Потом комиссар сказал: «Кто его пристрелит?» Я вышел из строя, он пал. Я взял у товарища винтовку и пристрелил его.

— Жалели его?

— Да какая тут жалость.

28 августа вечером прислали повестку. Я вообще мало пью, не привык.

Писать много не приходится: «пока жив», прошу, чтобы описали, как справляется дом.

Ребятишки небалованные, не знаю, как без меня, а при мне хорошо помогали.

Работы много — приходится работать день и ночь.

Лен самая работная культура — прополка, вторичная прополка, теребят его рукой, ставят в бабки высыхать,

а потом околачивают его, разостлать нужно, потом под-
нять его...

В общем, здесь работа полегче, хотя, когда мост
делали, то трое суток не спали.

Заготовили деревья на каждый такой плот, три попе-
речины, порода — елки, сосны; таких плотов 65. Посре-
дине трос цинковый, а потом планками — плот к плоту;
вдоль берега строили, а потом пустили; вода его стала
заносить, а когда дошел до середины, якорь спустили —
в 260 килограммов, шесть человек несли этот якорь на
понтон.

Мост покрыли тесом, а под него вспомогательные
бревна подводили.

Зенитки плохо работают, я видел — только три само-
лета сбили. Похвалить нельзя зенитки.

Поустанешь как следует — и спишь. День не по-
спишь, другой все равно уснешь.

Меня пилотка спасла.

Вздумывается, что сон досадил нам. Вот ездил на
пристань — как причал делали новый, вспоминали, что,
как зайцы, бегали из-за него.

Меня дети слушаются, бывает, что строгонько с ни-
ми, без этого нельзя.

Если слабо пустить, то будет плохо.— и дома и на
войне.

Я в колхозе не последний был — работал я честно,
хорошо.

Народ на меня обижался, кого заставлял работать,
зато к 25 августа мы всю уборку кончали, весь обмолот.
Лодырь обижался, труженик — не обижался.

Кассиром я был, когда перебрался в соседний рай-
он. Тысяч 15, а то и побольше бывало.

Я был и бригадиром на сплавных работах, люди ме-
ня знали хорошо.

И в армию ушел, все сдал — должником не остался,
убьют — за мной долгов не останется.

Рыбу мы ловим, ее немец для нас глушит.
Я поймал стерлядь одну, а потом еще — по-нашему
язь называется. Сварили уху.

Образование у меня — 3 зимы ходил в школу».

Чехов Анатолий Иванович: (1923 года. Родился на
Бондюжском хим. заводе, на Каме.

Отец — рабочий, мать — работает на заводе.)

«В Казань приехал в 1931 г., доучился до 7-го клас-
са. Отец запил, бросил мать, осталось 2 сестренки
и мать. Пришлось уйти из школы, хотя учился отлич-
ником. Географию любил очень, но пришлось бросить.

Проработал на киноплёнке и стал жестянщиком, по-
том на автоген. сварке, потом в гараже стал электри-
ком, газосварщиком, аккумуляторщиком. Я один был по
всем специальностям. Пришла повестка 29 марта
1942 г., попросился добровольцем в школу снайперов.

Вообще я в детстве никогда не стрелял, даже из ро-
гатки. Первый опыт из мелкокалиберной винтовки, вы-
бил 9 очей из 50 возможных, и лейтенант разозлился:
«По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо, ни-
чего из тебя не выйдет». Но я не стал расстраиваться,
взялся изучать теорию боевую, оружие. Первый опыт
из боевой винтовки — в грудку, в головку. Давали
3 патрона — и я поразил. И с тех пор стал отличником.
Попросился я добровольцем.

Захотелось мне быть таким человеком, который сам
уничтожает врага.

Захотелось после того, как почитал газету. Хотелось
быть знаменитым.

Я научился определять расстояние на глаз, без опти-
ческого прибора.

Подойдешь — ошибся на 2—3 метра.

Применение к местности:

Всмотрись, назначь ориентиры, заранее определи
расстояние, тогда, как только появится противник, сразу
повернул дистанционный маховичок и стреляй (толково
рассказал, как приподнимается пенек, для чего служат
горизонтальные нити).

Я вижу в оптический прицел, он четырехкратный,
там 9 линз, оптически устроен, все увеличивается. Чело-

века видно совершенно, как он себя чувствует, что собирается делать.

Сначала я был инструктор, сержант, учил я людей и снайперской стрельбе, и винтовке, и автомату, и гранате. Уж так получилось, что и на заводе и здесь я овладевал разной техникой легко.

Мои любимые книги? Я вообще мало читал. Отец напьется пьяным, разгонит всю семью, даже, бывало, уроков не учил. Своего уголочка у меня не было.

15-го утром я пошел в наступление.

Наступал я на Мамаев курган.

От своего взвода я оторвался влево. И у меня появилось чувство, что это не война, а просто я учу свое отделение, как надо маскироваться на местности, как стрелять.

С криком «Ур-р-ра!» пробежали метров двести.

Тут пулемет заработал, не дал нам идти. Я пополз, как учили, по-пластунски. И попал в ловушку — по бочкам три пулемета и танк. Я сам себе задачу поставил, назад не смотрел, знал: отделение меня не бросит. Я стрелял в упор с пяти метров. Они сидели боком ко мне, высматривали — я уложил одного и второго. Тут сразу по мне ударили три пулемета, танк и миномет.

Я и четыре моих бойца с 9 утра до 8 вечера в воронке пролежали. Потом я рассказал нашим пулеметчикам, где их пулеметы, куда танк ушел.

Сразу меня поставили командиром минометного взвода.

Я определял дистанцию на глаз. Получил приказ разбить дом, сказал дистанцию, и начали бить. Дом разбили.

Рота наступает — и я наступаю, ни на шаг не отстаю. Тут замечаю, что немец бьет только в середину, фланги не трогает. Я догадался, что он хочет атаковать нас с фланга, — и ударил по хатам. До этого условился с пулеметчиками, что они меня прикрывают, а я буду выкуривать их из хат. Тут наша артиллерия по нам ударила, и от роты осталось пять человек.

Когда я получил снайперскую винтовку, присмотрел себе место на 5-м этаже; там стена, меня стена тенью укрывала, а когда солнце, я незаметно вниз спускался.

Я видел оттуда: до немецкого дома 100 метров, в доме автоматчики и пулеметчики. Днем их не бывает, сидят в подвалах.

Я выхожу в 4 часа. Начинает светать. Первый фриц бежит за водой — для начальства мыться. Это уже когда солнце. Бежит он боком ко мне, я в лица мало смотрю, смотрю на одежду: командир в брюках, курточке, фуражке, без ремня, рядовой — в сапогах.

Я сижу на площадке лестницы. На решетку пристроил винтовку, так, чтобы дым стлался по выбеленной стене.

Они сначала ходили шагом. В первый день я уложил 9.

Один присел и в бинокль на меня смотрит.

За два дня уложил 17.

Пустили женщин — я убил 2 женщины из 5.

На 3-й день смотрю — амбразура! Снайпер. Я подкараулил и дал. Он упал и стал кричать по-немецки. Не стали носить мин, не ходили за водой.

Я за 8 дней уложил 40 фрицев.

За эти 8 дней я ученика выучил — Заславского. Он за 4 дня 8 уложил.

Им пришлось ход сообщения рыть. Они дорыли ход до дома на Волге — до асфальта, а дальше штаб; они не стали ломать асфальт, решили перебежать из траншеи, через асфальт и в окоп.

Если солнце, на стенке при движении тень, когда солнце, я не стреляю.

Новый снайпер появился у открытого окна, а меня раскрыл наш пэтээровец. Прижал снайпер меня, четыре раза по мне дал. Но все мимо.

Но не пришлось им волжской воды попить.

Они ходят за водой, обедом, с донесениями, за боеприпасами.

Чуть что — за мной: «Чехов, иди, по нам бьют».

Утром они артподготовку сделают и кричат: «Русь, завтракай», потом в обед тоже.

Они вареного едят мало — в мешках таскают себе водку, консервы.

Пока они обедают — автоматчик тыркает.

Вечером — «Русь, ужинать».

Воду они брали гнилую, из паровозов. Утром за водой идут с ведерком. Мне стрелять удобней, когда он бежит, глаз и рука лучше берут, а когда стоит мне хуже.

...Первый — вышел, прошел 5 метров спокойно.

Я сразу взял на мушку, беру вперед немного, от носа сантиметра 4. На расстоянии 300 метров беру бегущего с упреждением на две с половиной фигуры.

После того, как я винтовку получил, сначала все не решался человека живого убить: простоял один немец минуты четыре, все разговаривал, я его отпустил.

Когда первого убил, он сразу упал. Тут второй выбежал, наклонился к убитому, я и его уложил.

Мне страшно стало: я убил человека! А потом вспомнил наших — и стал их бить без пощады.

Дом провален до второго этажа. Кто сидит на лестнице, кто на втором этаже. Кассы — в них деньги все сгорели.

На кургане живут девушки, жгут костры, готовят, офицеры заходят к девушкам.

Боеприпасы возят на лошадях.

Наблюдаешь иногда такую картину: идет фриц, собака лает на него из двора, фриц ее убивает. Если ночью собачий лай — значит, фрицы чего-то делают там, шастают по домам, вот собаки и лают.

Я стал зверским человеком — убиваю, ненавижу их, как будто моя жизнь вся так и должна быть.

Я убил 40 человек — трех в грудь, остальных в голову.

При выстреле голова сразу откидывается назад или в сторону, он руки выбрасывает и падает...

Один убитый мной перед смертью сказал по-русски: «Спасибо, Сталинград, что меня русский снайпер убил».

Как-то мы принесли гармошку, поем, танцуем. Фрицы заслушались, а потом открыли огонь.

Пчелинцеву тоже жалко было убивать: первого не смог, второго убил и — как я мог?

Меня сначала трясло, когда убил: ведь человек шел за водой!

Двух офицеров уложил. На высоте — одного, другого — у Госбанка, он весь в белом был, все немцы вскакивали, ему честь отдавали, он их проверял. Хотел перейти улицу — я и ударил в голову. Он сразу свалился, ноги только задрал в ботинках.

Вечером иногда выхожу из подвала, смотрю — сердце пост, хочется хоть на полчаса в живой город.

Выйдешь, подумаешь: Волга тихо стоит, неужели Волга наша для этого страшного дела?

Один сталинградец у нас был — я его расспрашивал, где клубы, театры, как гуляли на Волге. Здесь гуляли, парк был».

Сварщик Косенко так варил, что люди приезжали с фронта и просили чинить «катюши» — «У вас лучше, чем на фронте».

Два танка примчались с фронта: «Скорее, нам в бой», — зачинили и ушли в бой. В тот же день 5 пушек отремонтировали. Этим делом занимались 4 человека. Слесарь, кузнец, токарь, сварщик. Поцелуйкин, Забиркин, Белоусов, Косенко и мастер, он же начальник цеха, и слесарь Соляников.

Тов. Крыжановский — начальник турбинного цеха.

По территории 500 снарядов, бомб около 80 — 4-го ноября. И еще 20 — 5-го, и 16 в августе.

«Жизнь постепенно останавливается, — говорит Николаев. — Вот и часы стали».

Соляников: «Я еще строительством занимался в 1920-м, здесь я вырос мастером ОТК, а в последнее время работал на все руки. Бомбежки — переносили все в щели. Ну, а когда снаряды — мы работали, не обращали внимания.

Полтысячи подков сделали, создавали мастерские, кухни ремонтировали, одной специально дно вставляли. Зениткам досылатели делали. Ремонтировали «макси-мы», американские пулеметы.

Работали днем и ночью — я в последнее время и начальником, и токарем, и фрезеровщиком, и всем.

Да, неохота уезжать, я б остался. Привык.

За 4-е и 5-е потеряли 21 человека».

(Красивый; слабый тенорок. Воск в лице.)

Возле двери мастерской попал снаряд, а вскоре 2-й, в ту же воронку.

Погиб на 4-м посту осетин Алборов (бомба), в руке ложе винтовки, а дуло отлетело, пульс еще бился. Боец рыдал, кричал: «Мой товарищ погиб».

Гуртьев и Белый встретились в Сталинграде, вместе служили в 1919 г. Белый командовал ротой, Гуртьев — комбат.

Такая же встреча с Людниковым — ком. 138 див., Гуртьев был начальником штаба дагестанского полка, Людников — ком. взвода.

Белый — командир бригады.

Все трое сидели в П-образном КП. С Белым вместе воевали на юге.

На старой войне был вольноопределяющимся рядовым в артиллерии — под Варшавой, Барановичами, Сарны, Чарторийском.

Два года учился в Петербург. политехникуме.

«28-го октября были под Котлубанью. Совершили 200-километровый марш за 2 суток — полк Маркелова. За ним полк подполковника Михалева (погиб со всем штабом, похоронен в парке Скульптурном), и затем пришел полк Барковского (Барковский погиб, был ранен комиссар Белугин), команду принял Сергиенко, а затем майор Чижов (Сергиенко убит — выскочил в один из домов, организовал оборону и при возвращении на КП убит).

Прибыли ночью 1-го октября в садоводство, приехал ген. лейт. Голиков, дал указание произвести рекогносцировку переправы и подготовку к переправе.

В 11 вечера приказали переправиться первыми, пришел полк Маркелова, сапер. бат., связь штаб., противотанк. дивизион с 6 пушками, пульбат. Я явился в штаб армии — получил задачу занять круговую оборону в районе «Баррикад». На запад — ж.-д. нагромождение вагонов разрушенных, дома, недостроенные танки, садки фруктовые.

Завод остался левее».

«Народ был настроен хорошо, обстрелянный. Возраст — от 23 до 46.

Большинство сибиряки — омичи, новосибирцы, красноярцы. Сибиряк покоренастее, построже, посуровей, охотники, дисциплинированнее, привычней к холоду, лишениям.

Ни одного случая дезертирства, один уронил винтовку, три километра бежал за вагоном и догнал. Молчаливы, но остроумны, резки на слово. Впереди нас была 112-я.

1-го я получил задачу сменить 112-ю, перейти в наступление на 3-д Силикатный.

2-го начали наступать и в то же утро заняли завод (полк Маркелова), преодолевая миномет., арт. и пулеметный огонь.

С утра начался сильный огонь с Макеевской улицы и с кладбища.

Полк Сергиенко прикрывал балку, а в Скульптурном саду — Михалев, Маркелов занял завод «Силикат».

Весь день бомбили — 40 самолетов с перерывами в 10—15 минут. Бомбы мельче.

Наблюдение продолжалось, стреляли по самолетам — из ПТР, пулеметов. Те утюжат, а наши стреляли.

К «свистунам» привыкли — даже скучно, когда немец не свищет, свистит — значит, не бросает.

Ночью со 2-го на 3-е они перешли в атаку на 3-д Силикатный, весь полк Маркелова лег — осталось 11 человек. К вечеру 3-его немцы заняли завод. Приказ был: ни шагу назад. Командир тяжело ранен, комиссар убит.

Стали оборонять разрушенную и горящую улицу перед Скульптурным садом.

В течение месяца рубежи:

1) Силикатный.

2) Уличка перед Скульптурным садом (Петрозаводская).

3) Скульптурный сад (Аэроспортивная).

(Дома назывались: «самолет», «гастроном»).

Никто не выходил из оборонительных боев. Гибли на месте. Кульминация боев 17-ого октября.

17—18—19-ого бомбили день и ночь, и немцы пошли в наступление двумя полками.

Сразу же танки — тяжелые и средние, за ними пехота.

Наступление началось в 5 утра. В течение целого дня бой. На правом фланге был заслон учебного батальона и отд. рота. С фланга они прорвались, отрезали полки от командиров. Полки, сидя в домах, по 2—3 суток вели бой, и командиры приняли бой, тоже дрались. Танкист камнями отбивался от немцев, когда не было боеприпасов. Командир 7-й роты с 12 людьми в овраге уложил роту немцев и ночью вышел. Занимаем дом: нас 20 человек, гранатный бой, бой за этаж, бой за ступеньки, за коридоры, за метры комнат (вершки, как версты, человек — полк, каждый себе штаб, связь, огонь. Калинин, помначштаба полка, убил 27 человек,

4 танка из ПТР. На заводе было 80 рабочих и рота охраны (в северо-западной части завода), от них осталось 3—4 человека.

Воинского умения никакого у них не было. Командир — молодой рабочий, коммунист, лет 30, на рабочих навалилось до полка немцев».

23—24-ого бои пошли на заводе. Цеха горели, железные дороги, шоссе, зеленые насаждения.

Бойцы сидели в 1, 3, 15-м цехах, сидели в туннелях, трубах, ходили на разведку, бой шел в трубе.

В КП на заводе Кушнарев, нач. штаба Дятленко сидели в трубе с 6-ю автоматчиками — имели 2 ящика гранат. Отбились.

Немцы ввели танки на завод, цехи переходили из рук в руки по нескольку раз, танки их разрушили прямой наводкой. Авиация бомбила и день, и ночь.

С 26-ого по 31-ое октября шли сильные бои, командир полка стрелял из миномета, много гранат.

27-ого немец-учитель, пленный, говорил о жестоком приказе выйти к Волге. Черные руки, вши в волосах и голове. Пленный зарыдал.

1-го наступал полк, они доходили до 15 метров, начинали окапываться, и их всех покровсали.

Идет первый эшелон, второй, третий. В этот день было отражено 13 атак. Рвались к переправе. Огромная роль нашей артиллерии.

1-го числа 4 артполка и «катюши» в течение получаса вели огонь по площади в 500 метров. Все замерло, немцы замерли — все смотрели и слушали.

Немцы находились на окраине завода — это было днем 2-го числа. Часть легла, часть бежала. Казах вел 8 пленных, его ранило — он выхватил нож и зарезал немцев.

(Михалев К. Г. отражал 2 раза, после него Кушнарев — еще 2 раза. Чангов — до 10 раз. И танки и пехота.)

Танкист, здоровый, рыжий парень, перед КП Чангова выскочил из танка, когда иссякли снаряды, схватил кирпичи и, матерясь, кинулся на немцев. Немцы побежали.

Михалев, Барковский, нач. штаба Мирохин погибли — все посмертно награждены.

Ком. батальона Шенин — сбил самолет, уничтожил танки.

Капитан Сергиенко.

Чамов ведет себя героически.

Автоматчика Колосова засыпало землей по грудь, он сидит и смеется: «А меня зло берет».

Командир взвода связи Ханисцкий сидит у блиндажа, читает книжку, дикая бомбежка. Гуртьев рассердился: «Что это вы?» — «Да что же делать, бомбит, а я читаю книжку».

Химик, офицер связи Батраков, в очках, черный, ходил каждый день 10—15 километров. Придет, протрет очки, даст обстановку и идет. Ходит точно, в одно и то же время. Инженер не торопится, медлителен.

Наши девушки с термосами за плечами, несут завтрак. Как раненых выносили. С огромной любовью говорят о них. Девушки не окапывались. Ляля Новикова веселая, пела, «Она ж ничего не боялась», санитарка, две пули в голову.

Михалева очень любили. Он ко всему прочему симпатичный человек, серьезный, смелый, заботливый. Теперь, когда спрашиваешь: «Ну как?» — «Что ж как, эх, живем без отца». Он очень умелый был командир, дорогой командир. Жалел своих людей, берег.

Балка — большая сила, особенно здесь, в Сталинграде. Хороший подступ, узкая, глубокая. В ней КП, мином. часть. Она всегда под огнем, в ней погибло много людей. В ней провода, таскали огнеприпасы. Авиация и минометы ее сровняли с землей. Там и Чамова засыпало, откопали. По ней шли шпионы.

Бои в балке — сверху гранатой, в балке рукопашная, к батарее Андреева (минометной) подошли вплотную, и он вел с ними рукопашный бой.

«12-ого и 13-ого было тихо, но мы понимали эту тишину.

14-ого он бил Ванюшей по КП дивизии. Тогда завалило, мы ушли. Мы имели по 13—15 человек потерь на КП дивизии. Звук глухой у термитного снаряда, бьет в уши. Вначале скрипящий звук: «Ну, Гитлер заиграл», успеешь спрятаться. Владимирский хотел оправляться — до вечера страдал так, хотел взять у бойца котелок».

Богатство опыта:

Опорные пункты — огонь и снизу и сверху, ходы сообщения, траншеи «усы», чтобы подбираться к тяжелым танкам.

Граната, автомат, 45-мм пушка.

«Пошли 30 танков, мы испугались, ведь в первый раз! Но ни один не побежал.

Мы стали стрелять по броне. Танки елозили по глубоким щелям.

Красноармеец вылезал и смеялся: «Рой поглубже, буквой Г».

Быт

Были бани, питание горячее 2 раза в день. Боец сказал: «Есть все: и хлеб, и обед — да не до еды, товарищ комиссар».

Почтальоны — Макаревич, с бородкой, сельский, с сумочкой — конвертики, открытки, письма, газетки. Карнаухов ранен. Всего 3 ранено, один убит...

Начальник штаба полковник Тарасов.

(Танкисты боялись, что мы не пойдём за танками, а мы пошли и вырвались вперед танков.)

Ривкин — ком. саперного батальона, лодочная переправа, 15 плотов.

Устройство опорного пункта на «Баррикадах» — амбразуры в стенах, ходы сообщения (круговая оборо-

на, минирование, стрелковые ячейки для стрелков). Почва в Сталинграде очень твердая. Вперед от цеха выносились ходы сообщения до 1500 м, около противника в 30—50 метрах, перед рассветом, когда темно, шепотом говорили. Маскировали в условиях города — под кучу камней, под бревнышко, в ямку. На заводе приходилось взламывать асфальт, камень.

Реухов: мл. командир — носил мины под автоматным огнем. Подносит с вечера за 6—8 километров на расстоянии 150 метров. Само минирование быстро, 40 минут.

«Подрывали дзот — в нем 2 пулемета и 15 немцев. Лейтенант Краснов и два бойца, Селезнев и Юдин, взяли 50 кг взрывчатки, залегли в полусотне метров и сутки наблюдали. Там работала мотопила. В темноте влезли на дзот. Перед рассветом уже вышли два немца, но нас не заметили. Мы зажгли шнур и отбежали».

«Мы заняли оборону в районе «Баррикад». Мы выслали туда 20 человек с мл. лейт. Павловым, его убило, принял команду сержант Брысин.

После одного дня их осталось 10.

Наступало на них две роты немцев. Брысин подполз, разведаль пулеметы, приполз с бойцами и уничтожил два расчета. Пулеметы утащили.

Так же уничтожил минометный расчет. Он влез в немецкий дом, пробрался на второй этаж и сбросил 10 гранат, потом связал две плащ-палатки и вылез в окно».

Косиченко раненный выдергивал зубами чеку из гранаты.

П. И. Ченцов — рабочий, политрук отряда, командир Бурлаков, нач. охраны завода.

Донесения — на бланках, обрывках заводских, партийных бумаг и пр. Возвращение дважды раненной Зои

Калгановой. Комдив: «Здравствуйте, дорогая девочка моя».

Сержант Илья Миронович Брысин. (1913 г. рожд. Омский, столяр-модельщик, отец работает плотником, теперь дворник, обрезал себе руку пилой. Служил три года в армии на Дальнем Востоке. Саперному делу обучался в Омске — минирование, разминирование.)

«Инженерная разведка противника: первую ночь ходили, ночью не сделали, выкопали ямки и целый день пролежали в 100 метрах от немцев, слушали их разговор. Огонь вели через нас. Пришла вторая ночь, мы по пламени определили две пулеметные точки. Комиссар взвода составил схему.

...В Сталинграде делали КП для дивизии. Работали киркой. Минировали завод «Баррикады». Вечером начали носить мины от переправы за 6 км, сперва берегом, потом балкой, потом городом, потом заводом. Каждый нес 16 кг, ходили по 2 раза. Носили плащ-палатками по 8 штук.

Берегом шли под минометным огнем. К ночи уже не смотришь в воздух. Бомбы падали метрах в пяти. Раненого оставим с человеком, а сами дальше. В логу нас автоматчики и минометы обстреливали. Тогда Голубева убило и ранило Гудкова, Реухова, Сороку. Лог смерти мы его прозвали. По нему 400 метров идти, шагов пять прошел и падаешь. 22 человека перенесли 200 мин, было 10 человек. Раз мы сложили 300 мин, а он прямым попаданием разнес. Ох, взяла нас досада, начали сначала. Руководил этим минированием капитан Ривкин (ученик Столярского).

1) Подноска к месту минирования — метров 200, все время на животе и на локтях, тащим по 4 штуки на плащ-палатке; привяжешь ее себе к ремню, чтобы руки были свободны, у тебя и 2 гранаты, и винтовка, и лопатка, и топор. Я на себя навешивал по 12 гранат. 2) Два человека заряжали МУВ модер. Упрощ. взрыватель. Это очень опасная штука. 3) Командир размечает, где ставить мины, чтобы не больше ширины танка. 4) Два человека копают ямки. 5) Два человека укладывают. 6) Человека два засыпают и маскируют. 7) Самое важное — тут же ночью составить схему по ориентирам (дом, труба). Делишь лист бумаги по частям

света и намечаешь все мины, это в полной темноте под огнем (на случай контратаки).

26-го часов в 10 утра я делал блиндаж ком. дивизии и работал до 7 час. утра, сутки. Тут наши делали оборону, я взял 4-х людей и вышел. С нами были два лейтенанта: Павлов и Лебедев. Лебедев говорит — окопаться правее линии, где вывозили шлак; мы взяли в оборону 17 человек на два дома, а Павлов левее, на горах шлака. Я выделил Камкова и Дудникова для наблюдения за линией и пошел в дом. Позади этого дома вал метров 100 длины, 7 метров ширины. Мы легли за этим валом. Я уложил спать людей, хотя и сам 4 ночи не спал. У меня Синяева убило, снайпер угодил ему в лоб. Весь день вели огонь, немцы от нас метров 70. Со мной Дудников, Каюков, Павлов, Глушаков, Пуников. К утру 28-го приполз лейтенант, а на рассвете его ударило миной по глазам, надо человека прибрать. Я с ним отослал Павлова, осталось нас 4. А немцы идут колонной, в рост.

Весь день мы их отбивали. Меня вызывает Павлов: «Давай пойдем в наступление». Спрашиваю: «Сколько у вас человек?» — «Десять. А у тебя сколько?» — «Четыре». — «Ну, давай!» А немцев человек сто, две роты эсэсовцев — подняли крик, спасу нет. Мы и пошли.

Я выскочил и бросился во весь рост: «За мной, урра!» Подбежали к дому — гранаты стали бросать. Бойцы остались у первого дома, а я побежал ко второму дому, они стояли метрах в пятнадцати. Я один подбежал ко второму дому. Тихо. Рассветало. Мне немного жутко стало. Я забежал в дом, в первую комнату, прислушался. Немцы ведут огонь за стенами, с углов. Тут я бросил к одному углу гранату из окна, а из двери бросил ко второму. Я себя чувствовал так, что не могу выразить, интересно было к немцам поближе подобраться, они ушли за вал, я их достать не могу, только каски виднеются. Тут я по развороченной стене забрался на второй этаж, у меня там днем были припрятаны 8 немецких гранат. Мы их «колбасой» называли. Я стою, как в тюрьме за решеткой: арматура висит, а стен нет. Сверху мне немцев хорошо видно: рассыпались, бьют по нашим с колена. Я по ним бросил эти 8 гранат. Они стали бить из двух пулеметов и миномета по мне. Я там все углы пересчитал, а вообще не страшусь: связал две палатки, привязал к прутку и через бомбовую дыру спустился на первый этаж. Я выбежал — он по мне

пулеметом, я за камень — этот камень в брызги. Я все-таки дополз до своих в первый дом. Мне говорят: «Каюков смертельно ранен...»

Вызывает меня командир роты: «Разведай шлак за линией, домик деревянный». Я говорю: «Поесть надо». — «А поспать?» — «Какой черт там спать!»

Лейтенант дал мне хлеба, сахара, тут полетели мины.

Так я и не покушал. Ну, ладно, так пойду. И пошел. Встретил одного лейтенанта. Он говорит: «В домике немцы, а про шлак не знаю». Я пошел на шлак. Разведал два пулемета и миномет. Вернулся, доложил. «Ну,— говорит мой лейтенант,— ты их разведал, ты их и уничтожь».

Пошли: я, Дудников — красноярский рабочий, и Глушаков — алтайский колхозник. Я навесил 12 гранат, винтовку. Подползли к ним поближе. Я предложил атаковать Глушакову — тот мнетса. Дудникову предложил. Он: «Я боюсь!» Я тогда снял шинель и пошел один. Сказал: «Вы меня прикрывайте!» Полез снова на шлак. Воронка — в ней их пулеметы. Я окопчиком подобрался, взглянул, а они метрах в трех сидят, там два пулемета. Я присел тоже, бросил 3 гранаты. Полез к ним — два немца лежат; с одного снял медаль, с другого кресты, забрал документы, ремни. И пошел миномет снимать. Он за линией в воронке. Фриц меня ударил по каске, оглушил немного, но я его убил. Я разъяренный был. Миномет мы забрали. Только расположился на отдых, мне говорят: людей нет, иди охранять штаб полка. Я продрожал всю ночь. Все это случилось в ночь на 30-е, я убил человек 25, Дудников уложил 16. Потом он говорил: что-то на меня нашло тогда, дрогнул я. А когда ты пошел, стыдно стало...»

Д е в у ш к и. «Лысачук Нина — ранена, Бородина Катя — перебило правую руку, Егорова Антонина — убита, она пошла за взводом в атаку, санитарка, ей автоматчик перебил обе ноги, и она истекла кровью. Арканова Тоня — сопровождала раненых бойцов и пропала без вести. Канышева Галя — погибла при прямом попадании бомбы. Коляда Вера — погибла вместе с Канышевой. А мы двое с Зоей остались. Я — К о с т е р и н а Надя, и Зоя Калганова. Я была ранена в плечо,

она была ранена осколком мины у блиндажа, а затем осколком бомбы у переправы.

Учились в школе № 13 в Тобольске. Мамы плакали — да как вы пойдете, там мужчины. Мы войну себе совсем не так представляли.

Наш батальон был в авангарде полка, пошел в бой в 10 утра. Хотя и было страшно, но нам было очень интересно. Из 18 девушек осталось 13. Я долго очень боялась мертвецов, а раз ночью я спряталась за мертвеца, и, пока строчил автоматчик, я лежала за ним. Первый день я боялась крови, и кушать не хотелось, и перед глазами стояло.

Как-то чистили с поваром картошку, увлеклись разговором, о бойцах говорили. Тут все покрылось дымом, и повара убило; через несколько минут подошел лейтенант, разорвалась мина, и его и меня ранило...

Особенно страшно ночью ходить — немцы неподалеку кричат, горит все. Носить раненых очень тяжело, мы просили бойцов носить.

Я плакала под Котлубанью, когда налетело 40 самолетов, с сиренами, а окоп был мелкий, мы накроемся плащ-палатками и лежим.

Потом я плакала, когда меня ранило.

Мы днем их не носили. Лишь раз Казанцева вытаскивала Канышеву, и автоматчики ей прострелили голову. Днем мы их клали в укрытие, вечером перетаскивали с помощью бойцов. Иногда бывали минуты, жалела о том, что пошла, и утешалась, что не я первая, не я последняя. А Клава: «Такие люди гибнут, а я что?»

Получали письма от учителей, они гордятся, что воспитали таких дочерей.

Подруги завидуют, что нам выпало перевязывать раны.

Папа пишет — служи честно, возвращайся домой с победой (он врач-ветеринар).

А мама пишет такое, что прочитаешь, и сразу слезы текут...»



Клава Копылова — машинистка.

«Я пишу боевой приказ, тут меня завалило, лейтенант кричит: «Живы?» Меня откопали, и я перешла в следующий блиндаж — опять меня засыпало, меня снова откопали, и я снова стала печатать и допечатала.

Если я останусь жива, я это никогда не забуду. Ночью бомбят, меня разбудили, в блиндаже все члены партии, меня поздравили так тепло и хорошо. 7-го ноября мне вручили партбилет. А фотографировалась несколько раз для партбилета, и все мины били.

Если день тихий, то мы поем и танцуем («Петлицы», «Синий платочек»).

Читала «Анну Каренину» и «Воскресение».

Леля Новикова, сандружинница:

«Гая Титова перевязывала, но не вытаскивала — сильно стреляли; бойца убило, а ее ранило. Она встала во весь рост и сказала: «До свидания, девушки» — и упала. Мы ее похоронили.

Хотя я немецкий знаю, но с пленными не говорю — не хочется даже с ними говорить.

Мой любимый предмет — алгебра.

Мне хотелось поступить в машиностроительный институт.

Из 18 девушек-санитаров осталось нас только трое.

Мы хоронили Егорову Тоню. После первого дня боя у нас не стало двух девушек. Мы встретили старшину, и он сказал, что Тоня умерла у него на руках, со словами: «Ой, я умираю, мне больно, не знаю, это мои ноги или нет?» Он сказал: «Твои». Два дня нельзя было подойти к танку, потом мы подошли — она лежит в окопе. Мы ее убрали, положили платок, кофточкой закрыли лицо. Плакали. Была я, Клава Канышева, Клава Васильева — их обеих нет уже.

В резерве мы жили с бойцами недружно — проверяли их на вшивость и ссорились все время.

А сейчас бойцы говорят: мы нашим девушкам очень благодарны. Письма получали от старшины роты ПТР.

Мы шли со взводом в атаку, ползли по-пластунски, рядом. Поили, кормили, перевязывали под огнем.

Мы оказались выносливее бойцов, еще подгоняли. Ночью дрожишь, вспомнишь дом и думаешь: «Эх, вот домой бы теперь».

Переправа

Ворон на льдине, матрос в тельняшке. Старик капитан со звездой, мальчишки с медалями. Дед шумит.

Идут войска. Веселее. «Эх, дойти до Киева, до Шепетовки.» Другой: «Эх, мне бы до Берлина!»

Батальон Бабаева, замест. Матусовский. Ком. полка Бурнк.

В 12 ночи третья и четвертая роты подошли к румынам на 50 метров, слышали речь. Утром сигнал трассирующей пулей. Роты бросились в атаку и заняли дот и блиндаж. После этого артподготовка, мины.

Танки пошли справа (давили наших, многие сели на броню, многие бежали за танками). Первыми ворвались на высоту Матусовский, мл. лейтенант Жебровский. Сотский. Бойцы — Фомин, Додокин, всего 12 человек.

Матусовский и Жебровский уничтожили весь расчет тяжелых пушек.

Командир 4-й роты лейт. Макаров, ком. 5-й роты лейт. Елкин.

Боец Власов. Ст. сержант Кондрашев ворвался в дот, стал бить румын прикладом. Забрал их в плеч.

«Тов. Ортенберг, завтра предполагаю выехать в город — думал сесть писать большой очерк, но понял, что придется отложить писание и некоторое время посвятить собиранию городских материалов. Так как переправа теперь вещь довольно громоздкая, то путешествие сие займет у меня минимум неделю. Поэтому прошу не сердиться, если присылка работы задержится. В городе предполагаю беседовать с Чуйковым, командирами дивизии и побывать в передовых подразделениях. Одновременно хочу вам сказать, что примерно в январе мне нужно будет побывать в Москве — если сможете вызвать меня, премного буду вам благодарен. Дело в том, что я чувствую некоторую перегруженность впечатлениями и переутомление от трехмесячного сталинградского напряжения.

Если поездка моя в город сопряжется с какими-либо печальными неожиданностями — прошу вас помочь моей семье.

Вас. Гроссман¹.»

¹ Письмо Вас. Гроссмана редактору газ. «Красная Звезда».

Дивизия Желудева.

Комиссар Щербина.

Тракторный завод.

Засыпало КП. Сразу стало тихо. Сидели долго, потом запели — «Любо, братцы, любо».

Откапывал сержант под огнем, работал бешено, иступленно, так что пена у него выступила на губах. Через час его убило миной.

Немец, чикая из автомата, пробрался в трубу, сидел и открывал огонь, когда был шум от мин и орудий. Его выволокли. Он был совсем черный, и его разорвали на куски.

Сержант, который откапывал блиндаж,— Выручкин. Он в это утро уже выручил горящие машины с боеприпасами.

При вступлении в Ст-д комдивы полков: майор Омельченко, Колобовников, Пустовгар.

Части 37-й СД вступили в бой с хода без артиллерии, минометов, без достаточной рекогносцировки местности и разведки противника. Выход на рубеж действий превратился в наступление против мелких групп автоматчиков противника.

Немцы при занятии одного цеха ухитрились подвесить неисправный танк на определенную высоту и в окно из цеха вели огонь.

О разведке. Были случаи даже на переправе 62. Сидели переодетые в красноармейскую форму ракетчики-радисты, которые срывали массированным налетом огня переправу людей и техники.

Связь шлейфом. Контр. пункты в водопр. колодцах, глубоких подвалах. Провод тянуть — близ здания.

Танки атаквали наши позиции необычайным способом движения и стрельбы с хода и короткими рывками от одного укрытия к другому.

Гурьев звонил Желудеву по телефону и говорил: «Мужайся, помочь не могу. Держись»

Когда Желудева переводили на левый берег, он сказал Гурьеву: «Держись, мужайся, старик»,— и они оба посмеялись.

Цех № 14 — он запылал внутри.

Когда был убит Андрюшенков — комиссар полка, командир полка, четырежды орденосный подполковник Колобовников (человек с каменным лицом) позвонил по телефону на КП и начал доклад: «Товарищ генерал-майор, разрешите доложить,— запнулся, заплакал, сказал: — Вани нет» и повесил трубку.

«Нанятый» танкист. Его накормили шоколадом, дали водки, собирали ему снарядов. Он и привык, как вьюн работал. Его полк на руках носил.

Бойцы сгорели в домах, нашли их обгоревшие тела; ни один из них не ушел — сгорели в обороне.

Оргушко — нач. штаба. Его принесли истекающим кровью.

Гвардии красноармеец Свяженников, штурмывая дом, убил немецкого офицера. Он обнаружил у гитлеровцев мешок с награбленным добром. Домохозяйки начали разбирать свои вещи — перчатки, нательное белье, простыни. Они от радости целовали красноармейца.

А к т

Мы, нижеподписавшиеся ком. 1-го б-на ПУГСП гвард. ст. лейт. Винокуров, с одной стороны, и к-р 3-его б-на 117-го ГСП гвар. ст. лейт. Шелехова, с другой стороны, составили настоящий акт на предмет приема и передачи обороны.

Оборона сдана в районе домов, что северо-западнее оврага с развилкой и полным оборудованием окопов.

Оборона сдана по схеме.

Прорыв немцев на СТ 3.

Боевое донесение.

1. Противник силою свыше двух полков, поддержанных более чем 60 танками, при мощной поддержке с воздуха прорывал линию обороны дивизии.

2. Дивизия, отбивая атаки пр-ка, несет большие потери.

3. 199-й ГСП смят танками и автоматчиками пр-ка. Остатки полка ведут бой в районе.

4. Противник вышел на берег Волги в районе (Штурмового) мостика.

5. 118-й ТВСП вел бой в районе южной части СТЗ, утром танки и пехота противника, вышедшие к КП дивизии, отрезали полк от частей, действующих на юге от КП. В настоящее время эта группа в кол. 20—25 ч. ведет бой на прежнем месте.

Дивизия остатками полка занимает прежнее положение.

С 305-й ПД дрались на Дону и встретились в СТЗ снова.

10. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Весна 1943 года. Старобельск. Ворошиловград.

Ранняя весна. На фронте полное затишье.

Рассказ о сестре царя Ксении, живущей в Старобельске. Она защищала советских людей от немцев. Якобы по разрешению Дзержинского в свое время она приехала из-за границы, чтобы разыскивать сына.

Помог на своем грузовике доехать к священнику его дочери и внучке, со всем барахлом. Царский прием, ужин, водка. Священник рассказывает, что к нему часто заходят молиться и беседовать красноармейцы и командиры. Недавно у него был майор.

На крошечном куске освобожденной украинской земли, в крошечном городке Старобельске, в крошечном белом домике разместилось украинское правительство. Разговор с Бажаном. Жалобы на великодержавный шовинизм. У его двери охранник с тем нечеловеческим лицом, которое сразу напомнило о мирном времени.

Военный корреспондент украинский писатель Левада смертельно огорчен тем, что вместо ордена получил медаль. Вернулся после вручения в избу, где стоял. Девочка, глядя на медаль, крикнула: «Копийка»,— мальчик поправил: «Дура, це не копийка, а значок». Это окончательно зашибло Леваду.

Об итальянцах говорят хорошо, особенно женщины. «Поют, играют, о миа донна!» Осуждают за то, что ели лягушек.

Как томительно, как тревожно затишье на фронте! А на дорогах уже пыль.

Беседы о военном опыте с командиром корпуса генералом Беловым.

Командир полка.

- 1) Его грамотность в тактических вопросах.
- 2) Знание противника.
- 3) Связь, взаимодействие.
- 4) Отношение к соседу.
- 5) Отношение к подчиненным командирам.
- 6) Отношение к бойцу.
- 7) Командир в его бытовой характеристике.
- 8) Отношение к потерям живой силы.

Соединение в обороне.

- 1) Основной принцип.
- а) Тактически.
- б) Работа с людьми.

«Корпус прошел 600 километров с 19 ноября по 19 февраля от Усть-Хоперска на Дону, Перелазовский, Чернышевский, Морозовский, Литвинов, Белая Калитва, подошел к Каменской, перегруппировавшись, пошел на Украину, прорвав оборону в районе Давыдово-Никольский, Большой Суходол, двинулся в Краснодарский район, Миллерово, Шахта 3/4 и район Боково-Антрацит, Центральный Антрацит. Там перешел к обороне. Мы шли на левом фланге третьей Гвардейской Армии, левее шла Пятая танковая.

Наступление.

Передо мной стояло в пять раз больше противника, 75 тысяч человек. 18 ноября получили звание гвардейцев, а 19-го начали наступать. Артподготовка началась в 7 час. 45 мин. утра (чертеж). Артподготовка длилась 1 час 20 мин. Мы прорвали всю глубину обороны, оставив у себя в тылу пехотную дивизию, прошли 30 километров и перерезали коммуникацию д. д. Перелазовская, Верхне-Фомихинское. Уничтожили полностью 2 румынских полка, захватили 1450 пленных, 80 орудий, 60 минометов. Противник не выдержал удара. Мы думали, что придется драться серьезнее.

Почему успех?

Артиллерийское наступление было тщательно подготовлено, били точно по окопу, орудию, пулемету. Решительность, быстрота, не считаясь с движением соседей, оставляя в тылу огромные массы румын. В течение трех дней противник был полностью парализован, в прорыв вошел эшелон развития успеха — танковый корпус «Родина». В первый день вели ближний бой. Красноармеец Гичев заколол 11 румын штыком. Первый день был туманный, видимость 200—300 метров, на второй день выпал небольшой снежок, припорошил трупы, брошенное оружие.

Подготовка к операции шла дней 10. Все знали, что надо делать, танковые пути были провешены — вехи, фонарики, — чтоб не путались, выходя на исходное положение ночью. На второй день встретились с выброшенной из резерва командованием румынской армии Первой мотострелковой бригадой. Она была разбита силой танковой бригады и артиллерией. Двумя полками артиллерии — Брука и Мешалкина. Командиры стрелковых полков — майор Зоркин и Казюлин — получили Суворова 3-й степени, они-то и прорвались на 30 километров. Кузнецов — лейтенант, с 15 автоматчиками ворвался в расположение артдивизиона, перебил всю прислугу, больше ста человек, всех лошадей с дистанции 100 метров, захватил 16 орудий. Он политработник, получил звание Героя Советского Союза.

Дошли до Чернышевской, там у нас получилась неудача, Чернышевской мы с хода не взяли, это было на седьмой день пути. Достаточной подготовки не было, не знали, что делает противник, а он внезапно выбросил танки 22-ой танковой дивизии. Мы перегруппировались и до 16 декабря подготовили новую операцию на реке Чир. 16 декабря начали прорыв фронта в районе Боковская,

Чернышевская. Подготовка была такая же, как раньше, но артиллерия была слабее, так как я был на направлении вспомогательного удара. Против себя имели 22-ю танковую дивизию, румынскую пехотную и немецкую пехотную дивизии. Прорвав, пошли на Морозовскую и 5 января овладели Морозовской. В этих боях отличился полк Петухова. Он первым смело и решительно ворвался в Морозовскую с запада,— для ускорения он подвозил войска на повозках. Оборонительные рубежи противника были друг от друга на расстоянии 15 километров, а поближе к Морозовской драка шла за каждый населенный пункт, 3—4 километра. Стали отрезать противника в районе Северного-Донца, Литвиново-Каменской, имея целью очистить левый берег Донца и бить на Лозовую.

30 января провели митинги — идем освобождать Украину, опять прорвали оборону противника на Донце (2 пехотные и 2-ая танковая немецкие дивизии). Мы действовали одни, но, правда, дивизии у немцев были не полнокровные.

Командир полка в наступлении.

Командир понял слабые стороны немецкой тактики. Немец хочет посеять панику и часто пускает танки не для нашего разгрома, а от собственного страха и слабости.

Командиры научились маневрировать. Тут не вышло, пойдем там. Взаимодействие как реальная необходимость, а не как приказ начальства.

Храбрость командира — личный пример обязательно нужен.

Два типа командиров.

Зоркин — лучше подготавливает, обдумывает, но иногда медлит, нерешителен.

Казюлин, Петухов — решительны, но часто недодумывают, отчего несут потери. Появилась вера в свои силы.

Глубина фронта немецкой дивизии 8 километров. Если прорвал фронт на 8 километров, парализовал фронт на 30 километров. Если прорвал на 30 километров, то парализовал на сто. Если прорвал на сто километров, то парализуешь управление фронта.

Мы сделали одну оплошность на Дону. Мне сказали: «Народ устал», — я потерял 2 часа на отдых, и ави-

ация сумела нас бить, подошли резервы. Если бы мы не отдыхали, то прошли бы.

Есть такие, сообщают: «Встречаю огонь, я остановился, веду разведку». Чепуха! Что ж ты еще можешь встретить — ясно, огонь, яблочки он, что ли, будет бросать. Рви глубже, если подавишь огонь и глубже прорвешь, тем слабей, растеряней будет противник.

(Если наступаешь — не бойся танков, иначе не пройдешь. ПТРовец — помни, что для танка более опасно твое ружье, чем твоему ружью танк.)

Танк бьет, чтобы поднять и увидеть людей, которых он еще не видит, а ты видишь танк, он от тебя не замаскируется. И в бою, и в целой операции есть момент, когда нужно подумать: бросаться ли вперед, кидать все резервы или, наоборот, остановиться. У нас иногда любят командовать так: «Вперед, вперед!»

Должна быть оперативная пауза, примерно через 5 дней израсходуются все боеприпасы, отстанут тылы, бойцы устанут до того, что не в состоянии выполнить задачи, падают на снег и спят. Я видел артиллериста, который спал в двух шагах от стреляющей пушки. Я наступил на спящего бойца — он не проснулся. Отдых — сутки, ну 8 часов.

Пусть наступает разведрота.

У меня одна рота спала так, что немцы кололи штыками, а люди спят и не хотят просыпаться. Командир роты не спал и отбивал немцев от спящей роты.

Поэтому ясно — нельзя перенапрягать бойцов, получится чепуха.

Нужно совершенно ясно, конкретно, трезво представлять себе, что ты сделал с противником — разбил, вытеснил ли только. Не болтай, что разбил противника, если не отходит, он еще может дать тебе по морде.

Я вижу — противник силен, тылы отстали, а мне говорят: «Вперед, вперед!» Это гибель, так было с Поповым.

Поражение противника характеризуется пленными, убитыми, техникой потерянной.

Кроме того, надо знать резервы противника, ты разбил, но ведь у него еще есть резервы.

(Тут интересно, что принцип—для полка и для фронта — один.)

Разведка.

Мы не знаем противника, иногда разведка дезориентирует. Где противник, что он делает, где его резервы, куда они идут — без этого воюешь вслепую.

Главный конфликт с вышестоящим начальником: начальник всегда считает противника слабее, чем он есть на самом деле, а я-то ведь знаю, что у противника есть. Вот стоит передо мной 15 пулеметов, а мне кричат: «Иди вперед», — а я знаю, что против меня стоит 15 пулеметов, их ведь надо подавить.

Но ведь бывает и так, что кричат: «Против меня 30 танков», а там одна танкетка. Отсюда недоверие.

Старший начальник просто должен быстро разбираться, проверить и принять решение.

Оборона

Оборона — это когда или мало сил, или надо перегруппироваться, или измотать, а затем перейти в атаку.

Есть такие молодые командиры, которые только шли вперед (с 19 ноября), и, когда перешли к обороне, они не смогли понять, что почем и зачем надо закопаться, как организовать огонь и проч. Есть у нас и другой тип командира, который всегда оборонялся, и он боится наступления.

Наступать все же трудней.

Если командир хорош, то он во всех видах боев хорош.

В оборонительных боях плохо то, что люди перестают верить в свою силу, и у них появляется подавленность.

В обороне слабеет вера в победу, вера в силу.

В обороне нужно больше моральной силы, в наступлении нужно больше физических затрат, а моральная сила на высоте...

В обороне боец знает, что противник сосредоточит большие силы для удара и будет сильнее.

Мы зарылись в землю, мы обкатали людей танками.

В окопах сидит 3—4 человека, остальные в землян-

ках, ленинской палатке. Чуть противник шевелится — мы даем звоночек, и все выскакивают.

Противотанковые узлы — сочетание ружья, пушки, мины. И боец сидит уверенней.

Рубеж защищают минные поля.

76-мм пушки, 45-мм пушки, ружья ПТР и, наконец, люди с бутылками.

В окопах видят, что танки горят от 76-мм и потом от 45-мм.

Окоп пулеметчика Туриева проутюжил вражеский танк, однако он стал бить по щелям, а потом по цепи вражеской пехоты, которая от его сильного огня залегла. Заметив это, танк повернул обратно и стал над окопом Туриева. Тогда отважный пулеметчик взял пулемет, выполз из-под танка и, устроившись у скирды, стал опять косить немцев. Так герой Туриев дрался до тех пор, пока не погиб, будучи раздавлен танком».

Беседа с М а р т и н ю к о м

«Командир полка Казюлин. Окончил школу ВЦИК в 1932 г., кавалерист. Командир большой силы воли, наделен личным героизмом.

Связан с людьми, знает людей. Организатор боя.

Стоя на Дону, он был не уверен в себе, не верил в нашу силу.

С первых дней он проявил талант в наступательном бою, стремился не только вытеснять, но и уничтожать, окружая противника. Он до сих пор не научился материально обеспечивать бой.

Зоркин — прямая противоположность Казюлину, медлительно думает, обеспечивает бой, решает правильно. Но опаздывает. В тяжелые минуты теряется. Под конец он выпрямился.

Я его однажды чуть не расстрелял, когда полк победил, а он, потеряв управление, растерялся и не принял мер. К декабрю Зоркин меняется. Его зовут «профессором», он сидит над картами, думает, а немецкие танки подходят.

Среднее звено — после наступательных боев — теперь большей частью выдвинуты.

Есть тенденция командира отстраняться от политической работы.

Есть и такая тенденция у заместителя командира — целиком замкнуться в политической работе (Усов).

Заместителя подавляют иногда, он боится конфликтов с командиром.

А я иногда поцапаюсь до зубов, всегда с глазу на глаз, и найдем общий язык.

Командир и боец

Не хватает любви и заботы к красноармейцам, а с другой стороны, наш командир нетребовательный. (Это от недостаточной культуры.)

Почему красноармейцы любили лейтенанта Кузнецова?

Заботлив был, он жил с бойцами, к нему шли с плохими и хорошими письмами из дому, он выдвигал людей, писал о бойцах в газету. Но нерадивых он карал, не пропускал ни одного малейшего упущения: пуговица ли не пришита, кашлянул ли кто в разведке. Командир кричит: «Мы нарушаем устав», а бойцы не знают устава, да и он сам подчас не знает бойцов. Забота в том, чтобы знать: а есть ли у тебя патроны, а посушены ли у тебя портянки?

Часто от непродуманности мы людей теряем и задачи не выполняем.

Командир из красноармейцев — например, Нелыбич — зам. комроты — прекрасно выполняет задачу и очень заботится о людях.

Попов, Чугунов тоже хороши.

Но бывает и наоборот.

Строек командир в бытовом отношении чист, как правило.

В нелинейных старшины, допы, помощники командиров полков, начпроды полков и батальонов — вот наиболее подвергнутые бытовому разложению (в батальоне, в полку).

Форма приказа: «Если ты, ...твою мать, не пойдешь вперед, я тебя расстреляю». Это безволие, это не убеждает, это слабость.

Эти случаи изживаются, их все меньше и меньше. Однако поднять этот вопрос весьма и весьма не мешает.

Национальный вопрос вполне благополучен — есть единичные случаи, но как исключенные.

Масса перешедших с оккупированной территории верят в силу Красной Армии и являются выгодными для нас свидетелями оккупационного режима.

Совещание снайперов в штабе корпуса.

Солодких:

«Я сам, значит, ворошиловградский, колхозник, но я сменил колхоз на специальность снайпера. Фашисты натворили чудесов в моем селе, и я маленько крови потерял».

Белугин:

«Я с оккупированной территории, был человек никуда, теперь в обороне недаром хлеб едим. Сажу в наблюдении. Стрижик мне говорит: «Только без бреху». Командир полка мужик толковый, говорит: «Достаньте языка, а то совестно в дивизию являться»... Я десять месяцев погибал в плену, я на полном ходу выскакивал из поезда, чтобы достичь своих. Сына моего убили за то, что он носил имя Владимира Ильича».

Халиков:

«Убил 67 человек. Я приехал на фронт, я по русский язык ни слова не знал. Друг мой был Буров — он учил меня по-русски, я его учил узбекски. Никто не хотел уничтожать пулеметная точка. Я говорил: я буду уничтожать пулеметная точка. Бинок я снял у офицера с головы,

свою голову одел. Я доложил политрук: ваше приказание выполнил, принес вам подарок.

12 человек меня окружала, чистокровные немец был, я хорошо маскировал, сердце хорошо работал, я все 12 свалил. Я никогда не тороплюсь, если сердце быстро, как вентилятор, я не стреляю. Когда сердце держаем, я стреляю. Если плохо стреляем, он меня убьет».

Булатов:

«Я влюблен в охоту на тетеревов, бредил дни и ночи этим делом».

(Комкор подарил Булатову свою снайперскую винтовку. Булатов весь покрывается потом и клянется).

Токарев:

«Я просидел до вечера, и все не удавалось мне сбить фрица. Вечером я с радостью вижу — появился фриц, несет своим котелки... Я выстрелил, он полетел с котелком, к нему выскочил еще один фриц, и я его поразил».

Иванов Дмитрий Яковлевич, ярославец:

«Пробыл я в окружении 10 суток. Суток пять не пришлось кушать, суток трое не пришлось пить. Переплыли мы Дон, попали к своим, и послали нас в разведку».

(Он подмигивает командиру корпуса и смеется.)

«Сразу меня послали на высотку 220». (И командир корпуса смеется.)

Романов (маленький, большеротый):

«Я убил сто тридцать пять».

50-я Гвардейская стрелковая дивизия

Учеба в обороне.

Обкатали всех представителей полков танками. ПТРовцы стреляли по стальной плите, по подбитому танку. Каждый боец метнул гранату. Тренировка в око-

пах по стрельбе из винтовок, ручных и станковых пулеметов. В окопах изучают материальную часть и боевой устав. Занятия по шесть часов в день. Занятия с командирами полков и начальниками полковых штабов. Тема: работа штаба стрелкового полка в оборонительном бою с учетом конкретной обстановки обороны дивизии.

Командиры полков проводят занятия с командирами батальонов и рот раз в неделю, а с бойцами ежедневно.

Занимаются химики, саперы, связисты, вплоть до пункта сбора донесений.

Разговор с бойцами об обороне: «Готовьтесь, будем наступать!»

«А мы хотели табачок посяять».

Красноармеец Остапенко Дмитрий Яковлевич. Попал в плен на Кавказе, потом бежал, пришел к отцу в деревню под Ворошиловград, неожиданно прочел в газете о том, что за борьбу с немецкими танками посмертно награжден званием Героя Советского Союза; газету воспринял спокойно: «Ну, Герой и Герой, буду бить танки».

А отец сразу пришел после газеты к командиру полка: «Тут у меня ваши товарищи случайно ячмень забрали». Тот говорит ему: «Прошу тебя, не говори, что мы ячмень у тебя взяли, я тебе 10 подвод ячменя дам».

Красноармейский митинг полка. Тема митинга: «Красная Армия — армия мстителей».

Когда красноармеец Прохин рассказал, как на станции Миллерово насильно отправляли девушек в Германию и они из запертых вагонов кричали: «Мамо, мамо, спаси меня!», — бойцы начали плакать.

«Нам надо изгнать гитлеровцев с земляного шара».

2-ая рота. В отделении Черныша боец Козлов убил дикого гуся.

«Бил в ведущего. Я все равно «раму» собью под крылышко».

В городе Краснодоне.

Председатель райкома угольщиков Полтавцев. Работает 12 шахт из 24; ручная добыча.

Условия работы шахтеров при немцах. Получали подземные — 600 гр., а наземные 300 гр. суррогата. День прогула — концлагерь. Шахту 3/14 немцы приказали взорвать, шахтеры завалили вход обалунами.

После освобождения начали с добычи 340 тонн в день, сейчас дошли до 700—800 тонн. Забойщик и са-ночник получают 1 кг хлеба, завтрак, борщ и чай. Обед — борщ, каша. Мясное почти каждый день.

Главный инженер Тарарарин.

Забойщик Козлов-Володченков (работает 24 года): «Я в первую войну попал в плен в 1916 году, работал в Вестфалии. Получал 250 гр. хлеба в день. Два раза суп, одну марку денег на упряжку. Жили в бараках. Бежал прямо в Голландию. За день прошел 62 километра. 16 суток прожил в Голландии. Оттуда на норвежском пароходе бежал, но немцы нас поймали и отправили в Гамбург. Там нас подвешивали к крестам. 2 часа санитар пульс шупал, потом водой отливал. Отправили в Эльзас-Лотарингию, там я работал на руде, бежал во второй раз. Прошел всю Германию, но на литовской границе меня снова поймали. Железная дивизия меня захватила. Третий раз бежал из тюрьмы в Прибалтийском крае. На этот раз дошел. Пошел в Красную Армию и был до 1921 года. С 1922 по 1932 работал забойщиком в Лисичанске. С 1932 года на Шпицбергене проработал год. Потом на золотых приисках проработал год и вернулся в Лисичанск. На шахте Войкова работал до немцев. При немцах я сказался больным, меня бургомистр плеткой страшал, но я ни одного дня не работал. А пришли наши, я в тот же день взял обушок и пошел. Была при немцах столовка, «в супе на дне тарелки Берлин видать», блестящие жиры не было. Били на работе плетками. Оберштейгер — немец в военной форме, главные собаки — наши же техники. Работали вручную по 10 часов. Шахтеры три раза поезда с углем рвали».

В Германию брат пошел за сестру, Василий, с завода Донсода, а сестра осталась.

«Рабочие договорились, чтобы пласты капитальные немцу не открывать. Немец за 7 месяцев не восстановил, а мы за 3 месяца восстановили».

«Немец стоял у меня. Получил письмо и заплакал,— у него жену и детей бомбой убило. Второй взял гармошку и заиграл: «Волга, Волга, мать родная».

Наши пришли, я на четвертый день пошел работать. Ну, конечно, соскучишься, семь месяцев не работал, наша же, родная».

«Я бойцов встретил 8 человек: «Раздевайтесь, мойтесь»,— и всем белье свое отдал. Они мне говорят: «Мы к тебе пришли, как к отцу и к матери».

Как наших встретил? Подумал и хмуро сказал: «Обыкновенно». А из глаз две слезы.

«Мы из хаты выходили, когда немец к нам пришел. Я прибежал домой, взял кусок хлеба и ушел. О семье кто ж сейчас беспокоится? Мы беспокоимся о шахте. Шахте хорошо, и нам хорошо будет».

Забойщик Фетисов. «Я бью сколько сил есть. Бью по возможности».

11. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

1943 г. Курская дуга

Беседа с разведчиками.

Роль разведки.

Конфигурация фронта прежде всего наталкивала на мысль, что удар противника будет с двух сторон у основания курского выступа.

Танковый корпус СС в составе 5 танковых дивизий.

Исчисление количества 11 танковых дивизий показывает, что на Орл. Курск. Бел. около 75% находящ. на Советско-Германск. фронте.

Вес боекомплекта 560 т.

Немцы имели 5—8 боекомплектов на дивизию.

Порядка 100 000 тонн боекомплекта.

Гигантский груз приковывал немцев к Орл. напр., хотя летчики говорили им о силе нашей обороны.

Обычная немецкая недооценка противника, его силы. Опыт прошлогоднего успеха.

Как определить танк. див.

1) Агентурн. сообщ. о движ. от Гомеля колонны танков, замаскированных соломой.

2) Партизаны засекли движение по дорогам.

3) Работа радиостанций на танках в прифронтной полосе в течение нескольких дней.

Звенья цепи приводят к выводу.

Опасность предвзятых идей, виды противоречивости фактов.

Огромную роль играет при расшифровке авиационная концентрация противника.

Сообщения о прибытии генералов и фельдмаршалов.

Созревание расшифровки даты и часа наступления.

Предполагали: противник разминирует свои минные поля, снимет проволоку.

С 1—7-го начали наблюдать движение танков и усиленное движение автомашин непосредственно к линии фронта.

Подвоз автомашинами боеприпасов непосредственно к линии фронта от корпусных и армейских складов.

В ночь на пятое июля был захвачен пленный, сапер, который показал о начале наступления, о приказе разминировать в эту ночь минные поля.

Благодаря этому на рассвете 5 июля нам удалось провести двухчасовую артиллерийскую контрподготовку.

Немцы имели до 1000 орудий на 40 километров фронта прорыва.

Обычно некоторая кичливость оперативщиков и их презрительное отношение к разведчикам.

Начальник разведки полковник Каминский, замнач. полковник Лаврищук, подпол. Смыслов.

Контрартиллерийская подготовка на рассвете 5 июля. В результате контрподготовки были подавлены 50 артиллерийских батарей, 60 НП и взорвано 6 складов с боеприпасами. Кроме того, контрподготовка заставила противника превратить свою бомбардировочную авиацию из артиллерии дальнего действия в артиллерию полковую.

В пыли, в дыму, в движении тысяч машин въезжаем в деревню Кубань. Как найти в этой страшной суতোлке знакомых людей? Вдруг под навесом вижу легковую машину с великолепными новыми покрышками. Я пророчески говорю: «Эта машина с невероятными покрышками может принадлежать либо командующему фронтом Рокоссовскому, либо корреспонденту ТАСС майору Липавскому». Входим в хату — за столом боец ест борщ. «Кто стоит в хате?» Боец отвечает: «Майор Липавский, корреспондент ТАСС». Все смотрят на меня. Я испытываю то, что испытал Ньютон, прозрев закон всемирного тяготения.

Поездка в Поньри. Полк Шеверножука.

Рассказ о том, как 45-мм пушки били по танкам Т-6. Снаряды попадали точно, но отскакивали как горох. Были случаи, когда артиллеристы, видя это, сходили с ума.

Истребительная противотанковая бригада.

Командир Чевола Никифор Дмитриевич.

Из Грозного, в армии с 1931 года, по призыву, был до этого трактористом, начал воевать в Бессарабии командиром тяжелого дивизиона, командует бригадой с 20 июня. «Я не люблю штабной работы, молил на нее меня не отправлять, все равно во время боя убегу».

Четыре брата Чеволы. Александр, артиллерист, погиб. Михаил — командир тяжелого артполка. Василий — преподавал философию, сейчас на политработе. Павел — командир пульбата. Сестра Матрена до войны была учительницей, пошла в армию, после тяжелого ранения уволена. Племянница — в летной школе.

Первый и второй полк имеют 76-мм орудия, третий полк — 45-мм. «Эти могут подбить, если только в зад попадут».

«Меня предупредили, что немец подтянул силы. 4-го приезжает связной и вручает мне приказ выдвинуться навстречу прорвавшимся танкам противника.

Шли сорок танков, мы их встретили огнем. Они постреляли и отошли.

Мы стали на дороге, держа дорогу под фланговым огнем.

Местность — луга, посевы, балки. Мы замаскировали орудия, вырыли окопы полного профиля и ровики для личного состава. Утром они пошли по дороге. До ста шестидесяти штук, шли углом вперед. 18 в походном охранении, из них первые 9 «тигры». Остальные шли походной колонной вперемешку с бронетранспортерами. Танк от танка в 20—50 метрах, то сгущаясь, то разреджаясь — змеей.

Пушки стояли в 600—800 метрах от дороги. Когда они подставили фланг, был дан сигнал: «Огонь». В течение пяти минут загорелось 14 танков.

Они шли, ведя массированный огонь, а затем свернули в сторону, вправо. Прицеливанию мешала пыль. Немецкие танки скрылись за бугорок. Пехота отошла на рубеж, и мы стали наблюдать, куда пошли немцы, они все пытались нас обойти. Я снял пушки и поставил их над речушкой, мы фактически оказались в полукольце. Ночью мы столкнулись с разведкой, а утром снова показалось до сорока танков. Мы им набили. Они отошли назад и снова стали нас обходить, вышли на шоссе Белгород — Обоянь.

Мы разгадали их замысел, они хотели ударить под корень нашему корпусу. В ночь с 6-го на 7-е я стал по флангам деревни Верхопень, охраняя фланг корпуса. Начался бой, наша пехота ушла. Его автоматчики прямо за стволы пушек хватались. Командир корпуса мне

сказал: «Помочь ничем не могу, по мере возможности откатывайся». Я понял, что если уйду, корпус будет подсечен под корень, и сказал: «Приказа не выполню, умрем здесь, но ни с места, иначе погибнет корпус».

Авиация бомбит, мы в дыму, в огне, а люди одичали, стреляют и никакого внимания. Сам я семь раз ранен. Танки вклинились, пехота дрогнула. Тут я отвел батарею Порывкина. Стали бить гранатами по его пехоте.

Бомбежка с утра до 3 часов, 30—40 самолетов, маленький перерыв, и опять бомбят до вечера. Только авиация отбомбит, в пыли, в дыму идут танки, отобьют танки — опять авиация. Так мы стояли три дня. Один раз на нас пошли 140 танков. Всего мы подбили 63 танка. Наши дерзкие штурмовички налетают, РЭСами, пушками бьют, их авиация уходит, танки бегут. «Катюши» били по машинам, пехоте, танкам.

Сплошной грохот, земля дрожит, кругом огонь, мы кричим.

Связь по радио. Немцы обманывали, выли по радио: «Я Некрасов, я Некрасов». Я кричу: «Брешешь, не ты, уходи отсюда». Они забивали наши голоса воем.

«Мессера» над головами ходят, старший сержант Урбисупов Жахсугул сбил из автомата «мессера», который пошел на него в пике.

Траншеи «мессера» простреливают сперва вдоль, потом поперек, чтобы прошить все изгибы.

Там бурьяны, посева.

Ночью мы отдыхали. Тысячи разноцветных ракет, но были тучи и маленький дождь. Пять ночей мы не спали. Ведь чем тише, тем напряженней. Спокойнее, когда бой идет, и тогда клонит ко сну. Ели рывками и накоротке. Еда сразу становилась черная, особенно сало, от пыли. Когда нас вывели, мы зашли в сарай и мгновенно уснули. Погиб начальник штаба 3-го полка майор Годыма. Командиру батареи Кацельману оторвало ногу, он стоял насмерть, до последнего, погиб у орудия».

Капитан Заглядский, зам. ком. 1-го полка, тяжело ранен.

Командир 1-го полка Плысюк Николай Ефимович (1913 г. рожд., в армии с осени 1936 года, до этого был учителем):

«5-го июля полку было приказано занять боевой порядок, затем получаю новый приказ — встретить сорок немецких танков. Я выскочил вперед на «виллисе» с одним орудием. Я увидел, как горели 11 наших танков. Оценил местность и отдал приказ: первой батарее занять боевой порядок с правого фланга на дороге, ведущей к Обоянскому шоссе.

Остальным батареям занять боевой порядок на левом фланге, чтобы вести фланговый огонь. Одно орудие первой батареи я приказал поставить в стороне, чтобы дезориентировать противника. Так и вышло. Подбили три танка, из них один «тигр». Ближе к вечеру уже горят 14 танков, как сосновые дрова, из них три «тигра»... Пехота, начавшая драпать, вернулась.

Скорострельность нашего орудия 25 выстрелов в минуту, а прицельных 12.

У меня «виллис» остался, а «студебеккеры» почти все побиты.

Впереди орудий никакой пехоты, одни мы да смерть. Одну атаку предприняли 150 танков, мы сожгли 10, они пошли справа, мы подожгли три «тигра» — повернули назад.

Земля ходит ходуном, дым, пыль, под прикрытием пыли подползли танки, и сержант Васильев отбил их один.

В последний день боев остался один «виллис», я бы его наградил Золотой Звездой, он один вытащил весь полк. А одну пушку тащили на руках 6 километров, все раненые, обвязанные.

Полк подбил 63 танка, из них 14 «Т-6», до 20 машин и уничтожил 200 гитлеровцев.

Водитель моего «виллиса» красноармеец Марков.

Наводчик Новиков подбил 7 танков, из них 3 «тигра» в первый день.

Чечканенко — 2 «тигра».

Новиков, 20—22 года, спокойный, вежливый, никогда он не торопится. Он наведет спокойно и выстрелит спокойно.

Пять ночей не спали».

Владимир Афанасьевич Афанасьев (1914 г. р., ленинградец. До войны четыре года преподавал математику. Решительный, громкий, быстрый. Орлиный нос, синие глаза):

«Я старый истребитель, я один в батарее обстрелянный человек.

В первый день мне дали прикрывать дорогу. Неудачное место, слева не просматривалось.

Моя батарея заигрывающая, а кроме того, я одно орудие сделал заигрывающим.

Шли лавиной, без всякого порядка, «Т-6» в центре, как бог, мой НП-ровик.

Связь: ракеты, голос, связные.

Второй день. Очень трудный. Отход наших танков и орудий, меня выбросили вперед пехоты, я один в поле. Едва мы заняли боевые порядки, как на горе появились танки, расстояние пол прямого выстрела. Огонь поорудийно открыл, чтобы рокироваться. Ребята говорят: «Мы одни остались, но приказ есть приказ».

Подбил шесть танков, из них три «Т-6».

После боя машины, танки горят, бомбежка, канонада, пыль, дым.

Когда снаряд попадает в танк — блеск появляется. Сразу люки открывают и лезут, тут бей осколочным.

Новиков снайпером показал себя еще на учебных стрельбах, я ему дал первый выстрел, чтобы воодушевить людей.

Немец за три дня продвинулся на один километр».

Командир орудия Васильев Михаил Алексеевич: «Был моряком. Сильно бомбили, деревня вся загорелась, дым, пыль. Человек 200 немцев шли на нас. Командира батареи ранило. Я сказал: «Помереть не грех за Родину, помирают не такие головы, как наши». Я принял команду, открыл огонь осколочными, потом бронебойными, вернул 200 человек нашей побежавшей пехоты».

Наводчик Тесленко Трофим Карпович (Башкирская АССР. Деревня Корнеевка, 1918 года рожд., до войны рядовой колхозник. Он наводчик первого орудия первой батареи, первого полка. Подбил 6 танков, из них один «Т-6»):

«Мой первый бой — в сумерках, заряжаем трассирующие снаряды, я попал первым снарядом.

Танк для артиллерии не страшен. Вот автоматчики и пехота мешают работать и сильно беспокоят.

Весело, конечно, когда подбиваешь «Т-6». Первый снаряд мой попал в лобовую часть, под башню, и пошел рикошетом, танк сразу остановился. После этого я всадил в него все три снаряда подряд. Пехота впереди «ура» кричала, каски, пилотки вверх кидала, повыскакивала из окопов.»

Командир корпуса стоял на дороге в пыли после боя, жал истребителям руки и давал папирсы.

В бригаде много разбронированных московских рабочих.

Орудие после боя — как живой пострадавший человек: оборванная резина на колесах, вмятины, пробитые осколками части.

Из истории истребительной бригады. Выписки.

Эпиграф: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы».

«Но эти две маленькие, но благородные пушки были живы».

Боец-наводчик в упор бил по «тигру» из 45-мм пушки, снаряды отскакивали. Наводчик сошел с ума и бросился под «тигра».

Лейтенант, раненный в ногу, с оторванной рукой, руководил батареей, отбивавшей атаку танков. После то-

го, как атака была отбита, он застрелился, не желая оставаться калекой.

Тяжеловик — летчик, летающий на тяжелых самолетах.

Встреча с Родимцевской 13-й гвардейской дивизией на Курской дуге.

Ныне ею командует генерал Бакланов — молодой человек, начавший войну капитаном, в прошлом московский спортсмен.

13-я дивизия вела бои с 12 по 23 июля против 11-й танковой немецкой дивизии, пройдя за это время 32 километра.

Беседа с Баклановым:

«Приучили пехоту вести огонь. Выработался автоматизм — идешь в атаку, стреляй с хода, навскидку.

Учет прошлой оборонительной сталинградской специфики дивизии, которая не привыкла воевать в полевых условиях наступательного боя.

Упор на управление наступательным боем.

С начала войны Совинформбюро пишет: «Уничтожили немецкие дзоты», а я ни одного дзота не видел. У них траншеи, то, что мы сейчас приняли взамен дров.

Народ начал осмысленно воевать, без иступления, работает. Стремительность атаки, борьба с минометами. В полку Колесника, шедшем в атаку, люди сознательно отошли под сильным огнем, а затем рванули вперед. На поле боя я многое пересмотрел в отношении командиров полков. Вот Колесник: ведь мог пойти сразу вперед, но потерь было бы больше.

Дивизия сделала за двое суток марш в 120 километров и с ходу вошла в бой на рассвете 12 июля. Справа была шоссе́нная дорога на Обоянь.

В бой вступили полки Панихина и Колесника, имея впереди себя сильную разведку, ставя себе самую активную наступательную задачу.

Противник встретил нас сильным артминогнем и резкими контрударами танков. Пехоты у него было очень мало, а затем стало ее все больше прибывать.

Немцы строят оборону на обратных скатах, на этом часто горели наши танкисты.

Отходили немцы быстро, но не бежали.

Действовали с заходом с флангов, перерезали дороги.

Мы целый день вели бой за два кургана. А через два часа после взятия немец нас выбил.

Сержант Филиппов, мариец по национальности, выследил днем огневую точку, чтобы захватить языка. Огневая точка молчит. Он дает приказ открыть огонь, чтобы вызвать огонь на себя. Ответного огня нет. Он немедленно доносит: «Противник отошел», и дивизия перешла к преследованию противника.

Противник перешел от подготовленного наступления к обороне. Мы — от обороны к наступлению.

Таким образом, противник оборонялся средствами наступления, мы же наступали средствами обороны.

Наши слабости, обнаруженные в наступлении. Части усиления механически отнимаются, перебрасываются, не успевают привыкнуть. Некоторые командиры полков не знают калибров и дальности своего артогня. Не знают нормы мин на один километр, норм проволоки на один километр, норм огня на подавление огневых точек противника. «Дай огоньку туда», — и машет рукой. Тут проверку проводил инструктор Красинский, но когда я стал его самого спрашивать, то оказалось, что он понятия ни о чем не имеет. Начальнику разведки велели составить план разведки по полку, и он не смог этого сделать. Бойцы не знают истории своей дивизии, не знают, что дивизия получила орден Ленина за Сталинград. Командиры полков в бою иногда неправдиво докладывают. Я выхожу перед атакой за 2 часа, поверяю связь, батальоны, разведку, а командир полка выходит на свой НП за десять минут до боя и докладывает мне: «Все готово, я все знаю». Велика опасность от гонора, зазнайства. Не нужно говорить: «Есть, сделано», «Все готово», а затем ныть и выдумывать несуществующие трудности, которые оправдывают твою собственную неподготовленность.

Командиры мало проверяют, а проверять надо всегда, после сильного боя, в дождь, в метель. Многие командиры не заботятся о питании, о быте бойца, не присматриваются к душевной жизни бойца. Командир бывает очень строг, но на отдыхе он не подойдет к людям, не поговорит, не задаст вопроса. Это часто от молодости. Командир, бывает, командует людьми, чьи сыновья старше его. Не бойся говорить: «Я не готов

к бою», не бойся сделать паузу в бою. Малая кровь определяется должной подготовкой и артиллерийской поддержкой. Лозунг «Любой ценой вперед!» рождается либо от глупости, либо от страха перед более старшим. Отсюда и большая кровь. Хорошо, когда тебе говорят: «Лучше подожди, проведи подготовку, повремени часок». Приятно иметь дело с умным начальником и чувствовать его твердую, спокойную волю».

Полковник В а в и л о в (зам. ком. див. по политчасти):

«Подняли по тревоге 9 июля в 12 часов ночи. Приказано к рассвету стянуть полки. Двинулись 9-го днем. Была страшная жара в этот день. В одном полку было 70 солнечных ударов. Несли на себе пулеметы, минометы, боеприпасы. В ночь на 10-е отдыхали 3 часа. В ночь на 11-е два полка отдохнули, а полк Шура не отдохнул. Пришли в район Обояни, стали занимать оборону, рыть землю. И сразу приказ: опять пройти 25 километров. 12-го на рассвете вышли на исходный рубеж и сразу же двумя полками вступили в бой.

А генерал Жуков ведь сказал: «Лучше не пожалеть отдать 5—6 километров, чем пускать в бой уставших людей без боеприпасов».

Первый день были большие потери из-за отсутствия артиллерии, танков, разведки. Вступили в бой без разведки. Танки, которые должны были нас поддерживать, не знали, где мы, а мы не знали, что они с нами. Произошел встречный бой. Противник сосредоточился на обратном скате высоты. Рота Павличенко ворвалась в лес, ее обошли танки, автоматчики, покрыла артиллерия. Сутки дрались в окружении в лесу, а утром соединились с наступавшими частями и сразу же вступили в бой.

Шалыгин Николай Владимирович (35 лет, саратовский, майор штурмового полка).

«Алексухин шел на брющем, гонялся за машинами так низко, что пришел с чуть погнутыми кончиками винта. Он отпустил ручку вместо того, чтобы нажать.

6-го я вывел большую группу в 18 машин. Утречком погода хорошая, для нас хорошая — это дождь. Дали нам цель — сто танков, идущих к Прохоровке; взяли

ПТАБы (в нем полтора кило, противотанковая авиационная бомба). С нами 12 истребителей.

Подлетаем — узнаю по ракетам свои войска. Ложусь на боевой курс.

Я иду впереди, за мной рядами остальные, как пехота.

Мы идем каждый ряд с превышением, чтобы не дать простреляться зенитчикам.

Я спикировал и увидел во ржи танки — округлость башни их выдает.

Вдруг выскакиваю на большую поляну и вижу 200 машин — так мне обидно стало, зачем я сбросил бомбы на малую цель! Тут я даю по радио: «Цель подо мной!» — и 2 шестерки их покрыли огнем и дымом.

Однажды в дождливую погоду обнаружил скопление машин и танков. Перелетел линию фронта, за 2 минуты добрался до цели, дождь льет как из ведра. Я подумал: обойти этот дождь невыгодно над территорией противника. Нет, я войду в дождь. Вошел в дождь — и все ясней, ясней. Показываю: «Внимание, перехожу в атаку, под нами цель». И сразу на 180° разворот, и обратно в тучу. Эта туча вместо того, чтобы помешать нам, послужила дымовой завесой. Отбомбились без единой пробоины.

Тактическое правило: удар в лоб, ушел вправо. Удар в лоб, ушел влево, удар с фланга.

Старались удары наносить массированные, делали один заход (из-за сильного зенитного огня).

У нас пара — это неделимая единица. Летчики делали по 3—4 вылета на день.

Летчик Юрьев вернулся залитым кровью, ранен осколком в голову. «Разрешите доложить». Доложил обстановку и упал без чувств. Стрелок-радист тоже вылез залитый кровью.

Азарт появляется, как на охоте, будто я коршун, а не человек.

И не думаешь про гуманность, нет этого, нет.

Мы очищаем дорогу — приятно, когда дорога чистая и все горит.

Прошкин по профессии охотник. Он увидел штук 100 легковых машин и ударил, уничтожил 50 штук.

1943г.

Записи о работе военных журналистов

Оперативность — жить с войсками, знать, чем они дышат, тогда и газета быстро все узнает.

О штурмовых группах на заводе «Красный Октябрь» на второй день дали корреспонденцию.

Беседы с бойцами, отведенными на коротенький отдых. Боец рассказывает о себе все сам. Ему не придется даже вопросов задавать.

Говорит: «Люблю людей, люблю жизнь узнавать, иногда красноармеец меня учит уму-разуму».

До войны очень много читал. За войну — только два раза перечел «Войну и мир».

«Поехал за материалом в хутор Марковский. Сидели в окопе под страшным огнем. Нас окружили. Я себя назначил комиссаром в группе из 18 человек. Командир — старший лейтенант Тюлечкин. Лежим в пшенице, подъехали конные немцы. Рыжий кричит: «Рус ун вег». Я и Тюлечкин дали очередь из автоматов, сбили четырех немцев с лошадей. Я взял на себя команду, и пошли в прорыв, били из автоматов, пулемета. Немцев было человек 25. Нас осталось шестнадцать. Ночью идем по пшенице, она переспела, шуршит, немцы нас пулеметами, вскоре осталось 6 человек. Потом я собрал опять 16 человек, прочертил азимут, чтобы путь лежал без дорог и деревень. Ночь пролежали над Доном, связали канаты из плащ-палаток, чтобы переправить раненых, но не хватило каната. Я предложил переплыть. Все документы в пилотку, амуницию в сумку, посередине реки устал, сбросил сумку в воду, блокноты свои сохранил в пилотке». Кулиев Василий Георгиевич, 28 лет. Работал до армии в райкоме комсомола заведующим отде-

лом пионеров. Отец — пастух. Образование среднее, военно-политическое училище и два курса Академии им. Ленина. Редактировал комсомольскую страничку в районной газете, писал в газету военного училища и был оставлен редактором газеты.

13. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Осень 1943 года. Украина

Левее Киева сосновый лес. Глубокий песок. Киев виден из окна хаты, в которой мы живем.

В хате парализованная вот уже 10 лет старуха. Ее принесли из соседней сгоревшей хаты. Все ее просят умереть. Она не может. Она спит сидя, и голова ее прижимается лбом к ногам. Каждый раз она просит разогнуть ее. «Красноармейцы, разогните меня», — мы ее разгибаем. «Спасыби». Лицо ее прикрыто платком, мухи глаза выели. Старик муж проклиная ее страшными, грубыми словами, требует, чтобы она умерла. Но, когда был пожар, ее единственную он вынес из хаты, все вещи сгорели. Теперь он и за это проклиная ее.

Когда старуху во время пожара тащили из избы, старик сломал ей руку.

Саперы прокладывали мост из досок по фермам разрушенного моста через Днепр и пели песни, а немцы их сбивали, и они падали в воду.

Командир дивизии генерал-майор Замировский необъятно толст. Он, когда лежит, чтобы принять вертикальное положение, валится с кровати и в этот момент распрямляется. Китель его невообразимо засален от непомерной и жирной еды. Он хохочет, когда говорит о жестоком и страшном. Расстреляли дезертира — хохочет. Повесили шпиона — хохочет. Рассказывает, как нем-

цы убили его отца и мать, и вдруг смеется. Начальник штаба дивизии, полковник, с болью, гневом и горечью говорит о рукоприкладстве старших командиров к нижестоящим командирам и красноармейцам.

Встреча в отряде с московскими знакомыми.—
Приехал Эренбург.

Разговор с капитаном Олейником о песне, он пишет музыку. Песня о Казарьяне, который плясал и пел возле взорванного орудия; когда же подошли немцы, он взорвал гранатой себя и немцев. Все авторы дивизионных песен убиты, а песни сгорели, их сжег в политотдельском грузовике «мессер».

«В немецкому царстви таке хозяйство — зажигалки и сахарин, бильшь нима ничего», — говорит старая женщина.

Немцы переправились через Днепр, захватили коров и снова переправились на свой берег.

Расчет Петухова встретил на марше «Т-6». Мгновенно развернулись, прицелились. Два выстрела прозвучали одновременно. Погиб расчет, и погиб «Т-6».

Изба. Сволок — некрашенная и немазаная, нарядно обструганная доска-балка с крестом.

Трашки — поперечные балки под потолком.

Пол — нары.

Пичь — жерло.

Груба — подтопок.

Припечек — лежанка.

Рогач — ухват.

Рассказы деревенских женщин о письмах, получаемых от девчат, вывезенных в Германию.

Иносказания: «Идет дождь семь дней, и мы сидим в подвале. Дождь такой, как у нас на аэродроме шел».

«К нам часто приходят в гости Андрюшка и Васыль» (хлопцы, пошедшие в авиацию).

«Ванька и Гришка стеклять викна», — Ванька и Гриша — это символ России...

Еще из писем: «Вижу много молока, но пить не приходится ни капли».

«Мы уже ходим на базар, гуляем по городу».

«Моя хозяйка получила лыста, що ее чоловіка вбылы. Вона плачеть за чоловіком, а я плачу, що живу в неметчини. Вона кажить: будешь мени дочкою, не уйдешь от мене, поки сама не схочешь».

Украинская одежда.

Платок — маленький, по-нашему платочек.

Хустка — шаль.

Спидниця — юбка.

Сачек — зимний пиджак.

Дядьки носят зимой пиджак, кожух, фуфайку. Летом носят мужики жакет-пиджак легкий, не на вате.

Карсет — кофта без рукавов.

Лыштва — нижняя вышитая юбка с нарядной отделкой.

Доктор Фельдман из Броваров. Крестьяне называют его Хвельдман. Он старый холостяк, взял к себе на прокормление старуху и несколько сирот. Когда немцы его повели на казнь, осенью 1941 года, народ отпросил его, криком, плачем. После этого он прожил еще год, но новый врач, присланный немцами, стал сживать его, так как все больные шли к Фельдману. Фельдман отравился, но его спасли. После этого его казнили немцы, он сам себе выкопал ямку. Рассказала мне это крестьянка Кристя Чуняк в деревне Красиловка, Киевской области, Броварского района.

На обратном пути в Москву.

Семья в деревне в Курской области. Дочери недовольны раздельным образованием, они за равноправие:

«Вот при немцах пришли мы на сход, а нам говорят — женщинам нельзя. Так мы даже не обиделись. Нам только смешно стало».

Народный характер: украинец робок, мягок, уступает гостям стол, и даже иногда после того, как гости уже поели, семья ест на лавке или на нарах. Курский хозяин сразу сел вечером вместе с нами, да еще своего гостя посадил.

Рассказы о немцах, финнах, власовцах.

Немец сопливый. Зимой ходил по нужде, велел бабам расстегивать и застегивать себе штаны, пальцы мерзли.

Старуха рассказывает: немец велел мыть себе жопу. Другой убил петушка, приказал ощипать, приказал обжарить, приказал себе в сумочку положить.

Рассказ о том, как девка дралась с немцем.

Он ее по морде, а она его коромыслом. Дед стоял и кричал: «Так его, так его, покрепче!» «Она девка прочная, он от нее побег».

И, как всегда в прифронтовых поездках, последнее впечатление самое сильное. Женщина, странно похожая на Люсю, измученная, светловолосая, голубоглазая. Ее гнали с семьей детьми за Десну. Немцы били. Двое близнят по полтора года. За Десной украинцы, плохие люди, не пускали в хаты, гнали. Работала на них день и ночь, а ей не платили: «Я тебя годувала».

Вырвалась домой. Избу спалили. Те, что вернулись раньше, ограбили ее поле и огород. Живет в чужой хате, с выбитыми стеклами. Темно, окна завешаны тряпьем. Дети веселые. Ее обидели все — и немцы, и мы, и украинцы, и соседи. Она одна, и когда глядишь на нее, ничего не поймешь, только кричать хочется. А она улыбается, улыбается, щиплет солдатский хлеб, что я дал ей, и ест.

14. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Весна 1944 г. Взятие Одессы

Штаб фронта в деревне Новая Одесса, в 90 километрах от Одессы. Чудовищная грязь. Если бы не помощь Рудного, не дополз бы со своим чемоданом от аэродрома до штаба.

Наступление по грязи требует огромного напряжения физических сил, перерасхода бензина.

Подвижные группы режут немцам пути сообщения, подвоза и связи. Немцы иногда отходят хаотически.

Вся степь наполнена воем машин и тягачей, рвущихся из грязи. Дороги шириной в сотни метров.

Надпись над румынскими буфетами: «Немцам вход воспрещен».

Немецким командованием предан суду командир 16-й мотодивизии — его объяснения: «Мои люди без техники слабей пехотной дивизии».

Беседа с генералом Желтовым, членом Военного совета фронта.

Противник боится окружения, не верит в прочность рубежей, ибо его все время обманывает командование.

Перед наступлением Военный совет фронта только и думал, что о погоде. Все время смотрели на барометр. Вызвали профессора-метеоролога, старика, знатока местной погоды, определявшего ее по одному ему известным признакам. Слушали лекции по метеорологии.

Никополь — его значение. Сейчас мы пожинаем Никопольский успех.

Черты наших командиров на новом этапе: 1) Воля. 2) Уверенность. 3) Презрение к противнику. 4) Умение воевать силами танков и артиллерии с силами малой пехоты. 5) Умение экономить, учитывать каждый патрон и снаряд — большая война с бедными запасами. 6) Научились спешить, это не лозунг, это в крови у всех. Спешат через реки, ибо на палочке верхом в сто раз быстрее, чем когда сутками ждешь понтонов. Скорость преследования дружит со скоростью отхода противника.

Одесса

День взятия Одессы. Пересыпь. Пустынный порт. Клубы дыма. Грохот военной техники, вливающейся в город. Толпы людей.

Из здания гестапо выносят обгоревшие трупы. Обуглившийся труп девушки с сохранившимися роскошными, золотистыми волосами.

Первое заседание Одесского обкома. Секретарь обкома меня приглашает. Впервые я, беспартийный, присутствую на подобном заседании.

Много продуктов — сахар, пирожные, мука. Население ругает румын неохотно, из вежливости.

Одесские старики на бульваре. Их фантастические разговоры о полной реорганизации Советской власти после войны.

Поэт, напечатавший при румынах книгу стихов «Я сегодня пою». Его разговор со мной. Крайне противный. Вижу — под окном стоит его мать. В ее глазах безумный ужас за сына.

Еврей. Айзенштат Амнон — сын знаменитого раввина из местечка Островец. Ему спасла жизнь русская девушка, скрывала его у себя в комнате больше года. Его рассказ. Гетто в Варшаве. Восстание. Оружие передавали поляки. Польские евреи носили белую ленту. Бельгийские и французские евреи носили желтую ленту.

Треблинка под Варшавой. Лагерь уничтожения евреев. Под баней была камера с движущимися ножами. Тела рубили на куски, а затем сжигали. Горы золы по 20—25 метров. В одном месте евреев загнали в пруд, заполненный кислотой. Крики были так страшны, что окрестные крестьяне покинули дома.

58 000 одесских евреев были сожжены заживо в Березовке. Часть — в вагонах, часть вывели на поляну и, облив бензином, сожгли.

Рассказ секретаря обкома Рясенцева. Местом казни евреев являлась Доманевка. Казнь осуществлялась руками украинской полиции. Начальник полиции в Доманевке лично убил 12 000 человек. В ноябре 1942 года Антонеску издал закон, дарующий евреям права, и массовые казни, длившиеся весь 1942 год, прекратились. Начальник доманевской полиции и 8 его ближайших сотрудников были арестованы румынами, отвезены в Тирасполь и там судимы. Суд приговорил их за незаконные действия по отношению к евреям к трем месяцам принудительных работ.

Особо бесчинствовал следователь, одесский юрист, русский, — он для развлечения убивал 8—9 человек в день. Это называлось ходить на охоту. Убивали партиями. Пулеметным огнем. Детей бросали живыми в рвы, устланные горячей соломой.

К моменту издания закона Антонеску в Доманевке осталось в живых около 380 одесских евреев и детские ясли на 40 человек. Они живы по сей день, раздеты, голы. Казнено было в Доманевке около 90 000 одесских евреев.

Помощь оставшимся оказывал еврейский комитет в Румынии. Казни подвергались, кроме одесских, и румынские евреи. Их обманном путем привозили в Доманевку. Так был казнен один из крупнейших румынских миллионеров. Его заманили в Доманевку под предлогом организации эксплуатации местных керамических глин.

Среди участников пыток и казней были три еврея, они сейчас арестованы.

В Одессе евреев собрали, а затем отпустили. Потом их снова согнали в гетто на Слободку, 10 января 1942

года. Был сильный мороз, и, когда их гнали из гетто к поездом, на улице валялись сотни трупов стариков, детей, женщин.

15. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Июль 1944 года. Освобождение Белоруссии

Беседа в штабе фронта. От Нарвы до Идрицы немцами были сняты 10 дивизий, чтобы частично прикрыть Латвию и Литву.

Восточную Пруссию немцы прикрыли, вывед с Ковельского направления и из глубины Германии до 8 дивизий.

Части бросались немцами с ходу.

Белостокское направление прикрывается с Ковеля и с Нарвы. Из Венгрии прибыла одна кавдивизия.

Брестское направление прикрывается частями второй армии, за счет выведения войск из Пинских болот, то есть за счет сокращения линии фронта.

Первый, предполагаемый рубеж — Западный Буг. Пленные имели приказ занимать в этом районе оборону. Более вероятный рубеж — Восточно-Прусский УР, Висла.

Изменение в командовании: 5 июля Буша сняли и поставили Моделя, которого возвели в генерал-фельдмаршалы.

Слухи: Буш лишен рыцарского креста и застрелился.

Модель командовал 9-й армией, потом Северной группой, потом Южной, ныне Центральной.

В мае Иордан назначен командующим 9-й армией, на третий день его сняли и назначили вместо него генерала артиллерии Вейдлинга (молодой и способный).

5 командиров корпусов, попавших в плен: Лютцов, Гофмейстер, Мюллер, Гольвицев, Фелькерс. Три убитых командира корпусов: Мартинек, Файфер, Шунеман.

Из 25 генералов, попавших в котел, застрелился всего лишь один: командир пехотной дивизии Филипп.

Модель и Буш — две концепции: Модель — лидер эластичной обороны, Буш под Демьянском доказал силу жесткой обороны.

Эсэсовский генерал Гейне о себе: я фронтшвайн.

Во Франции, Бельгии и Голландии 50 немецких дивизий, из них в Нормандии 22. В Италии 21 дивизия. В Югославии 16 дивизий. В Норвегии 11 дивизий. В Германии 30 дивизий.

Захвачена германская карта, данные которой досконально совпали с картой нашей разведки — не только дивизии, но и резервы, стыки и прочее.

Генерал-лейтенант Лютцов жаловался на полную связанность. Скажем, оставить населенный пункт он мог с разрешения армии, а армия — только с разрешения штаба армейской группы, а армейская группа — с разрешения Ставки. Разрешения на отход 35-го пехотного корпуса Лютцов получил, когда кольцо окружения было замкнуто. Лютцов говорит: Гитлер — политик, Людендорф — военный гений. Гитлер может оценить операцию, но не может ее подготовить.

Тезисы к совещанию командиров германских дивизий 30/5 1944 г. По мнению фюрера, в настоящее время на Восточном фронте мы не можем больше совершать отход. Вследствие этого позиции должны быть удерживаемы любой ценой. Поражение на Южном участке Восточного фронта фюрер считает следствием недостаточной маневренности при выполнении оборонительной задачи. В этом смысле, фюрер полагает, Сталинград и Тернополь были необходимыми явлениями, ибо только благодаря им стал возможен сколько-нибудь организованный отход. Из всего этого можно сделать только один вывод: удержать позиции!

Все силы необходимо использовать для оборудования оперативной обороны глубиной в сорок километров.

Рассматривать саперные батальоны как дивизионные резервы. Горючее. В настоящее время рассчитывать на получение достаточного количества горючего нельзя. Повидимому, следует ожидать дальнейшего сокращения снабжения горючим (выход из строя Плоешти, бомбардировка заводов искусственного горючего в Германии и т. д.).

Документ этот подписан командиром 41-й ТК генералом артиллерии Вейдлингом (ныне командующим 9-й армией).

16. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Январь 1945 года. Взятие Варшавы

Общие сведения о противнике. В районе Варшавы 4 танковые дивизии.

Дивизия «Герман Геринг» на плацдарме, остальные у Праги. До 8 пехотных дивизий и бригад.

По Нареву строится сильная оборона: 3 линии траншей, москитная оборона — до ста точек на один кв. километр.

Против 1-го ВФ снова 9-я А и 4-й ТК СС.

Командует 9-й армией генерал Форман. Группой Центра командует Модель.

Сверхтотальники. Появились на фронте ранее освобожденные после четырех ранений. Теперь, впервые, дивизии не восстанавливаются на сто процентов, а лишь на 50%, частично пополняются.

Варшава! Первая фраза, услышанная мною в Варшаве, когда я влез на разрушенный мост: боец, выворачивая карман, сказал: «Вот и сухарик есть».

Мемориальная доска с именем Марии Складовской-Кюри, краковское предместье.

Новое в наступлении. Немецкие аэродромы захватывают наши танкисты, и это дает возможность авиации поддерживать подвижные группы. Налаженное взаимодействие авиации с подвижными группами. Новый шаг во взаимодействии пехоты с самоходной артиллерией. Пехота полюбила самоходку, пехота не голая, она все время сопровождает самоходную артиллерию.

Высокая артиллерийская подвижность.

Та же 9-я А и та же судьба, но в Бобруйске немцев захлестнули, а здесь пронзили и раздробили.

Немецкая оборона была необычайно усилена артиллерией и минометами, по-видимому, чтобы компенсировать недостаток людей.

Танкисты. Танкисты из кавалерии, танкисты и артиллеристы и, в-третьих, танкисты-механики. От кавалерии лихость (шик), от артиллерии культура. От механиков культура еще выше, чем у артиллеристов. Если хотите, чтобы общевойсковой командир знал по-настоящему и танки, и артиллерию, необходимо, чтобы он попадал в общевойсковые командиры, как бы получив повышение, после того, как был танкистом.

Варшава. Кобус Владислава и София — две польки, что жили с евреями в бункере. Евреи, вышедшие из-под земли, прожившие годы в варшавских канализационных трубах и подземельях. Яков Менжицкий — рабочий Лодзинской чулочной фабрики. Брат его Арон. Рагожек Исай Давидович — варшавский бухгалтер, в очках, в берете. Абрам Клинкер, оборванный, с кровоподтеком, — лодзинский сапожник, брэннер варшавского гестапо. Этих людей я встретил среди пустынных улиц. Бумажные лица. Потрясающая фигура — маленький чулочник, несущий в руке из гетто к себе в бункер детскую плетеную корзиночку, наполненную еврейским пеплом, который он собрал во дворе юденрата, в гетто. С этим пеплом он завтра уйдет пешком в Лодзь.

Варшавское гетто. Стена в полтора человеческих роста, сложенная из красного кирпича, толщиной в два кирпича, сверху в стену вмазаны осколки стекла. Кирпичины аккуратно примурованы одна к одной. Чьи руки складывали эту стену?

Гетто: волны камня, дробленный кирпич, море кирпича. Ни одной стены, редко целый кирпич. Ужасен гнев зверя.

Наша встреча. Люди из бункера — Железная, 95 ц. Люди, превратившиеся в крыс и обезьян. Рассказ о встрече двух лодзинских евреев во мраке котельной, в разрушенном варшавском доме, куда крысы и евреи по ночам приходили на водопой. Клинкер, услышав шум, крикнул: «Я еврей, если вы повстанцы, возьмите меня к себе!» Из темноты ответил голос: «И я еврей». Оба

оказались из Лодзи. Во мраке нашли они друг друга и, рыдая, обнялись. Их бункер был между жандармерией и гестапо, на четвертом этаже полуразрушенного дома. Польская девушка с локонами и буклями, приютившая их. Поляк, отец их спасительницы, требовал злотый на выпивку, «иначе выдам».

Бреннер — оборванец, Абрам Клинкер, хотевший подарить мне свою единственную драгоценность — автоматическую ручку.

Гетто — о высоте когда-то бывших здесь домов можно судить по огромности кирпичных волн, в которые обратились эти дома. Среди кирпичного моря, в гетто стоят два костела. Голова каменной женщины валяется среди красной кирпичной щебенки. Улицы прорублены, как в диком каменном лесу. Здание юденрата — угрюмое, серое. Внутренние дворы его — красные от окалины рельсы, на которых сжигали тела повстанцев варшавского гетто. Куча пепла в углу двора — еврейский пепел. Банки, обрывки платьев, дамская туфелька, разорванная книга талмуда.

Сопrotивление в варшавском гетто началось 19 апреля, кончилось 24 мая.

Председатель общины Черняков покончил с собой 23 июля 1942 года.

Были расстреляны в начале мая члены еврейского совета гетто: Густав Целиковский, Шеришевский, Альфред Стегман, Максимилиан Лихтенбаум.

Во время восстания в варшавском гетто проживавший в это время в Лондоне Шмуль Цигельбойм (тов. Артур), желая обратить внимание мира на трагедию еврейского народа, покончил с собой.

В Треблинке немецкий комендант Зауэр. Из Варшавы евреев в Треблинку везли через станции Запки, Зеломка, Малкиния.

В марте 1942 года Гиммлер, будучи в Варшаве, предложил ликвидировать 50% польских евреев.

Начальником переселенческого бюро (бюро смерти) был Гофле. Расстрелян, как допустивший восстание в варшавском гетто, доктор Фонзommer, начальник гестапо в Варшаве.

Евреев в Польше было 3 миллиона 130 тысяч человек. В Варшаве при населении 1 261 000 было 375 000 евреев. К октябрю — ноябрю 1942 года в варшавском гет-

то было 450 000 евреев. К моменту начала восстания в гетто осталось 40 000 евреев (определено по прод. карточкам).

Лодзь. Население — 450 000 человек. Поляков 200 000, немцев 50 000. 500 фабрик и заводов. Дирекция и владельцы сбежали. Пока управление взяли на себя рабочие. Электростанция, трамвай, железная дорога на полном ходу. Старик машинист сказал: «Я пятьдесят лет вожу поезд, я первым поведу поезд в Берлин».

Гестапо — здание цело, все на месте.

На мостовой валяются роскошные портреты вождей немецкой национал-социалистской рабочей партии — дети в рваных валенках пляшут на лицах Геринга и Гитлера.

Полковник Коржиков — и этим все сказано.

Завод Иона производил опорные подшипники главного вала винта подводной лодки. На заводе станок для обработки ленивца к «тигру» — четырехшпиндельный автомат. Этот станок должен был быть вывезен на завод Зонинталь, в Вестфалии.

Заводы, производившие пояски для снарядов, — их 3. Два из них разбиты английской авиацией в Германии, третий мы сегодня осматриваем в Лодзи. Гигантский станок для производства торпед, его устанавливали с 1944 года, но он так и не начал работать до нашего прихода. На заводском дворе, параллельно цехам, тянутся щели. Столы в заводской столовой. Над некоторыми столами таблички: «Только для немцев». Рабочий поляк говорит: «Как я зарабатывал 28, немец зарабатывал 45». 12-часовой рабочий день. Две кухни при рабочей столовой — немецкая и польская. Две продовольственные карточки — немецкая и польская. В цехах огромные транспаранты на немецком языке: «Ты ничто, твой народ все».

Наказания: опоздание, уронил инструмент, мастеру показалось, что ты ленился, — бьют по морде, карцер (карцеры в подвалах цехов).

Кислородный завод Франца Вагнера. Раздевалка для поляков. Завод Вайгт — производство снарядов.

Лодзь — Лицманштадт — переименован в честь немецкого генерала.

В русской семье русского генерала Шепетовского (ныне покойного) мы, четыре еврея, представляем Россию. Дочь генерала Ирэна не понимает русского языка, она говорит по-немецки и по-польски. Гехтман, выразительно картавя, поет ей волжские песни.

В гетто в Лодзи. Песня гетто «Не нужно тосковать и плакать. Завтра будет легче, солнце засветит и для нас». Гетто открыто 1 мая 1940 года. В гетто бывали три кровавых дня — среда, четверг и пятница. В эти дни немцы — фольксдойчи — убивали евреев в домах.

Первоначально в гетто было 165 000 лодзинских евреев, 18 000 евреев из Люксембурга, Австрии, Германии и Чехословакии, 15 000 евреев из польских местечек — Калиша и проч. 15 000 из Ченстохова, в общем, наибольшее число евреев в гетто было 250 000 человек. Начался голод. В день умирало 150 человек. Немцы были недовольны малыми темпами смертности.

Первая акция в декабре 1942 года — 25 000 человек здоровых мужчин и женщин были увезены якобы на работу и уничтожены.

Детская акция в сентябре того же года. Дети от грудного возраста до 14 лет, а также все старики и больные были уничтожены. Всего 17 000 человек. Машины, вывозившие детей, через 2 часа снова приходили за новой партией.

Систематически вывозили «на работу» по 800—1000 человек и уничтожали.

Первого января 1944 года в гетто осталось 74 000 человек. Начальник гетто — торговец чаем амслейтер Ганс Бибов.

Перед ликвидацией гетто выступили обербюргомейстер Братфиш и Ганс Бибов и заявили, что для спасения от большевиков лодзинских евреев, честно проработавших 4 года, командование эвакуирует их в тыл. Ни один еврей не явился на вокзал. Бибов вновь собрал митинг и арестовал массу евреев, затем выпустил их, сказав, что надеется на их сознательность. После этого стали силой вывозить по 2—3 тысячи в день. Из записок, найденных в пустых вагонах, выяснилось, что евреев вывозили в Масловицы и Освенцим.

К моменту полной ликвидации лодзинского гетто в нем оставалось 850 человек. Прорыв наших танков спас им жизнь.

Структура лодзинского гетто. Свои бумажные и металлические деньги. Почта и почтовые марки. Школы, театры, типографии, 40 текстильных фабрик. Много заводов. Санатории. Фототека. Историческое бюро. Больницы и медицинская скорая помощь. Подсобные хозяйства, поля, огороды. 100 лошадей. Были введены ордена и медали за труд. Хаим Румковский — директор гетто, еврей-интеллигент, статистик. Румковский объявил себя первосвященником. В роскошных молитвенных одеждах он служил в синагоге, раздавал права на брак, на разводы, карал тех, кто имел любовниц. Он женился в 70 лет на молоденькой юристке, имел любовниц-школьниц. В честь его слагались гимны, он объявил себя вождем и спасителем евреев. Гестапо целиком опиралось на него. В гневе он избивал людей палками, наносил пощечины. До войны он был неудачником, разорившимся купцом. Он погиб следующим образом: когда в эшелон погрузили его брата, он, веря в свое могущество, заявил гестапо, что, если брат не будет освобожден, он сядет в эшелон вместе с ним. Румковский сел в эшелон и был отправлен в Освенцим. Вместе с ним пошла на смерть молодая жена. Румковский гордился тем, что когда-то из Берлина было отправлено письмо Хаиму Румковскому без указания города и оно было доставлено ему в Лодзь.

Лодзь — польский Манчестер. 15 000 портных шили в гетто на немецкую армию. Им выдавали 400 гр. хлеба в день и 900 гр. сахара в месяц. В это время в варшавском гетто выдавалось 80 гр. хлеба. Бибов — человек очень умный, методичный, ласковый. Шеф гестапо — Братфиш.

Генигшус — пуля в затылок.

Религиозность в гетто резко пала, да и вообще еврей-рабочие нерелигиозны.

Бибов засылал в гетто много витаминов.

Помощник Румковского еврей Гертлер был в связи с гестапо, но сделал много добра. Человек он был очень добрый, и его очень любил народ.

Когда Гертлер вошел в силу и стал пользоваться большим уважением у немцев, Румковский его смертно возненавидел.

Еврейская полиция внутри гетто.

Больница в гетто вызывала восторг врачей из Европы. Профессор заявил: «Такой клиники я не видел в Берлине».

Гляйт — лист на жизнь.

В варшавском гетто было 300 врачей.

Геройская смерть доктора Вайскопфа в лодзинском гетто, который пытался перегрызть горло Бибаху.

Во главе восстания в варшавском гетто стоял лодзинский инженер Клопфиш.

Польская деревня.

Всех польских крестьян немцы выгнали из домов, отобрали землю, скот, утварь и поселили в скверных хибарках, заставив батрачить на немцев. Немцы были местные, а часть (160 000) — пришлые из Украины, Волыни.

Детей польских крестьян не учили. С 12 лет дети работали принудительно.

Костелы были закрыты, оставили один из 20, остальные превратили в склады.

Батракам платили 20 марок в неделю и давали пищу. Детям платили 6 марок в месяц.

Продукцию немцы сдавали в магазины в городах. Им платили 20 марок за 100 килограммов ржи, 7—9 марок за сто килограммов картофеля.

Немец-крестьянин имел право оставить себе продуктов в количестве, достаточном, чтобы прокормить себя и семью.

Поляка-крестьянина послали в Дахау за то, что он еще до прихода немцев сказал соседу-немцу: «Зачем говоришь по-немецки, тут не Берлин».

В деревне сотский староста — остбауэрфюрер.

Несколько деревень объединял комиссар.

Вопросы о земле решались в городской или районной организации НСДАП.

Еще до войны на партийных собраниях нацисты собирались якобы для молитвы.

Немцы шли двумя волнами: одна — в 1941 году, другая — в 1944 году.

Немцы продавали полякам хлеб налево по 5 марок кило, пшеничную муку — по 25 марок кило, кило сала — 200 марок.

Поляков учителей, врачей, ксендзов, адвокатов тысячами вывозили в Дахау и убивали.

Наш край немцы называли «вартегау».

Батраков закрепили, запрещали перемещаться — рабы.

Полякам запрещалось заходить в магазины, парки, сады.

В трамвае нельзя было ездить по воскресеньям, а в моторном вагоне — всю неделю.

У бауэрфюрера Швандта было три мужчины батрака и три женщины. Он огромный толстяк, батракам ничего не платил, до войны у него были пивная и мелочная лавки. До войны он имел 4 моргена, а сейчас у него 50 моргенов.

Выполнение обязательных поставок немцам проверяла комиссия.

Полякам водки не давали, а немцам выдавали по праздникам.

Некоторые немцы не верили, что придут русские, и смеялись над теми, кто делал большие телеги для вывоза вещей. Так они не верили до последнего дня.

Крестьян называли «подлюги».

Поляков приговаривали к трем месяцам тюрьмы за пользование зажигалками, заряженными бензином.

Познань. Завод Фокке-Вульф, завод бронепоездов, автозавод, завод, производящий автоматы и гранаты, завод покрышек, завод Голяск — раньше делал мыло, теперь — винтовки, фабрика Гопля выпускала шоколад, теперь — патроны для винтовок. Производство крахмала, патоки, картона, бумаги и пр.

Городок Шверценц. 11 километров от Познани. Мы живем на углу, рядом с контрольно-пропускным пунктом. Чудовищный грохот военной техники и день и ночь.

Появилась фигура, которую я никогда не видел: тайно выглядывающие из-за занавесок гражданские немцы.

Пехота едет в каретах, колясках, кабриолетах. Сверкают лак и зеркальное стекло. Ребята курят махорочку, заправляются, играют в карты. Подводы в обозах украшены коврами, ездовые покоятся на перинах. Солдаты не едят казенную пищу — свинина, индюшатина, курятина. В пехоте появились румяные, полные лица, чего никогда не было.

Немцы-гражданские, которых догнали наши танки, сейчас идут обратно. Их бьют, распрягают лошадей, поляки их грабят. «Куда вы идете?» — спрашиваю. Отвечают по-русски: «В Россию».

Здесь немцы пяти видов: черноморские, балканские, прибалтийские, фольксдейтше, райхсдейтше.

Уличные бои в Познани.

Командир полка жалуется: «Вот ворвались мы в одну из улиц, к нам кинулись жители, кричат: «Спасители, освободители наши!» Тут меня немцы контратаковали и отбросили, выскочила их самоходка — я гляжу, те же жители повыскакивали и давай немцев обнимать. Ну, тут я приказал дать картечью».

Чуйков ведет уличные бои в Познани. Он считается после Сталинграда высшим мастером уличных боев. Суть сталинградского боя в том, что наша пехота создала клин между силой немецкого мотора и слабостью немецкой пехоты. И вот академик Чуйков попал в силу обстоятельств и закономерностей, которые сильнее его, — здесь в Познани то же сталинградское положение, но с обратным знаком. Он яростно атакует немцев на улице Познани силой огромной техники и малой пехоты. А мощная немецкая пехота упорно ведет свой безнадежный бой.

Освобожденная девушка Галя, говоря о галантных особенностях военнопленного мужского интернационала, сказала мне: «У французов разные применения».

В районе Познани.

На втором этаже двухэтажной виллы, в холодной, ярко освещенной комнате сидит Чуйков. На столе звонит телефон, командиры частей докладывают о ходе уличных боев в Познани. В перерывах между звонками и докладами оперативных работников Чуйков мне рассказывает о прорыве немецкой обороны в районе Варшавы:

«Режим немецкого дня мы изучали месяц. Днем немец уходил из первой траншеи, ночью он ее занимал. Всю ночь перед началом наступления мы его агитировали по радио, давали музыку и танцы и под шумок вытянули на передовые все свои силы. В 8 ч. 30 мин., когда он уходил обыкновенно с первой линии, мы дали

залп из 250 стволов. В первый день мы прорвали первую линию. Мы слышали по радио, как командарм 9 звал свои дивизии и ни хрена не дозволялся. Тут же мы разбили две танковые дивизии, подтянутые из глубины. В это утро был молочный туман. В общем, так: налет, огневой вал — и пошли. Задержали его на наковальне первой линии и ударили его молотом артиллерии. Опоздай мы на час, мы бы били по пустому месту. А немец считал, что мы стратегически выдохлись. Здесь Ландвер и Фольксштурм».

Чуйков слушает телефон, тянется к карте и говорит: «Минуточку, сейчас надену очки». Читает донесение, радостно смеется и ударяет адъютанта карандашом по носу; говорит: «Правый фланг Марченко уже чувствует огонь Глебова. Огневая связь есть, скоро будет живая». Кричит в телефон: «Если они вырываются на запад, выпусти их в поле и дави, как клопов, проклятых!»

«Теперь немцу вклиниться — смерть, он не вернется из клина. Бойцу надоело в обороне, жажда кончать войну, два-три дня разминались, а потом пошли по 30—50 километров в день.

Забарахлились малость — танк идет, а на крыле поросенок. Людей мы теперь не кормим, наше невкусно. Обозные едут в каретах, играют на гармошках, как маховцы.

Форт в Познани — наши ходят сверху, а он стреляет. Тогда саперы вылили полторы бочки керосину и подожгли — они, как крысы, выскочили.

А знаете, что удивительно — при всем нашем опыте войны и при замечательной нашей разведке, мы одного пустячка не заметили — не знали, что Познань перво-классная крепость, одна из сильнейших в Европе. Думали, что населенный пункт, хотели с ходу взять, вот и напоролись».

Командующий танковой армией К а т у к о в:

«Успех наступления определился нашей огромной техникой, превосходящей все бывшее до этого времени. Колоссальным по высоте темпом продвижения, малыми потерями. Растерянностью противника и пр.».

В Познани.

Идут уличные бои. Улицы, где потише, полны наро-

дом. Дамы в модных шляпках, с цветными сумочками режут ножами куски филе с убитых лошадей, валяющихся на мостовой.

Дикая смерть Героя Советского Союза, полковника Горелова, командира гвардейской танковой бригады. В первых числах февраля он в нескольких километрах от германской границы, расшивая пробку на дороге, был застрелен пьяными красноармейцами. Катуков очень любил Горелова, отдавая приказы ему и Бабаджаняну, он называл их по имени — Володя и Арно.

Такие случаи кровавых, пьяных бесчинств не единичны.

Переход границы Германии.

Под вечер туманно и дождливо, запах лесной прели. Лужи на шоссе. Темные сосновые лески, поля, хутора, службы, дома с остроконечными крышами.

Огромный плакат: «Боец, вот оно — логово фашистского зверя». В этом пейзаже большая прелесть — хороши небольшие, но очень густые леса, идущие по ним голубовато-серые асфальтовые и клинкерные дороги. И наши пушки, самоходки, драные штабные грузовики, полные барахла, едущие от Познани.

Огромные толпы на дорогах. Военнопленные всех наций: французы, бельгийцы, голландцы, все нагружены барахлом. Одни лишь американцы идут налегке, даже без головных уборов, им ничего не надо, кроме выпивки. Кое-кто из них приветствует нас, помахивая бутылками. По другим дорогам движется гражданский интернационал Европы. Женщины в штанах, все толкают тысячи детских колясочек, полных барахла, безумный, радостный хаос. Где Восток, где Запад?

Ночью светло, все горит.

Когда полковник Мамаев вошел в немецкий дом, дети 4 и 5 лет молча встали и подняли руки.

Освобожденные калеки красноармейцы. Один печальный, умирающий, говорит: «Не дотяну я до дома». Когда немцы хотели убить их, калеки перерезали проволоку, достали ручной пулемет и одну винтовку, решили драться.

Русская девушка, уезжая из немецкой неволи, говорит: «Фрау, черт с ней, а вот хлопчика ее шестилетнего жалко».

В сейфе в Лансберге. Наша комиссия вскрывает сейфы. Там золото, драгоценности и много фотографий детей, женщин, стариков. Член комиссии по изъятию говорит мне: «На хрена они эти фотографии прячут?»

Командир дивизии говорит начхиму, пришедшему уточнить сигнальные дымы: «с... я на твои дымы, садись обедать».

В писчебумажном магазине толстого старого нациста в день его краха. Утром в магазин вошла крошечная девочка, попросила показать ей открытки. Тучный, угрюмый, тяжело дышащий старик разложил перед ней на столе десять открыток. Девочка долго, серьезно выбирала и выбрала одну: девочка в нарядном платье возле разбитого яйца, из которого выходит цыпленок. Старик получил с нее 25 пфеннигов и спрятал в кассу. А вечером старик лежал мертвый на постели, он отравился. Магазин опечатали, и веселые, шумные ребята выносили ящики товара и тюки домашних вещей из квартиры.

Рассказ Б а б а д ж а н я н а

Прорыв танкового корпуса Бабаджаняна на Берлин. «В сорока километрах от немецкой границы в глубину, в районе Хохвальделибенау, и далее по озерным си-

стемам, мы встретили долговременную оборону противника: минные поля, шесть рядов надолб, противотанковый ров шириной 6 и глубиной в 4 метра, проволочные заграждения и, наконец, трехэтажные доты, с бетонными стенами толщиной в полтора метра. За дотами шел ров, а за ним заранее подготовленные секретные позиции для танков и артиллерии. Немецкая артиллерия не успела занять своих позиций. Бригаду Гусаковского постиг удивительный успех: в системе обороны противника имелась, среди разрушенных мостов и ловушек, совершенно целая дорога, которая должна была служить для мощной контратаки. Именно по этой дороге и устремился Гусаковский, обойдя всю оборону противника. Однако противник сразу же отрезал бригаду Гусаковского. Оказалось, что на шоссе были заранее подготовлены все средства для установки надолб, ежей, и немцы сразу же отрезали бригаду. Двое суток она шуровала в тылу противника, пока остальные бригады в обход и лоб прорывались вперед. Корпус сперва ударил на север, прорвался через надолбы и минные поля, прошел противотанковый ров и, упершись в доты, остановился. Вторая бригада подполковника Смирнова ткнулась на юг, а из этой бригады один батальон ткнулся на север. Наше счастье, что немец не успел подтянуть артиллерию, а дрался только минометами, пулеметами и фауст-гранатами. Мы потеряли 7 танков и часть своей пехоты.

...Начали мы на Висле 15 января вечером, вошли в прорыв на участке Чуйкова, было темно, корпус, идя двумя колоннами, растягивается на 40—50 километров, одной колонной на 100 километров — массы артиллерии, саперы, пехота, тылы, 28-го мы вышли на Одер. Один немец-капитан ехал в Познань за сигаретами и попался нам прямо на границе.

Был день, когда мы прошли 120 километров. Все основные операции были проведены ночью, танки ночью неуязвимы. Наши танки ночью ужасны, они врываются на 60 километров в глубину, хотя у нас не было проводников (очень важная штука), как в Польше. Однажды ночью все же старик немец очень хорошо провел наши танки.

Немецкий генерал снимал штаны и спокойно ложился спать, отметив на карте, что противник в 60 километрах и начнет наступать не раньше рассвета, а мы ударили по этому генералу в 24 часа ночи. Как и почему

ночью? Дело в том, что обстановка уточняется на 8 часов утра, после этого приказ о наступлении приходит в армию, оттуда в корпус, из корпуса в бригаду, из бригады в полк, оттуда в батальон — все это лишь к вечеру, и получается, что лучше всего не откладывать на утро, а действовать ночью. Кроме того, если днем невыполнишь, тогда ночью приходится выполнять. И догадались, что ночью выгодней.

Навстречу наступавшим от Вислы к Одеру танкам немцы бросили 14 дивизий, 50 военных школ и учебных батальонов, фольксштурм и пр.

Центральная группа армии была рассечена на три части, 3-я ТА и 4-я А прижаты к морю. Разрыв между 2-й А и 9-й А, прикрывающей Берлин. Для ликвидации разрыва было введено 9 дивизий из Прибалтики, 2 дивизии местных формирований и 4-я мотодивизия СС.

Сейчас из Центральной группы армии образованы 2 группы. Северная — Рейнгардта, Центральная — Моделя. 9-я армия прикрывает Берлин, в ней 9—10 дивизий. Модель объединяет 3 армии.

На Берлинском направлении впервые появились запасные дивизии (депо), а по выходе на Одер нам встретились две дивизии, переброшенные с Западного фронта. Затем стали появляться дивизии типа «гросс-адмирал Дениц», из моряков и морской пехоты. Затем выползла дивизия «Берлин». И отдельные полки и батальоны, наспех созданные из юнкерских училищ и школ. В заключение появилась дивизия «30 января», также скороспелого формирования. В ходе операции немцы ввели до 200 отдельных батальонов.

9-я армия вся новая. Состав ее — горный корпус из Югославии, запасный Берлинский армейский корпус, Познанский запасный армейский корпус, штабы корпусов погибли почти все. 9-ю армию возглавлял на Висле Форман, а теперь барон фон-Лютвиц, его девиз: «Я руковожу только тогда, когда нахожусь впереди».

С запада снято до 20 дивизий, из них до 8 танковых. А соотношение числа дивизий союзных к немецким 5 : 1».



Полковник Гусаковский, дважды Герой Советского Союза, командир танковой бригады. Он говорит: «Взял город один полковник, а в приказе Верховного Главнокомандующего отмечены 10 генералов».

Переправа через Пилицу. «Мы взорвали лед и прошли по дну, выиграли на этом 2—3 часа. Весь лед перед танками поднимался громадной горой и рушился со страшным грохотом.

В условиях преследования в густо населенной местности для танков опасней всего «фауст-пехота». У немца есть 30-зарядное ружье (пленные говорят), оно пробивает крошечную дырочку, а весь экипаж нашего танка мертв.

Огромная стремительность. Были дни, мы шли со скоростью 115—120 километров в сутки. Наши танки шли быстрее, чем поезда из Берлина».

Стратегия Тришкиного кафтана.

В разведотделе. Мне показывают приказ за подписью Гимmlера, под ним подпись: «С подлинным верно, капитан Сиркис».

17. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Весна 1945 года. Бои за Берлин

Из Москвы на «виллисе». До Минска огонь, жгут траву. Бурьян, выросший на полях за время войны.

Свинцовое небо и страшный, холодный, трехсуточный дождь. Железная весна, после железных лет войны. Наступает суровый мир после суровой войны: всюду строят лагеря, тянут проволоку, возводят башни для охраны, гонят под конвоем заключенных — эти будут ремонтировать после войны шоссейные дороги, разбитые в боях движением наших и немецких войск.

Такая же дорога до Бреста и Варшавы. Но чем дальше на запад — тем дорога суше, небо ясней, цветут деревья вдоль шоссе — яблони, вишня.

Берлинские дачи. Все тонет в цветах — тюльпаны, сирень, декоративные розовые цветы, яблони, сливы, абрикосы. Поют птицы: природе не жалко последних дней фашизма.

Берлинская круговая автострада. Конечно, рассказы о ее ширине сильно преувеличены.

В городке Ландсберге под Берлином на плоской крыше дети играют в войну. В Берлине доколачивают в эти минуты немецкий империализм, а здесь — с деревянными мечами, пиками мальчишки с длинными ногами, стриженными затылками, белокурыми челками пронзительно кричат, пронзают друг друга, прыгают, дико скачут. Здесь рождается новая война.

Это вечно, это неистребимо.

Шоссе на Берлин. Толпы освобожденных. Идут сотни бородатых русских людей — крестьян, с ними женщины и много детей. На лицах русобородых дядек и истовых старцев выражение мрачного отчаяния. Это старостат, полицейская сволочь, которая добежала до Берлина и теперь вынуждена быть свободной. Говорят, что Власов в Берлине участвует со своими людьми в последних боях.

Идет из Берлина старушка-странница, в платочке, ну точно на богомолье, богомолка среди русских просторов; на плече ее зонтик, на котором под ушко поддета огромная алюминиевая кастрюля.

Чем ближе к Берлину, тем больше похоже на Подмосковье.

Вайсзее — городской район. Останавливаю машину, столичные гамены смелые, нахальные, выпрашивают шоколад, лезут в карту, лежащую у меня на коленях.

В противоречие с представлением о Берлине-казарме — массы цветущих садов, сирень, тюльпаны, яблони в цвету. В небе грандиозный грохот артиллерии. В минуты тишины слышны птицы.

Комендант беседует с бургомистром. Бургомистр спрашивает, сколько будут платить людям, мобилизованным на военные работы. Вообще у всех здесь представление о праве весьма твердое.

Генерал-полковник Берзарин — комендант Берлина. Толстый, кареглазый, лукавый, с седой головой, но молодых лет. Он умен, очень спокоен и хитер.

Замок фон-Трескова. Вечер. Парк. Полутемные залы. Часы играют. Фарфор. У полковника Петрова болят зубы. Камин. В окнах огонь орудий, вопль «катюш», вдруг гром небесный. Желтое, облачное небо, тепло, дождь, запах сирени, в парке старый пруд, смутные силуэты статуй. Я сижу в кресле у камина. Часы играют бесконечно грустно и мелодично, сама поэзия. В руках у меня старая книжка. Тонкие листы, дрожащим, видимо, старческим почерком написано на ней: «фон-Тресков».

Ночевка. Немец 61 года. Его жена 35 лет, красивая женщина. Он торговец лошадьми. Бульдог Дина — «Зист ейн фройлен». Разговор о том, как бойцы забрали вещи. Она рыдает, и тут же спокойный рассказ о том, как в Ганновере погибли от американских бомб мать и три сестры. С наслаждением рассказывает сплетни об интимной жизни Геринга, Гиммлера, Геббельса.

Утро. Поездка с Берзариним и членом военного совета генерал-лейтенантом Боковым в центр Берлина. Вот тут мы увидели работу американцев и англичан. Ад! Переезд через Шпрее. Тысячи встреч. Тысячи беженцев на улицах.

Еврейка с мужем (Ария). Старик еврей разрыдался, когда узнал о судьбе поехавших в Люблин. Дама в каракуле, преисполненная ко мне симпатии, спрашивает: «Но вы, конечно, не еврейский комиссар?»

В стрелковом корпусе. Комкор генерал Рослый. Корпус воюет в центре Берлина. У Рослого две таксы

(веселые ребята), попугай, павлин, цесарка — все они путешествуют вместе с ним. У Рослого в штабе веселое оживление — он говорит: «Теперь страх не перед противником, а перед соседом», с хохотом рассказывает: «Я приказал поставить сгоревшие танки, чтобы не дать соседу вырваться к рейхстагу и имперской канцелярии. В Берлине нет большего уныния, чем когда узнаешь, что у соседа успех».

День у Берзарина в кабинете. Сотворение мира. Немцы, немцы — бургомистры, директора берлинского электричества, берлинской воды, канализации, метро, трамваев, газовой сети, фабриканты, деятели. Здесь в кабинете они получают назначения. Вице-директора становятся директорами, начальники районных предприятий становятся всегерманскими воротилами.

Шарканье ног, приветствия, шепот.

Старик маляр показывает свой партийный билет, он в партии с 1920 года. Впечатление слабое, ему говорят: «Садитесь».

О, слабости человеческой природы! Все эти Гитлером выкормленные, крупные чиновники, преуспевающие, холеные, как быстро, как горячо отреклись они, как легко прокляли свой режим, своих вождей, свою партию. Все они говорят одно: «Зиг», это их лозунг сегодня.

Второе мая. День капитуляции Берлина

Это трудно описывать. Чудовищная концентрация впечатлений. Огонь, пожары, дым, дым, дым. Гигантские толпы пленных. Лица полны трагизма, на многих лицах видна печаль, не только личного страдания, но и страдания гражданского: этот пасмурный, холодный и дождливый день, бесспорно, день гибели Германии. В дыму среди развалин, в пламени, среди сотен трупов, устилающих улицы. Трупы, раздавленные танками, выдавлены, как тюбики, почти все сжимают в руках гранаты и автоматы — убиты в бою. Почти на всех убитых коричневые рубахи — это активисты партии, оборонявшие подступы к рейхстагу и к новой имперской канцелярии.

Пленные — полиция, чиновники, старики и рядом школьники, почти дети. Многие идут с женами, краси-

вые, молодые женщины, некоторые смеются, поддерживают бодрость мужей. Один молодой солдат с двумя детьми — мальчик и девочка, второй упал, не может встать, плачет. Население нежно к ним, на лицах тоска, поят их водой, суют им хлеб.

Мертвая старуха, прислонив к стене голову, подстелив матрац, сидит у парадной двери, на лице выражение спокойной и прочной тоски, с этой тоской она умерла.

В грязи дороги детские ножки в туфельках и чулочках — по-видимому, снаряд или танк раздавил (девочка).

На спокойных уже улицах развалины причесаны и подметены. Женщины метут тротуары щетками, которыми у нас подметают комнаты.

Капитуляции запросили ночью по радио. Приказ генерала, командующего гарнизоном: «Солдаты! Гитлер, которому вы присягали в верности, покончил самоубийством».

Я видел последние выстрелы в Берлине. Группы СС, засевшие в доме на берегу Шпрее, неподалеку от рейхстага, отказались сдаться. Огромные пушки били кинжальным, желтым огнем по зданию, и все утонуло в каменной пыли и черном дыму.

Рейхстаг. Огромно, мощно. В вестибюле бойцы разводят костры, гремят котелками, вскрывают штыками банки консервированного молока.

Памятник победы — Зигалее, колоссальные здания, бетонные крепости, пульта ПВО Берлина. Здесь был штаб обороны, геббельсовская резиденция. Говорят, здесь он вчера приказал отравить свою семью и погиб сам — застрелился. Лежит его обгорелое тельце, протез, белый галстук.

Колоссальность победы. У огромного обелиска стихийный праздник. Броня танков не видна под горами цветов и красных полотнищ.

Стволы орудий расцвели цветами, как стволы весенних деревьев.

Все пляшут, поют, хохочут. В воздух летят сотни цветных ракет, все салютуют очередями из автоматов, винтовочными, пистолетными выстрелами.

(Потом я узнал, что многие из праздновавших были живыми мертвецами, они выпили страшную отраву из бочек с технической смесью в Тиргартене — яд начал действовать на третий день и убивал беспощадно.)

Бранденбургские ворота заложены на 2—3 метра от земли древесными стволами и песком. В просветы, как в раме, видна потрясающая панорама горящего Берлина. Такой картины даже я не видел, хотя насмотрелся на тысячи пожаров.

Иностранцы. Их страдания, их дорога, песни, крики и угрозы по адресу немецких солдат. Цилиндры, бакенбарды. Французский юноша сказал мне: «Месье, я люблю вашу армию, и поэтому мне очень больно смотреть на ее отношение к девушкам и женщинам. Это будет очень вредно для вашей пропаганды».

Барахольство. Бочки, кипы мануфактуры, ботинки, кожи, вино, шампанское, платье — все это везут и тащат на плечах.

Немцы. Некоторые необычайно общительны и любезны, другие угрюмо отворачиваются. Много плачущих молодых женщин.

Новая имперская канцелярия. Это чудовищный крах режима, идеологии, планов, всего, всего... Гитлер капут...

Кабинет Гитлера. Зал приемов. Гигантский вестибюль, по которому, падая, учится кататься на велосипеде смуглый широкоскулый молодой казах.

Кресло и стол Гитлера. Огромный металлический глобус, сокрушенный и смятый, штукатурка, доски, ков-

ры — все смешалось. Это хаос. Сувениры, книги с дарственными надписями фюреру, печатки и пр.

Зоологический сад — тут шла битва. Разрушенные клетки. Трупы мартышек, тропических птиц, медведей. Остров гамадрилов, малютки, подцепившиеся к материнским животам крошечными ручками.

Разговор со стариком, он ходит за обезьянами 37 лет. В клетке труп убитой гориллы.

Я. Она была злой?

Он. Нет, она только сильно рычала. Люди злей.

На скамейке немецкий раненый солдат обнимает девушку, сестру милосердия. Они ни на кого не глядят. Мир для них не существует. Когда спустя час я прохожу снова мимо них, они сидят в той же позе. Мир не существует, они счастливы.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

В июле 1941 года Василий Гроссман был зачислен в штат «Красной звезды» и в начале августа уже выехал на фронт.

Всю войну он довольно регулярно вел свои фронтовые записи. Поскольку записи делались обычно наспех, а почерк у него и в добрые времена был малоразборчивый, Гроссман вскоре после войны помог своей жене, О. М. Губер, перепечатать записи на пишущей машинке. После смерти писателя О. М. Губер подготовила перепечатанный текст фронтовых записных книжек к публикации. Этот машинописный текст и воспроизведен здесь с небольшими редакционными сокращениями.

Первые же записи не только доносят всю силу его потрясения увиденным, но и показывают, как настойчиво вживался этот глубоко штатский человек в неведомую ему до того военную лексику и детали фронтового быта, постигал науку современной войны.

Вместе со всей армией изведal он горечь отступления, вместе с наступающими войсками прошел трудный путь от кромки волжского берега до берлинского рейхстага. Орденами Красного знамени

и Красной звезды, шестью медалями отмечен его вклад в нашу общую Победу.

Он не был «писателем при газете», а честно и истово выполнял всю «черновую» журналистскую работу, посылая корреспонденции, портретные зарисовки, очерки. С наибольшей силой его журналистский талант развернулся в цикле сталинградских очерков. Словно высеченные из одной глыбы, упругие и плотные по словесной ткани, глубокие по мысли, тринадцать его очерков, семь из которых представлены в этом сборнике, стали советской литературной и журналистской классикой.

Дневниковые записи военных лет представляют огромную историческую ценность: в них запечатлены детали, штрихи, факты народной беды, народного терпения, народного героизма, народного торжества.

Записные книжки Гроссмана — это и лирика, и эпос, и летопись, они дают возможность узнать честную «деловую» правду о войне, ее светлых и черных, горьких и радостных, трагичных и сдобренных солдатской шуткой страницах.

Интересны его беседы с самыми разными людьми войны — в этих беседах предстают и душа рассказывающего, и душевный отклик записывающего (поэтому так часты авторские «вкрапления» в текст бесед). И сколь многое открывается нам в перекрестии сообщаемого факта и его писательского восприятия в разговорах с командующим фронтом А. И. Еременко и летчиком Королем, генералом В. И. Чуйковым и сержантом Брысиным, командиром противотанковой бригады Чеволой и снайпером Солодких!

Мельком услышанная в Сталинграде фраза «Боец сказал, есть все: и хлеб, и обед, да не до еды...», сопровождаемая фразой очеркиста: «Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он — когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-настоящему тяжело ему» сразу создает человеческую тональность очерка о страшном аде сталинградской обороны. А из записи о том, что на Мамаевом кургане минометчики любят слушать пластинку с бетховенской «Ирландской застольной», возник великолепный финал очерка «Сталинградское войско», где под слова «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать» в памяти писателя проходят картины и герои сталинградской эпопеи.

Из таких записей, из таких бесед выростали и замечательные портретные очерки о героях войны — от очерка о снайпере «Глазами Чехова» до очерка «Советский офицер» о командующем танковым соединением генерале А. Х. Бабаджанияне. А как много узнаем мы о знаменитых сталинградских комдивах — А. И. Родимцеве, Л. Н. Гуртьеве, И. И. Людникове и других!

Но Гроссман не только хорошо исполнял свой журналистский долг. В нем горела, не угасая, творческая страсть прозаика, потря-

сенного и воодушевленного тем, что познал он на войне. За два месяца, отпущенных ему редакцией «Красной звезды», он создает первую значительную советскую повесть периода войны «Народ бессмертен», печатавшуюся в восемнадцати номерах газеты в июле — августе 1942 года. Сюжет повести опирался на запись беседы в сентябре 1941 года с полковым комиссаром Н. А. Щяпиным, выведшим из окружения воинскую часть. Вошла в повесть и потрясающая Гроссмана в августе 41-го картина гибели Гомеля от бомбежки и пожаров. Кратко помянутое в записной книжке для памяти впечатление от взгляда смертельно раненой коровы преобразовалось в удивительный символ уничтожаемого города: «Темный, плачущий, полный муки зрачок лошади, словно кристальное живое зеркало, вобрал в себя пламя горящих домов, дым, клубящийся в воздухе, светящиеся, раскаленные развалины и этот лес тонких, высоких печных труб, который рос, рос на месте исчезавших в пламени домов.

И внезапно Богарев подумал, что и он вобрал в себя всю ночную гибель мирного старинного города».

И последняя дневниковая запись — о берлинском зоологическом саде и стороже обезьянника — подвигла писателя в 1955 году на замечательный рассказ «Тиргартен», поведавший о несовместимости насилия и жизни, о неутрачиваемом стремлении всего живого к свободе.

Множество записей — своего рода зарубок опаленной памяти — обогатили дилогию «За правое дело» и «Жизнь и судьба».

Прообразом одного из главных героев «За правое дело» — солдата Вавилова послужили записи беседы с красноармейцем Иваном Канаевым и сапером Власовым. А картина, завершающая судьбу еще одного из героев — летчика Викторова, сбитого над Сталинградом, была почти дословно перенесена из, казалось бы, мимолетней записи: «Всю ночь лежал мертвый летчик на снежном холме — был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме. Потом подула поземка, и тело стало заносить снегом».

Перешли из записей сначала в очерк «Волга — Сталинград» артиллеристы Саркисян и Скаун (в романе — Свистун), чьи тяжелые минометы и зенитные орудия первыми встретили и в смертельном бою задержали внезапно прорвавшиеся к Сталинграду фашистские танки. Одним из героев романа стал и генерал Н. И. Крылов, которому выпало на долю быть начальником штаба войск обороны сначала в Одессе, затем в Севастополе и, наконец, в Сталинграде.

Перешла из записных книжек в роман гордая фраза сталинградской беженки: «Мы оскорбленные, но не униженные». А самым, может быть, драгоценным свидетельством обороны Сталинграда стало для Гроссмана донесение командира роты Колаганова. Это до-

несение Гроссман выпросил в штабе полка и всю войну держал в своей полевой сумке, как ценнейший документ. Он привел это донесение в очерке «Царицын — Сталинград», а затем оно было «отдано» в романе «За правое дело» лейтенанту Ковалеву, одному из героев обороны Сталинградского вокзала — той знаменитой обороны, где погибли все бойцы, но никто не сдался, не отступил. Так на долгие годы, пока будет жить диалогия Гроссмана, останется в памяти людей подлинная клятва сталинградца: «Пока будет жив командир роты, ни одна фашистская блядь не пройдет».

Разные судьбы людей встают из записных книжек. С одними автора вновь сводила судьба, и полковник М. Е. Катукон стал ко времени второй встречи генералом, командующим танковой армией. Другие погибали, исчезали в военных вихрях, и память о них осталась в очерках или просто в лаконичных записях, выполняя теперь благородный завет: никто не забыт, ничто не забыто. Наконец, третьи, пусть под другими, романскими фамилиями остались в книгах Гроссмана художественными памятниками той великой трагической эпохи.

Отдадим же должное писателю за эти бесценные свидетельства, записанные наспех, но сохранившиеся на долгие-долгие времена.

А. Бочаров

ПРИМЕЧАНИЯ

1. К стр. 245.

Лозовский А. возглавлял в это время Совинформбюро.

2. К стр. 262.

Речь идет о поэте Иосифе Уткине (1903—1944).

3. К стр. 271.

И командующий 50-й армией генерал-майор М. П. Петров, и член Военного совета армии полковой комиссар Н. А. Шляпин погибли поздней осенью 1941 года.

4. К стр. 289.

В дальнейшем М. Е. Катукон станет командующим 1-й (с 1944—1-й гвардейской) танковой армией, с 1959 года — маршал бронетанковых войск.

5. К стр. 362.

Тодт — так именовалась организация военно-строительных частей при вермахте; в чрезвычайных ситуациях использовались как боевые подразделения.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Волга — Сталинград | 3 |
| Душа красноармейца | 10 |
| Сталинградская битва | 18 |
| Власов | 31 |
| Глазами Чехова | 40 |
| Направление главного удара | 49 |
| Сталинградское войско : | 62 |
| Жизнь | 70 |
| Добро сильнее зла | 98 |
| Треблинский ад | 107 |
| Творчество победы | 146 |
| Пехотинец | 157 |
| Дорога на Берлин | 173 |
| Дорога | 204 |
| Авель | 214 |
| Сикстинская мадонна | 235 |
| Записные книжки | 244 |
| <i>А. Бочаров</i> . Записные книжки Василия Гроссмана | 457 |

Гроссман В. С.

- Г 88** Годы войны (Сост. Е. В. Короткова-Гроссман; Послесл. А. Бочарова.— М.: Правда, 1989 (Библиотека журнала «Знамя»).— 464 с.

В сборник произведений Василия Гроссмана (1905—1964) включены избранные очерки и рассказы писателя, среди которых такие, уже вошедшие в золотой фонд советской военной публицистики, как «Жизнь», «Треблинский ад», «Сталинградская битва».

В книгу впервые вошли фронтовые записные книжки В. Гроссмана, вобравшие в себя личные впечатления и наблюдения писателя от корреспондентских поездок по фронтам Великой Отечественной войны, послужившие документальной основой его многих очерков, а также эпоса о Сталинграде — романов «За правое дело» и «Жизнь и судьба».

Литературно-художественное издание

ГРОССМАН
Василий Семенович

ГОДЫ ВОЙНЫ

Составитель
Екатерина Васильевна
Короткова-Гроссман

Редактор «Библиотеки»
В. Ф. Кравченко

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
В. В. Масленникова

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

116 1949

Сдано в набор 06.01.89 Подписано к печати 26.07.89.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр. отг. 24,78. Уч.-изд. л. 24 66.
Тираж 500000 экз. (1-й завод: 1 — 250000).
Заказ № 119 Цена 1 р. 60 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, Москва, А-137,
ГСП, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства Удмуртского об-
кома КПСС, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 10-й км.